Иностранная литература

8 1967

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ХУАН ГОЙТИСОЛО — Особые приметы . . 10

ПОВЕСТИ

ЖОРЖ СИМЕНОН — Поезд из Венеции . . 129

СТИХИ

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — Из книги «Прошу слова!» 3
ДЖОН ОКАЙ — 999 улыбок 126

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС — Стихи . . . 198

КРИТИКА

Н. БАЛАШОВ, И. БЕРНШТЕЙН — Литература друзей — сегодня 205
МАРИО АЛИКАТА — «Легенда об Уленшпигеле» (Послесловие Б. Рюрикова) . . 213

8

АВГУСТ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — Кончился ли роман? 218

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЛУИС КАРДОСА И АРАГОН, МИХАИ БЕНЮК, АЛЬВА БЕССИ, ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ, РАДОВАН ЗОГОВИЧ, ВИНСТОН ОРРИЛЬО, КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД, ХУАН РИОС, ХОРХЕ САЛАМЕА, ДЖОН ЧИВЕР 232

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Д. ВЛАДИМИРОВ — Писатели Кубы — героям Вьетнама 240
Ц. КИН — Памяти Грамши 241
Н. Н. — Из беседы с писателем 243

ПУБЛИЦИСТИКА

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН — Кто виноват? (Размышления по поводу одного уголовного процесса) 246

НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Встреча с «чилийским Джеком Лондоном» 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Борис Слуцкий — Высокая эстрада Рафаэля Альберти. ◇ Л. Эйдлин — Повести «хуабэнь». ◇ Тамара Жирмунская — Рукой, что дрожит от любви 258

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Б. Гиленсон — На защиту нового мира . 263

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: ХУИНЬ ФЫОНГ ДОНГ (Южный Вьетнам) «Партизанка из Ку-чи».

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ

Из книги «ПРОШУ СЛОВА!»

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Надпись на стене

Просы́палось двадцать пять лет
с тех пор, как вошел я в тюремную камеру.
Пролилось четверть века и одна слеза
с тех пор, как истерзанный и поникший,
я влекся, как бык на бойню,
прощаясь с кипением жизни.

Я был один, а решетка — толстенная
(правил Перу́ дон Мануэль Прадо).
И тьма наполнялась шуршаньем клопов и вшами.
А там, вдали, печалилась песнь заключенных,
и, сморщившись рваною тряпкой на грязном цементе,
я слушал ее из-под черного полога тени.

Вот я чиркаю спичку и гляжу на стены:
сколько надписей, лозунгов, откровений...
Сколько выплаканных имен женских...
И... «Да здравствует СССР!»... внезапно.

Как ясно я вижу себя за решеткой
вопросительным знаком.
Слушаю надписи на стенах. И слышу:
«Хуан Перес Чакоте... Со всеми вместе!»...
«Что это? Разве Тюрьма? Или это Свобода?»

«Да здравствует СССР!»
Значит, прежде меня — другие...
Да, другие люди и еще другие
умели страдать, сохранив свою гордую веру.

Тюремная камера... первая в жизни...
На свободе так страшно о ней думать
зная, что в день моей серебряной свадьбы
с первой тюремной камерой
на ее сегодняшних стенах
бутон невольной слезы распустился.

О, цемент, облитый луной! О, сколько печалей!

Da svidania

Пора расставаться, Москва, кто бы мог подумать?
Кончились те вечера, когда я говорил с тобою,
заглядывая тебе в лицо, как ребенок,
вместе со всем миром
к тебе устремляющим все надежды.

Ты остаешься, сияя радостью целого света,
и пшеница твоих огней золотится средь каждой ночи...
Но, знаешь, зерно моей песни, уплывшей далеко,
все равно прорастет в зеленых твоих парках.
И даже в твои суровые бледные зимы,
и даже после того, как сам я погасну,
останется хоть одна стихотворная строчка,
по которой, как по лесам, подымется мой голос,
взойдет любовь моя, чтоб сказать тебе: «Здравствуй!»

Я уезжаю сегодня на другой край планеты
душою моих рук создавать коммунизм.
За камнем камень,
рабочий вслед за рабочим,
пожатье вслед за пожатьем, усилье вслед за усильем...
Пока, наконец, в один день, и правда прекрасный,
Америка наша проснется
между зарею и знаменем алым.

Под сводом моих стихов и в токе моей крови
золото дней твоих, Москва, уношу с собою.
Звенит оно в русле моих годов уходящих,
в угольных глыбах времени блестит ярко,
светит тепло в трудовых печальных сентаво
и полуночным солнцем горит во тьме нашей жизни.
Дней твоих, Москва, золотой слиток
освещает мою темноту,
и никто его у меня не отымет.

Рабочий Москвы, я прощаюсь с тобою.
И с тобой, колхозница в светлых бессмертных косах,
и в прощания час
подымаю души моей чашу
за землю твою, Москва, за твое счастье!
Прощай же, столица Страны Советов,
как у вас говорят, «до свиданья!»,
как у нас говорят, «салют!».
И верь: я скажу моему народу,
что жизнь одна не вмещает любви к тебе.

Мне пора уезжать,
чтоб коммунизм строить со всеми вместе.
Прощай же, Красная площадь Москвы...
Красная площадь Москвы, где покоится Ленин...
Сбереги его сон, чтоб проснулась его улыбка
и над зарей просияла —

в какой-то прекрасный день,
среди счастья людского,
на радостном лике вселенной.
Здесь, здесь.

Встреча на площади Маяковского

Памяти двадцатилетнего поэта-партизана Хавьера Эро, расстрелянного в перуанских джунглях

Хавьер, ты стоишь предо мною, как прежде:
Площадь Маяковского, Москва...
Ты улыбаешься и глядишь в небо,
и на лице твоем — его чистота и его беспредельность.

Ты стоишь предо мною, но я уже слышу,
как на тебя обрушились с ревом реки,
сорвали с якоря и пробили волнами,
перевернули вверх дном корабль твоей жизни.

Я вижу тебя первой страницей книги,
я в ответе за пули, что вырвали твой голос,
я несу на плечах тяжесть последней твоей страницы,
где родились строки твоей расстрелянной песни.

Хавьер, без лирики, я тебе расскажу:
дом, где мы с тобою встречались,
где пили глоток вина за жизнь и счастье,
больше не существует.
Мы теперь блуждаем в таком месте,
где деревья, увы, одни лишь деревья
ведут меня за руку к крови твоей и твоей песне.

Что еще рассказать? Уезжает в Европу Артуро,
а Сéсар над всем смеется, как прежде, ты знаешь;
а я раздвинуть пытаюсь границы существованья,
чтоб памяти о тебе было побольше места.

Хочу тебе сказать и другое:
смерть разнесла твою жизнь по всем углам света.
Как любопытно, правда? Сегодня ты погрузился
в реальность Перý до самого корня,
и снова тебя убить невозможно.

Хавьер, без лирики, я умолкаю
и чувствую боль, заключая последнюю строку,
как от вчерашнего тоста и стиха этой ночи.

Нет, нет, я больше не буду...
Ведь мне придает дыханья
твой бесконечный возраст, когда на тебя смотрю я
на площади Маяковского, в Москве... снова.

Послание моим детям

I

Умер отец, и мы были последними бедняками.
И детство я провел как птица в клетке,
которую замучить может каждый,
в стенах печальных монастырской школы,
затворником, средь множества монахов.

А молодость, сиянье солнца крови,
которую проводят все, порхая
среди цветов, провел я среди мрака
зловещих наших тюрем, жертвой злобы,
из камеры одной переходя в другую.

А что потом? Года, года изгнанья
и нищета, без всяких церемоний
бесстыдно воцарившаяся в доме.

Да, вот таков Перу́, любимая страна,
цветок истории, заноза в сердце
у расхитителей чужих сокровищ,
подножие времен, пейзаж на карте мира
и плаха для несущих людям правду;
земля из золота, и всей любви начало,
и всей любви конец, и та любовь,
с какой иду по ступеням последним.

Я отыскал для вас на родине глубокой
мать, чье лицо подобно орхидее
и музыке. Здесь, из земли Перу́,
возникли все столетья нашей крови,
из дола в дол спускаясь словно реки,
от дальних прадедов к туманным дедам,
по вековому руслу наших вен.

О родина бездонная, Перу́!
Как долго ждешь меня в своем глубоком лоне...
Иду к тебе путем твоей надежды.

II

В те времена я был так тяжко болен,
что уж, казалось, слышал час последний.
Поэтому пишу вам так смиренно
слова, которые в то время были с нами.
Я тороплю свое посланье детям;
я высунулся в амбразуру мира
и вниз упасть рискую каждой ночью.
Давайте же поговорим о жизни,
пока она со мною...

Любите море с прихотями бури
и воздух над осыпанным соцветьем,
но более всего любите человека.

Любите Анд тяжелую громадность,
их вечные снега, смотрящиеся в небо,
но более всего любите человека.

Любите птиц, зарю влекущих трелью,
и странный лай собак в привычном мраке ночи,
но более всего любите человека.

Остановитесь перед той картиной,
где человек изображен, а если
он изгнан с полотна — пройдите мимо.

Встав на ноги, не дайте паутине
себя опутать. Мать любите крепко,
как старого товарища: для вас
ее любви раскинутые крылья.

Народ ищите и напейтесь вволю
его души в победном кличе утра.
Всё от него: ведь он — источник мира,
и всё — к нему: он — жизни океан.

III

Не знаю, как начать писать о Партии...
Она дала мне лучшие мгновенья,
как родина моя Перу́, и вы, и Виолета.
Она меня ввела в реальность жизни,
под сенью крыл ее я созревал душой.

Ее видал я в тюрьмах Сальвадора,
и в казематах Гватемалы встретил,
и в Мексике нашел страдающей от ран,
и знал истерзанной в Панаме, в Чили.
Любил ее до слез на улицах Москвы,
любил победной в странах социализма,
сияющей на берегах волшебной Кубы,
стремительной в Италии и полной
горения во Франции, растущей
и силу набирающей в Перу́.

Мне Партия была сестрой,
которую я наконец-то встретил.
И нету ничего на свете выше,
чем ты, Коммунистическая Партия.
И, если быть уж честным до конца,
мне кажется, что водишь по бумаге
моей рукою ты, когда пишу я строки,
которые чего-нибудь да стоят.

Боритесь за Перу, за мир своей любовью,
за то, чтоб нищета любого цвета кожи
за праздничным столом сидела с вами вместе.

И знайте: Партия дарует голос правде,
сознанье — сущему и времени — науку,
охране мира — плоть и форму — счастью.
И Коммунизм — это ум земли.

Боритесь за него всей силой крови,
хотя бы ваш чердак был нищ, как прежде;
боритесь за него всей силой крови,
хотя бы ждало впереди крутое время;
боритесь за него всей силой крови,
хотя бы снова нас бросали в тюрьмы;
боритесь за него всей силой крови,
хотя б нас вешали, и жгли, и убивали;
вам суждено победу Коммунизма
увидеть на земле и во вселенной.

IV

Растущие товарищи мои!
Любите родину Перу́ бездонно,
склоните головы пред древним Куско
под музыку столетий погребенных,
целуйте ке́чуа в костистое лицо
и слушайте аймара стон забытый.
Взойдите всей душой на Мачу-Пикчу
и там, когда под вашими шагами
один лишь воздух разрежённый ляжет
и время вздыбится взамен земли, —
задумайтесь минуту об отце
и вечность — о руках безвестных,
кровавою росой покрывших эти камни.

Приветствуйте, когда меня не будет,
в гнезде времен глубоком Аяку́чо,
родной Пиу́ры знамя из огня,
круто-зеленые брега Манта́ро;
и Пу́но, в чью озерную волну
история входила обнаженной;
шахтеров Па́ско, чей кормилец — смелость;
и порт Ики́тос с гибким, крепким торсом;
Трухильо, что непобедим и в смерти;
и, вкрапленную между вен моих,
всю Ику; и сияющий Чиклайо;
и Та́кну с Ту́мбесом, где родины начало;
и Кахамарку, в чьих полях таятся изумруды;
и Апури́мака поток бурлящий;
и Куско на стебле тысячелетья;
Кальяо из далеких весен детства,
и Лиму из агоний зрелой жизни,
и Арекипу, мой бессмертный край.

Любите прошлое сегодняшней любовью;
пройдите родину от севера до юга,
от запада к востоку — всею силой
и каждой клеткой духа своего.

И пусть душа у вас огромной станет,
чтобы вместить всю ширь земли родной.

V

Мы ведь решили говорить
о жизни...
Так вот: когда она меня покинет —
чтоб не было ни вздохов, ни прощаний!

Поскольку есть частица и меня
во взгляде ваших юных глаз,
увижу
я ими новый мир, незнаемое завтра,
и мирное цветение земли,
и зреющие гроздья революций.

Пойду бродить я с вами по земле,
по уголкам, что я любил когда-то;
я — образ воздуха,
я — плоть времен,
взор поколений
и костяк теней,
строка из оборвавшейся поэмы.

И да пребудет с вами яркий свет,
а мирное спокойствие — со мною.

Я сердцем припаду
к земле цветущей...

ХУАН ГОЙТИСОЛО

РОМАН

Перевод с испанского Л. СИНЯНСКОЙ

Посвящается, как всегда, Монике.

Вчера ушло, а Завтра не настало.

Франсиско де Кеведо

Давайте начистоту, сказал я себе: где же кладбище? Вне или внутри?.. Кладбище в самом Мадриде. Сам Мадрид — кладбище.

Мариано Хосе де Лара

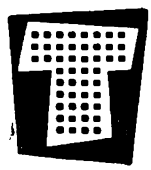
Уж лучше разрушение — огнем.

Луис Сернуда

Глава I

Уютно устроился в Париже...
Офранцузился до того что живет с любовницей дочерью известного эмигранта...
Теперь его дом на Вий-Люмьер а на родину он наезжает лишь время от времени...
Хочет глазами парижанина взглянуть на испанскую жизнь...
Ему видите ли нравится «эпатировать буржуа»...
Не желает смотреть фактам в глаза, позиция христианствующего фрондера для него и выгодней и удобней...
Проявляет чудеса расчетливости и дипломатии чтобы улестить наших зарубежных зоилов и выторговать нам прощение за Пиренеями...
Вот что он за человек...
Вот каковы его связи и положение за границей...
И этого человека взяли на должность штатного фотографа-репортера в агентство Франс Пресс...
В то время как наши подлинные достижения в кинематографии намеренно игнорируются и окружены заговором молчания...

Его шумно расхваливали за пределами нашей страны потому что он снял куцый документальный фильм в котором не было ни складу ни ладу и который к тому же не обладал никакими особыми кинематографическими или поэтическими достоинствами...
Все это нас не удивляет...
Мы давно привыкли к тому что нас третируют и поносят...
На нас возводят напраслину на нас клевещут вновь и вновь из тайных окопов лжи обливая затаенной злобой злоумышленной и тенденциозной информацией...
Эти нападки суть посягательство на наше суверенное право управлять своей страной без иностранного вмешательства и незаконного навязывания чуждой воли...
Эти нападки возмутительны когда они исходят от иностранцев...
Эти нападки достойны презрения когда они исходят от соотечественника готового эксплуатировать любой недостаток даже поставить турбину на помойном стоке в надежде самому стать пусть крохотной но личностью...



ак судачили о тебе, когда узнали о том, что случилось с твоим документальным фильмом, судачили в кафе и на вечеринках, на собраниях и прочих сборищах довольные мужчины и женщины, которые по нелепому указу судьбы были дарованы тебе при рождении в соотечественников, в друзей детства, теперь уже стершихся в памяти, в безвредных школьных товарищей, в родственников с холодными и злыми глазами, в добродетельных и печальных родных,— все они, окружившие себя, точно крепостной стеной, неприступными привилегиями своего класса, все они, выдающиеся и здравомыслящие представители закатного, упадочного мира, который тебе дали, не спросив тебя самого, вместе с религией, моралью и законами, скроенными по их мерке: лицемерный, обреченный клан, из которого ты пытался бежать, веруя, как и многие другие, в возрождающие и очистительные перемены, которые в силу загадочных и неясных причин не произошли; и вот после долгих лет изгнания ты снова здесь, в этой скорбной и близкой сердцу стране твоей юности, только теперь у тебя нет даже горького утешения, какое дает вино, а зеленые ветви эвкалиптов, как и прежде, дрожат в саду под ветром, и переменчивые тучи плывут к солнцу, точно хмурые лебеди, и ты чувствуешь себя не блудным сыном, склоняющим голову перед отцом, а преступником, который тайком вернулся на место преступления.

Ты заснул, а открыв глаза, привстал на постели. На часах было без десяти семь. На мраморном столике стояла бутылка вина, а на галерее торжественно и печально звучали первые такты моцартовского «Реквиема». Ты поискал глазами Долорес, но Долорес не было. Ты подумал, не глотнуть ли фефиньянеса, холодного и золотистого фефиньянеса, чтобы освежить рот, но так и не решился. Пока ты спал, тучи рассеялись, солнце все еще стояло на горизонте и горело в сумерках вечера. Облокотившись на перила, ты смотрел на приручeнные холмы, покрытые виноградниками и рожковыми деревьями, на птиц, рассекавших разреженный прозрачный воздух, и на море вдалеке, чьи молчаливые волны на расстоянии казались еще мягче и красивее. Стоило чуть наклонить голову — и взгляду представали стройные кипарисы, стаи воробьев на ветвях кедра и игрушки в саду, брошенные племянниками Долорес.

Не пройдет и часу, как появится Долорес с каплями, выписанными доктором Аньером, бросит взгляд на бутылку во льду, и, лежа в качалках на балконе, вы станете поджидать, когда гудки клаксонов, как обычно, оповестят о том, что начинают прибывать с визитом гости, и, как обычно, появится чувство страха пред нашествием чужих людей в этот мир тишины и целительного покоя. Тогда ты не сможешь уже оценить стремительности и свежести потока воздуха между соснами, затеряться до головокружения в трудной геометрии созвездий; снова запутаешься в паутине разговора, который будет давить и душить тебя, и снова попадешь в плен к личности, которая не есть ты, но которую постоянно путают с тобой и которая все время норовит занять твое место. Однако покой еще не нарушен, и ты можешь еще, выйдя из сада, побродить в свое удовольствие у пруда, подышать тонким и густым ароматом розмарина, подглядеть немую жалобу пробковых дубов, с которых только что ободрали кору. Можешь обойти весь дом, населенный сейчас строгими и суровыми звуками «Dies iгае», и, разрыв пыльные слои памяти, вынуть одни за другими своеобразные и необычные элементы, которые составляли сказочные декорации твоего детства,— огромную галерею, темную столовую, поблекшие и обветшалые комнаты. Подняться на изъеденный молью чердак и осмотреть развалившиеся шкафы, колченогие стулья и потускневшие зеркала, из которых выглядывают призраки. Склониться над старыми гравюрами в рамках из черного дерева, которые в детстве были полны для тебя такого очарования, и рассматривать подновленные надписи, которые врезались в глубину твоей памяти: "Valenciennes prise d'assaut, et sauvée du pillage par la clémence du Roy le 16 mars 1677"*. "Panorama della citta di Roma"**, "Vue de la Ville et du Chateau de Dinant, assiegés par les français le 22 mai et prise 29 du même mois en l'année 1675"***.

В строгом кабинете, где на самом видном месте висит портрет прадеда, ты мог бы один за другим выдвинуть ящики письменного стола, набитые связками семейной корреспонденции, разложенной по датам, и, если захочется, погрузиться на несколько минут в нелепый и обветшалый мир твоих предков: письма рабов с теперь уже не принадлежащего вам сахарного завода в Крусесе, содержащие просьбы к «ихней милости», далекому хозяину, который, однако, только и делал, что отказывал им в чем-то и лишал чего-то; открытки от какой-то тетушки, теперь уже умершей; квитанции за проданное имущество и банковские отчеты из Гаваны, Нью-Йорка и Парижа — все это относилось к годам, предшествовавшим испано-американской войне и распаду твоей семьи. А в одном из ящиков ты мог бы даже перебрать, как ты сделал это в день своего возвращения, стопку конвертов, надписанных нетвердым и корявым почерком, и еще раз с удивлением обнаружить, что автор — ты сам: эти письма ты написал из коллежа, где после смерти матери без пользы растратил часть своей юности, тусклые и постылые годы; найти характеристику, выданную тебе: «Нервный и очень самолюбивый. Немного сторонится товарищей, предпочитает общаться лишь с некоторыми. В меру религиозен и набожен. Во время перемен почти не участвует в общих играх»,— характеристику, скрепленную неразборчивыми подписями забытых преподавателей; ежегодное издание «Бюллетеня коллежа», в котором ты нашел отметки, выведенные тебе по всем предметам за 1945/46 учебный год: «Закон божий—9, философия—6, латинский язык—8, греческий язык—9, литература—7, география и история—10, математика—

---

* «Город Валансьен, взятый приступом и спасенный от разграбления милосердным приказом короля 16 марта 1677 года» *(франц.)*.

** «Панорама города Рима» *(итал.)*.

*** «Вид города и замка Динан, осажденных французскими войсками 22 мая и взятых 29 мая 1675 года» *(франц.)*.

5, естественные науки—4. За успехи — Золотая медаль», и даже устрашающий перечень ангельских сил с соблюдением всей иерархии, двадцать раз переписанный в тетради твоею собственной рукой и озаглавленный (надпись была искусно выведена зелеными чернилами): «В наказание за то, что на уроке отвлекал товарищей». Эти веские вещественные доказательства остались от проказника и лгунишки, которым был ты когда-то и в котором нельзя было угадать нынешнего взрослого человека, не имеющего ни прошлого, ни будущего — одно только неопределенное настоящее, человека, в глубинах души которого таится безысходная уверенность в том, что вернулся он не потому, что на родине произошли перемены и его изгнание было оправдано, но лишь потому, что запас ожидания истощился капля за каплей и он просто-напросто боится умереть. Так ты размышлял в одиночестве, а между тем вечер расточал свое великолепие: загорались огни, и свет постепенно сбегал с лесных лужаек, расстилавшихся у твоих ног; так ты размышлял, пока не решил, наконец, глотнуть ледяного фефиньянеса, потом, лениво закурив сигарету, пересек галерею, сотрясаемую звуками хора «Benedictus», и отыскал на полках солидной библиотеки семейный альбом с фотографиями, который мог бы стать ключом к твоему детству и юности. Потом ты снова вернулся в сад и устроился с альбомом за мраморным столиком, чтобы подышать запахом страниц, отдающих древностью и плесенью, и посмотреть среди баюкающего покоя на бессонную природу, вязкое небо и море, кроваво-красное умирающее солнце. Неподвижные на поблекших фотографиях семейные призраки снова позировали специально для тебя — скучное и заученное повторение неудавшейся сцены, — и твоя короткая и уже далекая история оживала вместе с ними — одно из звеньев в единой и неразрывной цепи посредственности и конформизма, в цепи, некогда состоявшей из авантюр и грабежей, а ты, ты был случайным, отягченным родительскими и прародительскими грехами плодом немых и праздных жизней, жалкого, несчастного, бесполезного существования людей, произведших тебя на свет.

Пышная зала заседаний административного совета с широким рабочим столом, окруженным пустыми креслами; на стене — портрет Альфонса XII, изображение пакетбота «Флора» — собственность процветавшего в ту пору и жившего на широкую ногу семейства; выцветшие от времени открытки с видами Сьенфуэгоса на Кубе, его пустынные площади, белые церкви и королевские пальмы, искусно высаженные словно на наивных театральных декорациях; вокзал с ненужными, какими-то ненастоящими, мертвыми путями и яркой группой крестьян на перроне; поезд, груженный продукцией сахарного завода,— в период уборки сахарного тростника на вагонах можно было прочитать надпись: «Мендиола и Монтальво»; фотография сахарного завода, где уместился сам завод, бараки, прямоугольная площадь, просторная и чистая, и ряды пальм по обе стороны аллеи, которая вела к сельскому жилищу прадеда; котлы, чаны, через которые проходил сок сахарного тростника, для того чтобы стать светлым, освободиться от примесей алкоголя и превратиться в густой прозрачный сироп. Здесь же Альваро мог увидеть и своего прадеда, примерного и властного, и все его расплывчатое и невыразительное потомство, облик которого был увековечен и храним альбомом, хотя тела их уже более века тлели в земле. Бедный астурийский идальго, хитрый коммерсант и торговец неграми, этот человек с жестким и высокомерным взглядом, тонкими губами и закрученными усами, по форме напоминающими рукоятку шарманки, казалось, предвидел, сколь порочны и незначительны будут его собст-

венные отпрыски, которые после его смерти станут распоряжаться в его владениях и которые здесь, выстроенные фотографом Э. Котерой (Сьенфуэгос, св. Исабели, 45), застыли, неловкие и неестественно прямые, перед самым объективом. Некто, отдаленно похожий на прабабку Альваро, смиренную и немую, наспех одетую в траур: несчастная и разочаровавшаяся супруга, уступившая супружеское ложе черным рабыням, не имела иного прибежища, кроме печального утешения религией и забот о детях, получивших образование в соответствии с нормами и установками тиранической, суровой и непреклонной морали. Эти же дети, но уже 25 лет спустя — тучные и лысые, преждевременно постаревшие и точно придавленные грузом непомерной ответственности, унаследовавшие состояние, но не таланты, добродетельные и эгоистичные, набожные и скупые. Дед Альваро и бесконечная вереница дядюшек, сфотографированных в Гаване, Нью-Йорке и Швейцарии перед тем как скоропалительно был продан сахарный завод и семья распалась, что случилось в результате войны с Соединенными Штатами и потери колоний. Элегантный дед в традиционной соломенной шляпе около нелепого, в мавританском стиле, шале где-то в предместье Барселоны, уже обосновавшийся в Испании вместе с женой и детьми, — дед, имевший собственного шофера, садовника, загородный дом, конный выезд и — ах, какая жалость, что черные рабы получили освобождение! — бедняков из местного населения, которые были всегда под рукою и являлись прекрасным объектом для благотворительности, надежно гарантирующей милосердное прощение господа на этом свете и спасение на том. Несколькими годами позже — он же с отцом Альваро, одетым в английский матросский костюмчик, и с целым выводком безликих детишек — любопытной помесью богато одетых сирот и насмерть перепуганных принцев; неправедная и беспутная жизнь прадеда, его пороки легли клеймом на детские лица — точь-в-точь заспиртованные в банках лица стариков, думал Альваро, неизвестный фотограф схватил выражение этих лиц с утонченным злорадством, какое Гойя выказал по отношению к королевскому семейству Карла IV и Марии-Луисы: вырождающаяся раса прокисших старых дев и — за исключением самого отца Альваро — паразитирующих кабальеро, таких же бесполезных, как любой предмет, служащий для украшения. Через две страницы, заполненных набором фотографий семейства Мендиола, присланных с Кубы, — группка тесно сгрудившихся школьников; расплывчатые лица и слепые взгляды вызывали в памяти одинаково серые годы, хорошо памятные Альваро: семь курсов во имя получения степени бакалавра в католическом учебном заведении, когда сначала мать, а затем семейный совет пытались сломить его строптивость и заточить его в жесткий корсет принципов, морали и правил, которые были правилами, моралью и принципами невежественного, ненавистного ему класса; годы покаяний и грехов, вожделения и исповедей, намерений исправиться и вновь оживающих сомнений, годы, которые он упорно тратил на то, что взывал к глухому богу (к богу, первоначальную сущность которого уже много веков как выхолостили), пока жизнь не продиктовала своих законов и хрупкое, дорогостоящее здание не развалилось, подобно карточному домику. Затем шли отдельные виды только что купленного имения — это уже июль 1918 года: тщеславные молодые люди — тетки и дядья — лениво бродят по саду, уставленному горшками с чудоцветом и круглыми плетеными креслами, необычная деревенского вида терраса с крытою соломой крышей, на которой дядя Эулохио установил нелепый портативный телескоп. Фотографии, снятые незадолго до его рождения, четко воспроизводили пасеки родного имения в Йесте, печь для перегонки сока розмарина, моментальный снимок запечатлел соседнее селение Ла-Грайя. Отец Альваро глядел со всех фотографий надменно и отчужден-

но, быть может, понимая всю глупость и пустоту той общественной комедии, в которой играл и он сам, быть может, предчувствуя, думал Альваро, месть восставшей крестьянской толпы и грубые ружья, которым суждено было оборвать его жизнь. И на протяжении всего этого неспешного парада страниц, воскрешавших в памяти ушедшее и умершее прошлое, вереницу призраков, личность которых можно было установить лишь благодаря именам и датам, проставленным под фотографиями, Альваро не покидало смутное чувство, будто совершается некое тайное и сладостное осквернение; точно такое же чувство испытал Альваро, когда во время поездки на Кубу посетил дом, некогда принадлежавший их семейству, дом в районе «Кантри-клаб», превращенный революцией в скромное художественное училище, дом, где теперь, словно в насмешку, на стенах были прибиты портреты Кастро и Ленина.

Ты напрасно искал ее на полках библиотеки среди религиозных и поучительных книг дядьев: книга, которую на фотографии, помеченной маем 36-го года, держала в руках сеньорита Лурдес (туфли, чулки, шляпа, черные кофта, юбка и сейчас, после двадцати пяти лет, все еще издавали еле уловимый сладковатый запах ладана и нафталина) и содержание которой прелестный мальчуган, каким ты был тогда, — весь в локонах, изящно сидящий на мягкой подушке, — казалось, впитывал сосредоточенно и с восторгом, этой книги на полках не было, она, наверное, потерялась, как и многие другие, в беспокойные годы революции и войны, когда погиб твой отец и ваш дом был реквизирован, а страну потряс безумный и бессмысленный кризис, последняя судорога агонии, продолжавшейся многие века. И, сидя в саду, под покровом и защитой ясной музыки Моцарта, ты вновь воскрешаешь сцену, схваченную безучастным и объективным взглядом фотографа: покойная теперь гувернантка и набожный мальчик, оба, словно рожденные легким, экстравагантным сном, запечатлены в детском парке; вокруг — кормилицы и дети, престарелые господа и невозмутимые дамы; и ты с удивлением думаешь о том, что все это было через четыре месяца после громких февральских выборов и знаменательной победы Народного фронта. Сеньорита Лурдес чуть прикрывает книгу рукой, и ты не можешь прочитать названия — твое лицо пылает и светится недозволенной завистью и восхищением.

Ты вспомнил, каково было твое разочарование, когда ты не нашел книги, и как в первый же свой приезд напрасно ходил в специальный магазин, где продавались книги религиозного содержания. Стоя перед бледной продавщицей, похожей на монашку, ты попросил «Историю младенцев-мучеников», которую тебе подарила сеньорита Лурдес в день, когда тебе исполнилось семь лет, — твоя настольная книга в те далекие, поблекшие в памяти месяцы накануне войны.

— Сборник биографий, вы говорите?

— Да, сеньорита.

— У нас есть житие святой Марии Горетти с цветными иллюстрациями. Хотите посмотреть... Если дарить — это будет хороший подарок. В этом году мы их много продали.

— Нет, не эта. То издание более старое... Я помню, на обложке был изображен святой Тарсисио.

— А вы не помните автора?

— Нет, сеньорита...

— Вот гораздо дешевле — «Жития святых младенцев». Без переплета. Тридцать пять песет.

— Можно посмотреть?

Продавщица протянула тебе среднего формата книжицу, на суперобложке которой младенец Иисус (белокурый) обнимал святого (тоже белокурого); на них умиленно взирали два пухлых ангела (белокурых), изображение которых художник свел к двум толстощеким розовым головкам, украшенным крылышками.

— «Жития святых младенцев», — сказала продавщица. — Хорошо раскупается.

— Но я ищу книгу о младенцах-мучениках.

— Из этих тоже многих мучали, — настаивала сеньорита.

Ты вдруг испугался, как бы тебя не приняли за садиста, и, чуть забавляясь выражением неловкости и подозрительности, которое заметил на лице продавщицы, заплатил тридцать пять песет за книжку, испытывая при этом зуд, похожий на тот, который испытал в шестнадцать лет, выйдя из грязной лавчонки на Атарасанас с порнографической открыткой в кармане и бегая в поисках места, где бы, спрятавшись ото всех, всласть наглядеться на гнусное и холодное изображение.

По дороге из города домой ты разглядывал книгу, написанную примерно на том же языке, на каком говорила сеньорита Лурдес; совершенно неожиданно прошлое вернулось к тебе, преобразив эту книжку в ту, пропавшую, а твой голос — в женский голос гувернантки.

— Префект, ослепленный столь славным служением вере, пылая ненавистью к христианам и гневом на прекрасную деву, приказал связать ее, бросить в тюрьму и жестоко избить... Ты внимательно слушаешь, Альваро?

— Да, сеньорита Лурдес.

— Ты страдаешь, думая о страшных мучениях святой?

— Да, сеньорита Лурдес.

— И ты готов умереть, как она, благословляя владыку за каждую пытку?

— Да, сеньорита Лурдес.

Как посредствен твой мир, думал ты, мир здорового ребенка, избалованного бездельника, живущего в упорядоченной действительности, где нет ни опасности, ни возможности для героизма, — и ты страдал, сознавая свое ничтожество и высокую жертвенность этих созданий, которым предназначались ранняя смерть и вечная слава: всех этих Инес, Тарсисио, Панкрасио, Агапито, Пелайо, Люсий и других, более близких по времени, но не менее изумительных, как, например, святая Магдалина, София Барат, святой Доминго Савио или Аколито Александрито; в твоей жизни никакие вещие знаки не предвещали того, на что благочестивым душам неминуемо указывало явление ангела божьего и что по книге, которую читала сеньорита Лурдес, сопутствовало святому с рождения: небесные видения, появление младенца Иисуса между двумя вазами севрского фарфора, несправедливые гонения, тяжелые болезни, хрупкое здоровье.

В простодушии ты пробовал принимать позы мучеников, в книжке изображенных с нимбами, которые чудесным образом держались над их белокурыми ангельскими головками, и часами разглядывал себя в зеркале ванной комнаты; под баюкающий слащавый голос сеньориты Лурдес, которая, водрузив на нос очки, казалось, постоянно и зорко следила за всеми переживаниями, немедленно отражавшимися на твоем лице, ты с тоскою задавался одним и тем же вопросом: могут ли черноволосые и здоровые дети, вроде тебя, мечтать о милости и защите небесных сил?

Ты завидовал, восхищался той размеренности и точности, которая отличала жизнь этих высших существ и так беспощадно контрастировала с рутиной и бессодержательностью твоей собственной жизни, ты мечтал — уж коль не являются тебе небожители — о тяжелой болезни,

которая подвергла бы тебя испытанию или желанным и впечатляющим мучениям.

— Не выходите на улицу, — как-то сказала твоя мать. — Вчера опять его спрашивали, и я видела, как они проезжали на грузовиках... Кажется, они собираются жечь церкви...

Внешне твоя жизнь никак не изменилась: еда в обычные часы, чтение, прогулки с сеньоритой Лурдес, но по серьезному и озабоченному виду взрослых было заметно, что в жизнь вторглось нечто новое, что нарушило прежнее существование и о чем взрослые никогда не говорили при тебе, хотя в твое отсутствие это было предметом мрачных совещаний между родителями и дядьями, и ты напрасно пытался раскрыть смысл их разговоров, то притворяясь спящим, то делая вид, что с головой погружен в географическую игру.

— Надо бы спрятать церковную чашу на чердаке.

— А что, если кто-нибудь из работников донесет на нас? Мы не можем рисковать...

— Лучше ночью.

— А патруль? — Это был голос дяди Сесара. — Ты совсем с ума сошла.

— Я пойду с мальчиком. Женщина и ребенок...

Разговор прервали тревожные звонки у двери, а когда несколько часов спустя сеньорита Лурдес, как всегда, подала чашку шоколада с бисквитом, твоя мать вытирала платком слезы, и ты, исходя из понятий, которые сложились у тебя к семи годам, счел себя обязанным вмешаться:

— Мама!

— Да, сердце мое?

— Ты плачешь, потому что папы нет с нами?

— Да, мой мальчик.

— А почему он так долго не возвращается?

— У него много работы.

— Кто же эти люди, которые его спрашивали?

— Никто. Просто знакомые.

Твоя мать тогда еще не знала о том, что случилось в Йесте, — официальное извещение о смерти пришло только через год, — но ее слезы подтвердили твои подозрения: нечто — только что именно? — происходило за кулисами, какие-то события, которые взрослые по непонятной причине пытаются от тебя скрыть. Тайну выдала сеньорита Лурдес.

Однажды вечером, стоя рядом с тобою на коленях перед игрушечным алтарем, у которого ты часто служил службу, подражая жестам настоящих священников, она сказала с пафосом: «Господи, боже мой, помоги нам в эти трудные времена. Не допусти, чтобы безбожники замарали душу ребенка и превратили его в слугу дьявола».

— Что происходит, сеньорита Лурдес?— спросил ты.

— Ничего, радость моя, ничего.

— Нет, сеньорита. Я знаю: что-то происходит. Я видел в окно грузовики с людьми... Верно, что это люди злые?

— Я ничего не могу сказать тебе, радость моя. Ни слова не могу сказать.

— Нет можете, сеньорита Лурдес. Скажите.

— Нет, мое счастье. Ты еще очень маленький. И я обещала твоей матери.

— Скажите, сеньорита Лурдес. Клянусь, я никому не проболтаюсь.

— Нет, нет. Я не хочу причинять тебе страдания. Ты слишком маленький и не сможешь понять...

— Ну, пожалуйста, сеньорита. Я уже большой. Я никому ничего не скажу.

— Золото мое, бедняжка ты мой...

— Если придут злые люди, я помолюсь богородице, и они умрут.

— Нет, нет, твоя мама запретила мне говорить.

— Ну, пожалуйста, сеньорита.

— Нет, детка, я не могу.

— В таком случае мне расскажет младенец Иисус. — И ты сложил руки, точь-в-точь как на картинке в книжке.

Слабое сопротивление было сломлено: сеньорита Лурдес, рыдая, привлекла тебя к себе и дрожащим голосом поведала о приходе Антихриста. Плохо одетые люди, которыми набиты грузовики, проезжающие внизу, под твоими окнами, — это специальные посланники дьявола, закоренелые творцы зла. Сказочный мир гонений, пыток и палачей, подобно волкам, терзавшим нагие тела жертв, погрузил тебя в море радости и тревог, хотя ты все еще не мог поверить в реальность этого блестящего, великолепного и так неожиданно быстро сбывшегося сна.

— Я не боюсь смерти, сеньорита Лурдес.— Эту фразу ты запомнил из книжки.

— Нет, нет. О боже, ты не захочешь отнять жизнь у невинного ангела.

— Что стоят несколько лет жизни, если погибнет моя душа?

— Всемогущий, не слушай, что говорит этот ребенок. Подумай, каким горем это было бы для матери.

— Я назову сладостное имя Марии, и злые люди раскаются.

Тут и было решено идти. В крайнем возбуждении, трепеща от восторга, сеньорита Лурдес рыдала у алтаря, обнимала тебя и молила бога о прощении. К ее иссохшему восковому лицу, казалось, снова вернулась жизнь, на скулах выступил румянец, а глаза загорелись ясным, почти юным блеском, и ты вдруг почувствовал себя обитателем мира, описанного в книгах, почувствовал, что теперь уж ты определенно вошел в строй мучеников. С восторженного одобрения сеньориты Лурдес ты ткнулся на колени перед выкрашенным в пурпурный цвет алтарем, сжимая в руках игрушечную дарохранительницу, всем своим существом ты смаковал этот возвышенный миг и заранее предвкушал предназначенную тебе славную карьеру святого, окруженного божественным сиянием, святого, которого в книгах будут изображать в лучезарном, парящем над головой венце.

— Господи, боже мой, прости меня,— стенала сеньорита Лурдес.— Облегчи тяжкие мучения матери. Внуши ей мужество, дабы она могла вынести испытание.

— Может, возьмем ее с собой? — подсказал ты.

— Нет, золотко мое, она этого не вынесет.

— Я помолюсь за нее.

— Ангел ты мой, душа моя... помолись и за меня.

В ту ночь вы оба так и не спали: ты вцепился в алтарь, как святой Тарсисио, она же до рассвета простояла перед младенцем Иисусом, вымаливая у бога отпущение и раскаиваясь во всех грехах. После того как мать по обычаю поцеловала тебя перед сном и затихли перешептывания и разговоры взрослых, которые теперь не были для тебя загадкой, ты в последний раз перелистывал книжку сеньориты Лурдес; мрачные описания внушили тебе ужас и восторг и, не слыша доносившихся с улицы сирен и гудков машин, что мчались под окнами, ты снова и снова повторял, как лунатик: «Это мой последний день».

В девять часов мать принесла тебе завтрак. Сеньорита надела на тебя рубашку, штанишки, чулки и сандалии, все белоснежное, и повесила на шею ладанку с щепочкой от Святого креста, которую ты в экстазе покрывал поцелуями, в то время как она расчесывала тебе локоны и смачивала виски одеколоном. Ждали дядю Сесара, который должен

был зайти за твоей матерью; наконец он пришел; ты смутно помнишь, что на нем не было ни галстука, ни шляпы, глаза его были расширены от страха, костюм бедняка, в который он переоделся, выглядел на нем до смешного нелепо. Это неясное воспоминание соединяется в твоей памяти с воспоминанием об улыбающемся человечке, который несколько недель спустя у тебя на глазах обрядился священником и служил мессу у вас в зале, и никто при этом не высказал ни малейшего возмущения его кощунственным обманом. Итак, дядя Сесар сказал, что он на время отпуска отправляется в горы и пришлет тебе оттуда красивую открытку. Ты поверил ему лишь наполовину и, выйдя на балкон, проследил, как он уйдет, а потом, как вы договорились, подал знак сеньорите и вы с нею выскользнули из дому. На улице завывали сирены.

— Сердце мое, ангел, золотко мое... Сможешь ли ты выстоять?

— Смогу, сеньорита.

— И ты выдержишь все угрозы и пытки?

— Выдержу, сеньорита.

— Сердце мое, бедняжка ты мой... Повторяй за мною: господь мой, Иисус Христос...

— Господь мой, Иисус Христос...

— Истинный бог и человек...

— Истинный бог и человек...

Барселона не была еще тогда преуспевающим и цветущим городом, где живет миллион с лишним чванливых, довольных своим положением трупов. Как выглядели люди, которые на поспешно возведенных баррикадах и в патрулях охраняли свое едва обретенное человеческое достоинство и с гордостью поднимали кверху сжатые кулаки, ты легко можешь узнать благодаря документам и пленкам, хранящимся в фильмотеке на улице Ульм: ослепительная и жесткая улыбка, длинные баки, густая щетина на щеках, красные платки вокруг шеи, синие комбинезоны из хлопчатобумажной ткани и сдвинутые набок пилотки милисиано — народной милиции рабочих, крестьян, батраков: грубая и неотесанная мужественность народа, в зрелом возрасте наконец-то впервые увидевшего жизнь, которую извечные и упорные враги тут же, среди всеобщего равнодушия отняли у него; точно такие же целительные мужество и суровость ты увидел несколько месяцев назад у негров и мулатов в Гаване, когда попал туда и тебя преследовала любовь юного существа, приведшая к тому, что случилось потом на бульваре Ришара Ленуара, и тому, что происходит с тобой теперь, когда ты знаешь, что жизнь отпущена тебе скупой мерой.

— ...воскрешение плоти...

— долгой жизни...

— долгой жизни...

— Аминь.

Вот так, призывая на помощь более поздние впечатления и материалы фильмотеки, ты мог представить себе необычный облик барселонских улиц в те революционные дни августа тридцать шестого года и заполнить пустые места в истории, герои которой возникали в отрывочных и не связанных между собою воспоминаниях. Аристократы, предприниматели, священники и барчуки, дамы и современные петиметры — все они покинули город, и вместо них толпа заживо погребенных наводнила центр, словно суровое воинство, чудом восставшее из могил какого-нибудь кладбища в предместье. Дома, увешанные флагами и плакатами, казались грязными и обшарпанными; и под тоскливый вой сирен, пронзавших влажный и горячий воздух, группы зевак разглядывали следы пуль и, пересмеиваясь, смотрели на лиловый отблеск пожаров.

Пылали церкви в кварталах Сарриа и Бонанова, женские монастыри, а ты, вцепившись в костлявую руку сеньориты Лурдес, весь

с ног до головы в белом, с бесценной ладанкой на шее, направлялся к месту мученичества и без конца повторял в блаженстве дорогие имена Иисуса и Марии. Сеньорита Лурдес в картинно накинутой кружевной мантилье шла рядом и на ходу громким голосом читала молитвы и притчи по книге в бархатном переплете с металлическими наугольниками.

— Святой дух, благослови меня... тело господне, спаси меня. Кровь господня, напои меня...

Ты же в это время думал лишь о том, как ты выглядишь, и, предвкушая тот великий миг, когда невесомый венец встанет над твоею головой, утешал себя мыслью, что после смерти твои локоны станут белокурыми и тогда ты уже ничем не будешь отличаться от Инес и Тарсисио, Пелайо и Панкрасио, Эулалии и Домингито дель Валь.

— Стой! Куда идете?

Злой человек, бородатый и плохо одетый, стоял перед вами подбоченясь.

— В единый и истинный храм господа нашего Иисуса Христа,— единым духом выпалила сеньорита Лурдес.

— Разве вы не видите, что церковь горит?

— Милость господня защитит нас от пламени.

Ты помнил, как к вам подошли еще люди, вооруженные и грязные; они уставились на вас с любопытством и насмешкой.

— Ишь какая парочка!

— Святое сердце Иисусово, полагаюсь на тебя, — начал было ты.

— Что ты сказал, пацан?

— Отстань от них, они — того...

— Да исполнится воля господня.

— Давайте проходите, — сказал первый.

— Церковь — храм господа. Он примет нас в свои объятия.

— Не горячитесь так, добрая женщина. Церковь в огне. И нам приказано не пропускать никого.

— Вперед!— воскликнула сеньорита.

— Я ж говорю, они — того...

— Успокойтесь.

— Страсти господни, укрепите мой дух... О добрый Иисус, услышь меня.

— Сейчас же возвращайтесь домой,— сказал человек.— Если хотите молиться — молитесь дома, никто вам не запрещает.

— О Иисус, жизнь моя.

— Идите, идите! С женщинами и детьми мы не воюем.

Что было дальше, ты помнишь очень смутно и не мог бы с полной уверенностью сказать, набросилась ли на них сама сеньорита (как тебе иногда представляется) или просто-напросто анархисты схватили ее за рукав, когда она, таща за собою тебя, хотела прорваться к церкви (это наиболее вероятно).

— Мы мученики, мы мученики, — напрасно повторял ты.

Ваше возвращение под конвоем двух анархистов было невеселым. Белый костюмчик был весь перепачкан, над головой не парил сияющий венец, и, рыдая, ты с горечью думал о том, как, не успев начаться, непоправимо рухнула твоя карьера святого. Сеньориту Лурдес, которая сумела превозмочь слезы, кажется, заботило, и не без основания, какая встреча ожидает вас дома.

— Это было безумием, — стонала сеньорита. — Она никогда мне не простит.

И в тот вечер поднос с чашкой шоколада и бисквитами, как обычно, поджидал тебя, только на этот раз твоя мать не разговаривала с сеньо-

ритой Лурдес, а если обращалась к ней, то лишь с суровыми упреками в легкомыслии и излишней экзальтированности.

— И без того времена жестокие... Неужели мало я настрадалась...

Сеньорита лишь плакала втихомолку, а через несколько дней она и вовсе исчезла из дому. Твоя мать настежь распахнула окно в ее комнате и только сказала, что в комнате дурно пахнет.

Вот так ты единственный раз в жизни погрузился в мир религии, но потом все время, пока шла война и вы с матерью и дядьями укрывались в селении на юге Франции, тогда ты не вспоминал больше ни о мучениках, ни о своем алтаре. Когда же победили националисты и общество вновь обрело тебя, твои воспитатели, не гнушаясь запугиванием, навязали тебе под видом веры свою мазохистскую религию, от которой ты, столкнувшись с реальной жизнью, очень скоро избавился. С тех пор Христос стал для тебя далеким, и ты без него жил и будешь жить в мире, по крайней мере, до того дня, когда, — если сам не укоротишь отпущенного тебе срока и не падешь беззащитный, как это было на бульваре Ришара Ленуара, потеряв сознание и все признаки жизни,— когда церковники с елеем и распятиями безнаказанно набросятся на твое тело, готовое распасться и превратиться в корм для червей, чтобы выставить его на всеобщее обозрение в честь и во славу короны и скипетра своей честолюбивой и высокочтимой касты.

«Реквием» Моцарта кончился; свежие порывы ветра улеглись, и полумрак мягко затуманил очертания предметов, казалось, сгущая тишину в полях, которую нарушало лишь пение цикад и звучное квакание лягушек.

Моментальный снимок, сделанный в саду несколько месяцев спустя после смерти матери, вызвал в памяти Альваро разговоры и интонации той осени сорок четвертого года и помог точно назвать по именам всех этих далеких ему людей. В углу фотографии, но тем не менее владычествуя над всеми, с видом божества, отсутствующего и недоступного, — дядя Эулохио, опираясь одной рукой на плечо Альваро, он строго смотрел в объектив черными вдохновенными и горящими глазами.

— Европа погибла, сын мой. Запад вступил в эпоху биологического упадка, и никакое врачебное вмешательство не может его спасти. Роковой цикл жизни: молодость, зрелость, агония, смерть... Нам выпало жить в эпоху последних судорог... Как в Риме, когда умер Феодосий, как в Византии при династии Константинов...

На выцветших страницах альбома дядя Эулохио появлялся довольно часто, заснятый то со своими загадочными астрономическими приборами, то во время посещения тенистых кофейных плантаций в Никарагуа, то в качестве редкого гостя семейства Мендиола на Кубе. В молодости он душой и телом отдался изучению и описанию звезд, и теперь еще на чердаке среди траченных молью и оплетенных паутиной вещей, которые нет-нет да распорет проскользнувший в щель ставни луч света, можно было обнаружить следы его первой и забытой страсти: разбитую и ненужную линзу, полинявшую карту Луны, рисунок северных созвездий. Позднее, увлекаемый другими интересами, он оставил астрономию ради астрологии, потом, почти без перехода, от оккультных наук кинулся в обоснованные религии; когда ему перевалило за тридцать—позади уже был ряд неудавшихся биржевых операций, приобретение марок и русских железнодорожных акций перед войной 14-го года, облигаций Шанхайской трамвайной компании и приличного пакета бон «Никарагуа пост компани» всего за каких-нибудь несколько месяцев до начала войны с Китаем и краха торговли кофе на мировом рынке в 24-м году,—он вступил в зрелый возраст, преддверие долгой старости.

Несколько выцветших фотографий воспроизводили облик молодого человека с усами и остроконечной бородкой, статного и энергичного, который, с хмурым видом откинувшись на подушки турецкой софы, читал Кайзерлинга; на других фотографиях этот расист и одновременно любитель музыки, казалось, размышлял о катастрофических предсказаниях Шпенглера и с явным восторгом внимал мелодичным аккордам — «Полет Валькирий», решил Альваро, — которые неслись из старомодного граммофона с трубой.

Испанская гражданская война застала дядю Эулохио в Гаване, и в тот же день, 18 июля 1936 года, ровно в семь часов вечера по местному времени он добровольно предложил свои услуги консулу его величества короля Виктора-Эммануила III, не взирая ни на свой преклонный возраст, ни на свое слабое здоровье. Сеньору Романо Бальбо, который был другом старого Мендиолы, удалось переубедить дядю Эулохио и вернуть его собственному перепуганному семейству, в лоне которого он и пребывал до самого конца войны. Возвратившись в Барселону, поседевший и осунувшийся от недомогания, дядя Эулохио проводил все время либо за чтением «Энциклопедии» Эспасы, либо за новым захватившим его увлечением — разгадыванием кроссвордов. В отличие от своих братьев, он никогда не верил в победу нацистов и по утрам листал газеты — «Ла вангуардиа», «Эль диарио де Барселона» и «Коррео Каталан» — неизменно со скептическим видом.

— Кто бы ни победил,— говорил он Альваро,— результат все равно будет один. Пока Европа истекает кровью, Азия точит зубы.

— Германия не может проиграть войну,— заявлял дядя Сесар.

— Комфорт, легкая жизнь приводят к вырождению расы... Рождаемость падает. В Сибири киргизские женщины рожают, не слезая с седла.

— Но имея секретное оружие...

— Ни одна армия не сможет остановить этой лавины... Как в пятом веке, во время нашествия гуннов и остготов.

В те печальные недели, предшествовавшие смерти матери, Альваро с беспокойством следил за положением на Восточном фронте: медленно, но непрерывно немцы сдавали позиции. Дядя и кузен в ожидании развязки обосновались у них в квартире. В ночных кошмарах и во время бессонницы угрюмые и зловещие фразы, брошенные дядей Эулохио, обретали в сознании Альваро осязаемую и тревожную четкость. Когда мать умерла, дядья увезли Альваро отдохнуть в родовое имение. И тут же, сразу, словно вырвавшись из его собственных тревожных и тоскливых дум, исторические события быстро пошли к развязке.

Высадка союзников в Нормандии, сдача Парижа, вторжение Красной Армии в Польшу и Румынию точно подтверждали все пессимистические прогнозы дяди Эулохио, и дядя Сесар, восторженный читатель «Майн кампф», пылко пророчивший немцам победу, с поникшим и подавленным видом грустно рассуждал о возможностях соглашения с Черчиллем, которое помогло бы остановить наступавшую лавину русских. День за днем Альваро с огорчением разглядывал на школьной карте мира внушавшее ужас красное пятно, которое жадно простирало щупальца по обессиленной Европе. Абстрактный страх перед войной вообще постепенно превратился в беспокойство и заботу о собственном будущем: где найти им жертву лучше, чем он, юный Альваро, отпрыск добродетельной и здравомыслящей семьи, хрупкий наследник изящного, но одряхлевшего мира? Те, кто убил его отца, пощадят ли они его? Не готовят ли они и ему страшную судьбу дяди Лукаса или кузена Серхио?

Дядя Эулохио дал ему как-то томики «Заката Европы» и «Упадка белой расы», и все лето и осень 44-го года Альваро читал и перечитывал их залпом, завороженный неотвратимостью зла и чувствуя себя бессиль-

ным противостоять ему. Обескровленные, разделенные, лежавшие в руинах европейские страны не могли соперничать ни по территории, ни по населению с суровыми и закаленными в боях участниками советского блока. В решающий момент массы отказались бы поднять оружие против захватчиков: отказались бы коммунисты, отказались бы социалисты, говорил дядя Эулохио, и, как знать, может, даже демократы и либералы. И без того непрочное равновесие нарушилось бы — чаша Востока решительно перетягивала. После первого же натиска варвары очутились бы на Пиренеях.

Для Альваро, попавшего под влияние дяди Эулохио и его книг, это были месяцы тревог и беспокойства, волнений и страхов, а между тем жизнь вокруг шла своим чередом, с виду спокойная и веселая, и грозивший немцам жестокий и неминуемый конец никак на ней не сказывался. По воскресеньям и в праздники дядя Эулохио поджидал Альваро у дверей интерната, и, отказавшись от развлечений, таких соблазнительных в его возрасте, Альваро совершенно добровольно запирался дома, чтобы погрузиться в устрашающе ясные размышления о немощи Запада — результате вялой и изнеженной жизни — и своей собственной немощи, отчасти вызванной онанизмом; он сравнивал низкую рождаемость во Франции — несмотря на огромные успехи в области гинекологии — со стремительным размножением киргизов, у которых женщины рожают, не слезая с седла, а едят они, по словам дяди Эулохио, главным образом по нескольку килограммов сырого мяса в день, пищу, необычайно калорийную и богатую витаминами, что является источником и причиной их алчных захватнических устремлений и неумеренных воинственных вожделений. Уже не раз старая и преданная служанка дяди — менее преданная, однако, уточняла тетя Мерседес, чем та, легендарная, которая в конце жизни, полной лишений и труда, умирая, оставила в наследство все свои сбережения надменному его деду, всю жизнь эксплуатировавшему ее,— так вот, служанка дяди вскакивала по ночам с криком: «Барин, киргизы!» Альваро же весь в поту, с замиранием сердца просыпался в белом и призрачном дортуаре у себя в интернате и благодарил бога за то, что вокруг, к счастью, на таких же, как у него, постелях храпели его товарищи, пока еще (пока!) не попавшие в руки киргизов и их женщин, которые рожали, не слезая с седла; и он повторял бесчисленное множество раз: «Господи, не оставь меня»,— повторял до тех пор, пока усталость не побеждала и сон, сжалившись, не одолевал его.

— Мане, текел, фарес, — изрек дядя Эулохио, когда распространилась весть о самоубийстве Гитлера.

— Американцы не слепые.— Дядя Сесар говорил теперь без всякой убежденности. — Если мы вернем короля и восстановятся партии...

— Я стар, и мне в жизни уже ничего не надо. А ты, бедняжка Альваро, что будет с тобой?

Беспричинный страх незаметно проник ему в кровь, и страстное намерение бежать в далекие и надежные страны приобретало приятную осязаемость той соломинки, которая только и остается утопающему.

— На твоем месте я бы отправился в какую-нибудь страну поспокойнее вроде Кубы, — говорил дядя Эулохио. — Ей не грозят ни революция, ни войны. Твой кузен Эрнесто страшно богат, и он мог бы помочь тебе на первых порах. Как раз в последнем письме он писал мне, что отправил Хуана Карлоса в Соединенные Штаты получать диплом инженера... Аделаидита же необыкновенно красива и обаятельна, как говорится, бутон... Я показывал тебе вырезки из «Диарио де ла Марина», где писали об ее первом выезде в свет?

И тогда на смену холодному поту и сердцебиению приходили успокоительные сны о счастье и блаженстве на райском острове, под защитой сил близких, благосклонных и дружественных, вековой гарантии спокойного и длительного порядка. Небольшой особняк Пунта Горда в Сьенфуэгосе, сахарный завод в Крусесе на пожелтевших фотографиях из альбома представлялись прохладным оазисом наслаждения и покоя, и дядя, лениво развалясь в кожаном кресле и облокотившись на том «Географии Кубы», который несколько недель назад прислал ему из Гаваны Эрнесто, размахивал ими перед глазами Альваро, точно ослепительным миражем.

— К тому же великолепный климат, целебный климат для ревматиков и подагриков. Вот послушай: «Куба расположена между двумя тропиками; на климат благотворно влияют морские течения, так что зимы там почти нет. Согласно климатологической шкале знаменитого Кеппена, климат на Кубе мягкий, саванный, без зимы».

Бывало, воскресными вечерами, покой которых нарушался лишь стремительным появлением служанки, приносившей поднос с двумя чашками и чайником китайского фарфора, фантазия дяди Эулохио переносилась в другие края, столь же удаленные от Европы, но не менее безопасные.

— Если тебе не подходит Карибское море, отправляйся выращивать кофе в Кению или Анголу. Я недавно читал необычайно интересную статью одного миссионера. Тамошние негры очень миролюбивы, питаются они травами и полевыми цветами, а белых слушаются и почитают. Падре рассказывает, что ему не раз приходилось вступать с ними в пререкания: эти бедняги собирались воздать ему божеские почести...

Месяц за месяцем, точно песок воду, впитывал Альваро его ученые рассуждения, пока, наконец, эти чудесные встречи не прекратились почти совсем: дело близилось к лету, а потом помешала захватившая Альваро страсть к Херонимо. Осенью здоровье дяди снова заметно ухудшилось, и во время редких, превратившихся в обязанность посещений племянника, Эулохио сидел молчаливый, погруженный в свои мысли, краем глаза не переставая следить, как сновала туда-сюда с таинственными отварами и настоями старая служанка. Когда Альваро пришел в последний раз, дядя в упор посмотрел на племянника и распорядился: «Ступай, оставь меня». А на рождество тетя Мерседес коротко сообщила ему, что, по указанию врачей, дядю поместили в санаторий.

Альваро еще долгое время сохранял теплые и добрые воспоминания об этой яркой и необычной дружбе, и во время своей поездки на Кубу, уже после победы революции, он, бывало, часто вспоминал дядю, и на губах у него появлялась улыбка, когда он пытался представить себе, как реагировал бы Эулохио, узнав об экспроприации и о бегстве семейства Мендиола в Майами, о восстаниях негров и массовых убийствах миссионеров в Анголе и Кении.

Что же касается дяди Сесара, то, когда прошел первый страх, он, подобно остальным представителям своего класса — в годы, когда делались тщетные попытки закрыть границы и лицемерно отзывались послы, — встал в строй, сплачивая соратников вокруг человека, который всегда был, есть и будет наилучшим защитником его кровных интересов. Много лет спустя, уже отгороженный от семьи барьером, бесконечно более прочным, чем случайные и всегда нестойкие кровные узы, Альваро даже фотографировал дядю Сесара для газеты в кругу таких же, как он, верноподданных, которые пылко приветствовали Благодетеля во время одного из его случайных приездов в Барселону. Однако и этой последней его фотографии было достаточно, чтобы понять, что простая логика и здравый практический ум должны были в 62-м году, опираясь на экономический взлет и развитие туризма, привести его, как и многих ему

подобных, к осторожной, очень осторожной защите общеевропейских либеральных ценностей на тот черный день, когда Благодетеля уже не будет с ними и они снова, как в ту полную отчаяния зиму 45-го года, ощутят необходимость в короле — детали хоть и запасной, но весьма декоративной.

Неожиданно зажегся свет. Ты и не заметил, что наступила ночь, и все еще сидел в саду, хотя уже не видно было ни стремительного полета ласточек, ни красноватой каймы сумерек над ломаным контуром гор. Ты все еще держал в руках семейный альбом, но в темноте он был ни к чему, и, поднявшись, ты налил себе стакан фефиньянеса и залпом выпил его. Над черепичной крышей проступили первые звезды, и на фоне темного неба едва вырисовывался горделивый силуэт петуха на флюгере. В дверях на галерее показалась Долорес. Зеленые брюки обтягивали ее бедра, узкие, как у мальчишки. Она шла к тебе, зажав большим и указательным пальцами правой руки зажженную сигарету, и, как ты и предвидел, украдкой бросила взгляд на бутылку — сколько осталось; но на лице у нее не отразилось никаких чувств, просто взглянула — и все. Глаза ее смотрели дружелюбно и благожелательно, по губам скользнула еле заметная улыбка, свободная рука чуть шевельнулась, обозначив сдержанное приветствие, и легла на твою руку. Будто сквозь сон ты слышал, как она говорила тебе о приготовлениях к ужину, как напомнила, что пора принять капли, прописанные доктором Аньером, и поинтересовалась, что у тебя за альбом. Ваши взгляды встретились, и на миг воскресло сладостное ощущение былой игры и чувства сообщничества — призрачная вера в духовное единение, которое не разрушит ни время, ни одряхление. Снова в ветвях эвкалиптов прошумел ветерок и удержал на твоем лице небрежно-щедрую и ласковую прохладу. Немного спустя появилась служанка со стаканом воды и каплями. Ты залпом выпил лекарство, и, обняв друг друга за талию, вы направились к дому, а служанка принялась собирать оставленные стаканы, ведерко со льдом, бутылку фефиньянеса и во весь голос звала детей на кухню. Долорес поставила пластинку сначала. Аккорды «Introitus» властно нарушили тишину, и, откинувшись на диване, ты снова открыл альбом.

Двоюродный брат Хорхе сделал тогда этот снимок «лейкой» последней модели, которую ему подарили родители по случаю успешного окончания первого курса университета, и Херонимо был не таким, каким ты вспоминал его теперь, восемнадцать лет спустя: кошачий взгляд, черные брови, губы, сложенные в хитрую усмешку, а сам широкоплечий, статный и бедно одетый. Тут же стояли в ряд большие пустые корзины, которые он привез, а вокруг него, высунув язык, в покорном и грациозном восхищении скакал неизвестно откуда взявшийся пес. Дядя Сесар, одетый по тогдашней моде с головы до ног в белое, объедал кисть винограда. Остальные статисты были, очевидно, друзья Хорхе, а может, просто зеваки или соседи. Яркий свет сентябрьского дня затуманивал даль. Была самая пора сбора винограда.

Ты жил еще в интернате, когда он как-то вечером появился у вас в имении и спросил, нет ли работы, и хотя ваш управляющий, старый Хоаким, всегда относился подозрительно к бродягам, его он нанял. Он назвался Херонимо Лопесом — ни пропуска, никаких других бумаг при нем не было, одна только рекомендация от какого-то приходского священника, которого в вашей округе никто не знал; по профессии он был поденщик, по семейному положению — холостяк, от роду ему было тридцать два года. Он был сильным и смуглым и говорил с заметным южным акцентом.

Все это, естественно, вызвало недоверие, однако серьезность и необычайная добросовестность, с какими он относился к любой работе,

тотчас завоевали ему всеобщую симпатию. Когда ты приехал домой — это было в конце июня, после окончания пятого класса коллежа,— Хоаким уже приглашал его к своему столу и обращался с ним точно с собственным сыном. Херонимо был скуп на слова, спать ходил в стойла, а по воскресеньям, вместо того чтобы идти в кафе, как это было заведено, занимался какой-нибудь работой по дому или же отправлялся в лес. А если и появлялся в селении, то лишь затем, чтобы запастись на неделю табаком, и тут же возвращался обратно.

Ты, с головой ушедший в размышления, вызванные усердным чтением сочинений Шпенглера и частыми беседами с дядей Эулохио, не замечал его, хотя и видел постоянно, так же как и других батраков, когда он во время жатвы, босой, подпоясанный поясом из черной материи, в деревенской плетеной шляпе, стегал хлыстом заупрямившуюся кобылу. Может, ты даже открывал в своей комнате окно, привлеченный знакомым шумом молотьбы, и смотрел на светлый хлеб на току, на проворную карусель, в которой кружились человек и лошадь, на прекрасное и древнее занятие — как отделяют зерно от соломы и потом веют его, управляясь острыми и легкими вилами. В те дни жизнь проходила перед твоими глазами спокойная и ненастоящая, точно череда цветных лубков в волшебном фонаре, а между тем тайный враг уже рыл подкоп под эту жизнь, и она рано или поздно должна была рухнуть. Замечал ли ты его тогда? Или принимал за еще одну пустую и ничего не значащую деталь увлекательной и лживой картинки?

Шли дни, и однажды ты увидел его, когда он, как всегда босой, с мотыгой на плече, шел через сад к огороду, в то время как вы с кузенами играли привычную партию в крокет и кто-то из вас обвинял Хорхе в том, что он будто бы нечестно играет. И все вы были, думаешь ты сейчас, точно таким же анахронизмом, как эти надутые господа, сфотографированные пятьдесят лет назад для альбома, — нарядной деталью пейзажа, давно вышедшим из моды, устарелым орнаментом. Он поздоровался с вами, коснувшись рукою полей шляпы, и скрылся за дубами, оставив вас, как тебе помнится, витать в облаках, вне времени, в вашем никчемном небытии.

— Что-то не нравится мне этот парень,— сказала как-то тетя Мерседес, на минуту отвлекаясь от вышивания. — А как он тебе, Сесар?

— Мне?

Дядя оторвался от журнала — наверняка это был «Лайф» на испанском языке, потому что времена «Сигнала»* прошли.

— А почему ты спрашиваешь?

— В селении его никто не знает. Говорят, он пришел без документов.

— А Хоаким им доволен. Он не задира и дело знает. К тому же у него была рекомендация от священника...

— Если он такой рьяный католик, то почему же он не ходит в церковь?

— Откуда я знаю! Не тащить же его на аркане.

— Ты не говорил о нем со священником?

— Послушай, Мерседес. Главное, чтобы он был исполнительным и работал как следует. Не надо быть большим католиком, чем сам папа.

На следующее воскресенье, сидя уже в двуколке, которая доставляла вас в церковь, одетая в мантилью и держа в руках молитвенник, тетя Мерседес снова ринулась в наступление.

— Сесар, ты видел?

— Что?

— Андалузец-то!

---

* Немецкий фашистский журнал.

— Что такое?

— Как он поздоровался с нами по дороге...

— По-моему, нормально, как все батраки здороваются.

— Конечно, только я его все-таки не пойму. У этого человека что-то на уме.

— С чего это ты взяла?

— У меня нюх. Ты посмотри, как вызывающе сверкают у него глаза...

— Все это твои выдумки, Мерседес.

— Я уверена, он заодно с партизанами.

Это слово упало в твою застывшую жизнь, точно камень, круглое и твердое, и вслед ему ринулась лавина смятения, разом перечеркнувшая реальный мир, столкнув тебя, безоружного, с прежними, когда-то неотступными ночными кошмарами. Может, он и есть тот самый убийца, которого ты боялся? Палач, который в свое время хладнокровно казнит тебя,—не он ли и есть ваш новый батрак? Человек, который каждое утро проходил перед тобою и улыбался тебе, был твоим врагом. В один прекрасный день он с ножом войдет в твою комнату и зарежет тебя. Нет, невероятно. В это нельзя было поверить.

Сомнения мучали, в тебя вселилось недоверие к миру, в котором ты жил, и к его хваленым ценностям. С тех пор у тебя вошло в привычку шпионить за Херонимо. Ты тайком подкарауливал его, когда он спускался поливать грядки, и украдкой шел за ним по пятам, когда в воскресные дни он, с виду беззаботный и праздный, вдруг нырял в лес. Ты делал это, хоронясь от всех, наслаждаясь таинственностью этой игры, став уже почти его соучастником, и с каждым разом все больше сомневался в том, что он может быть палачом, а заодно и в исторической необходимости насилия.

Как долго плел ты паутину, а он добродушно все это терпел? Потому что не мог не заметить, как ты следишь за каждым его шагом,— почему бы иначе он несколько дней подряд вдруг оборачивался и с иронией, и в то же время с жалостью смотрел в ту сторону, где ты прятался в кустах. Быть может, ему, как и тебе, даже доставляло удовольствие тянуть эту игру, которая, словно сеть, сотканная из общих секретов и близости, тонкими нитями соединяла вас? Он только улыбался, а ты, не пытаясь даже оправдаться и никак не объясняя, почему стоишь здесь и молчишь, поворачивался и шел назад, выжидая случая, когда снова, точно ревнивый любовник или разбойник, сможешь последовать за ним.

Кто из вас первым нарушил игру — он или ты? Наверно, оба сразу в тот день, когда ты неожиданно столкнулся с ним в каштановой роще и он поздоровался с тобою. Он опустил мотыгу на землю, оперся на нее и, достав из-за пояса кисет с мелко нарубленным табаком, свернул две цигарки. Первую он свернул для тебя.

— Кто подарил тебе этот образок? — спросил он.

Ты смутился и, теребя золотую цепочку тети Мерседес, стал объяснять, чтобы сгладить неловкость, что эта вещь чудодейственная и на ней особое благословение.

— Чье? — спросил Херонимо.

Об этом ты и сам ничего не знал и, хотя понимал, что его это мало интересует, принялся рассказывать легенду о двух путниках, которых гроза застала в горах, и одного из них поразила молния, а другой спасся благодаря медальону с образом пресвятой девы.

— Любопытно, — сказал Херонимо. — А у нас в деревне случилось как раз наоборот.

Он щелкнул зажигалкой, закурил сигарету и, не решаясь протянуть ее тебе, стоял и смотрел.

— Рассказать?

— Расскажи, — ответил ты.

— Два земляка пошли гулять, началась гроза, и того, у которого был медальон, убило молнией.

— Почему?

— Благородные металлы притягивают молнию, — ответил он, — разве ты не знаешь?

Мимо по тропинке шли с поля сыновья Хоакима, Херонимо подмигнул им и, как всегда, поздоровался, подняв руку к полям шляпы. Впечатления от этой встречи, от его манеры обращаться на «ты» и от поразившей тебя истории о двух его земляках еще не улеглись, когда через несколько дней ты — уже без медальона — опять столкнулся с ним.

Это опять — ты же помнишь! — вышло случайно: был уже поздний вечер, тебя мучали москиты, и ты напрасно слонялся из комнаты в комнату, но, куда бы ни зашел, везде противно и тонко звенели москиты: ты решил, наконец, пойти спать под открытым небом и, откинув щеколду, с галереи спустился в сад. Все небо было затянуто тучами, и, действительно, не прошло и нескольких минут, как начало накрапывать. Мышцы онемели от усталости, не торопясь, ты направился к сеновалу, примыкавшему к конюшне.

Дверь была плотно прикрыта, и ты толкнул ее. Дверной проем и падающий через него слабый свет оставались у тебя за спиною, и ты на ощупь продвигался вперед, шаря в потемках по соломе, чтобы устроить себе постель. Внезапно тебя ослепил яркий свет.

— А, это ты?

Херонимо направил фонарь на тебя, и хотя его движения были стремительны, а ты стоял, хлопая глазами, ты все же успел заметить рукоятку револьвера, который он спрятал за пояс.

На миг Вселенная пошатнулась, но Херонимо смотрел на тебя спокойно и, не торопясь, скручивал цигарку.

— И напугал же ты меня, земляк.

— Никак не мог заснуть, — пробормотал ты. — Москиты одолели.

— А меня здесь не трогают. Иди-ка, ложись. Хочешь, возьми мое одеяло...

— Не надо.

— Подложи под голову — лучше заснешь.

Вот и все — по крайней мере все, что ты помнишь,— ты ничего не спросил, и он ничего не стал объяснять про револьвер, ибо ваша дружба уже началась, и это было прекрасное сообщничество...

Сколько раз потом ты поднимался среди ночи, проходил через заполненный призраками коридор, осторожно пересекал спальню дяди Сесара, пробегал галерею, молча мчался по саду, останавливался перед сеновалом, до боли колотил в дверь костяшками пальцев и, как пароль, шепча свое имя, входил к нему.

Херонимо встречал тебя с улыбкою, раскуривал цигарку, отдавал тебе одеяло и гасил свет. Разговаривали — в том смысле, в каком это слово употребляется, — разговаривали вы мало. Да и что у вас было общего? Дружеское «ты», простота в обращении и чисто животное взаимопонимание — все это за пределами слов.

Доверял ли он тебе? Безусловно. Не раз, пока он спал, ты протягивал руку и, благодарный, ощупывал надежную выпуклость револьвера у его пояса.

Однажды он показал тебе фотографию. Это было, когда ты пришел ночью на сеновал и в первый раз не застал там Херонимо — дрожа от холода, ты прождал его до самой зари. Он пришел из лесу, скользнул, словно тень, и, увидев, что ты тут и не спишь, потрепал тебя по волосам.

Ты разглядывал темноволосую девушку на фото, которая обнимала ребенка, а Херонимо пояснил: «Сын и жена».

— А где они?
— Не здесь.
— А ты с ними не видишься?
— Может, удастся в конце года.

Несколько раз в тот жаркий август и потом в сентябре, когда собирали виноград, ты приходил ночью на сеновал, и там оказывалось пусто. Херонимо возвращался из лесу к рассвету, но теперь ты уже не беспокоился, а он умывался и шел работать вместе с остальными батраками.

Это случилось в начале октября — ты хорошо помнишь, как раз перед началом занятий в школе, накануне возвращения в Барселону. Ты напрасно прождал его всю ночь — он так и не пришел. Ты вернулся к себе, окоченевший от холода; тревога и беспокойство мучали тебя, тревога и беспокойство, которых ты потом долго не знал и узнал вновь лишь гораздо позднее, когда уже был влюблен в Долорес и жил на улице Вьей-дю-Тампль, казалось, созданной для любви и счастья, а ты — по собственной вине — не имел ни того, ни другого. Это произошло в один из тех нищих и уродливых годов, которые потом были наречены Годами Мира.

Хоаким не понимал, в чем дело (Херонимо ушел, не взяв расчета), и когда под вечер у вас появились жандармы и стали расспрашивать про него, сердце твое забилось как сумасшедшее, а в голове загудело, точно к ушам приложили радужную перламутровую раковину.

И тогда ты узнал — из их разговоров с Хоакимом, дядей Сесаром и ликовавшей тетей Мерседес, — что на самом деле звали его не Херонимо, что он тайком перешел Пиренеи во главе целой шайки преступников и что он — у них есть доказательства — один из вожаков партизан, которые действуют в этом районе.

— Важная птица, — сказал жандармский сержант. — Вчера ночью мы заметили его в нескольких километрах отсюда, когда он шел к своим в горы, и во время перестрелки он ранил одного из наших.

Каким печальным было твое возвращение в интернат — в угрюмые классные комнаты и сонные коридоры; каким холодным и никчемным показался тебе школьный мир с его покаянием и грехами, мессами, уроками и молитвами — мутное, однообразное существование; горечь и злоба копились у тебя в груди капля за каплей, до тех пор пока, наконец, ты не вырвался на волю, поступив в университет.

О Херонимо ты больше никогда ничего не слышал. Может, после этой отважной, но неудавшейся борьбы он опять перешел границу, а может, думалось тебе иногда—и при этой мысли сердце твое, даже спустя многие годы, начинало биться в тревоге, — может, он лежит в безымянной могиле, в каком-нибудь глухом углу вашей — вашей ли?— испанской земли. Как же никчемна, как глуха должна быть твоя родина — именно к этой мысли ты приходил временами, — если его щедрый дар оказался ненужным. Но нет, думалось тебе, не может быть, чтобы это был конец, ведь ждут же твою страну лучшие времена, и ты поймешь и заставишь понять остальных, что Херонимо, — или как там звали этого человека, чья чистота разбудила в тебе нравственное чувство, — что умер он за всех и каждого из нас, да ты уже и понял — боже мой, как больно и как стыдно было тебе, когда ты это понял! — что умер он и за тебя.

Более десяти лет назад, еще юношей, накануне поступления в университет на первый курс юридического факультета, ты однажды рассматривал семейный альбом, но не как сейчас, желая понять, на что было потрачено время, и подвести итог своим возможностям (точно так же подводил некогда итоги твой дед в расходных книгах), а с несколько иллюзорной надеждой при помощи альбома угадать неясные и сомнительные вехи собственного будущего (нечто вроде того, как

авгуры рассматривают внутренность жертвенных животных или же как клиент усаживается перед гадалкой с картами). День за днем копился в тебе протест против жизни, которую щедро подарил тебе глупый акт совокупления, и ты искал объяснение и корни протеста в природе ненавистного тебе генеалогического древа. Невозможно, думал ты, чтобы такое живое и сильное чувство, такое серьезное и искреннее отклонение могли возникнуть из ничего и развиваться в пустоте, подобно воздушным корням орхидеи. Какой-нибудь безвестный член твоего рода, должно быть, уже испытал это до тебя и нетронутым передал тебе, заплатив за это черными годами компромисса и притворства. То, что теперь в тебе созрело и дало плоды, некогда появилось в том, другом, и он со страхом ощущал, как это зарождается в нем, подобно раковым метастазам, которые растут и распространяются, в то время как никто вокруг ничего не видит и не замечает. Этот порыв, мрачный и в то же время светлый, тот, другой, скрывал, быть может, как благословение, а может, как позор, во всяком случае, он жертвовал упрямой правдой своего протеста ради тупого и беспочвенного одобрения своего клана. Тебе, его наследнику, удалось обрубить связи с кланом, однако полностью освободиться не удалось — от семьи, от своего класса, от своего круга, от земли; твоя жизнь не могла быть не чем иным (узнал ты впоследствии), как долгим и трудным путем отречения и отдаления от своих.

Окончательно установив свою родословную (отцовскую линию с ее святошами и экстравагантными чудаками и материнскую — с ее психопатами и экзальтированными душами), ты принялся выискивать возможных предшественников, нащупывая в их жизнях скрытую тропинку, которая должна была на ощупь привести тебя к истине. Ты располагал скудным материалом: семейный альбом, несколько писем, личные вещи, давние истории, услышанные в забывчивую пору детства. Материнская линия (теперь почти совсем угасшая), именно благодаря почти полному отсутствию вещественных свидетельств, давала тебе возможность со скрупулезным усердием вести возбуждающую воображение игру в гипотезы и догадки. Так, обнаруженной однажды в чулане партитуры «Gymnopédies» Эрика Сати, некогда принадлежавшей покойной тетке Гертруде, и посланной ею же почтовой открытки, где были изображены развалины Таормины, из которых в чересчур синее небо поднимались стройные колонны (единственные дошедшие до тебя воспоминания о тетушке), — этого хватило тебе, чтобы воссоздать облик существа застенчивого и чувствительного, мягкого и склонного к меланхолии (младшая сестра твоей матери, тетка Гертруда, умерла вскоре после твоего рождения, в театре во время спектакля от сердечного приступа); или, например, библиотека двоюродного деда Нестора — «дяди Нестора» (которого боготворила твоя бабка со стороны матери и о котором молчала-помалкивала вся остальная родня), где ты нашел книги Бодлера и Верлена, Кларина и Ларры, которые вскормили возникший у тебя впоследствии нонконформизм; эта библиотека рассказала тебе об анархическом и мятежном темпераменте дяди, склонном к эйфории и депрессии — странное соединение в одном человеке, который, по словам свидетелей, был одновременно революционером и денди, каталонским националистом и бродягой (дядя Нестор проиграл состояние в Монте-Карло; жил вне брака с шумной ирландской поэтессой; будучи каталонским сепаратистом, выступил на стороне восставших шинфейнеров* и тридцати пяти лет от роду покончил с собой в одном швейцарском санатории у себя в комнате, удавившись на собственном шарфе).

Тогда еще неосознанно, но позднее все больше и больше отдавая себе в этом отчет, ты в его отклонении искал стимула, который помог бы тебе твердо идти своим путем. Ущерб, который с давних времен нано-

* Участники ирландского национального движения 1905—1921 годов.

сила твоему телу расовая гордыня твоих соплеменников, развращенных их же собственными догмами, и ущерб более поздний — от прадеда-торговца (рабыни были подвластны его капризу и прихоти, а мужчины низведены до ничтожного положения орудий труда) — все это ты вобрал в себя, вобрал телом и духом, пожиная (а может, искупая) то грубое и мрачное зло, которое посеяли они при жизни. Благодаря извечным и навечно проклятым париям (цыганам, неграм, арабам — грубым, находящимся во власти инстинктов) тебе удалось на какие-то мгновения выковать в себе древнее и утраченное чувство единства, к которому ты так тянулся в мятежном порыве, с непреодолимой тоской продираясь сквозь заветы твоей касты и ее законы. Только так — учитывая все сложности и очищаясь — мог ты восстановить в чистоте твое общее с ними прошлое и взглянуть в глаза твоей собственной судьбе, и в конце концов подавленный, умиротворенный и просветленный сознательно жить в суровом, но дающем все новые и новые силы поединке среди глупой и самодовольной толпы трупов.

Душа Христова, благослови меня.
Тело Христово, спаси меня.
Кровь Христова, напои меня.
Святая вода Христова, омой меня.
Страсти Христовы, укрепите мой дух.
О милостивый Иисус, услышь меня.
В язвах твоих укрой меня.
Не дай мне отойти от тебя.
От злого недруга защити меня.
В час смерти моей призови меня и
вели мне идти к Тебе,
Дабы в сонме твоих святых и я восхвалял
Тебя во веки веков. Аминь.

Шестой класс гимназии, отделение Б. Сорок юношей в черных бриджах, в галстуках и жестких воротничках, сорок юношей стоят плотными рядами в старинном школьном здании, спиною к величественным окнам в новоготическом стиле. В углу фотографии неподалеку от Альваро — суровая и серьезная фигура преподобного отца, их духовника.

— Святой отец, я трижды согрешил, нарушив шестую заповедь.

— В мыслях или на деле, сын мой?

— И так и так.

— Один или с кем-нибудь вместе?

— Приятель показал мне журнал, где изображены женщины, и я купил его.

— Вы вместе смотрели журнал?

— Да.

— Вы оба давали волю рукам?

— Нет, когда он ушел, я согрешил один.

— Знал ли ты, что совершаешь тяжкий проступок?

— Знал.

— Из всех грехов этот грех больше всех оскорбляет господа и пресвятую деву. Ты искренне раскаиваешься?

— Да, святой отец.

— Ты разорвал этот журнал?

— Нет, еще нет.

— Разорви его и в будущем избегай опасных общений. Это излюбленное орудие дьявола, которым он и ловит неосторожных...

— Хорошо, святой отец.

— Всю неделю ты ежедневно утром и на ночь будешь читать один раз «Отче наш» и три раза «Богородице».

— Хорошо, святой отец.

— Ну, ступай с богом.

Физические и моральные последствия этого порочного акта. Переписывание всех святых по иерархии со всеми их добродетелями и отличиями. Тесино, Требиа, Трасимено, Канас. Пичинча, Чимборасо и Котопакси. Бином Ньютона. Яйцекладущие, живородящие, яйцекладуще-живородящие. Формула питьевой соды. Теорема Пифагора.

...Согласный и прозрачный хор «Lacrimosa dies» звучно разлился на множество голосов и разом вымел то, что некогда имело над тобою такую власть...

Что за черт сунул в альбом эту фотографию? Долорес проследила за твоим взглядом и тоже увидела ее.

Газетная вырезка, без подписи, вообще безо всяких пояснений, словно она сама по себе была настолько красноречива, что не нуждалась ни в каких комментариях. Человек упал ничком на землю — мертв или ранен? — у самой кромки тротуара — покушение или несчастный случай? — а вокруг с бесстрастным любопытством смотрят на него люди, вероятно, его соотечественники. Типичная для нашего времени фотография, не важно, на какой широте она сделана, ежедневно то одни, то другие штампуют ее на всеобщее обозрение в своих газетах и журналах, кино и телевизорах.

Не в первый раз тебе доводилось увидеть подобный документ, по долгу службы ты и сам несколько раз делал такие снимки, когда работал фотографом в агентстве Франс Пресс, но только сейчас ты вдруг почувствовал что-то такое, чего не знавал тогда и что каким-то образом связывало тебя с этим безликим образом, застрявшим меж страниц альбома,— какое-то смутное беспокойство за собственную судьбу и что-то вроде искреннего и сочувственного порыва солидарности.

Ровно пять месяцев назад неприветливым мартовским днем ты спустился на гигантском тоботтане с горки — это было на ярмарке, на площади Бастилии — и, пошатываясь, направился в сторону бульвара Ришара Ленуара; в голове было пусто, сердце гулко стучало, и, помнится, ты шел, про себя отсчитывая шаги...

То, что произошло затем, ты с легкостью можешь воссоздать, перебрав одну за другой детали фотографии: угасший взгляд, мертвенно-бледное лицо и тривиально-картинное падение — сам того не желая, ты стал героем бесплатного спектакля, разыгранного для мужчин и женщин, случайно в это время проходивших мимо. Точь-в-точь как на этой фотографии, они смотрели на тебя спокойно и невозмутимо, так глядят на беззащитное животное, которое хрипит у твоих ног; они смотрели на тебя и по сторонам, проверяя, не едет ли скорая помощь или полицейская машина, дабы вовремя с благословенной французской осторожностью смыться и не давать потом свидетельских показаний. А кто-то, быть может, подошел поближе и осторожно дотронулся до тебя носком ботинка.

Цивилизация, продуктивная и холодная, приученная с помощью новейших средств пропаганды рассматривать время в цифрах, а человека в качестве орудия производства,— единственная возможная сегодня цивилизация, думал ты тем не менее с горечью,— для тебя вылилась в это: в обыденный и нелепый инцидент среди бела дня, на глазах у мужчин и женщин, которые шли мимо по бульвару Ришара Ленуара, счастливые от сознания, что они вне опасности, спокойные и уверенные в себе, с эгоистическим презрением на лицах и мыслью в душе: «Moi je m'en fous». *

* А мне — мне наплевать *(франц.)*.

И ты в будущем стал бы таким, и, сознавая это, ты восхищался неустрашимостью и мужеством тех, кто, не дожидаясь своего часа, по собственной воле решался взглянуть в черное дуло ружья или револьвера, восхищался даже теми, кто за неимением оружия черпал храбрость в бутылке водки и, напившись, глотал роковой тюбик веронала.

Словно новоявленный Лазарь, ты воскрес в огромной палате больницы св. Антуана и увидел — как и сейчас — Долорес, стоявшую рядом и нежно тебе улыбавшуюся.

Автомобильные фары, накатившись бесшумной волной, неожиданно осветили лохматый от эвкалиптов вход и острые очертания кипарисов, вырвав их на мгновение из плотного мрака, в который они были погружены. Через дверь галереи Альваро выглянул наружу, а Долорес со вздохом сняла иглу с проигрывателя.

Серый «дофин», очертив фарами полукруг, замер у самого балкона; почти одновременно распахнулись все четыре дверцы, и из машины появились Рикардо и Артигас с двумя белокурыми девушками, по виду иностранками, в клетчатых рубашках и облегающих джинсах.

— Привет,— сказал Рикардо.— Мы не опоздали?

— Наоборот,— сухо ответила Долорес.

— Мочи нет, до чего пить хочется,— сказал Артигас.— Не дадите чего-нибудь?

Долорес и Альваро поздоровались с девушками за руку. Те разглядывали сад и, хлопая ресницами, что-то нечленораздельно бормотали.

— Мы подобрали их у выезда из Кадакеса. Они добираются автостопом и будут спать с нами.

— Они датчанки,— пояснил Артигас.— Danish very sexy beautiful women.*

— Ни черта не понимают по-испански,—сказал Рикардо.—Честишь их последними словами, а они и ухом не ведут.

Обе девушки улыбались в унисон, отлично чувствуя себя в новой обстановке. Едва поднявшись на галерею, они, как по команде, уставились на стопку пластинок около проигрывателя.

— Поставь ча-ча-ча, поглядим, как они трясут задами,— сказал Рикардо.

— У них нет багажа?

— Собираются прожить за счет традиционного гостеприимства испанского народа.

— Прибыли в Порт-Буэ вообще без денег, безо всего,— сказал Артигас.— Вот уж есть чем попользоваться.

Долорес отошла на минутку проверить, как идут приготовления к ужину. И почти тут же появилась служанка с бутылками и льдом.

— Сделать вам дайкири? — предложил Альваро.

— Мне— нашего, сухого,— сказал Рикардо.— Перелада или что-нибудь в этом духе.

— Do you want to drink?**

— Thank you very much.

— Налей им двойную порцию виски, пусть налакаются.

— Кстати, о дайкири, знаешь, от кого я получил письмо?— растянувшись на диване, Артигас гладил щиколотку датчанки.— От самого Энрике.

Вернулась Долорес с рюмками и на ходу обменялась взглядом

---

* Прелестные, очень сексуальные датчанки *(англ.)*.

** — Хотите выпить чего-нибудь? *(Англ.)*.

— Спасибо большое *(англ.)*.

с Альваро. Девушки внимательно изучали чехлы на пластинках. Артигас вынул из кармана помятый конверт и торжествующе показал всем.

— Прочитать?

— Не надо, ради бога,— сказала Долорес.

— Только кусочек, слушайте внимательно: «Я по газетам слежу за событиями и думаю, я гораздо нужнее там, чем здесь. Если сочтешь нужным, извести меня, я сразу же приеду».

Наступило молчание. Долорес спокойно закурила сигарету.

— О каких это он событиях? — спросил Рикардо.— Может, он перепутал и читал о другой стране?

— Он, видимо, думает, что это Конго,— поддакнул Артигас.

— Бедняга, с каждым днем он разбирается в обстановке все хуже и хуже. Что он там напридумывал?

— Если он приедет сюда, как бы он не помер с перепугу.

— Скорее всего переспит разок-другой с какой-нибудь заезжей французской шлюхой и успокоится.

— Люди теперь, уже не боясь, открыто признаются в правых взглядах,— заметил Артигас. — Я вот на днях встретил в Сторк-клубе Пако, так он сказал мне: «Я монархист и консерватор...»

— Да ну,—Альваро улыбнулся.— Что он поделывает?

— Стрижет купоны, пьет виски. Что ему еще делать?

Датчанки выбрали пластинку Роэ Чарльза и теперь вопросительно смотрели на Долорес, не решаясь без спросу хозяйничать у проигрывателя.

— Ну, давайте, потряситесь, раз хочется.— Грубость слов не вязалась с улыбкой Долорес.

— Really?

— Yes, yes*.

Долорес резко поднялась и вышла в сад.

— Что с ней такое? — спросил Артигас.—Чего это она дуется?

— Не знаю,— сказал Альваро.— Оставьте ее в покое, пройдет.

— Может, эти девчонки вам мешают?..

— Нет, они ни при чем. Врач запретил мне спиртное, и, когда я пью, она нервничает.

— Кстати, ты как?

— Лучше всех.

— Работаешь?

— Пока нет.

Второй автомобиль вихрем влетел в сад. Долорес помахала рукой в знак приветствия, и Антонио, выйдя из машины, поцеловал ее. Через несколько секунд они вдвоем появились на галерее.

— Черт подери! — выругался он.— Знаете новость?

— Какую новость?

— Правда не знаете?

— Нет.

Антонио сел на валик софы и ударил кулаком по ладони.

— Профессор Айюсо умер,— сказал он.

Глава II

Разорите ногой бесчисленные ходы муравейника, терпеливо строившегося песчинка за песчинкой на неблагодарной песчаной почве, и придите на следующий день на то же место: вы увидите, что муравейник

* — Правда, можно? *(Англ.)*.
— Да, да *(англ.)*.

опять кишит и процветает,—живое воплощение стадного инстинкта этого упорного и трудолюбивого сообщества; вот так же и естественные жилища испанцев, древняя и заклейменная лачуга из тростника и жести, обреченная на исчезновение,— поскольку теперь вы, как говорится, европейцы и туризм обязывает вас блюсти фасад,— вот так же и барак, выметенный в один прекрасный день из Барселонеты и Соморростро, Пуэбло-Секо и Ла-Вернеды, возрождается, но только новенький и поначалу благопристойный, в Каса-Антунес или в районе открытого порта как символ примитивной и подлинной структуры вашего племени.

Ты смотрел на эти Таифские царства хижин и лачуг, так похожие на то, которое ты снимал на пленку некоторое время назад, и удивлялся (вот именно удивлялся) тому, с каким упрямством обитатели цеплялись за ту жизнь, устои которой никогда не подвергали сомнению, словно единственным смыслом и целью их пребывания на земле (думал ты) было рождаться, расти, размножаться и умирать в немой животной покорности; о испанский народ (взывал ты), сообщество невежественных людей, дикое стадо, взращенное в голой и бесприютной степи на твоей и твоих земляков родине.

Рикардо поставил «сеат» напротив конечной остановки трамвая, и ты, выйдя из машины, разглядывал полуголых ребятишек, бегавших по площади, и стариков, сидевших у первого ряда лачуг. Те же самые, что и прежде, или это уже другие люди? Вековой андалузской нищете здесь было где развернуться: вот одетая в траур женщина несет на голове кувшин с водой, а чесоточный пес, отгонявший хвостом мух, кажется точной копией другого, которого ты тысячи раз мельком видел где-нибудь в деревушке на Юге. На подступах к кладбищу бараки толпились, налезая друг на друга, точно грибы. Ты начал было считать (что-то вроде того, как считают, желая заснуть), но скоро бросил. Сколько их — сто, двести? С того места, откуда ты смотрел, казалось (или это обман зрения?), что последние лачуги стоят вперемежку с первыми могильными памятниками, как если бы существующая между двумя мирами граница вдруг исчезла.

Бродяги и богатые барселонцы, мертвецы спящие и мертвецы бодрствующие — разница между теми и другими сводилась всего-навсего к углу зрения относительно горизонтальной плоскости.

Не говоря ни слова, вы направились к лестнице, которая вела к кладбищенскому входу. По обе стороны стояли киоски с живыми и искусственными цветами: ветки роз, гвоздики, бессмертники, анемоны. Сеньора в черном, покупая венок, торговалась с продавцом, и тебе вдруг почему-то вспомнился старичок — это было несколько лет назад, под вечер печального Дня поминовения усопших,— старичок украдкой взял букет, положенный другими на могильную плиту, и, осторожно и быстро оглядевшись вокруг, переложил его на другую могилу, под старую фотографию любимого и близкого ему человека. Рикардо, рассеянно поглядывая на плиты из яшмы и мрамора, сообщил:

— До их приезда еще целый час.

— Ничего,— сказал ты.— Мы походим тут.

Твои близкие были похоронены на этом кладбище; и юношей ты приходил сюда вместе со всеми родственниками; первый раз — в день похорон твоей матери, и потом — каждую годовщину ее смерти, и стоял, в глубине души завороженный мыслью о том, что покоилось в этом склепе, где и для тебя береглось место, береглось с самого дня твоего рождения, и ты в свои шестнадцать лет уже знал, что, не отчаль ты вовремя, ты был бы уже здесь, и в земле распавшиеся элементы твоего тела слились бы в непристойный симбиоз с остальными представителями твоего рода, и, превратясь в ничто, ты бы на веки вечные включился в нелепый круговорот природы.

У кладбищенской конторы несколько похоронных процессий ждали своей очереди со смешанным выражением апатии, смирения и нетерпения на лицах. Машины стояли напротив, рядом с цветочными киосками; капеллан переходил от группы к группе; в каждой группе он пожимал руки и потом сосредоточенно молился у гроба. Никого из бывших учеников Айюсо еще не было. Пока вы ходили по площади, муниципальные служащие договаривались с каким-то семейством, и когда переговоры закончились, свита из родственников и друзей тронулась в путь.

Процессия неторопливо тянулась по главной аллее, и вы побрели за нею к верхнему кладбищу. По левую сторону аллеи шли ниши, украшенные эпитафиями, надписями, фотографиями, венками. Дорога шла все время вверх, и ты мог разглядеть даже могилы у самого подножия холма, окаймленные темной зеленью кипарисов, и совсем вдалеке море, неспокойное и синее, лебедку и маяк на волнорезе, суда, стоявшие на рейде и ожидавшие разрешения лоцмана начать разгрузку. Назойливое летнее солнце, казалось, повисло на западе, но сильный, порывистый ветер предвещал ливень. Над крепостью Монтжуич на переменчивом, прозрачном, бесцветном небе то и дело появлялись тучи, точно аванпосты грозного и мрачного войска, занимавшие стратегические позиции. Стремительно пронеслась птица, касаясь крыльями могил, и легко села на фронтон пантеона. Городской шум поднимался сюда из долины, точно натужное пыхтение усталого животного.

Первоначально кладбище было задумано как мирный и сонный провинциальный город, со скверами и аллеями, беседками и дорожками, нишами с прахом бедняков и людей из средних слоев и роскошными пантеонами над могилами буржуа и аристократов. Кладбище было открыто в годы пышного расцвета и роста Барселоны, когда оказалось, что старая территория ни в какой мере не отвечает требованиям, и поэтому здесь во множестве соседствовали и пестрели, один ярче другого, самые разные произведения всевозможных архитектурных направлений и декоративных стилей, всех видов могильные плиты, увенчанные крестами, венками, гирляндами.

Дух, который питал разраставшийся и процветавший город, проявился и здесь, думал ты, с гармонией, не свойственной смерти, словно все эти покойные магнаты хлопка, шелка или трикотажа хотели бы и в небытии увековечить все те нормы и принципы (прагматизм, bon sens *), по которым они строили свою жизнь. Эти пышные мавзолеи в точности соответствовали неотесанным и грубым вкусам их владельцев, так же как шале или виллы, возведенные в Льорет или Ситжас (творения, быть может, одного и того же архитектора); те и другие — детища устаревшей системы патернализма, подтачиваемой на протяжении многих лет не только борьбою и требованиями рабочих (которую сейчас заглушили ударами прикладов), но также (и это гораздо серьезнее) требованиями и потребностями современного государственного капитализма. Пантеоны, однако, словно не замечали этого и, хотя хозяева их спали вечным сном, с умилительной невинностью выставляли напоказ свои бельведеры и купола, балкончики и балюстрады, построенные, будто в настоящих жилых помещениях, со смехотворной роскошью и комфортом, которыми старые, рассыпавшиеся прахом кости их хозяев никогда не смогут воспользоваться.

Двенадцать лет назад в баре-подвальчике во дворе филологического факультета, что напротив входа в часовню, Альваро заметил молодого человека своего возраста, одетого подчеркнуто небрежно, который, неуверенно пробираясь между группами студентов, двигался будто в некоем

* Здравый смысл *(франц.)*.

призрачном мире, словно сомнамбула во власти страшных и навязчивых кошмаров. За тем же столиком, где Альваро готовился к занятиям по истории, Рикардо и Артигас спорили с блестящим и всем тогда известным представителем от их курса в ПУС* Энрике Лопесом. Антонио сидел дальше, в глубине зала, вместе с двумя студентами с юридического факультета, тоже учениками профессора Айюсо. Юноша, пошатываясь, прошел совсем близко от них, напрасно ища свободного места на скамьях у стены. Поведение его становилось все более необычным, и на него поглядывали с возрастающим осуждением. Вдруг он наткнулся на стул, чуть не потерял равновесия и, чтобы удержаться на ногах, ухватился за плечо молодого человека в очках. Его ясные глаза шарили по сторонам, пока он со стоической выдержкой отступал к выходу и, наконец, пропал из поля зрения Альваро (дойдя до того места, где несколько лет спустя сестра Артигаса подожгла петарду и спокойно поднялась по лестнице всего за каких-нибудь несколько секунд до взрыва).

— Что с ним такое?

— Ты не видел?

— Не обратил внимания.

— Пьян в стельку.

— Кто он?

— Просто тронутый. У его родителей денег куры не клюют.

— С какого он факультета?

— Ни с какого. Он не учится. Разъезжает себе на машине и пишет стихи.

— Я никогда его здесь раньше не видел.

— Он редко появляется. Если хочешь познакомиться с ним, пройдись лучше по барам или по публичным домам.

Это было в начале ноября; вот уже несколько недель Альваро прозябал в кругу товарищей по университету, слабовольных и скучных, и, сидя в их компании, слушал, как они обсуждали лекции и повторяли пройденный материал.

Энрике считался одним из выдающихся учеников; в отличие от других он не ограничивался изучением предмета, а часто и с удовольствием любил порассуждать (у него был красивого оттенка баритон) о спорте, истории, литературе.

— Ты читал речи Хосе Антонио **?— спросил он как-то у Альваро.

— Нет.

— Так прочитай. Ни одного лишнего слова.

— Я не интересуюсь политикой.

— Пусть не интересуешься. Он вывел теорию современного государства, профсоюзов, а также способ подняться над классовой борьбой... Просто потрясающе... Он единственный, кто в Европе серьезно ответил на вызов, брошенный Лениным.

Энрике говорил пышно и красноречиво. Рамиро Ледесма, Эдилья, Прадера, анархо-синдикалисты. У Энрике были правильные черты лица, а сам он был высокий и стройный; когда он выступал перед аудиторией, он с инстинктивной повадкой трибуна во время речи энергичным движением головы отбрасывал назад короткую прядь светлых волос, намеренно позволив ей сначала упасть на лоб. Его диалектика не гнушалась кулачной расправы, и в университетских коридорах восторженно рассказывали о стычке, которая произошла между ним и четырьмя студентами, сторонниками Дона Хуана Бурбонского: как он бился с ними, точно бык на арене, и как сразил одного за другим трех своих

* Профсоюзы университетских студентов — профашистская организация.

** Хосе Антонио Примо де Ривера — идеолог испанского фашизма, основатель партии «Испанская фаланга».

противников, а четвертого просто швырнул в бассейн посреди двора. Его однокашники по коллежу св. Игнасио* припоминали времена, когда он в синей рубахе и красном берете тренировал центурии юных фалангистов и сам с бравой выправкой, казавшейся преждевременной в таком мальчике, чеканил шаг и резко выбрасывал руку в гитлеровском приветствии. Другие утверждали, будто видели его в 43-м году в группе демонстрантов, которые подожгли экран в одном барселонском кинотеатре, где тогда первый раз в Испании показывали английский фильм о войне. Ему было четырнадцать лет, когда Германия потерпела поражение в войне, и это повергло его в пучину отчаяния: запершись в своей комнате, он часами плакал, слушая вагнеровскую увертюру к «Гибели богов». С тех пор Энрике всего себя посвятил восстановлению первоначального смысла доктрины Хосе Антонио и к моменту поступления в университет уже входил в маленькую, но активно работавшую группу недовольных фалангистов.

— Будь сейчас жив Рамиро Ледесма...

— Жив или не жив, ничего бы не изменилось,—утверждал Антонио.

— Вранье,— категорично возражал Энрике.—Теперешние вожди-то и предали революцию.

Прошло несколько дней, и Альваро опять увидел в баре того юношу. Он сидел в углу за столиком и, казалось, с головой ушел в какую-то книгу. Когда в баре появился Энрике и громко заговорил, юноша отложил книгу на скамейку и дрожащими пальцами поднес к сигарете зажигалку.

— Ты слушал лекцию Айюсо? — спросил Антонио, пока официант подавал на стол.— Вот выдал так выдал.

— Ты о чем?

— О чем, ты спрашиваешь? Разве ты не слышал, как он говорил о фуэросах? Об эпохе свободы и тирании?.. Этот за словом в карман не лезет.

— Этот, по крайней мере, имеет мужество открыто излагать свои взгляды,— сказал Энрике.— Вот на кого я накласть хотел, так это на колеблющихся.

— Айюсо никогда не был колеблющимся,— сказал Антонио.—После войны он отсидел два года, ты знаешь это?

— Когда мне попадается красный, я люблю, чтобы он шел с открытым забралом, а не изворачивался,— Энрике выражался пылко.—Айюсо человек ясный, а вот другие...

— Кто же?

— К чему называть имена? Мы для них таскали каштаны из огня, а теперь они кичатся, что, мол, они — либералы.

— Да они просто перебежчики.

— Демократия для страны — истинная чума.

Юноша слушал разговор и иронически улыбался. Когда официант с подносом вернулся, он заказал двойную порцию можжевеловой водки.

— Опять ведь напьетесь...

— Лучше напиться, чем слушать, что тут болтают.

Энрике поднялся с места и подошел к нему вплотную. Рикардо пытался удержать его, но напрасно.

— Не будешь ли так любезен повторить, что ты сказал?

— Я сказал, что чем слушать ваши разговоры, лучше напиться или заткнуть уши ватой,—совершенно естественным тоном ответил юноша.

Энрике двинулся было на него, но сдержался. Щеки его залила краска.

---

* Учебное заведение иезуитов.

— Если ты мужчина, давай выйдем во двор.

— Я не мужчина.

— Кто же ты? Баба?

— Я никто, и вы тоже никто. Только вы воображаете, будто представляете собою что-то.

Тут вмешались Антонио и Рикардо и удержали Энрике.

— Не обращай на него внимания. Он пьян.

— Пустите его, пусть он мне врежет... Он же после этого почувствует себя еще больше мужчиной.

— Замолчи, а не то...

— Единственно, чего я вам не позволю, это говорить мне «ты».

Ссора прекратилась лишь потому, что в это время в бар вошло несколько преподавателей. Понемногу студенты один за другим высыпали во двор, и Энрике с приятелями тоже последовал их примеру. Альваро еще раньше решил прогулять лекции, и когда он поднялся, чтобы расплатиться, юноша снова поднял глаза от книжки, и они с Альваро встретились взглядом.

— Ну и идиот же у тебя друг.

— Он мне не друг.

— Тем лучше для тебя. Как ни приду сюда, вечно он что-то проповедует, точно повсюду носит с собой портативную трибуну... Он что, ни минуты помолчать не может?

— В сущности, он неплохой парень,—сказал Альваро.

— От таких людей, как он, я заболеваю... И все что-то изучает, изучает. Ведь все равно кончит тем, что превратится в лавочника и станет обманывать людей. Вот я и думаю: к чему?..

— А ты? Ты что изучаешь?

— Ничего. В этой стране нет ничего, чем бы стоило заняться. Просто моему отцу хотелось, чтобы я поступил в университет, и я поступил... Но учиться я не учусь.

— А на какой факультет?

— Не знаю.— Юноша сунул руку в карман, потом порылся в портфеле.—В квитанции за вступительную плату, наверно, написано, я не помню... Я решил это жребием в последний момент.

— А что вышло?

— Смотри, вот она, повестка. Факультет права.— Он улыбнулся.— Сутяга, как говорится... По правде сказать, я предпочитаю клеить марки на почте... Что будешь пить?

— Спасибо, не хочется.

— Да, обстановка к этому не располагает,— признал он.—Моя машина рядом. Пошли покатаемся?

Шоссе петляло вверх по склону холма, и на повороте вы остановились посмотреть на пейзаж. Нефтяные резервуары компании «Кампса» сверкали на солнце, плотные лучи, наползая друг на друга, плыли над морем к горизонту. За молом в ожидании застыли грузовые пароходы. Дальше за навесами и складами открытого порта с монотонным однообразием билось, вгрызаясь в берег, море. Из лачуг предместья Каса-Антунес доносились пронзительные, возбужденные голоса. В конце насыпи, точно часовые, два кипариса, одинокие и печальные, день и ночь стояли без сна в карауле над медленным распадом тел.

Вы пошли дальше вверх. Могильные ниши постепенно уступали место мавзолеям, похожим на ячейки гигантского улья. Это была самая новая часть кладбища, и утилитарные представления, характерные для современной урбанистической цивилизации, воплотились здесь в общую архитектурную формулу, в какой-то степени родственную основному

стилю Корбюзье. Могильные ниши теснились рядами, похожие на кварталы жилых домов, которые сходят с конвейера для чиновников и клерков,— точно такие же нежилые и асептические; мраморные таблички на них отсвечивали, словно окна, свежевырытые могилы казались недостроенными домами, тротуары и аллеи были пустые и однообразные, а на углах развешаны дорожные знаки: точь-в-точь мадридские кварталы дешевых домов или парижские HLM*; почему бы не быть здесь магазинам самообслуживания, кинотеатрам, аптекам, кафе или светящимся рекламам? Опустошающее чувство безжизненности вселяла в человека эта (уж такая ли невольная?) пародия на индустриальный мир. Бетон и камень. Ни цветов, ни птиц. Да вы — живые мертвецы, и больше ничего.

Машина была марки «MG» со съемным верхом, несколько устаревшего образца. Серхио помог тебе открыть дверцу, и, усаживаясь, ты отодвинул в сторону лежавший на сиденье скомканный бюстгальтер.

— Вчера вечером я катался по улице Диагональ с одной шлюшкой, она потом забыла надеть. Я заметил только сегодня утром, когда приехал. Груди у нее были мировые... Ох, бедняжка, по лестнице карабкалась на четвереньках.

— Почему? — спросил ты.

— Потому что на ногах не стояла. Да и я тоже, между прочим... Совершенно не помню, как добрался домой. Ана разбудила меня и заставила принять ванну.

— И ты пьяным садишься за руль?

— Я почти каждый вечер сажусь за руль пьяным. Уже вошло в привычку. Вначале Ана очень беспокоилась, но теперь отстала от меня.

— И с тобой никогда ничего не случалось?

— Никогда. Спиртное, наоборот, взбадривает меня. Все рефлексы обостряются... Единственно, от чего я тупею, это от анисовой.

— А твой отец как к этому относится?

— Папа у меня осел. Для него вся жизнь — арифметика. Дом для него не дом, а семейный бюджет, поле — не поле, а определенное количество гектаров: когда он смотрит на море, то мечтает превратить его в море нефти... Себя он считает умником из умников, потому что умеет зарабатывать деньги, а его служащие при встрече снимают перед ним шапки... К счастью, Ана совсем другая.

— Чем занимается твой отец?

— Экспортирует и импортирует апельсины и прочее в том же духе... Представляешь, какое увлекательное занятие... Какао с Галапагосских островов и муку, чтобы выпекать облатки для причастия. Этот идиот спит и видит, что я буду продолжать его дело. Пусть себе спит, если ему нравится... В один прекрасный день мне придется разбудить его.

— А твоя мать?

— Ана — потрясающая женщина. Немного сдержанная и неуверенная в себе, но потрясающая. Одного я только не понимаю — как она может терпеть такого кретина, как...

Серхио вел машину быстро, проскальзывая меж автомобилей, беспорядочно двигавшихся по проспекту Рондас, и вдруг свернул на улицу Сера, в сторону больницы.

— Тебе нравится в Китайском квартале? — спросил он.

— Я никогда там не был.

— А я бываю каждый день. Во всей Барселоне только там и живут интересные люди... Проститутки, карманники, педерасты... А остальные и не люди вовсе, так, моллюски.

* Муниципальные дома с дешевыми квартирами.

Через окошко «MG» ты первый раз увидел этот грязный, оборванный город, обшарпанные фасады его домов, развешанные на балконах лохмотья населявших его людей. Жалкий рост благосостояния пятидесятых годов не проявился еще в нижних районах города, и после свежего и бодрящего озона, которым вы только что дышали в зажиточных кварталах, казалось, будто вы вдруг разом погрузились в другой мир, глубокий и плотный, и ты ощутил беспричинный страх и неуверенность, точно домашнее животное, которое вырвали из обычной и естественной обстановки. Мрачные таверны, похожие на разбойничьи притоны, темные и вонючие кафе, отвратительно грязные кабаки, где подаются закуски и питье сомнительного происхождения, тянулись вдоль жалких улиц, а на углах женщины не поддающихся определению профессий и происхождения продавали из-под полы буханки хлеба, американские сигареты, зажигалки, колбасу и при малейшем признаке тревоги прятали все это в складках юбок, за ворот или за подвязки, прямо и откровенно нарушая все правила приличия и гигиены. В лавках и магазинах пыль, казалось, толстым слоем легла на товары слаборазвитого иберийского производства: чаны с маслинами, турецкий горох и вареную фасоль, огромные маслянистые головки ламанчских сыров, тяжелые и круглые. И на этом фоне, точно бактерии на питательной среде, разрастался Двор Чудес,— единственный в вашей полной приключений и удивительной истории, неподдельный и долговечный Двор,— разрастался, выставляя напоказ среди всеобщего безразличия свои пороки и дефекты: искривленные руки, культи, язвы, глаза, затуманенные, точно помутневшие зеркала; и, увидев это, ты понял, что, прожив девятнадцать лет пустой жизни, ты вдруг соприкоснулся с реальным устройством общества, к которому ты, сам не сознавая того, принадлежал, ибо вы, развиваясь параллельно, шли противоположными путями,— общества, на котором ваша паразитическая каста, алчная и загребущая, была всего лишь наростом, наростом ненасытным, точно полипы на живом организме.

Вы остановились на улице Св. Рафаэля. Серхио подвел тебя к витрине, где красовался богатый набор презервативов, и показал на коробочку, на этикетке которой была изображена Джоконда. Твоя неопытность и чистота разжигали в нем естественный зуд опытного человека, и, пока вы шли к публичным домам Робадорс, он делился с тобою своими познаниями.

— Самые лучшие проститутки — самые дешевые. На днях я вот был с одною за шесть песет. Беззубая, чесоточная. Солана*, наверное, мечтает о такой модели для картины.

— И ты с ней спал?

— Я велел ей раздеться и подмыться. Это что-то потрясающее, клянусь тебе. Я хотел сделать с нее набросок, но она рассвирепела. Ах ты, молокосос, говорит! Это тебе что — Академия изящных искусств?

— А ты что?

— Дал ей пять дуро и смылся.

— Не тронув ее?

— Не тронув.

— А она не обиделась?

— Обиделась? Да для нее это облегчение. Представляешь, по сто клиентов в день. Тут при любом темпераменте не выдержишь.

(Когда несколько дней назад ты после семилетнего отсутствия вступил на землю Барселоны, то точнейшим образом повторил тогдашний ваш с Серхио маршрут в надежде оживить ощущения, которые испытал в те дни. Внешне тут мало что изменилось: публичные дома были закры-

* Современный испанский художник.

ты, но в барах, которые с успехом их заменяли, женщины по-прежнему бойко торговали собой; лачуги и кабачки были как раньше; такими же, как всегда, были вечные чистильщики ботинок и нищие. Но изменился ты сам, и твое юношеское возбуждение уступило место грустному безразличию. Квартал продолжал жить своей мрачной жизнью, чуждой тебе теперь точно так же, как была она чужда твоей тогдашней юношеской жизнерадостности.)

Походив с тобою по кварталу, Серхио завел тебя в один из баров, где он был завсегдатаем, и вы сели за столик с двумя женщинами. Твой приятель вел себя в этой обстановке так, словно вырос тут, и ты, сгорая от зависти, восхищался его дерзостью, его молодостью, его смелостью. Проститутки обращались с ним по-свойски, и ты помнишь, как он, улучив момент, отошел поговорить с каким-то человеком и купил у него маленький пакетик, который тут же спрятал в карман.

— Тебе нравится грифа?

— Это что такое?

— Трава.

— Наркотик?

— Да.

— Никогда не пробовал.

— Придешь ко мне — покурим.

В тот день ты не ходил к нему и не курил грифы. На самом деле, как ты потом обнаружил, Серхио тоже не курил: всего-навсего вдыхал и тут же выдыхал дым, не дав ему дойти до легких. В тот день случилось нечто для тебя чрезвычайно важное, в чем тогда ты ни за что никому бы не признался: одна из женщин предложила тебе пойти с ней, и ты, боясь, как бы не догадались, что ты девственник, согласился, к тому же ты не знал — и это придало тебе решимости,— что любовью можно заниматься и в час пополудни. До тех пор ты считал, что это возможно лишь в темноте, исключительно под сладкие звуки флейты и только на восточных диванах с обольстительными куртизанками Пьера Луиса *. Комнатка была маленькая и душная. Постель грязная. Огромный, подавляющий своими размерами шкаф. Ты, дрожа, разделся, не отваживаясь взглянуть на ее тело, потому что стыдился своего собственного, и вдруг поразился, обнаружив, что прикосновение ее опытных пальцев превратило тебя в мужчину... ты ощутил судорожное наслаждение, которое вернуло тебя к жизни после бесконечно длившихся секунд забытья, смерти. Потом, встав с постели, ты оглядел себя в зеркало и только удивился, больше ничего.

Любовь, глубины которой ты предчувствовал с самых детских лет,— неужели и есть это?

Похоронная процессия неожиданно вышла на аллею и остановилась около могильных ниш, в сотне метров от того места, где стояли вы. В процессии было несколько священников, и, пока служащие похоронного бюро снимали гроб с катафалка, ты с фрондерским недоверием следил за их шаманством. Фальшивый ритуал, который придумали другие, а эти лишь механически повторяли, преследовал твоих соплеменников до гробовой доски. Наместники бога, безъязыкого и никчемного, жили и процветали за счет боязни и незащищенности людей, как ненасытные, привыкшие к роскоши стервятники. В тебе поднялся нерастраченный юношеский протест и, подумав о том, что ожидает профессора Айюсо после смерти, ты почувствовал тошноту.

— Устал? — сказал Рикардо.

— С непривычки.

---

* Французский писатель (1870—1925).

Чтобы сократить путь, вы вернулись обратно по лестнице. Вид и на этот раз был великолепный: точно из металла, неспокойное море, навесы и резервуары компании «Кампса», пустынный пляж; вы спускались (сердце колотилось отчаянно, и пришлось идти не торопясь), и по дороге ты разглядывал надписи на плитах: «Я был таким, как ты, и станешь ты, как я». «Господь всемогущий, прими в райские кущи раба своего». «Не умер он, а только спит». «Боже всемилостивейший, сжалься над бедным грешником». Призывы, мольбы, советы, наставления — напрасные манки бессмертия.

Какая странная религия у твоих собратьев, думал ты, и до чего же странно, что они поклоняются тому, кто потерпел поражение с собственным творением,— пришлось даже спускаться в этот мир, чтобы доделать его и исправить; а что из этого вышло, всем хорошо известно: еще одно поражение. Какова же мораль этой смехотворной истории?

«Забвение не торжествует, хотя и отнимает у нас близких. Узы истинной любви нерушимы вовеки».

Рикардо смотрел на тебя с удивлением: и, вернувшись в давящую реальность гнетущего испанского лета 1963 года, ты обнаружил, что стоишь на юго-западном кладбище Барселоны среди скорбных крестов и вслух разговариваешь сам с собой.

Накануне ночью, после приезда Антонио, в тревожном и беспокойном сне Альваро пытался извлечь из забвения близкий ему и далекий облик профессора. Никак не давались и исчезали в провалах памяти отдельные жесты и движения, а ведь в течение нескольких лет он видел его регулярно, дважды в неделю. Айюсо ходил сутулясь; на кафедру поднимался не спеша и обычно стучал костяшками пальцев о стол в знак того, что можно садиться. Взгляд его был добрым, чуть робким, очень редко — суровым и словно отсутствующим. Говорил профессор неторопливо, выделяя голосом то, что считал важным, и скорее веско, нежели взволнованно; случалось, он нервно постукивал пальцами по подлокотнику кресла или снимал и снова надевал очки. Сидя лицом к нему, четыреста студентов слушали и записывали, склонившись над грязными столами аудитории.

О том единственном разе, когда Альваро видел его в домашней обстановке, сохранилось смутное воспоминание (восхищение профессором пришло гораздо позже, уже когда Альваро жил в Париже, после первых университетских волнений 56-го года, и было вызвано той решительной и смелой позицией, которую занял профессор, защищая своих учеников). Айюсо жил скромно (это было совершенно очевидно); живописно выглядевшая экономка (несомненно, тиран в доме) принесла Антонио, Рикардо и Альваро по чашке кофе, подслащенного сахарином. Мебель в квартире была старая, шторы темные, вдоль узкого коридора тянулись полки с книгами; на стене висела превосходная репродукция картины Караваджо. Письменный стол завален папками и книгами, а на краю стояла старая фотография Америко Кастро с сердечной дарственной надписью. Они просидели там несколько часов, но как ни старался Альваро, он никак не мог отрыть в памяти, о чем же именно они разговаривали. Сидя напротив них, Айюсо курил одну сигарету за другой, а на коленях у него сладко растянулся черный кот и так лежал неподвижно, гибкий и горделивый, точно геральдический лев. (С тех пор прошло тринадцать лет, и на этом воспоминания обрывались.)

В ту осень (1950) Альваро записался в семинар по политической экономии и аккуратно ходил на занятия Айюсо по истории средневековых правовых институтов. Антонио, Энрике и Рикардо тоже были в числе его учеников, и часто у них вспыхивали споры относительно лекций и мыслей, которые высказывал профессор. Альваро слушал своих дру-

зей, не слишком вникая в смысл того, что они говорили, ибо был убежден, что политика — дело идиотов, и к тому же с головой был занят открытием Китайского квартала и книгами, которыми его снабжал Серхио. Избавившись от надзора тетушки Мерседес, он наслаждался праздностью университетской жизни, приходя в восторг от одной только мысли, что вырвался из той среды, в которой прозябал до сих пор, инертный, малодушный, застенчивый.

— Что ты собираешься делать после университета? — спрашивал его Антонио.

— А ты?

— Буду поступать по конкурсу.

— Куда?

— На дипломатическую службу.

Эта мысль пришлась ему по душе, но Серхио в один миг разбил ее в пух и в прах, заявив, что главная миссия дипломата заключается в том, чтобы улыбаться, целовать ручки дамам и уметь как следует очистить апельсин.

— Дипломат — это дурак от рождения, только полиглот. Уж лучше рекламировать зубную пасту в газетах.

Серхио появился неожиданно, после семинара по политэкономии, и присоединился к группке однокурсников Альваро, которые и в баре продолжали обсуждать теории физиократов.

— Осточертели мне твои приятели, — сказал он Альваро. — Всегда-то они серьезные, будто на похоронах, только и разговору у них, что об Адаме Смите да социальных классах... Когда я при них пью вермут, мне все кажется, что они смотрят на меня, словно хотят сказать: ты вот пьешь, напиваешься в то время, как рабочие гнут спину по двенадцать часов в день за тридцать шесть песет, а в Андалузии семнадцать процентов детей больны туберкулезом, не стыдно тебе?.. А мне вот не стыдно. Кем они себя считают? Тоже мне — искупители! — говорил он устало и пожимал плечами. — А с другой стороны, кто такие рабочие? Рабочий или буржуа, раз он работает — значит, дерьмо.

Они вышли с университетской территории и медленно направлялись туда, где стояла «MG». Все остальные уже разошлись.

— Я знаю, что ты думаешь: не будь я богатым, я бы так не говорил. Может, это и правда. Деньги облегчают жизнь, и я не виноват, что мой отец вовремя не спохватился и что Ане не пришла в голову мысль принять меры, чтобы не рожать... Но знаешь, даже родись я бедным, думается, я все равно не стал бы работать. Если тебе выпало несчастье родиться, к чему вдобавок валять дурака?

В машине впереди сидела девушка, немного моложе их, красивая, стройная и смуглая; глаза у нее были огромные и синие.

— Ее зовут Элена,— просто сказал Серхио.

Альваро было протянул ей руку, но она в знак приветствия сцепила пальцы и потрясла руками над головой, как это делают боксеры, победившие на ринге.

— Очень приятно.

Машина рванула на полной скорости. Сидя позади, Альваро смотрел на изящный затылок девушки, подбритый, как у мальчишки.

— Куда мы? — спросила Элена.

— У меня дома есть бутылка коньяку, — сказал Альваро.

— Мне хочется к респектабельным людям, — сказала Элена. — К дамам из Общества католического действия или что-нибудь в этом духе... Где их можно найти?

— В респектабельных заведениях.

— Так поедемте в какое-нибудь респектабельное заведение.

— А не заехать ли нам за Пепе?

— Как хочешь.

— Кто такой Пепе?— спросил Альваро.

— Чистильщик. Облысел от сифилиса и стал похож на Франкенштейна.

— К тому же умеет петь болеро, — сказала Элена.

Они проехали вниз по Рондас, и у Паралело свернули на Конде-де-Асальто. Серхио остановился на углу улицы Св. Рамона и посигналил. Тут же в дверях бара показалась лысая голова.

— Живо. Поехали с нами.

— Гитара там осталась.

— Ничего. Поедешь без гитары.

Альваро подвинулся, давая место. Чистильщик оказался косым, а когда улыбнулся, обнажились красные, голые десны.

— Мы едем в «Салон Роса», — сказал Серхио.

— Я не одет.

— Не важно. Ты войдешь с нами, и никто не скажет ни слова.

Это был бурный вечер. В «Салоне Роса» дамы (шляпы с искусственными цветами, намалеванные лица, складки кожи на шее, которые вдруг надувались, когда те, не разжевав, жадно глотали пирожные) с беспокойством поглядывали на ворвавшуюся четверку (на чистильщике была кепка ядовитого желтого цвета); едва им подали, Серхио маникюрными ножницами выстриг клок волос у Элены, разломил пополам булочку, которую принес официант, посолил ее и на глазах у враждебно замолкшего зала (церемонные попугаи, надутые совы, сороки, облагороженные освещенными церковью титулами, — ни дать ни взять, паноптикум) вложил в середину волосы и стал есть этот бутерброд, уверяя (на случай, если кому захочется узнать), что в жизни не ел ничего вкуснее. Потом Пепе захотел спеть болеро под названием: «Твоя талия податлива, как мякоть агуакате», но метрдотель ему не позволил.

— Все вы антисемиты, — суровым тоном бросила в зал Элена.

Они вышли, оскорбленные и гордые, и некоторое время еще бродили по центральным улицам под ужасающее пение чистильщика (которому в конце концов все-таки удалось исполнить «Твоя талия податлива, как мякоть агуакате», только без аккомпанемента). Серхио карабкался на газовые фонари, чтобы прикурить сигарету для Элены, и когда они вернулись к машине, он предложил распить на четверых бутылку перно.

— А потом вернемся в «Салон Роса» и выблюем.

— Да забудь ты про них, — сказала Элена. — Пойдем лучше в какой-нибудь бар с девками!

— «Санс»? Или «Каса Валеро»?

— Куда хочешь.

Машина опять рванулась, и, когда (заглянув по дороге в несколько баров) они остановились, наконец, у стадиона Монтжуич, Альваро обнаружил, что он пьян. Воздух казался плотным и будто ватным. Кружилась голова.

— Что с тобою?

— Мне нехорошо.

— Выпей чего-нибудь еще. Лучше всего, когда мешаешь напитки.

Они вошли в невероятно гнусный подвальчик, и Серхио заказал по двойному рому. За столиками сидели андалузцы. Альваро залпом выпил две рюмки и уже словно сквозь густой туман увидел, как Серхио о чем-то спорил с человеком, с виду похожим на цыгана. Видел, как вмешался чистильщик, и хотел их разнять.

Начиная с этого момента, все в памяти страшно путалось, у Альваро осталось впечатление, что из того подвальчика его вышвырнули, а когда он проснулся, то увидел, что находится в баре на аллее Борне,

а все вокруг — незнакомые. Элена и Серхио были за соседним столиком — сон свалил их. А чистильщик исчез.

— Хотите немного кофе?

На улице уже светало. Небо было фиолетового цвета, и Альваро, показывая на него пальцем, спросил официанта:

— Что это, северное сияние?

— Светает, — коротко ответил ему тот.

Солнце спряталось сразу, и, стоя на площадке лестницы, ты смотрел сверху, как далеко внизу под неслышный аккомпанемент пены моторная лодка, накреняясь, разрывала всю в барашках поверхность моря. Сотни серых чаек хлопотали там, где канализационная труба выкидывала в море отбросы. Мутные тучи громоздились над вашими головами. Ветер качал остроконечные шапки кипарисов, и, точно крылья, трепетали крошечные листья ив. Все предвещало неминуемую грозу.

— Сколько времени?

— Пять.

— Они должны уже быть.

Пока вы шли через аристократический участок кладбища с мавзолеями в духе Гауди * и памятниками в стиле модерн — помесь надгробного монумента с роскошной виллой, — ты искал глазами пантеон семейства Мендиола, до мелочей точную, вылизанную копию, вспоминал ты, претенциозного Миланского собора. Несколько минут ты тщетно бродил по этим тихим аллеям, подгоняемый смутными воспоминаниями далекого детства: тетя Мерседес в глубоком трауре и дядя Сесар в шляпе и очках и рядом—ты, чуждый и безразличный к обряду, который совершаешь, прекрасно понимающий всю бессмысленность этого одностороннего, без отдачи, акта, превратившегося благодаря привычке в чисто бытовую и бессодержательную церемонию.

Что стояло между твоей матерью и тобою? Как ни часто ты задавался этим вопросом, он каждый раз заставал тебя врасплох, и ты не знал, как на него ответить. Точно две параллельные линии, ее существование и твое никогда не пересекались, и, случалось, ты испытывал запоздалое раскаяние, что между вами никогда не было духовной близости. Ее стыдливость и твоя замкнутость все время держали вас на расстоянии друг от друга, а ты в свои пятнадцать лет не мог (или не умел) придумать, как завязать дружбу. Теперь же, когда время и память отдалили тебя от нее, было уже поздно. За исключением редких случаев (и чем дальше, тем все более редких) ее образ (ясные голубые глаза, высокий лоб, прямой нос, застывшие на фотографии) навсегда ушел из твоей памяти.

С балкона на улице Пьедад, где ты, бывало, лежал на диване—излюбленное место Серхио, — тебе открывалась строгая, исполненная внутреннего ритма картина, которая живо сохранилась в твоей памяти даже после многочисленных путешествий (абсида собора, его массивные и элегантные башни, его причудливые водосточные трубы, заканчивающиеся изображениями грифов или морских коньков; плоские террасы, со временем потемневшие от патины; частокол контрфорсов и окон; строгие и соразмерные линии центрального нефа; устье улицы Кондес). На диване в образцовом беспорядке — любимые книги твоего друга: Блейк, Кинсей, Лотреамон, Жерар де Нерваль. Вечером зеленоватый свет абажура наполнял комнату неясным сиянием. Старинная стильная мебель, гравюры, скульптуры не выглядели здесь чем-то случайным, как будто

* Антонио Гауди (1852—1926) — известный каталонский архитектор.

появились на свет с этим домом и переходили из рода в род, создавая какую-то особую атмосферу. Ковры скрадывали звук шагов, и в этой тишине, куда не врывался уличный шум, ибо дом выходил на непроезжую улицу, в этой тишине все разговоры приобретали заговорщический оттенок, фразы казались более изысканными, а простой вопрос звучал намеком, неясным и нежным. Ана обычно сидела, откинувшись в кресле, спиною к окну, и в скупом свете зимних сумерек ее глаза, во все проникавшие, светились мягко и независимо.

В первый же день, когда Серхио привел тебя в свой дом, он непринужденно познакомил вас, и Ана чуть задержала твою руку в своих, точно хотела и прикосновением выразить и передать особую, глубоко личную и своеобразную просьбу: «О, ради бога, не называй меня сеньорой и не обращайся на «вы»... Пусть я гожусь тебе в матери — у меня есть женское кокетство. Я люблю, когда люди ценят меня за то, что есть во мне самой, а не за то, что я чья-то мать или жена. Я всегда говорю мужу: «Мы с тобой женаты, но ты человек, и я тоже человек, к тому же совсем другой...» Так что зови меня Ана и на «ты»... А иначе — мы никогда не станем друзьями...»

Несколько дней назад — на улице было солнечно, дети кормили голубей, полицейские прохаживались в нарядных формах, и весь город неискушенному глазу представлялся радостным и счастливым — ты поставил свою машину на залитом светом Соборном проспекте, словно один из миллиона туристов, которые вот уже несколько недель, как набросились на погруженную в лень и спячку страну, а сам с удивлением смотрел на танцевавших перед собором людей; резкие и проворные движения танцоров подчинялись мудрому, острому и дробному ритму не больше не меньше, как «Санта-Эспина» * (той самой «Санта-Эспина», которая в твоих воспоминаниях была неразрывно связана с одиссеей народной борьбы за Республику, запечатленной в фильмах Ивенса и рассказанной Хемингуэем); ты некоторое время смотрел на танцующих, прежде чем решился, обойдя дом архидиакона и часовню св. Лусии, подняться по Епископской улице и, пройдя мимо ворот св. Эулали и по улице Пьедад, выйти к собору; здесь, в конце улицы Кондес, которую (в это знойное лето 63-го года) фотографировала группка гнусных немцев в распахнутых на волосатой груди рубашках, ты остановился. Ты обернулся и поднял глаза на вытянувшиеся в ряд балконы четвертого этажа. Холщовый тент над окнами бывшей комнаты Серхио вылинял, выцвел и превратился в лохмотья. Цветы с балкона исчезли. Дом выглядел нежилым, и ты пошел дальше, по следам своих воспоминаний, так и не отважившись справиться в привратницкой. (Что же все-таки стало с Аной?..)

— Серхио столько рассказывал о тебе, что мне кажется, будто мы знакомы.

Все трое, вспомнилось тебе, сидели на диване в мавританском стиле. Вечерело, но солнце еще окрашивало внушительные башни колоколен.

— Как вы провели время в Робадорс?

Вопрос застал тебя врасплох, и ты покраснел.

— Я рассказал Ане, что мы ездили к проституткам, — сказал Серхио.

— У нас с сыном нет друг от друга секретов, — ласково пояснила Ана. — Твоя партнерша доставила тебе удовольствие?

— Я почти не помню.

— У такого интересного молодого человека, как ты, любовных историй, наверно, десятки, представляю себе...

---

* Национальный гимн Каталонии.

— Нет, Альваро не такой, — сказал Серхио. — Хоть по виду и не скажешь, но он очень робкий...

Первый раз в жизни испытывал ты ощущение, будто тебя видят насквозь. Ана сидела напротив и смеялась, обнажая белые зубы.

— Тебя удивляет, что я так разговариваю? — сказала она. — А какой ты меня представлял? Типичной испанской матерью?

— Не знаю, — пробормотал ты.

— Я всю жизнь была такая. Я много раз пробовала изменить свой характер, пробовала быть, как другие, и не могла. Муж всегда говорил мне: «Если бы ты была другой, думаю, я бы тебя не любил».

— Папа у нас дурак.

— Я не люблю, когда ты так говоришь о своем отце, ты это знаешь, — обрезала его Ана. — Мой муж совершенно не такой, как я, есть вещи, которых он не понимает, но он человек хороший и верный. И на самом деле, — добавила она убежденно, — он во много раз достойнее меня.

— На свете полным-полно верных и хороших баранов, — перебил ее Серхио.

(Подобные разговоры повторялись часто: Ана защищала мужа, а сын нападал на него и с каждым разом все ожесточеннее... Ана повышала голос, делала вид, что возмущена, и кончала тем, что со смирением признавалась: «Серхио невозможен. Когда он был ребенком, я готова была отойти в сторону — лишь бы он любил отца и не замечал, какие мы с отцом разные люди. Но Серхио — весь в меня. Лицемерие ему ненавистно».)

Благодаря им ты научился любить свой город. (Удивительно, что при твоем сложном характере ты пронес через годы любовь к местам и улицам, которые открыл для себя в пору юности, к местам и улицам в городе, где ты родился, как сказал кто-то, по чистой случайности и чей прекрасный язык всегда казался тебе, несмотря на все твои усилия, глубоко чужим.) До тех пор во всем городе ты знал лишь несколько богатых кварталов, унылую пышность их однообразных, скучных домов, построенных после того, как были снесены городские стены и началось «чудо» — промышленный расцвет. Эти дома строила для себя предприимчивая, крепко стоящая на земле буржуазия, чей ужасающий художественный вкус, думал ты, можно сравнить только с ее же безмерной и ненасытной жаждой богатства. Барселона, которую показали тебе Серхио и Ана, начиналась гораздо ниже, за собором, и света, подобного тому, в котором купался этот город, ты больше никогда и нигде не встречал. Улица Монткада с ее старинными дворцами, принадлежавшими некогда купеческой знати, окрестности церкви Санта-Мария-дель-Мар, улица Кардерс с изумительной часовней в романском стиле, аллея Борне. Ана водила вас по городу и с удивительным чутьем находила дорогу в лабиринте улочек, где сверху капало с развешанного меж балконами белья, кошки обнюхивали баки с мусором, а солнечный свет лишь угадывался в высоте, над крышами домов. Бочарни, аптеки девятнадцатого века, лавки знахарей, изделия из пробки бесстрашно противостояли ходу времени, выжидая того момента в будущем, думалось тебе, когда благодаря наплыву туристов и подъему культурного уровня среднего испанца они возьмут свое и их анахронизм превратится в возбуждающую и выгодную новинку.

Иногда Ана отпускала вас одних в Китайский квартал, а сама, погруженная в свои мысли, сидела в маленьком салоне и поджидала вас, выкуривая сигарету за сигаретой. Когда вы уходили, она давала Серхио денег на публичный дом, а когда возвращались — жадно выискивала на ваших лицах следы пережитого.

— Ну, расскажите, — говорила она. — Как сегодня было?

Серхио рассказывал о своих любовных похождениях, Ана же тихонько посмеивалась и требовала подробностей.

— Конечно, мать о таких вещах знать не должна, — оправдывалась она. — Но что делать? Я неисправимо любопытна. Мы, женщины, живем в Испании как за решеткой. Будь я мужчиной, я бы вместе с вами ходила в публичный дом, ей-богу.

— Почему же ты не заведешь любовника? — говорил ей Серхио.

— А ты, Альваро? — спрашивала она. — Как ты провел там время?

(Постепенно Ана переборола тебя, и через несколько дней ты уже рассказывал об этом так же бесцеремонно, как и ее собственный сын. Ты детально описывал свои приключения, а она смотрела на тебя блестящими глазами, и ее прекрасное лицо было — все внимание.

— Как бы я хотела быть мужчиной, — говорила она.)

Память отбирала строго: одни сцены сохранились и возникали с бóльшими подробностями, другие — с меньшими, но от первого курса университета в памяти остались почти только Ана с ее сыном, ночные прогулки по Готическому кварталу, неторопливые и заговорщические беседы на улице Пьедад.

Постепенно (без всякой видимой причины) ваши отношения с Серхио стали портиться. Может, он ревниво отнесся к твоей дружбе с его матерью? Или это был просто беспричинный каприз богатого сынка, которому ты надоел? За двенадцать лет, прошедших с той поры, суть дела ничуть для тебя не прояснилась. Одно лишь верно: ни с того ни с сего твой друг начал все больше и больше отдаляться от тебя, и за его обычной циничной маской ты угадывал живую, словно червем разъедаемую душевную рану.

— Ты знаком с Эленой? — спросила тебя как-то Ана.

— Знаком.

— Что ты о ней думаешь?

— Не знаю. Я ее и видел-то всего раза два.

— Вы часто бываете вместе?

— О нет. — Выражение ее лица сразу же изменилось, и ты попытался исправить ошибку. — Нам с Серхио скучно с нею.

Чем больше твой друг отдалялся от тебя, то и дело забывая, что вы договорились встретиться и ты его ждешь, тем настойчивей Ана выпытывала у тебя все, что можно, о девушке: какая она, где учится, как, по-твоему, умна она или нет? Серхио доставляло удовольствие причинять вам страдания, и, бывало, ты ждал его до рассвета у них дома, а Ана нервничала и волновалась, сидя в кресле и осыпая Элену градом обвинений и упреков: «Она же просто авантюристка и интриганка. Что за радость ему таскаться с ней?» — «Не знаю». — «Вот ты ее видел, скажи честно, она и вправду так привлекательна, как он считает?» И когда, наконец, сын возвращался пьяный домой, она набрасывалась на него и ругалась, точно он был ее любовником.

— Зачем ты рассказал ей про Элену? — спросил тебя как-то твой друг.

— Она сама меня спросила.

— А ты взял да рассказал... Ты что, не понимаешь — она же сумасшедшая и может выкинуть что угодно!

— Я не знал, что...

— Я-то думал, ты достаточно взрослый и умеешь молчать.

Вы совсем перестали встречаться, и Ана, тайком от него, каждый день по многу раз звонила тебе, поверяя свои страхи относительно возможной свадьбы, и мимоходом сообщала, что Серхио больше не приходит домой ночевать: «Как ты считаешь, что я должна делать?..» В ту весну вы несколько раз тайно встретились: у Аны глаза были красные от слез, и она словно вдруг постарела. Что касается Серхио, то о нем

не было ни слуху, ни духу, а единственный раз, когда ты столкнулся с ним, он был пьян и насмешливо сказал: «Маменька все еще плачется тебе в жилетку?»

— Пошел ты... — ответил ты тогда.

(Конец Серхио был неожиданным, ошарашивающим и плачевным. Его юношеская строптивость, мимолетная, как метеор, и обманчивая, внезапно иссякла; он перестал пить, бросил Элену (которая теперь, без сомнений, почтенная мать семейства) и вступил в солидный брак с невероятно богатой девушкой своего круга — Сусу Далмасес. Прибавил в весе двадцать килограммов и занялся покупкой немецких патентов и разведением ангорских кошек. Насколько Альваро известно, он продал свою изумительную библиотеку старьевщику, и его регулярно стали видеть на трибунах Барселонского футбольного клуба. Он вращался в аристократических кругах, и его имя фигурировало в составе гражданской Комиссии по организации торжественной встречи возвращавшимся из России военнопленным Голубой дивизии. Физически умер он в сентябре 1955 года на побережье Гарраф в эффектной автомобильной катастрофе.)

Лестница выходила на главную аллею, и, подходя к кладбищенской конторе, вы увидели вдали машину Артигаса, стоявшую у цветочных клумб. Антонио поджидал там же; засунув руки в карманы, он стоял немного поодаль от остальных. Бывшие ученики Айюсо, семья покойного, преподаватели с его кафедры столпились вокруг похоронной машины — черного фургона без креста, без цветов, без венков; ты разглядывал их серьезные лица, напрасно пытаясь вспомнить, как зовут хотя бы одного из них. Большинство были моложе тебя, из последующих выпусков, а немногие твои сокурсники в свою очередь смотрели на тебя подозрительно, точно знали о всех твоих жизненных перипетиях,— смотрели, не решаясь протянуть тебе руку.

После добровольного десятилетнего изгнания ты снова был среди своих, а твоя родина по-прежнему, как и до твоего отъезда, шла своим путем, упорно не желая менять курс на тот, который ты и твои друзья пытались ей навязать. Ваш преподаватель собрал вас вокруг себя, как в старые времена, и то, что вы пришли сюда, на твой взгляд, было выражением вашего мировоззрения. Похороны Айюсо, думал ты, — это ваши собственные похороны, его смерть — это конец всем вашим мечтам, вашей затянувшейся юности. И ты вспоминал те прекрасные времена, когда ты, только что освободившись из-под опеки семьи, знакомился в университетских аудиториях со своими товарищами. И вот вы опять, за исключением Серхио и Энрике, все вместе, пресытившиеся неосуществленными планами, постаревшие от лет, которых не было, а человек, сказавший тогда: «Смерть меня не страшит, лишь бы удалось дожить до падения режима», — этот человек умер в одиночестве и безвестности, и его последняя, мучительная надежда не сбылась ему в утешение.

Тоскливый страх незаметно просачивался тебе в кровь, и пока шествие достаточно бодрым шагом направлялось к территории упраздненного теперь гражданского кладбища для иноверцев и атеистов, вдруг сверкнула, осветив все вокруг, молния, и почти сразу, настигая перепуганных птиц, упали первые капли дождя.

В конце зимы 1951 года — шел уже март — Альваро сел на 64-й трамвай, которым он обычно добирался домой с улицы Мунтанер, и вдруг обратил внимание на то, какой плачевный, заброшенный и запущенный вид у вагона. В руках у Альваро был учебник «Политической

экономии», который ему посоветовал прочесть Антонио, и пока он в энный раз просматривал теорию земельной ренты, холодный воздух, врывавшийся сквозь разбитые окна вагона, вдруг заставил его вспомнить язвительные речи покойного дяди Эулохио в адрес Барселонской трамвайной компании. Действительно, что за бесхозяйственные люди, подумал Альваро.

На следующий день, возвращаясь после бурного свидания с Аной — было обеденное время, и Альваро ждал к себе дядю с тетушкой, приходивших, как обычно, раз в неделю,— повторилось то же самое, и это внушало тревогу: вагон 58-го трамвая был весь искалечен и все стекла до единого выбиты. Пассажиров было немного: сухонький человечек с усами щеточкой, погруженный в газету, дама сурового и властного вида, две монахини, чьи круглые лица выглядывали из белых накрахмаленных чепцов, точно два асторгских коржика. На площадке угрюмо курил кондуктор, и Альваро показалось, будто на лицах у пешеходов проглядывает скрытая враждебность: «Зачем вы сели в трамвай? Не стыдно вам?»

Когда он выходил на улице Аугуста, какая-то женщина в трауре посмотрела ему прямо в лицо, и Альваро с удивлением заметил, что глаза у нее сердитые, а лицо выражает яростный, но сдерживаемый гнев.

— Простите, — сказал он. — Я не знал, что...

Он сошел с трамвая; навстречу шел 23-й номер, в котором тоже были выбиты все стекла, и Альваро увидел, как две женщины заторопились к остановке наперерез молодым людям, которые собирались войти в вагон.

— Что происходит?

— Люди не ездят на трамвае в знак протеста — билеты-то подорожали.

— А стекла?

— Со вчерашнего дня не осталось ни одного целого. Народ все побил камнями.

Это проявление анархии в серой, монотонной жизни города показалось настоящим праздником. Альваро с удовольствием разглядывал неприветливую вереницу покалеченных трамваев, испытывая радость при мысли, что, оказывается, под корою покорности и конформизма бился глухой протест. Иногда во время их бурных прогулок в автомобиле Серхио делился своими планами — как он бросит вызов обществу и начнет действовать по формуле: «Угнетать бедняка, обманывать и обирать рабочего»; сговорившись с Эленой, они даже как-то решили объехать нищие кварталы города на открытой «MG» и на глазах у нищих прикуривать сигарету от купюры в тысячу песет.

В тот день, придя домой, Альваро позвонил Серхио и предложил ему принять участие в бойкоте.

— Наберем в машину булыжника и станем бросать в трамваи.

— Кретин ты. Это надо было делать раньше, когда трамваи были битком набиты людьми, как баранами... Мы с Эленой не собираемся уподобляться толпе.

— Что же ты думаешь делать?

— Сейчас вызов обществу состоит в том, чтобы стать штрейкбрехером и оскорблять тех, кто ходит пешком.

Его категорический тон не допускал возражений, и Альваро, почувствовав себя униженным, прервал разговор. Как раз в это время у него были дядя Сесар с Хорхе и кузинами, и после обеда скучный и чинный разговор все время вертелся вокруг городского транспорта.

— Этим самым люди льют воду на мельницу коммунистов. С прошлой недели моя машина стоит в гараже, а я езжу на службу трамваем, для примера.

— Пепин Солер велит своим служащим показывать ему трамвайные билеты, — сказал Хорхе. — А если у кого билета не окажется, того — раз! — и за ворота.

— Матеу у себя на фабрике делает то же самое.

Было воскресенье, и Альваро весь вечер сидел дома взаперти и занимался. А когда в понедельник, 12-го, он проснулся в обычное время, перепуганная старуха служанка подала ему кофе и сказала:

— Сеньорито, да это революция.

— Что такое?

— Все кругом бастуют. Народ забрасывает трамваи камнями, и, кажется, много убитых.

Альваро, возбужденный, вышел на улицу. Город жил, несмотря на кажущуюся спячку; чистые тротуары центральных кварталов наводняла какая-то незнакомая толпа: суровые, исполненные решимости мужчины и женщины, словно воскресшие из 36-го года. Магазины, аптеки, бары были закрыты, отряды военной полиции, размещенные в стратегических центрах, казалось, тоже захлестнул мятеж, и они не способны были дальше поддерживать порядок.

Прошло время, и у Альваро от этого дня остались лишь смутные воспоминания (перевернутые трамваи, уличные демонстрации, налет конной жандармерии на безоружную толпу). Его тогда еще незрелое сознание (понимание пришло к нему гораздо позже) не ухватило всей значительности того дня, который мог бы стать (и, без сомнения, стал для многих, кто на протяжении десятилетия не знал в Испании яростного и терпкого вкуса свободы) одним из прекраснейших дней его жизни. Двенадцать лет прошло с тех пор, и ни разу за все годы не повторилось больше такого; и часто во время мрачных душевных кризисов, которые Альваро регулярно переживал, он боялся умереть, так и не отведав еще раз (хотя бы на несколько часов) этого чудесного и редкого — во всяком случае на его родине — плода, которого он тогда по юношеской несмышлености не оценил должным образом.

Теперь же страна пошла (как говорят) по пути невиданного прогресса, а он, неужели он так и уйдет из жизни, не увидев конца этого грязного и печального обмана?

Навстречу процессии шел нищий; увидев гроб, он торопливо снял шапку, обнажив покрытую язвами, жалкую гноящуюся лысину, и набожно перекрестился; потом он надел шапку, снова приняв безразличный вид человека, примирившегося со своим положением.

Несколько лет назад, когда ты еще работал фотокорреспондентом Франс Пресс — это было в последние месяцы войны в Алжире, — ты возвращался из танжерского Соко-Чико* по шумной улице и вдруг высмотрел как раз то, что тебе было нужно и что ты тщетно пытался поймать объективом «кодака»: Соко-Гранде расстилался перед тобою под палящими лучами солнца, огромный, пестрый, разноцветный, со всеми его лотками, лавками и навесами; ты стоял среди гама непонятно о чем галдевших торговцев-арабов и резкого звона колокольчиков водоносов, стоял, оглушенный этой живописной и беззастенчивой выставкой нищеты, которую можно сравнить только с нищетою высушенного солнцем населения Альмерии, которую показал тебе Антонио, — и тут ты услышал голос женщины, вернее, ее слова, которые представились тебе концентратом долгих веков прочного порядка, иерархического понимания долга, прекрасно сознаваемого права командовать и слепой веры в безотказное действие законов, которые мудро вершат судьбами мира:

— Посторонись, Пако, он может тебя задеть.

* Малый рынок в Танжере.

Ты обернулся, чтобы посмотреть, кто же это сказал, и увидел красавицу испанку, типичную до отвращения, разодетую в пух и в прах, с крашеными волосами, намалеванную, надушенную, напомаженную и умащенную косметикой, приобретенной, несомненно, в роскошных магазинах на улице Фобур Сент-Оноре, и ее мужа, мужчину с тяжелой челюстью, бурбонским носом и усиками, тщательно закрученными кверху по моде тех счастливых времен, когда царствовал Альфонс XIII и процветала оперетка; глаза его были прикрыты темными очками в толстой черепаховой оправе, которые загораживали виски, точно шоры у лошади.

Ну и сукины дети, подумал ты.

Перед ними и перед тобой стоял попрошайка, нищий-араб неопределенного возраста, казалось, уместивший на своем теле все язвы и увечья рода человеческого: череп покрывали болячки, один глаз, узкий, как петля, гноился от трахомы, а второй, синий, искусственный, застыл в глазнице неподвижно и безумно, точно глаз воскресшего сказочного циклопа; на тощем и рахитичном теле болтался драный пиджак; шаровары подвязаны у колен; ноги босы, одна — нормальная, другая — поджата, и искривленная, вертикально вывернутая ступня касалась земли концами пальцев, точно он шел на цыпочках.

Вот бы мне, подумал ты, внушать такой ужас, вот бы мне собрать на себе все увечья и язвы, чтобы вот так же вызвать нравственное и целомудренное презрение у этой вонючей парочки.

Подобно тому, как жалкое и кривое миндальное дерево вдруг неожиданным и чудесным образом расцветает в стылом сердце января, так же и нищий-побирушка вдруг преобразился в твоих глазах в желанный и драгоценный символ, и его уродство превратилось в философский камень, в эмблему и образ необычайной красоты. Это открытие пришло как озарение, и ты с волнением смотрел на происшедшую метаморфозу: из кривого и низенького человек стал стройным; ступня, поджатая, как копыто козленка, вдруг, когда он пошел, стала двигаться изящно и легко, словно полет Павловой или Нижинского.

С тех пор ты знал, что любая мораль, любая философия, любая эстетика не смогут оказать никакого влияния на стадо испанцев, превращенных в заурядность пятью веками конформизма, если и мораль, и философия, и эстетика совместными усилиями не решатся дать отпор полным ненависти словам этой пары, сказанным при виде нищего, — смехотворной, отвратительной супружеской пары, защищенной от реальной жизни своей тошнотворной респектабельностью, независимостью поведения, умением держаться в стороне от всего. Рано или поздно, подумал ты, некоторые, может быть, поймут это.

В тот мокрый и ветреный март 51-го года захваченные врасплох уличными волнениями и бойкотом трамвайного транспорта извечные Голоса твоей касты стройным и слаженным хором взывали к общественному мнению:

С кем мы это несомненно ибо как сказал бы истинный мадридец «Сомнение — оскорбление» с кем мы как не с Порядком Общественным Спокойствием Властью...

С кем мы как не с теми кто намерен подавить попытку мятежа носящего самый низменный характер и преследующего самые неблаговидные цели...

Решительно присоединимся к общественным силам к Каудильо к нашему славному Крестовому походу...

К несчастью для Барселоны и для нас самих ибо нам причиняют глубочайшую боль невзгоды нашего города любые предлоги и отговорки тушуются перед несомненно скверным оборотом событий совершенно оче-

видно и явно представляющих новое и разнузданное нападение красных на общественное спокойствие...
Ныне речь идет о том утверждаем мы что могут повториться черные дни которым наше славное восстание положило конец...
Сейчас повторяем речь идет о грубой и губительной попытке на которую наш город должен ответить мужественно и прямо...
Печальные события которые мы переживаем в эти дни несут на себе столь несомненную столь явную печать марксистского подстрекательства что даже не имея материала для осуждения а такой материал есть и очень убедительный можно утверждать что замышлялся антигосударственный заговор...
Те кто отличался самой ярой ненавистью ко всему испанскому как раз и брали под защиту происходящие у нас события...
И мы уверены что барселонский трудящийся класс разумно и беспристрастно все как один вернется в свои цеха и на заводы твердо зная что мы с необходимыми осторожностью и тактом будем заниматься защитой их законных интересов...
Все эти газеты и радио которые с пеной у рта распускают небылицы и утки осыпают нас оскорблениями все те кто плещется в луже грязной антииспанской клеветы и изощряются в бесстыдных выдумках все они служат неприглядным целям извечного антииспанизма...
Сплотиться тесными рядами вокруг основополагающих принципов нашего священного Крестового похода и беря пример с непобедимого Каудильо чувствовать себя сильными и спокойными решительными и бесстрашными вот наш ответ...

...Ты присутствовал при стремительном пробуждении твоих земляков, и, с удивлением глядя на все это из блаженного убежища твоего абстрактного мятежа, ты смутно ощущал, что их протест был и твоим протестом, хотя ты и не решился еще переступить порога и смешаться с ними, оставаясь вялым и нерешительным, как человек, которому и хотелось бы поплавать, да неохота раздеваться, и мечтал об очистительном огне, который при твоем тайном соучастии разрушит ваш мир. Жалованье, дороговизна — какое это имело к тебе отношение? Анархия, беспорядок — вот что было для тебя целью. Разве у демонстрантов могли быть другие цели? Свобода для тебя ограничивалась тогда запросами твоей личности. Все душевные порывы мгновенно слились в твоем возбужденном сознании, и ты радостно одобрил вызов, брошенный толпою, которая не покорилась, и, не слушая заверений Голосов, посреди улицы под твоим окном продолжала забрасывать камнями трамваи.

Похоронная процессия торопливо направлялась к кладбищенскому выходу и, не доходя метров двадцати до ограды, свернула направо, на участок, отведенный для протестантов. Надгробные плиты покоились на земле, искусно украшенные цветами, обведенные крошечными палисадничками; поднимаясь по тропинке к последним холмикам — лицо твое было влажно от дождя, и у тебя появилась одышка,— ты остановился перевести дух и стал разглядывать надписи на могилах тех одиноких, которым, как это чуть было не произошло и с тобой, выпало умереть вдали от родины и своего народа, неусыпного и тайного сообщника их изменчивой судьбы, бесповоротно вовлеченного вместе с ними, думал ты, в ту же самую авантюру.

Одна эпитафия была написана русскими буквами. Одинокий на вашей земле до конца своих дней, чужой и непонятный для вас, он и в смерти был оторван от испанского мира этой непроницаемой, невнятной надписью. Какой заблудившийся соотечественник, думал ты, примет его последнее и скорбное послание? Тебе вспомнились испанские над-

гробия на кладбище Пер-Лашез, вспомнилось, как вы были там с Долорес, и от этих мыслей тебя охватила тоска: люди с либеральным мировоззрением, насильственно изгнанные с родины строем, который, точно неизлечимая болезнь, властвует в твоей одряхлевшей стране, жестоко лишенные родины своими же соотечественниками, теми самыми, которые и для тебя сделали твою родину ненавистной, эти люди лежали там, точно побеги, отсеченные от родного дерева, меж тем как извечные защитники справедливости (справедливости ли?), оберегавшие ее силой, жили и процветали, наслаждаясь властью и богатством, лестью и почестями под предлогом того, что они якобы охраняют (так они говорили) единство и нерушимую независимость вашего племени. Аллеи, статуи, церемонии и мавзолеи увековечивали их ненавистную ложь, а торжественные и искупительные мессы обеспечивали им там, за порогом славы земной, вечное блаженство.

В результате пробуждения гражданских чувств в марте 51-го года произошло чудо: люди встряхнулись и вышли из состояния спячки. Айюсо не явился на занятия в знак солидарности с забастовщиками, а Антонио и Энрике в баре спорили с такой страстью, что дело чуть было не кончилось дракой. Альваро, порвав с Серхио, опять погрузился в науку и потому с удовольствием согласился на предложение Рикардо познакомить его с одним адвокатом, старым другом их семьи, который в свое время, сказал Рикардо, был руководителем распущенной ныне Партии Каталонского государства*.

Квартира была на четвертом этаже, на Рамбла-де-Каталуния: медленный лифт, темная лестница и смешанные запахи кухни из-за дверей. В квартире — большая библиотека с книгами по юриспруденции, витрина с инкунабулами и редкими изданиями, японские вазы для цветов, семейные портреты, покрытый пылью гипсовый античный бюст. Ковер был весь вытерт, и, чтобы скрыть пролысины, кто-то поставил на него огромную медную жаровню. Старуха служанка скрылась за портьерой, и через несколько минут вышел сам адвокат в клетчатом халате и кожаных домашних туфлях на меху; у него было живое лицо и быстрый взгляд за толстыми стеклами очков. Он подошел к Рикардо со сдержанным доброжелательством, точно суровые эти времена, подумалось Альваро, вынуждали его в присутствии незнакомых людей держаться строго, осторожно и осмотрительно.

— Com aneu, minyó?

— Jo bè, i vosté?

— Si no m'hagues sin dit el vostre nom no us hagués reconegut. Sou ja tot un home. I els pares?

— Molt bé, gràcies.— Альваро привстал, и Рикардо с улыбкой обернулся к нему:

— Li presento un company de la Universitat de tota confiança. Alvaro Mendiola.**

— Очень приятно, — сказал Альваро.

Адвокат поздоровался, в упор глядя на него. Несколько минут все молчали.

— El meu amic no és català, — пояснил Рикардо. — La seva familia és asturiana.***

* Партия, выступавшая за автономное Каталонское государство.

** — Ну, как поживаете?

— Спасибо, а вы?

— Если бы вы не назвали своего имени, я бы вас не узнал: вы стали совсем мужчиной. Как ваши родители?

— Спасибо, хорошо. Позвольте представить вам моего товарища по университету, очень порядочного человека, Альваро Мендиола *(каталонск.)*.

*** Мой друг не каталонец. Его семья из Астурии *(каталонск.)*.

— Астурия... Мы были там несколько лет назад с женой. И у нее, и у меня сохранились чудесные воспоминания.

— Я родился в Барселоне,— сказал Альваро.

— А вы, случайно, не родственник некоего Лукаса Мендиолы, он перед нашей войной играл на бирже?

— Это был мой дядя.

— Да, я знаю, как он, бедняга, умер... Что за времена, боже мой... Хотите кофе?

Устроившись на плюшевой софе, вы около часа слушали его рассуждения о том, каковы перспективы на предстоящих выборах английских лейбористов, и о последней резолюции американских профсоюзов, которая клеймила все тоталитарные режимы без исключения (он заговорщически подмигнул). «Коммунистический строй и другие»,— добавил он мягко. Это в высшей степени знаменательный факт, с другой стороны, ему было доподлинно известно, что Лондон и Париж предприняли ряд демаршей для соглашения со Спааком, желая выработать общую политику в отношении (он снова подмигнул) — они сами знают, в отношении кого. Положение было очень зыбким и таило в себе множество неожиданностей. Они, конечно, слышали о встрече папского нунция с британским послом. Один вполне заслуживающий доверия человек присутствовал при этом, и, кажется, посол настоял на своем. Кроме того, торговый дефицит все увеличивается, и частный американский банк не расположен, как осенью, предоставить необходимые кредиты, особенно после поездки государственного секретаря по Европе. Испанский посол в Вашингтоне вел переговоры с комиссией по внешней помощи Палаты представителей, и, по сообщению агентства Юнайтед Пресс (тут он опять подмигнул), прием ему был оказан ледяной. Что же касается слухов относительно сближения с Парижем, то это — чистейшие вымыслы министерства. Французское правительство отказалось от прежних конструктивных решений и заняло позицию с виду двусмысленную, а на деле несомненно отрицательную. Знают они и фразу, сказанную Венсаном Ориолем Генеральному секретарю СРПИ*. Гениальные слова, а намек на известную басню Лафонтена вполне ясен. Мадрид почувствовал себя задетым, и генерал (они, конечно, знают, кого он имеет в виду) даже грозился увеличить помощь марокканским националистам, но кончил тем, что выпил хорошую порцию соды и успокоился. В начале года перспективы не были обнадеживающими, однако теперь (исключая, конечно, неожиданности, которые, ах, как часты в этой проклятой политике) они безусловно многообещающи. Прежде всего, если принимать во внимание, что предположение о язве желудка подтверждается (лечащий врач этого самого генерала ужинал вместе с одним из университетских профессоров, но, к сожалению, назвать его имя нельзя — обещал держать в секрете). Судя по всему, хирурги посоветовали ему операцию, и ради этого из Лондона приехал специалист. Несомненно, все очень сложно. Как знать (он еще раз подмигнул), не ракового ли она происхождения. Слухи, которые в этой связи ходят по Мадриду, лишний раз доказывают, как неопределенно и ненадежно положение.

— А что вы думаете о событиях, которые сейчас происходят? — отважился спросить Рикардо.

Адвокат снял очки, подышал на стекла и не спеша протер их платком. Во взгляде у него, вспомнилось Альваро, было глубокомыслие, серьезность, осторожность и осмотрительность.

— Демонстрации, безусловно, имеют определенное значение. Они показали демократам всего мира, каковы истинные чувства народа. С этой точки зрения я не могу не оценить их положительно. Но это не

---

* Социалистическая рабочая партия Испании.

означает, что я безоговорочно поддерживаю их — я высказываю свое личное мнение — или считаю своевременными.

— Мы с Мендиолой думали, что...

— Акты насилия, которые сопровождали выражение гражданского протеста, произвели плохое впечатление на некоторых наших друзей. Беспорядки — а этот урок я усвоил из опыта нашей войны — никогда не приводят к добру. Не надо путать божий дар с яичницей и делать опрометчивые и скороспелые обобщения. Вы читали передовую «Нью-Йорк геральд трибюн»?

— Нет.

— Советую прочесть. Жаль, у меня сейчас нет. Я дал ее одному своему коллеге, и он, как водится, не вернул,— адвокат слабо улыбнулся.— Это очень объективная статья, она все ставит на свои места. Автор утверждает — я постараюсь, не исказив, изложить его мысль,— что правительство демократов должно отныне изменить свою политику в отношении к Испании и не принимать во внимание давление, которое оказывают милитаристские круги и друзья кардинала Спеллмана. Это позволит, с одной стороны, избежать, и это, на мой взгляд, наиболее веский аргумент автора, теперешней распыленности в тактике западных правительств и в то же время явится действенным оружием против вышеупомянутого генерала, если, насколько все можно предвидеть, он вознамерится использовать события в Барселоне, с тем чтобы снова размахивать коммунистическим пугалом и таким образом укрепить позиции, которые ему удалось захватить в Пентагоне. Итак, я резюмирую: протест, по словам автора статьи, является оружием обоюдоострым, и оно может легко обернуться против тех, кто держит его в руках, если они в будущем не обнаружат большего благоразумия и здравомыслия. Насколько мне известно, а знаю я это от человека, который работает в консульстве Соединенных Штатов, передовую еще до печатания читал сам государственный секретарь и дал ей зеленую улицу.

— В университете распространились листовки, призывающие к стачке... — начал было Рикардо.

— Знаю, знаю. Все группировки без исключения посылают мне свои пропагандистские материалы, и представьте, полиция их пропускает; вся моя корреспонденция просматривается цензурой, и тем не менее я их получаю. Я даже сказал господину комиссару в последний раз, когда он приходил ко мне с допросом: если вас так беспокоит, что я читаю эти листовки, зачем же вы тогда их не изымаете на почте?

— Забастовка назначена на понедельник двадцать шестого,—сказал Альваро.

— Да, я читал воззвание. Автор его, по-видимому, не знает каталонской грамматики. У вас нет с собою текста?

— Нет.

— Жалко. Последний абзац просто трудно понять. Я, когда читал, готов был поклясться, что автор сам не каталонец.

— Осталось всего пять дней,— настаивал Альваро.

— Времени правда осталось мало, и наши друзья, как всегда, ведут себя чересчур опрометчиво... Их честность, разумеется, вне всякого сомнения, но вот так, между нами, вы верите, что это имеет смысл?

Адвокат взял с письменного стола трубку и набил ее. Нашел спичку, зажег и выпустил клубы дыма.

— По-моему, двинув свои войска раньше времени, оппозиция рискует потерять le soufle*, как говорят французы,— он сделал неопределенный жест рукой.— О, я знаю, молодежь по природе своей импульсивна и щедра, но в политике, друзья мои, эти качества нередко приво-

* Дыхание *(франц.)*.

дят к противоположному результату. Политика требует огромного терпения, и в конечном счете выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто более выносив.

Наступила пауза. Как раз тут появилась служанка с подносом и убрала пустые чашки.

— Хотите немножко коньяку?

— Нет, спасибо.

— Так что же, по вашему мнению, мы можем сделать?

Адвокат задумчиво курил. Бронзовые статуэтки, выстроившиеся на каминной доске, казалось, тоже ждали ответа, и Альваро перевел взгляд на античный гипсовый бюст — точная копия того, вспомнилось ему, который царил в прежние дни в мрачном кабинете дяди Эулохио.

— Друзья мои,— заговорил адвокат неторопливо,— тому, кто говорит с вами, знакомо подобное волнение, и он относится к нему с глубокой симпатией. Друзья мои,— повторил он,— если и может дать вам какой-то совет тот, кто сам в молодости совершал ошибки, которые нынче искушают вас, то совет этот таков: не будьте опрометчивы, не растрачивайте впустую своих возможностей. Политика — вещь скользкая, и тот, кто пускается в нее, не приняв необходимых предосторожностей, падает и никогда уже больше не поднимается. Забастовка, о которой вы говорите, преждевременна и потому бесполезна. Пусть другие сжигают свои корабли, а вы держитесь в стороне и выжидайте, будьте резервом. Что же, сидеть сложа руки, скажете вы?.. Не бросайтесь в крайность. Правда всегда лежит посредине. Бывают методы борьбы на вид, казалось бы, совершенно незначительные, безобидные, однако, если ими не пренебрегать, то со временем они становятся более действенными, чем другие, внешне более броские. Именно этого рода действия — скромные и не быстротечные — годятся для молодых людей с будущим. При сем присутствовать, высказываться уже сейчас, но так, чтобы поспешностью и торопливостью не нарушить естественного процесса вызревания,— адвокат замолчал и снова протер очки: — Вы знакомы с Нурией Орсавинья?

— Нет.

— Сходите к ней. Это вдова Пере Орсавинья, который был другом и соратником Компаниса... На будущей неделе ей исполняется семьдесят пять, и мы, ее близкие друзья, устраиваем в ее честь небольшой праздник. Касальс обещал нам написать адрес, будет множество приветствий от людей, находящихся в эмиграции во Франции и в Мексике. А эта мысль насчет забастовки — нелепа, поверьте мне... Присоединяйтесь лучше к нам. В особняке места много, и хозяйка примет вас с удовольствием. Двадцать третьего, в семь часов вечера. Вы, конечно, знаете, где это... Дом с елями за оградой, в самом конце проспекта Бонанова... Не раздумывайте, соглашайтесь... Херес у них потрясающий... Я познакомлю вас с другими молодыми людьми, вашими ровесниками. Вы будете там как дома.

От напившейся земли поднимались густые испарения, и ты, обогнав основную часть процессии, остановился на несколько секунд подышать простыми запахами земли и растений. После дневной духоты словно украдкой подул ласковый ветер. Быстрые облака стремительно неслись на юго-восток. Антонио ждал тебя у подножия лестницы, и когда ты подошел, он показал на двоих, незнакомых тебе людей, которые следовали за процессией, держась чуть в отдалении.

— Полицейские,— сказал он просто.

— Откуда ты знаешь?

— Я видел их обоих в полицейском управлении. Вон тот, лысый, еще всадил мне под ложечку.

— Зачем они пришли? Боятся, как бы он не воскрес?

— Сегодня утром ко мне явился инспектор с приказом не произносить речей... Он сказал, что в случае чего — я буду отвечать.

— Почему ты?

— Я спросил у него то же самое.

— Что он ответил?

— Как обычно... Что лучше предупредить, чем потом исправлять.

Итак, думал ты, Айюсо достойно прожил трудные годы, изгнание, тюрьму, преследования, остракизм, забвение; вооруженный лишь одним — правдой слова, он никогда не сдавался и все для того, чтобы кончить вот так — погребением под присмотром полицейских и, став беззащитным телом, окончательно попасть им в руки.

Дрожа, ты поднялся по лестнице. Сверху ты мог охватить взглядом поросшие травою палисаднички протестантского кладбища, а за ними — огороды и тростниковые заросли на равнине, серые и затуманенные изморосью дождя. Процессия дошла до неосвященной земли, которую зло осквернили люди, ратовавшие за порядок, осквернили в кровавой оргии, которая последовала за их победой, после трех лет грязной войны; и, силясь скрыть волнение, ты одну за другой отыскивал могилы, избежавшие их разрушительной ярости и затерявшиеся среди надгробных плит и ниш, навязанных им католическим обычаем. Сквозь толстый слой известки, замазавшей надписи, проступали смешные (патетические) послания, полные горячего чувства и надежды, которые испанцы будущих времен будут разбирать, быть может, с изумлением (если продлится царствование Мирного Двадцатипятилетия), подобно тому, как современные историки и эрудиты расшифровывают средневековые палимпсесты. *Он жил во имя торжества разума и умер с мечтою о светлом будущем;* звезда Давида, изречения теософов, остатки старой масонской надписи; *Синдикалистский Атеней — своему товарищу Агустину Хибаэлю, 1 февраля 1933;* портрет пилота республиканских военно-воздушных сил, павшего на поле боя через несколько дней после начала военного путча; *Сальвадору Сеги, убитому 10 марта 1923 г. в возрасте 36 лет, от его подруги.* Ты подошел поближе к камню, украшенному искусственными цветами и букетиком бессмертников, чтобы рассмотреть легендарного защитника барселонского рабочего класса, изрешеченного пулями из предательской засады, устроенной наемными убийцами. Он был снят по грудь: черный пиджак, белый шелковый шарф; взгляд у него был грустный, точно у старомодного сочинителя танго, почему-то подумалось тебе. Какой таинственный случай защитил память о нем от мрачного и принудительного забвения?

Служащие похоронного бюро, не торопясь, отыскивали нужный номер среди множества других вылинявших номеров, и ты, облокотившись на лестничные перила, смотрел на необычное убранство могил, представавших твоему взгляду на насыпи уступом ниже: три большие каменные плиты серого цвета, безымянные, были уложены параллельно, и на них чья-то заботливая рука положила пучки полевых цветов и сверху прижала камешками от ветра. Дождевая влага, блестевшая на обнаженной поверхности камня, придавала всей картине оттенок вкрадчивой нереальности.

Кто они были, эти мертвые, и чье давнее проклятие искупали? Антонио, так же как и ты, в смущении смотрел на могилы, и кто-то прошептал у вас за спиной: «Это Феррер Гуардиа, Дуррути и Аскасо» *.

* Видные анархистские деятели, активно боровшиеся с фашизмом.

— А Компанис *?— спросил Антонио.

— Companys està mes amunt.**

Ты отвернулся, чтобы друзья не заметили, как, точно воск, побелело твое лицо. Вот так, подумал ты, ненависть преследует их до могилы, не принимая в расчет ни поражение, ни ту чудовищную цену, которую они заплатили; борьба не прекращается даже против самой памяти о них; и по сей день их ежедневно убивают неизвестностью. Физическое исчезновение лишь первый шаг. Ангелы-хранители векового порядка были начеку, ревниво следили за выполнением правил: окутанный безвестностью и молчанием, профессор сойдет в бездну забвения, и в смерти осмеянный и обобранный своими же соотечественниками, которые при жизни неотступно преследовали и унижали его. Могильщики поставили гроб в приготовленную в стене нишу; подобно его собратьям, лежащим в земле этого осквернённого гражданского кладбища, он, должно быть, тоже навечно будет вычеркнут из истории и памяти людей за то, что, как и ты, делал ставку на строгое и суровое человеческое благородство.

Дождь все еще шел, когда, сосредоточенные и молчаливые, вы покидали обиталище ваших соотечественников, чьи имена держат втайне и скрывают,— обильная жатва смерти, безымянные мертвецы без крестов, без цветов, без венков. Ты медленно спускался по замшелым ступеням, и, как шесть месяцев назад на бульваре Ришара Ленуара, ты почувствовал перебои в сердце.

Глава III

Этого не забывай никогда: в провинции Альбасете у шоссе 3212, километрах в двенадцати от Эльче-де-ла-Сьерра, на перекрестке дороги на Алькарас и той, что ведет к водохранилищу Фуэнсанта, справа от дороги поднимается над пустынной и бесплодной местностью каменный крест на грубом цоколе:

ДА ПОЧИЮТ В МИРЕ
ЗДЕСЬ КРАСНЫМ СБРОДОМ
ПРОВИНЦИИ
ЙЕСТЕ БЫЛИ УБИ
ТЫ ПЯТЕРО ИСПАН
СКИХ КАБАЛЬЕРО
ПОМНИТЕ И МОЛИ
ТЕСЬ ЗА ИХ ДУШИ

За пологой равниной Ла-Манча, за пшеничными полями и пастбищами однообразной альбасетской долины, насколько хватит глаз, тянутся под палящими лучами солнца холмы и скалы. Крутые тропинки ведут к пасекам, и временами проезжий может различить стадо коз и пастушка, похожих издали на пробковые фигурки рождественских вертепов. Растительность едва пробивается — редкие побеги розмарина и тимьяна, чахлые и высохшие стебли дрока,— а в августе на этих пыльных дорогах, неизвестных пока еще туристам, земля пылает под ногами, а воздух разрежен, и все тут чуждо жизни — и мертвые камни, и пустое небо, и чистый, неподвижный зной.

В тот первый и единственный раз, когда ты посетил этот край, ты поставил машину на обочине и, поднявшись на гребень, молча смот-

* Один из лидеров движения за автономию Каталонии. Последовательно боролся против фашизма, казнен франкистами в 1940 году.

** Здесь: «Компанис — несколькими уступами выше» *(каталонск.)*.

рел на крест, на разъеденные эрозией голые склоны, на бесформенные и бесцветные холмы. В 1936 году отец и еще четверо людей, тебе незнакомых —их имена тоже были высечены на камне,— пали здесь под пулями взвода милисиано и, глядя на мирную картину — пасека, развалины хижины, искривленный ствол дерева, — ту самую, что предстала их взорам в последний момент перед тем, как прозвучал залп, а за ним — выстрелы, милосердно добившие их,— ты тщательно пытался представить, как все было. Это случилось в начале августа — пятого числа, как потом удалось установить,— и все, подумал ты, должно было выглядеть приблизительно так же, как выглядело теперь: под солнцем погруженная в спячку голая степь, небо без единого облачка, охряные холмы, дымящиеся точно караваи хлеба, только что вынутые из печи. Может, из-за камней осторожно выглядывала головка змеи, и от земли, точно жалоба, поднималось густое гудение цикад.

Помнится, ты наклонился и собрал в ладонь горсть корявой щебенки в глупой надежде, что это поможет тебе хоть немного узнать о том, что тут произошло; словно прилежный ученик Шерлока Холмса, ты выискивал оставшиеся следы и приметы. Много дождей прошло с того дня (много, даже в этой прокаленной и скупой степи), и пятна крови, если они и были, следы пуль и осколков (как разглядеть их по прошествии двадцати двух лет на этой пустой, каменистой почве?) — все это стало уже частью геологической структуры, окончательно вошло в землю, слилось с нею, и за прошедшие почти четверть века освободилось от своего первоначального значения и виновности.

Время постепенно заметало следы, словно ничего не было, подумалось тебе (и могильный памятник вдруг показался тебе миражем, плодом внезапно расстроенного воображения). Другие насилия, другие смерти были и прошли, не оставив следа, и заурядная, сонная жизнь племени продолжала свое ненасытное течение. Палачи твоего отца тоже гнили в братской могиле на сельском кладбище, и над ней не было даже камня, призывавшего вспомнить их и за них помолиться. И те, кого вспоминали, и те, которых забыли, — все они, убитые летом 36-го года и весною 39-го, все они были палачами и жертвами в одно и то же время, звеньями единой цепи репрессий, начавшихся за несколько месяцев до войны массовыми убийствами в Йесте в пору власти Народного фронта.

Ты вернулся к себе в имение, и после наполнивших тебя горечью похорон Айюсо и бесцельного шатания по Монтжуичу картина местности, где произошел расстрел, постепенно стала в твоей памяти чем-то непременным, перемешавшись с образами и впечатлениями, возникшими во время поездки в Йесте в тот год, когда ты снимал фильм о бое быков и когда вас задержали жандармы. Факты в твоих воспоминаниях накладывались друг на друга и смещались, точно геологические пласты, сдвинутые резким катаклизмом; лежа на диване на галерее — на улице дождь все еще падал на опьяневшую от воды землю,— ты рассматривал собранные в папку бумаги и документы — старые газеты, фотографии, программы — в последней и отчаянной попытке определить координаты и особые приметы своей заблудившейся судьбы. Переснятые Энрике в барселонском архиве периодики вырезки из «АБЦ», «Эль дилувио», «Солидаридад Обрера», «Ла вангуардия» о майских событиях 36-го года были сложены стопкою вперемежку с фотографиями, сделанными тобою в 58-м году. С помощью тех и других ты мог воссоздать события и представить ситуации, нырнуть в прошлое и всплыть в настоящем, перейти от воспоминаний к догадкам, перетасовать реальность и вымысел. Несмотря на твои усилия сложить все воедино, детали истории распадались подобно тому, как световой луч, проходя через призму, разлагается на цвета; события странно раздваивались, и ты присутствовал на этом

праздном параде сразу как участник и как свидетель, как зритель и как актер, главный герой давней и навязчивой драмы.

Они собрались под тенью платановой аллеи, в стороне от крикливой толпы зевак, за типично французским развлечением — партией в петанк, и все до одного с понимающим видом судили о мастерстве и успехах игроков в кегли.

Их было с дюжину, буржуазных семей, бежавших от террора и беспорядков республиканской зоны и нашедших убежище в мирной обстановке маленького курорта на юге Франции, где они ждали, чем кончится эта жестокая распря, которую затеяли между собой у них на родине их же соотечественники.

Дядя Сесар, его теперь уже покойная супруга тетушка Мерседес и мать Альваро по вечерам водили их (его, Хорхе и двух его кузин) туда, к конной статуе маршала Лиотэ, где собирались и другие семейства, их партнеры по игре: сеньор и сеньора Дуран (родители Паблито), родители Луисито и Росарио Комин, Кончита Солер со своей дочерью Куки, донья Энграсия (мать Эстебана) и другие господа и дамы, имена которых Альваро теперь уже забыл,— женщины в старых летних туалетах, приспособленных к новой моде, мужчины в мятых белых полотняных пиджаках и шляпах а-ля Морис Шевалье. Пока дети бегали, катались с деревянных горок и на качелях детского парка, взрослые устраивались на изящной террасе «Кафе де ля Пост» и за чашкою шоколада или пустого чая с молоком (времена были слишком худые, чтобы сорить деньгами), не торопясь, обсуждали новости, поступавшие из штаба генералиссимуса: утки о новых преступлениях коммунистов и сводки о победном продвижении Национальной армии.

Часами ребятишки французские и ребятишки испанские играли каждые сами по себе, под добродушным и снисходительным приглядом усатого полицейского. Альваро со своими обычно придумывали историю с приключениями о преступной деятельности пресловутого «красного шпиона», о том, как его ловили и какое наказание постигло виновного; эта история каждый день разыгрывалась с новыми подробностями и составляла их главное развлечение в то томительное и жаркое лето 1937 года. К вечеру старшие расходились по домам, и Альваро с кузенами, все еще возбужденные ловлей шпиона, понуро возвращались в старинное и мрачное шале на Авеню-Термаль: двухэтажный дом с черепичной крышей и стеклянным навесом-козырьком в глубине густого и сырого сада в английском стиле.

Кончив ужинать, мать с тетками убирали со стола посуду (семейный бюджет не позволял иметь прислугу) и запирали на ключ банки с консервами и пакеты с едою, которые богач дядюшка Эрнесто регулярно присылал им с Кубы. Наступало время вечерней молитвы, которую суровым голосом вела тетушка Мерседес (набожность и воздержанность теперь пришли на смену блеску и хищничеству): литании прерывались короткими и глухими ora pro nobis, и так до последней освобождавшей всех специальной молитвы о возвращении отца (около года назад пропавшего без вести в Йесте), которая означала, что наступал долгожданный миг перекреститься и лететь стрелою в сад.

Мать с тетками и дядей отправлялись к мадам Дельмонт слушать последние известия по бургосскому радио, и Альваро, забравшись в уютное местечко, слушал, как они по-французски обсуждали взятие Бадахоса и сдачу Сантандера, бомбежки Мадрида и щедрую помощь итальянцев. «Муссолини — удивительный человек. У него на лице печать гения. Я это давно говорю. Он спасет всех нас от мерзостей демократии»,— говорила мадам Дельмонт, обмахиваясь веером.

Это она — в тот вечер, когда было получено официальное сообщение Красного Креста и мать Альваро упала без чувств, — побежала за

ним в детский парк и, рыдая, сжала его в объятиях. Ловля шпиона в этот момент была в самом разгаре, и Альваро недовольно глядел на пылающее и заплаканное лицо женщины, не понимая, что произошло нечто важное. Его соотечественники и чужие люди, взрослые и дети, молча наблюдали необычную сцену: как театрально кривлялась мадам Дельмонт и как с удивлением и ничего не понимая смотрел на нее семилетний мальчик, на которого внезапно — это казалось немыслимым в прекрасной Франции: было так солнечно и даже пели птицы — свалилась беда:

— Mon Dieu, pauvre petit. Les Rouges ont assiné son papa.*

Вы ехали дальше в направлении к Йесте. После креста-надгробия дорога идет вверх и становится неровной. Шоссе 3212 поднимается, вьется змеей, цепляется за склоны холма и головокружительно нависает над долиной. Заросли дрока перемежаются пролысинами белесого грунта, на которых время от времени попадаются небольшие дубовые рощицы. Можжевельник, мастиковое дерево, розмарин, тимьян растут, как могут, в этой бесплодной степи. Через несколько километров камни и скалы исчезают, и дорога неожиданно уходит вниз.

Ты сохранил несколько моментальных снимков, сделанных фотоаппаратом «лингоф»: желтые пшеничные поля, розовые и охряные холмы, белые домишки, скупая линия оросительных канав и поднимающиеся вдоль нее, точно вехи, фруктовые деревья. После голой и однообразной панорамы Месеты неожиданно возникшие цветовые пятна пленяют и радуют глаз. Путешественник попадает в обширную низину, пылающую в вечных и ласкающих лучах солнца. Основные государственные лесные массивы страны начинаются немного дальше, но уже здесь растительность становится богаче. Отдельные деревья, лесочки, чащи, заросли. На другой стороне долины зеленые луга тянутся доверху, покрывая весь склон до гребня, поросшего соснами.

Шоссе пересекает долину по центру и, поднимаясь по склону, идет вдоль ограды хутора, смежного с вашими родовыми владениями, которые твоя мать продала тотчас же после гражданской войны. Метрах в ста находится перекресток, и Долорес, Антонио и ты свернули влево на дорогу, идущую к водохранилищу Фуэнсанта.

Лес опоясывает гребни холмов, и временами меж сосновых ветвей сквозит голубая поверхность водохранилища. Приезжему кажется, будто он вдруг очутился у альпийского озера. Вдоль дороги тянутся коттеджи, построенные по моде тридцатых годов, окруженные садами, утопающие в розах, олеандрах, мимозах. Раньше здесь жили инженеры и техники, обслуживавшие плотину, теперь тут не видно ни души. Дома казались нежилыми, и когда вы проходили мимо, тебе на память вдруг пришел документальный фильм — название и автора ты забыл,—который ты видел в парижской фильмотеке; фильм об одном колониальном городе на Среднем Востоке, который эвакуировали во время эпидемии тифа. И только из одной трубы поднимался, словно вызов воображению, легкий хохолок дыма. По кромке дороги идет изгородь из туи и кипарисов, и на повороте — часовня, построенная в том же архитектурном стиле, что и коттеджи. Вы хотели зайти в нее, но часовня была заперта. Еще с полкилометра шоссе идет вниз в тени сосен и неожиданно выходит к плотине водохранилища, близость которого возвещает глухой и раскатистый шум.

Ты поставил машину там, где кончается дорога, и вы облокотились на перила над шестидесятивосьмиметровым водопадом; вода, падая,

* Боже мой, бедный малыш. Красные убили его папу *(франц.)*.

разлагала солнечные лучи на цвета спектра, и над нею парила дрожащая радуга. Пейзаж вокруг водопада — весь в матово-зеленых тонах. Плотина, скалы и все вокруг казалось совершенно безлюдным. Справа в скале был пробит туннель, и вы направились туда, не обращая внимания на табличку, запрещавшую вход. На стенах туннеля виднелись полустершиеся надписи, которые вы тщетно пытались разобрать. Там, за водопадом, была полная тишина. Не замечая ни времени, ни расстояния, вы шли в темноте, как лунатики. В конце туннеля свет больно ударил в глаза.

Вы вышли под открытое небо. На краю водохранилища стоял домик без окон и без дверей, и рядом возился человек лет пятидесяти. Отсюда водохранилище видно было как на ладони. Пляжи, бухточки, мысы, скалистые островки. Чем дальше, тем синее становилась вода, а на противоположном берегу тесно стояли дикие сосны.

— Добрый день. Вы сторож?

— Да.

— Вот приехали посмотреть,—Антонио вынул пачку сигарет и пустил ее по кругу: — Много работы?

— Мало,— ответил человек.

— Мы с товарищами искали электростанцию...

— Только время теряли. Нету.

— Нет электростанции?

— Нету. Собирались строить, но потом пришла война, и строительство забросили.

— Зачем же тогда водохранилище?

— Для орошения. Вся долина Сегуры поливается этой водой.

— Странно, что не используют силу воды, как на других водохранилищах,— сказал Антонио.— А вода всегда есть?

— Всегда. Зимой — побольше, летом — поменьше, больше или меньше, а всегда есть.

— Странно,— повторил Антонио.

— Никому нет до этого дела.

— В других местах специально строят водохранилища,— заметила Долорес.

— Да, но это строили не они.— Человек отвел глаза.

— Не они?

— Не они. Это водохранилище построили во время республики.

Наступило молчание. Сторож сосредоточенно курил и потом неопределенно показал в сторону плотины.

— Вы-то молоды, чтобы помнить, а вот я помню,— он еще раньше инстинктивно повернулся к вам спиной и сейчас добавил: — Эта плотина стоила много крови.

— Во время войны?

— Во время войны, да и раньше... Вы бывали в Йесте?

— Как раз едем туда.

— Посмотреть на энсьерро*?

— Мы не знали, что там это будет. Узнали только в Эльче. Совершенно случайно.

— Молодежь развлекается, как может, — сказал человек. — В наше то время люди были из другого теста.

— А вы принимали участие в войне? — спросила Долорес.

— И в войне, и потом... Три года в окопах и четыре в лагере.

— Как вы думаете, в Йесте мы сможем об этом узнать?

— О чем?

— О том, что случилось тут в тридцать шестом году.

---

* Церемония загона с пастбищ быков, предназначенных для участия в корриде.

Человек опустил руки в карманы и окинул взглядом пустынную плотину, заросшие густым лесом склоны гор.

— Если о быках и об энсьерро — то все, что душе угодно... Но о том — нет... Одни не скажут потому, что не знают, другие — потому, что боятся. Никто вам не скажет ни слова.

Новость долетела до самых дальних углов: в Йесте есть работа. Оповещенные родственниками и друзьями люди массами прибывали из Мадрида, Барселоны, Франции, Марокко. В вестях и письмах говорилось, что заработная плата там повышенная, а работой обеспечивают на много месяцев. После тоскливых лет скудости и нужды, казалось, вдруг открывалась новая эра прогресса и благополучия. Когда начались строительные работы на плотине, в городок вернулось около двух тысяч эмигрировавших оттуда жителей.

Инженеры и техники обегали весь район с чертежами, производили зондаж и брали пробы грунта, устраивали таинственные совещания с представителями городских властей. Поначалу люди, сплавлявшие лес по реке Сегура, со скептицизмом наблюдали за группой горожан, которые, вооружившись теодолитами и новейшим планиметрическим инструментом, терпеливо измеряли ущелья и теснины в долине реки. Отгороженные от всего мира горами, жители этих глухих мест с детских лет научились с недоверием смотреть на приезжих из столицы: на священников, судебных исполнителей, жандармов, сборщиков налогов. Какое им было дело до всех проектов всех топографов? Вооруженные своими баграми, люди продолжали заниматься привычным делом, не трудясь даже разузнать о цели их приезда. Простой здравый смысл подсказывал им, что появление горожан не может означать ничего хорошего. Может, они замышляли завладеть, как уже бывало, лесами и общинными владениями? С падением короля ничего не изменилось. Центральная власть по-прежнему проявлялась исключительно в форме брани и приказов, и, как бы случайно, кто бы ни затевал тяжбу, дело всегда оборачивалось в пользу местных касиков.

По мере того как продвигались планировочные работы, благоприятные слухи, распространяемые теми, кто был посвящен в суть дела, становились все настойчивее, и подозрительность местных жителей сменилась удивлением. Неужели после того, как столько веков они жили забытые богом, республика вспомнила о них? В это было трудно поверить. Однако власти утверждали, что именно так оно и есть. И объясняли, что собираются запрудить воды Туса и Сегуры с тем, чтобы на время засухи обеспечить поливными водами сады Мурсии. Предприятие огромного национального значения и выгодное для всех. На время строительства безработица в Йесте исчезнет, и жизнь в городе значительно улучшится.

Были съезды, собрания, дебаты, митинги. Плотогоны, сплавлявшие лес по реке, крестьяне, возделывавшие прибрежные земли, боязливо высказывали свои возражения правительственной комиссии. Это были все люди дикие и грубые — в большинстве своем неграмотные,—жившие на скалах в лачугах и горных хижинах, как в ту пору, когда их предки из ордена Сантьяго защищали границы королевства от вторжения арабов. Лесорубы из Орсеры и Силеса, пасечники из Молиникоса и Риопара, угольщики из Летура и Бонанче, перегонщики розмарина из Хартоса — все они толпами спустились из своих убежищ и, молча теснясь в своих альпаргатах и шапках, холщовых штанах и рубахах перед членами комиссии, тянули руку и долго откашливались, когда наступал их черед задавать вопросы.

— Мы с братом сплавляем сосну по реке. Когда кончится строительство, мы сможем опять заняться своей работой?

— Перевозить лес тогда будут по шоссе.

— А как же мы?

— Вы работайте себе на водохранилище и не беспокойтесь,—убедительно разъяснял член комиссии.— На то существуем мы. Мы позаботимся о вашем будущем. У министерства общественных работ имеется целый ряд проектов по преобразованию, которые они в нужный момент пустят в ход.

— А у кого огороды и сады? В муниципалитете мне сказали, что их собираются затоплять.

— На общинных землях мы установим новые поливные зоны. Все получат возмещение.

— Я живу в селении в двадцати пяти километрах отсюда, а автобуса нет. Как же я буду ходить домой ночевать?

— Для тех, кто живет далеко, предусмотрено построить несколько бараков, где они смогут спать и готовить еду. Тех же, кто живет в Йесте, будут бесплатно доставлять туда и обратно на машинах предприятия.

— А при несчастных случаях нам будут платить?

— Всем рабочим будут платить в соответствии с законодательством, утвержденным министерством общественных работ.

— Где мы будем покупать еду?

— Предприятие построит для вас кооперативный магазин и столовую.

— Сколько продлятся работы?

— Приблизительно восемнадцать месяцев.

Ответы члена комиссии растопили лед в зале, разрешили сомнения и подозрения и окончательно успокоили души. Когда вопросы иссякли, люди, довольные, покинули селение. Кончились времена хронической безработицы, нищенских заработков у касика — времена, когда жестокая нужда заставляла уходить из дома на отхожий промысел. Унижение, нищета, несправедливости, вечный круговорот всегда одинаковых времен года — все это теперь позади.

Представь, как они уходили по тропинкам и тропкам, поднимались по крутым горным дорогам, карабкались на самые вершины скал: они, твои соплеменники, те самые, которые в знойный августовский день прицелятся из винтовок в твоего отца в том месте, где сегодня высится скромный надгробный крест; уходили довольные, что, наконец-то, продали свою жалкую рабочую силу. Уходили, не ведая того, что занавес поднят, и для них, точно так же как и для тебя, началось представление драмы, задуманной с кровью, потом и слезами,— драмы о вашей общей никчемной и мрачной испанской судьбе.

Вы сидели на галерее, а из проигрывателя неслся тихий плач Катлин Ферье, исполнявшей «Kinder-Totenlieder» Малера. Антонио ушел на кухню приготовить коктейль. На улице все шел дождь.

— Помнишь, как мы ездили?

— Нет.

— Ну, после плотины, как мы ходили на песчаный пляж, а я еще хотела искупаться голышом.

— Может быть.

Антонио вернулся с коктейлем и пристроился на диванной подушке на полу. Его приход закрывал скобки за вашим лирическим отступлением, и под успокаивающее контральто ты снова погрузился в сны, блуждая взглядом по цветным фотографиям водохранилища, которые много лет назад снимал ты сам, пригнувшись к штативу «лингофа».

Работы начались в предусмотренные сроки. Пока одна бригада рабочих проходила отводной канал, сверлильщики буравили скалистое дно и через несколько недель взорвали его динамитом. Страшный грохот взрывов сотрясал узкие ущелья и театрально повторялся множество раз сердитым эхом. Сосны, вцепившись корнями в края обрыва, дрожали, и все зверье, населявшее горные леса, в панике обратилось в бегство. Дикие кабаны, лисицы, белки и зайцы бежали прятаться куда подальше. Ястребы и сороки стали вить гнезда в зарослях на другом склоне горы. В излучинах реки и в оросительных каналах долины сотнями всплывала дохлая серебристая форель — жертва неожиданного катаклизма.

Армия землекопов, разнорабочих, каменщиков, техников, расчистив нужное пространство, заполнила воронки тяжелыми блоками железобетона. По строительным лесам сновали занятые люди, и владычество машин — хоральная оркестровка суровых и резких звуков — окончательно заглушило воркованье голубей, резкий свист птиц, свежий и ясный говор воды. Грузовики, лебедки, перфораторы, буры глухо рокотали с утра до ночи. Плотина поднималась на двадцать, тридцать, сорок метров. И работавшие на строительстве люди с удивлением смотрели на дело рук своих.

Промчались суровые зимние месяцы, и весною пейзаж вокруг словно помолодел. Свежий, крепкий жизненный сок забродил в горных соснах, и любопытные птицы невесомо парили над водохранилищем, а потом летели дальше, к вершинам. Солнце сверкало, словно жаркое золото. И над голой зеленью гор небо было прозрачным и синим. Рабочие поднимались с зарею. Бригады работали без отдыха под бдительным оком надсмотрщиков. Уровень запруженной воды поднимался, и одновременно головокружительно росла плотина. Еда и заработная плата рабочих были предметом усердных споров с представителями комиссии, разумеется, не обошлось и без забастовок и демонстраций протеста, которые возглавлялись социалистами и коммунистами. Немало было и несчастных случаев (недорого стоит жизнь бедняка испанца): тело жертвы, одетое в рабочую одежду (выходной костюм мог пригодиться семье), на двадцать четыре часа выставлялось в часовне, принадлежащей предприятию, а потом отправлялось (бесплатно) на сельское кладбище. Вдова и дети в этих случаях получали небольшое пособие.

И вот строительство окончилось; водою был затоплен мост (министерство общественных работ построило другой пятьюстами метрами выше по течению), сады по берегам рек Туса и Сегуры, жилые дома и колодцы в долине, развалины старой мельницы. На открытие приехал министр и депутаты от провинции (с ними приехал и касик). Были речи, тосты, здравицы в честь республики; рабочих кормили за счет предприятия, а служащие столовой досыта, до отвала напоили всех вином и водкой. По словам заслуживающих доверия свидетелей, официальных лиц провожали аплодисментами.

Как и обещал член комиссии, владельцам садов правительство возместило убытки, а сплавщики, крестьяне, угольщики и лесорубы доверчиво разошлись по домам и стали ждать.

Шел божьей милостью тысяча девятьсот тридцать четвертый год.

Двадцать четыре года спустя — в самом разгаре Двадцатипятилетия Мира и Процветания — ты смотрел на неподвижную поверхность водохранилища, густые сосновые леса на склонах гор, столбики дыма от перегонных печей для розмарина, лесные прогалины и поляны, которые означали, что там, далеко, приютилась одинокая хижина угольщика. Шоссе повторяло прихотливые изгибы местности, и чем ближе вы

подбирались к Йесте, тем все больше ты ощущал в себе какое-то смутное и преждевременное волнение.

Застывший под солнцем пейзаж казался бесчеловечным, и несложное пение цикад по временам перекрывал однообразный рокот мотора. Косматые облачка плыли над охряными лоскутами возделанной земли в долине Туса. Попадались крестьянские домишки с развалившимися стенами и на открытых местах — во множестве ветхие ульи. Прежде чем въехать в город, вы задержались на несколько минут на общинном кладбище. Полные ненависти, мстительные эпитафии напоминали посетителю о казнях 36-го года. Пантеон, где покоились останки твоего отца до того, как их перевезли на барселонское Юго-западное кладбище, поднимался из травы в тени стройного изящного кипариса. Узнав его, ты в душе поблагодарил мать за то, что надпись на нем была скромной. Над жертвами расстрела 29 мая не было никакого камня; список их имен, напечатанный на первой полосе «Солидаридад Обрера» 3 июня 1936 года, сфотографирован и лежит перед тобою.

Те, что были расстреляны весною 39-го года, когда окончательно искоренили в стране раковую опухоль красных, тоже сошли на нет, не оставив и следа.

Мертвые? Нет, их будто и вовсе не было на свете. Отринутые богом и людьми. Словно зачатые в лживом, расплывчатом давнем сне.

Ожидание длилось восемнадцать месяцев. Понемногу люди растратили свои сбережения, и пока правительство изучало (так говорилось) честолюбивый план гидравлических работ и перевода нуждающихся в Эллин, плотогонам, крестьянам, угольщикам, лесорубам приходилось залезать в долги. Техники поговаривали, будто собираются ровнять склоны, насыпать террасы, укреплять почву и строить оросительные каналы, используя разный уровень воды в Тусе. Перевозка леса по шоссе оказалась разорительной. В правительственных газетах регулярно давались обещания принять срочные меры. Когда разразился экономический кризис, новый министр положил все проекты под сукно. Одна за другой комиссии возвращались в Мадрид. К началу 36-го года более двух тысяч семей в Йесте сидели без работы.

Получивший хорошее возмещение за свои затопленные земли (ходили слухи, что эта сумма намного превышала подлинную стоимость) касик тем не менее не сидел сложа руки. В один прекрасный день, перелистывая местный информационный бюллетень, выходивший в провинции, люди в крайнем изумлении узнали, что, оказывается, пленум муниципалитета при единодушном согласии продал почти все общинные леса. Угольщикам приказали немедленно покинуть эти места, иначе их выдворят силой. Некоторые протестовали, но их тут же заставили замолчать при помощи жандармов. Когда объявили, что на февраль назначаются выборы, касик через своих агентов и доверенных лиц дал знать, что, преследуя высшие интересы родины, он снова, во второй раз, выставляет свою кандидатуру на пост депутата. Положение в городе накалялось, назревал взрыв.

Выборная кампания проходила в напряженной обстановке, и, несмотря на давление и угрозы, большинство в муниципалитете получил Народный фронт. Когда распространилась весть о том, что Народный фронт победил в главных городах Испании, толпы людей собрались перед балконами муниципалитета и восторженно приветствовали победителей. (Одно из твоих первых детских воспоминаний — а может, это позднее твое воображение создало его, опираясь на случай, множество раз пересказываемый твоими домашними? — ты вместе с родными идешь к мессе в капеллу монастыря св. Иосифа, и по дороге вы захо-

дите на избирательный участок вашего квартала. В дверях мужчина протягивает твоему отцу бюллетени. Тетя Мерседес крестится и говорит очень громко: «За вас? Никогда!» Должно быть, так оно и было на самом деле, только ты не мог поручиться, что был тому свидетелем.)

Хотя новый муниципалитет создал исполнительную комиссию, которой поручил поспешить с планами орошения и заняться проблемой безработицы, люди в столице не торопились: надо немного потерпеть, увещевали они; Народный фронт должен решать вопросы более срочные; все в свое время уладится. Изо дня в день батраки спускались с гор в надежде раздобыть еды и каждый раз возвращались домой с пустыми руками. Ни в одной лавке им больше не хотели давать в кредит. Голод грозил сотням семей.

Прошли три месяца ожиданий и благих посулов. Больше батраки ждать не могли. Голод, как говорится, не тетка. Коль скоро Народный фронт не может помочь им выйти из положения, они сами найдут выход (такими были в те времена твои соотечественники).

В середине мая плотогоны, крестьяне, угольщики, лесорубы поднялись в горы, во владения касика, и начали валить лес.

Дождь уже перестал. Ты приподнялся, взял бутылку фефиньянеса и налил стакан до краев. Долорес внимательно разглядывала собранные в папке бумаги и показала тебе страничку, чудом уцелевшую при обыске, когда добросовестный жандармский сержант конфисковал всю отснятую тобою пленку. На листе черной тушью были изображены контуры быка, и ты, облокотившись на валик софы, пристроился читать.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЙЕСТЕ — ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНЕСТВ

21-е число

5 часов утра.
Большая молодежная кавалькада по случаю открытия ярмарки.
При участии оркестра, а также великанов и ряженых.
7 часов утра.
«Праздничная зо́ря» в исполнении оркестра.
5 часов вечера.
Народное гулянье на Ярмарочной площади.
8 часов вечера.
Концерт оркестра в павильоне на площади.
11 часов вечера.
Ночное гулянье.

22-е число

7 часов утра.
Оркестр пройдет по главным улицам города и исполнит «Веселую зо́рю».
10 часов утра.
Торжественная служба и церковная процессия в честь Иисуса Утешителя.
5 часов вечера.
Народные состязания, для победителей — ценные призы.
8 часов вечера.
Концерт в парке.
9.30 вечера.
Большой фейерверк — выполняет фирма «Сарагосская пиротехника».
11 часов вечера.
Ночное народное гулянье.

23-е число.

6 часов утра.
«Большая зо́ря».
7 часов утра.
Процессия в честь Пресвятой девы Скорбящей, Розарий*, затем Святая месса.
11 часов утра.
Энсьерро. Быки известного скотовода дона Самуэля Флореса.
5 часов вечера.
Грандиозная новильяда, подробности — в специальных программах.
11 часов вечера.
Сенсационное гулянье и торжественное закрытие празднеств.

— Когда мы приехали?— спросил Антонио.

— Двадцать второго. Помнишь, это было накануне энсьерро?

— Вот уж чего не забуду, как мы возвращались на постоялый двор под конвоем, — сказала Долорес. — Люди смотрели на нас, будто мы марсиане.

— Самое занятное было потом, — сказал ты.

— Когда меня зацапали в Барселоне, они опять припомнили мне твой фильм, — сказал Антонио.

— Если они хотели, чтобы я стал знаменитым, так этого они добились.

— А что стало с пленкой?

— Хранится в Мадриде.

— Не пей больше, — сказала Долорес.

— Поехали опять в Йесте, — ответил ты.

У въезда в город царило оживление: вереницы мулов, повозки, мотоциклы, лошади. Они запрудили шоссе, и машина медленно расчищала себе путь, вызывая у зевак крайнее удивление и любопытство. На всем пути до города царила необычайная суматоха. Молодые парни ставили ограды посреди улиц, люди украшали балконы своих домов флагами и полотнищами. Время от времени раздавалась бойкая барабанная дробь. Перед самой площадью альгуасил заставил вас вернуться назад и оставить машину на круто идущей вверх улице, в нескольких метрах от постоялого двора.

Яркое солнце заливало деревенские дома главной улицы. Брюки Долорес в обтяжку вызвали молчаливое и завистливое осуждение у всего женского сословия, а мужчины провожали ее жадными взглядами. Люди принимали вас за иностранцев, и некоторые разглядывали твою 16-миллиметровую кинокамеру подозрительно и враждебно. Ты снял несколько кадров приготовлений к энсьерро; старуху верхом на осле, угол дома с табличкой «улица Норберта Пуче Фернандеса, геройски павшего в России». Ребятишки шли за вами по пятам, точно тень, и пронзительно расспрашивали, для чего вы снимаете.

Ты хотел зайти в крепость, где сидел твой отец перед расстрелом, но она была закрыта. Сторож со всеми ключами ушел, и никто не мог объяснить толком, где его искать. Некоторое время вы бродили по улочкам и переулкам, отыскивая хотя бы фундамент родового дома, который твоя мать унаследовала от двоюродного деда во времена далекие и для тебя

* Молитвословие, состоящее из многократного повторения молитв «Богородице» и «Отче наш».

загадочные, дом, где как раз, может, и был арестован твой отец в 36-м году, когда произошел военный путч (и началась всенародная мобилизация на защиту республики). Через несколько месяцев после победы Франко дом продали — слишком тяжелые воспоминания были с ним связаны, — и, кажется, он несколько раз менял хозяина, прежде чем был отдан на слом последним своим владельцем (торговцем, который разбогател на черном рынке). Твоя мать держала на комоде снимок этого дома, и рядом всегда была почтовая открытка, датированная двенадцатым июля, которую послал ей муж из Йесте («Ехали мы хорошо и добрались без приключений. Здесь гораздо спокойнее. Завтра повидаюсь с представителями правления. Думаю вернуться в воскресенье. Обнимаю». Или что-то вроде этого); но после смерти матери и фотография, и открытка потерялись, и все твои последующие розыски и расспросы ни к чему не привели. Куцая история твоего отрочества терялась в зыбучих песках предположений.

Вы пошли на постоялый двор перекусить. Скототорговцы, лотошники, коммивояжеры, крестьяне из соседних поместий ели, пили, курили, спорили; в небольшой комнате, пропахшей густыми и острыми запахами кухни, было шумно: караваи хлеба, жареное мясо, гороховый суп, густое красное вино. Человек лет тридцати у стойки бара не спускал с вас глаз.

— Вы из Мадрида?

— Нет, из Барселоны.

— Репортеры, на бой быков?

— Всего-навсего любители.

Вы пригласили его к своему столику и заговорили о быках. Он рассказал, что работает водителем автобуса, что приехал в город на время отпуска и что его семья живет в Каталонии.

— Вы из Йесте?

— Да как сказать, — улыбнулся он. — Из деревни, называется Ла-Грайя.

У тебя екнуло сердце. Ты постарался скрыть это, но разговор все равно перевел на водохранилище и на то, что случилось в этих местах за два месяца до гражданской войны.

— Не там ли как раз произошло восстание?

— Там. Вернее, на дороге между Йесте и Ла-Грайей, в нескольких километрах отсюда. Если вас интересует, где именно, я могу показать.

— Хорошо, — сказал ты.

Вы опять сели в машину и проехали через город, страдающий в это время дня от нестерпимо жаркого послеполуденного зноя. Глазам было больно от ослепительной белизны стен, большинство балконов было увешано связками перца и кукурузными початками. Как только выезжаешь из города, сосны тотчас же скрывают из виду дома, расположенные на холме. С шоссе, словно с дозорной башни, видно синее зеркало водохранилища Фуэнсанта, зеленая, котловиной, долина реки Сегуры и — точно разноцветные лоскутки — поля на равнине. Постепенно городок становится все меньше, съеживается под громадой замка, и приезжий с удивлением видит лишь темные крепостные стены с башнями и бойницами — всю эту неумолимую геометрию, когда-то давным-давно замышленную как блистательный вызов, а после ставшую каменной гробницей, на долгие времена застывшей над судьбою ее смирившихся обитателей.

— Вон там, за поворотом.

Ты затормозил у самого кювета и вышел из машины, захватив свою 16-миллиметровую кинокамеру. Солнце ложилось гнетом на пустынную местность, в страдающих под его лучами оливковых деревьях трещали цикады. Из города — как ты потом узнал — жандарм, бдительное око порядка, установленного людьми твоей же касты, следил за вами в бинокль.

Лесные угодья назывались Ла-Умбрия и принадлежали деревне Ла-Грайе. С незапамятных времен это были общинные владения, но постепенно Ла-Умбрия перешла в руки касика; это произошло в ту пору, когда его подставные лица хозяйничали в муниципалитете Йесте. В результате люди, которые обычно жгли дерево на уголь в здешних лесах, остались без всяких средств к существованию и вынуждены были сидеть без дела или эмигрировать. Строительные работы на водохранилище лишь на время облегчили положение. Затем его открыли, и начался период ожиданий и надежд, которые частично питались поражением касика на февральских выборах, а частично — новыми обещаниями помощи, теперь уже со стороны руководителей Народного фронта. Члены городского правления изо всех сил старались — но безуспешно — победить сопротивление властей провинции. Потеряв терпение, жители Ла-Грайи вошли в Ла-Умбрию и начали валить лес.

Решение это было принято единодушно. Мужчины, женщины, старики, дети, вооружившись серпами, палками, топорами, посохами, баграми, собрались все перед домом, где жили лесники.

— Мы идем в Ла-Умбрию жечь уголь.

— Вы же знаете, дон Эдмундо запретил это. — Старший лесник стоял на пороге, держа ружье за спиною.

— У дона Эдмундо стыда нет. Эти леса — общинные. И мы будем жечь сосну и сеять хлеб на равнине.

— Вы сказали это дону Эдмундо?

— Мы говорим это тебе.

— Если у вас нет разрешения...

— Мы сами себе разрешаем. И пришли сказать тебе. Вот все и выяснили. Хотим только знать, за кого ты.

Старший лесник разглядывал решительные и смелые лица земляков. Некоторые угрожающе потрясали своим оружием.

— Раз вы так...

— Мы требуем своего.

— Дон Эдмундо узнает...

— Оставь ты дона Эдмундо в покое. Эти леса испокон веков принадлежали деревне. Если он будет с тебя спрашивать, скажи, пусть разговаривает с нами.

— Я умываю руки.

— Против тебя и твоих товарищей мы ничего не имеем. Если старик взъерепенится, мы пойдем к алькальду.

— Не лезьте на рожон. У дона Эдмундо покровители посильнее ваших.

— А ты погоди. Это наше дело.

— Поступайте, как знаете, мой долг — вас предупредить.

В тот же день жители Ла-Грайи поднялись в горы и начали вырубать лес и ставить печи для обжига. Эхо весело, точно музыку, разносило по долине стук топора.

За многие месяцы вынужденной безработицы накопилась энергия, и теперь она торжествующе выливалась под возгласы и песню, древнюю и примитивную песню людей, испокон веков привыкших к суровой и свободной жизни, к дикому и непокорному индивидуализму. Падали сосны, зудели пилы, и вокруг свежих пней трудились кирки и лопаты. Женщины и ребятишки тоже работали с жаром: корчевали кустарник, обрубали ветви с поваленных стволов, подбирали и складывали в поленницы дрова, которые потом в медленном огне должны были превратиться в уголь. На лесных прогалинах заступы и цапки живо расчищали землю, деревенские плуги поднимали пласты земли, проворные и не знающие устали руки горстями бросали в борозды зерно. Поистине, трудясь, бежали наперегонки со временем. Собаки, свесив языки, переходили

с места на место и настороженно следили за слаженной работой общины.

Две недели солнце смотрело на восстановленное единство человека с природой, самоотверженный труд людей, красивую и мудрую повадку инструментов в руках у лесорубов. Солнечные лучи стремительно лились сквозь листву, ложились на огромные, полные угля корзины, скользили по мшистым камням и мимоходом загорались на острие топора. Дымок из печей спокойно и тихо поднимался в небо. Мирный, полезный и всем нужный труд, казалось, воцарился в долине навечно, как вдруг к вечеру 28 мая, не дав знать даже алькальду, десять пар жандармов со старшиной и сержантом во главе показались на повороте дороги и заняли деревню Ла-Грайю.

Оливковые рощи, кукурузные и ячменные поля, водостоки — никакой надгробной плиты.

— Я был мальчишкой, когда тут стреляли, — сказал шофер автобуса. — Но если вы хотите узнать, как все случилось, то у меня есть знакомый, который тут был. Его зовут Артуро.

— Он живет в Йесте?

— Да. При Народном фронте он работал в правлении. После войны его приговорили к смертной казни, а потом помиловали. Вышел он — будто совсем другой человек. Теперь мастерит повозки.

Проехав по деревням Ла-Грайе, Ла-Донаре, Ла-Паулесе, лежавшим в долине Сегуры, вы вернулись в город. Солнце вот-вот должно было спрятаться за горы, и толпа снова наводнила улицы. Ваш проводник по круто идущей вниз улице вывел вас к дому тележника. В дверном проеме неподвижно застыла женщина, поджидая кого-то. Она мягко объяснила, что муж ее только что ушел.

— Может, вы встретитесь с ним на ярмарке, — сказала она. — Если хотите, оставьте ему записку...

— Не стоит, — сказал ваш проводник. — Сеньоры хотели поговорить с ним.

— Посмотрите, нет ли его в баре Морильо. В это время он обычно там бывает.

Вы прошли город из конца в конец. Пастухи из Арройо-Фрио и Пенья-Рубиа, пасечники из Распильи и долины де-ла-Торре, батраки из Туса и Моропече, земледельцы из Ралы и Эль-Аргельите бродили по ярмарке потными, густыми толпами, скандалили у дверей таверн, осаждали лотки с чурро и жареным картофелем, большими ложками истребляли целые миски варева. Молодые девушки, улыбающиеся и веселые, прогуливались, покачивая бедрами и бережно неся свою драгоценную невинность, охраняемую зорче, чем алтарь в церкви. Вы зашли в таверну выпить. Долорес попытала счастья в рулетку. Антонио попробовал стрелять и получил в награду пакетик с конфетами. Вы находились в Испании времен Таифских царств, окаменевшей и застывшей в медлительном течении веков (тогда еще не было ни наплыва туристов, ни плана развития, придуманного вашими знаменитыми технократами), и, глотая (сейчас) холодный фефиньянес, ты пытаешься ясно и точно представить себе пестрый и разноголосый облик праздничного города, наводненного местными жителями и сотнями приезжих со всей округи, и перед тобой предстает жестокий опыт твоей надвое рассеченной жизни — в Испании и в эмиграции; ты с горечью думаешь о своих 32 годах, которые ты просто просуществовал, а не прожил как гражданин.

Темнота скрыла живописную нищету местности, и ярмарочные огни слабо осветили мертвенно-бледную и неутешительную картину...

Ты еще глотнул фефиньянеса.

Посмотри-ка на этих: вот они, дети героев Гвадалахары и Бельчите, Брунете и Гандесы. Они бродят грудь нараспашку, группками и компаниями, с палками и свистульками, с мехами, полными вина, и бубнами, бродят бесцельно, тревожа прохожих криками и шумом, которого от них больше, чем от повозки, громыхающей по булыжной мостовой, и по тому, как они хорохорятся, можно подумать, будто они чего-то требуют, чего-то хотят, за что-то борются (за что — за свободу, за свое достоинство?), или, может быть, это просто нелепое желание показать себя, свойственное двадцатилетним, которые все эти годы принимали летаргию за общественное спокойствие, спячку за порядок и которым застой представлялся жизнью? Хватит, придержи воображение, это и есть подлинно народная армия, по-видимому, одинаково далекая как современному фанатичному стаду битлсов, так и революционным милисиано 36-го года.

Молодые люди, мечтающие стать тореро, убивают время в пивных за кувшином родниковой воды. Восхищенная публика собирается вокруг волевых и никому еще не известных подростков, которые каждый день за горсть реалов рискуют жизнью. Мужчины, взрослые, седовласые, засыпают их мудрыми советами, ласково похлопывают по спине, угощают понемножку, но каждого — табаком. Послушать этих уже немолодых людей, и можно подумать, что они соперники Аррусы или Манолете *. (В решающий час некоторые из них, быть может, сражались вместе с Листером или Дуррути.) Молодые люди молча внимают им, они оглушены, и глаза у них словно после бессонной ночи. Большинство из них перебирается с места на место пешком, спит под открытом небом, продолжая вслед за быками трудный путь к энсьерро. (Через Льетор, Айну, Элче, Пеньяскосу, Ферес, Летур, Молиникос, Богарру, Патерну, Соковос...)

— Помнишь Артуро? — сказала Долорес.

Вы нашли его в конце концов в баре на площади в тот самый момент, когда был устроен фейерверк и на городок сыпался щедрый дождь искр.

— Эти сеньоры хотели с вами познакомиться, — сказал проводник.

Мужчина внимательно поглядел на тебя. Он был худой и высокий, нос у него был тонкий, а глаза на усталом лице — черные и очень живые.

— Да, все это я пережил. — Вокруг было много народу, и он понизил голос. — Если хотите, то как-нибудь...

— Мы завтра уезжаем, — сказал ты.

— Приходите ко мне домой после новильяды. Там мы спокойно посидим. А жена сварит нам кофе.

Вы его больше не видели. Когда на следующий день вы пришли, как условились, Артуро не было. А на постоялом дворе вас поджидал жандармский сержант.

Ты налил еще стакан фефиньянеса.

— Не пей больше, — попросила Долорес.

Когда наступил вечер, восемь пар жандармов с винтовками за плечами вступили в Ла-Умбрию. В сосновом лесу царила плотная тишина, которую только подчеркивал контрапунктом топот сапог по каменистой тропинке. Предупрежденные семьями, большинство мужчин скрылись в лесу. Колонна жандармов шла осторожно, опасаясь засады. Блестящие треуголки выделялись в зарослях. Выйдя на поляну, жандармы предусмотрительно рассыпались цепью, и капрал опасливо осмотрел желтеющие сосновые пни, расчищенную и возделанную площадку земли, курившиеся угольные печи, поленницы и вязанки дров, готовые к пе-

* Знаменитые испанские тореро.

ревозке. Шестеро лесорубов остались, как были, на своих местах, невозмутимые, словно и не заметили неожиданного вторжения.

— Кто здесь командует?

Наступила пауза. Люди продолжали свое дело — они и бровью не повели. Капрал сделал несколько шагов вперед и остановился перед самым крепким из лесорубов.

— Я спросил, кто здесь командует?

— Я слышал.

— Почему же ты не отвечаешь?

— Никто нами не командует.

— Никто?

— Никто.

— Все равно. Ты ответишь мне за всех.

— У нас что тот, что другой — все равны, — ответил человек. — Мы тут все одинаковые.

— Кто вам дал разрешение жечь уголь?

— Леса принадлежат общине.

— Это мы еще посмотрим. — Капрал обвел взглядом печи, вязанки дров, только что засеянную землю. — Вы говорили с хозяином?

— Мы предупредили людей из правления.

— Правление тут ни при чем. Я спрашиваю, есть ли у тебя разрешение дона Эдмундо?

— Нету.

— Так вот, катитесь отсюда, да поживее.

— Я уже сказал вам, что лес — общинный. И если у вас нет письменного приказа от алькальда...

— Заткнись и подчиняйся.

— Сперва покажите мне приказ.

— Приказ? — взмах жандармского кулака. Человек выдержал удар, не моргнув. — Вот тебе приказ.

— Ни я, ни мои товарищи не двинемся с места.

— Не уйдете по-хорошему, выставим силой.

Часом позже в деревне очевидцы рассказывали о расправе. Жандармы с руганью набросились на лесорубов. Посыпались пинки, удары прикладом. Люди падали. Это еще больше распалило карателей. Они в бешенстве гасили печи, топтали посевы.

Шестерых арестованных со связанными руками провели по улицам деревни к зданию полицейской казармы. Жандармы, сняв плащи и треуголки, сели ужинать при свете коптилок. А жители под покровом темноты подобрались к казарме. Женщины стали громко переругиваться с жандармами. Возбуждение нарастало: разнесся слух, что арестованных избивают. Люди группами подходили к дверям казармы и возбужденно пререкались с часовыми. Так продолжалось довольно долго. Наконец дверь распахнулась и из помещения высыпали жандармы с карабинами — толпа отступила. Тогда, повинуясь приказу начальника, усмирители вернулись обратно в казарму. Как потом рассказывал один жандарм, кто-то из вожаков подстрекал толпу на самосуд.

Жители Ла-Грайи отправили ходоков к йестенскому альКальду, к председателю и членам правления, к жителям соседних селений. Все провели эту ночь под открытым небом, при мертвенном свете луны, карауля малейшее движение жандармов, засевших в казарме. По горным дорогам и тропам, ориентируясь по звездам, на помощь товарищам стекались плотогоны, землепашцы, угольщики, дровосеки. Поднялась вся округа.

Резкий крик петуха на несколько минут опередил зарю. И почти тут же начал заниматься день.

Фиолетово-желто-красная, как цвета республиканского знамени, занималась заря. Была пятница, 29 мая.

Драматическое действо вот-вот должно было начаться. Ты отчетливо представляешь суровую обстановку горной местности Йесте: 22 жандарма, отряженных в деревню Ла-Грайю, угольщики, арестованные за порубку леса, молчаливая толпа людей, собравшихся со всей округи, чтобы выразить свою солидарность с арестованными, и в роли посредника, приводящего в движение нити сюжета, ты, Альваро Мендиола, постоянно живущий за границей, тридцати двух лет от роду, женатый, человек без определенной профессии, ибо это не служба и не профессия, а лишь мука и наказание — жить, смотреть, замечать и фотографировать то, что происходит у тебя на родине; словно зачарованный, ты вызываешь в памяти то далекое и невозвратимое прошлое, и оно снова развертывается перед тобой, и ты думаешь в тысячный раз: если бы можно было вернуться вспять, если бы все тогда вышло иначе, если бы чудом можно было изменить развязку... Ты наяву грезишь об Испании настоящей, о том, чтобы твои сограждане обрели человеческое достоинство, о том, чтобы наперекор ненасытным врагам твоего народа, врагам жизни, люди обрели человеческое существование... Опьянев, ты чувствуешь себя оратором и с обшарпанного помоста держишь перед ними речь, ничтожно красноречивую речь шарлатана и трибуна: «Вы искони ждете вашего часа. Так воспользуйтесь случаем, поднимайтесь. Не упускайте возможности. Смерть не страшна. Мгновения, короткие мгновения свободы стоят — теперь мы это знаем — всей вечности веков».

Когда колонна вышла из казармы, было восемь часов утра. Лесорубы идут, связанные по рукам и друг с другом, их окружают жандармы в плащах и треуголках, с карабинами наперевес. Жители медлят, выжидая, и когда арестованные потянулись цепочкой по лесному шоссе вдоль реки в сторону Йестенской тюрьмы, они на почтительном расстоянии двинулись следом. В руках у людей топоры, палки, багры. Местность там пересеченная и безлюдная, и кто-то сказал, будто жандармы хотят перебить арестованных якобы при попытке к бегству.

Оба шествия движутся на расстоянии метров пятидесяти друг от друга. В полном молчании. Солнце уже венчает гребень гор, из кустов вспархивают перепуганные куропатки. На поворотах дороги появляются группки крестьян. Ни слова не говоря, они оглядывают цепь арестованных и пристраиваются к колонне односельчан. Вот их десять, двадцать, сорок, сто. Они идут из соседних деревень по тропинкам и напрямик, с орудиями труда за поясом. Сбегаются женщины, озлобленные, сосредоточенные. Юноша пастух стреляет из пращи в жандарма, идущего во главе колонны, камень пролетает мимо, лишь задев того, и парень мгновенно скрывается в чаще.

На поляне к колонне подходят четыре члена правления, собираясь вступить в переговоры с жандармами. Девять часов утра, и арестованные находятся еще в четырех километрах от Йесте. Односельчане подходят поближе, чтобы послушать, о чем пойдет речь, и, заметив это, жандармы спускают предохранители на винтовках. Их осыпают оскорблениями. Те, из правления, вмешиваются, уговаривая сограждан успокоиться. Лицо сержанта под черной блестящей треуголкой покрывается потом.

— Еще шаг — буду стрелять, — говорит он.

— Вы слышали? — обращаются к толпе члены правления.

Крестьяне немного отступают, но не расходятся. Новые группы спускаются по склону, останавливаются на краю дороги, вливаются в толпу. Члены правления просят отпустить арестованных на поруки. Сержант не отпускает. Клетчатым платком он вытирает струящийся по лицу пот. Крестьяне угрожающе потрясают своими грубыми орудиями. Еще ос-

тается добрый час пути, а осаждающих — сразу видно — уже больше четырех сотен.

Шествие постепенно втягивает в себя пасечников из Боче, лесорубов из Хартоса, угольщиков из Ралы. Цепь арестантов сходит с лесного Сегурского шоссе и медленно поднимается по крутой проселочной дороге. С каждым шагом появляются все новые и новые люди, они точно вырастают из-под земли. Солнце начинает припекать; стража и арестованные задыхаются. Те, из правления, послали в селение одного из своих объявить, что председатель и алькальд встретятся для переговоров с жандармским лейтенантом. Крестьяне, видимо, относятся к этому скептически и, воодушевленные тем, что прибывают все новые подкрепления, снова чуть сокращают расстояние между колоннами.

В десять утра вдали появляются первые дома Йесте, жмущиеся к подножию замка, точно перепуганное стадо к пастуху. Лес редеет, а внизу, под шоссе, он и вовсе переходит в оливковую рощу с посевами ячменя между деревьями. За поворотом, вооруженные точно так же орудиями труда, возникают три сотни человек из окрестных деревень. Сержант молча смотрит на все густеющий легион, который движется за ним, и на плотную массу людей, поджидающих у поворота. Автоматически он отстегивает ремешок треуголки и вытирает ладонью пот. Крики, оскорбления несутся со всех сторон. Жители Йесте загораживают ему путь.

— Разойдись!

Никто не подчиняется. Около тысячи людей окружают колонну. Пылают гневные лица крестьян, под солнцем вспыхивают затворы винтовок, дула и прицелы, солнце играет и скользит по лаку двадцати с лишним треуголок.

— Разойдись!

Толпа неожиданно сжимается и дает дорогу двум жандармам, пришедшим из города. Сержант совещается с ними, и члены правления тоже подходят к ним. Те сообщают, что председатель правления обещал самолично привести арестованных к мировому судье, но сейчас их должны немедленно освободить, и лейтенант отдает приказ отпустить их. Толпа встречает весть о победе восторженными криками. Сержант подчиняется приказу, жандармы развязывают арестованных, а родственники и друзья бросаются их обнимать; крестьяне и жандармы — все смешивается в одну кучу, начинается перебранка, внезапно она переходит в ссору. Члены правления тщетно пытаются вмешаться. Толпа теснит жандармов, и вдруг те, сбросив плащи, направляют ружья на крестьян.

В половине одиннадцатого прозвучал залп. Аист, сладко покачивавшийся в воздухе, испуганный резкими звуками выстрелов, стремительно ринулся к земле и спрятался на колокольне йестенской церкви.

На колокольне медленно бьет одиннадцать. Толпа терпеливо ждет. Балконы, подъезды, окна, карнизы — всюду полно людей. На заборах и настилах негде яблоку упасть. На крышах домов, на фонарных столбах, в самых невероятных местах гроздьями висят ребятишки и взрослые мужчины, словно акробаты, сохраняя равновесие там, где, кажется, его невозможно сохранить. Долгие месяцы ждали они этого часа, часа, который вознаградит их за нищенское прозябание, часа, когда они сурово и жестоко сведут счеты с беспощадной судьбой. Солнце расплавленным свинцом льется им на головы, но они терпят, не шевельнутся. Некоторые накрыли головы платками, женщины прячутся под выцветшими зонтиками. Наиболее нетерпеливые прогуливаются по площади с палками и ясеневыми тростями в руках, как говорится, на всякий случай. Опас-

ность сплотила людей, и только ты один вне этой общности, ты один — чужеземец, который наблюдает и снимает на кинопленку.

В устьях переулков — барьеры и укрытия для тореро, грузовики, изгороди, заборы. Батраки протягивают между балконами и фонарными столбами нити петард, и кто-нибудь нет-нет да и зажжет бенгальские огни или пустит ракету, которая жужжа взвивается высоко в небо и там разрывается. Посреди улицы юные тореро с импровизированными мулетами и грязными, из лоскутков, плащами караулят случай показать себя. Сгрудившись за колесами повозки или под кузовом грузовика, верещат женщины. Гонцы оповещают о том, что старшие пастухи вот-вот появятся. Ложная тревога, крики, толкотня, давка. Толпа теснится, обстановка накаляется.

Как только животные показываются на улице, люди стремглав разбегаются в стороны. Молодой черный бычок-новильо бежит впереди, а за ним полдюжины смирных быков бегут, гремя на ходу колокольцами. Погонщики идут сзади, и пока двое юных тореро поддразнивают боевого бычка, те подгоняют отстающих. Молодой бычок, кажется, удивлен происходящим, он обнюхивает землю и, не решив, нападать ему или нет, словно советуясь, оглядывается на старших. Какой-то человек быстро пробегает перед самым его носом и на ходу ударяет его палкой по хребту. Животное мычит и поворачивается на сто восемьдесят градусов, собираясь боднуть человека. Публика разражается аплодисментами. Юноши дразнят молодого бычка, подбегают к нему, но на него напирают остальные быки, он мчится вперед, и юные тореро стремглав разбегаются. Им на смену выходят молодые парни в засаленных рубахах и фартуках. Быки несутся по улице во весь опор. Толпа с криком раскалывается и бросается врассыпную. Каждый спасается как может, втискиваясь в битком набитые парадные, карабкаясь на оконные решетки, цепляясь за балконы и карнизы, бежит, удирает от быков сломя голову. Неожиданно молодой бычок и смирные быки поворачивают обратно и устремляются вверх по улице, их опережает дробь колокольцев, топот парней, дикие вопли — смесь ужаса и восторга неистовствующей толпы. Прохожие забились в парадные, гроздьями тел повисли на решетках окон. Батраки размахивают граблями, палками, колами и, когда животные проносятся мимо, бегут за ними вдогонку и что есть сил бьют их по хребту, по бокам, по крупу, по подколенкам, по животу. В несколько секунд улица пустеет. И только один рассвирепевший бык бодает зазевавшегося растяпу, топчет его и под звон колокольчика мчится дальше в сумасшедшем беге, вместе с остальными пропадает из твоего поля зрения.

Извлеки из забвения картину: толпа в молчании смотрит в конец улицы; из подъезда выходят два человека с красным знаменем. Красный цвет резко выделяется на фоне охряной пыли, рдеет на белизне оштукатуренных стен. Кажется, что это пламя, зажженное солнцем, и пламя это трепещет и развевается в воздухе. Это крик древней свободы, которой теперь заткнули рот, свободы тех далеких времен, когда надежды твоих соплеменников воплощались в простом и прекрасном символе. Ты смотришь, и тебе видится, как оно опять реет, непривычное после стольких лет, прошедших, но не прожитых, пустых и лишенных смысла, и ты глядишь на него с тем же чувством, с каким в фильмотеке смотрел документальные фильмы Ивенса и Кармена о гражданской войне; оборона Мадрида, сражение на Хараме, волнующие аккорды «Санта-Эспины». Двое мужчин шли со знаменем под аплодисменты толпы, и кровь гудела у тебя в висках. Ослепленный остервенелым нестерпимым солнцем, опьяневший и словно в бреду, ты приветствовал

чудесное явление символа со слезами на глазах и, потеряв над собою всякий контроль, шептал,— боже мой, с какой любовью, с какой нежностью ты шептал: «Народ, о мой народ, ты поднимаешься...»

Но нет, это не красное знамя, это всего лишь плащ тореро. Ты налил еще стакан фефиньянеса и залпом выпил.

С помоста, где ты устроился со своим киноаппаратом, тебе видно, как возвращается молодой бычок и как бегут за ним остальные быки. Двое мужчин снова распускают красный плащ и быстро отбегают в сторону. Все быки опять на площади. Спектакль повторяется, и, чтобы придать ему живости, церемониймейстер поджигает шнуры петард. Петарды разрываются с треском — точь-в-точь пулеметная очередь, — воздух наполняется дымом, дети затыкают уши руками, а женщины истерически кричат. Животные мечутся, окончательно сбитые с толку, и какой-то парень с поразительным проворством успевает накинуть шнур от петард на рога молодого бычка. Петарда разрывается, и животное, испугавшись, кружит на месте, словно волчок, бодается, пытаясь отделаться от шнура, брыкается, к вящему удовольствию и восторгу толпы. Несколько петард разрывается и на спине у героя, прожигает ему рубаху, и кровь проступает на ткани. Но парень отказывается от помощи и снова с палкой в руке выходит один на один с быком. Петарды рвутся без передышки.

Когда у тебя кончается пленка, едкая смесь запахов пыли, пота и крови плывет над площадью.

Составленный из противоречивых версий обеих сторон, принимавших участие в происшествии, вот он итог — рассказ о событиях, созданный впоследствии равнодушными газетными репортерами.

При первых звуках выстрелов на мгновение возникает паника. Крестьяне пытаются отнять у жандармов карабины и бросаются на них с серпами и ножами. Основная масса поспешно отступает, мужчины же посмелее врукопашную схватываются с жандармами. Какому-то крестьянину удается отнять карабин у жандарма, и он стреляет. Тот падает, и кто-то вонзает ему в шею крюк, которым скрепляют плоты. Делегат от йестенского муниципалитета Андрес Мартинес Муньос, первый помощник алькальда и управляющий конторой по найму рабочей силы, тщетно уговаривает прекратить драку. Жандармский старшина стреляет в делегата в упор, приговаривая: «Вот тебе за твое правление!» Рухнув на землю, тот умоляет сохранить ему жизнь ради детей, но старшина приканчивает его тремя выстрелами. «Вот и все! — кричит он, — этот уже не выздоровеет». Еще двое лежат ничком на земле, у одного из них разможжена голова. Для удобства многие жандармы стреляют из пистолетов. Трое жандармов спасаются бегством в лес, меж тем как рукопашная схватка на шоссе продолжается. Раненые расползаются сами, как могут, и кровь их стекает в пыль. Один из жителей, размахивая серпом, кидается на жандарма. Другой жандарм стреляет в него в упор, и тот, сраженный, падает. Трое жандармов пристроились за скалою и с фланга обстреливают шоссе из винтовок. Те, кто еще находился на шоссе, теперь бросаются вниз по склону через овсяное поле в оливковую рощу. Из города на подмогу своим спешит отряд гражданских гвардейцев. Жандармы остаются хозяевами положения и, не заботясь о раненых и умирающих, кидаются в погоню за беглецами. Десятки людей бегут по открытому полю ничем не защищенные. Точно разрывы петард, трещат выстрелы. Трое крестьян прячутся в сточной канаве глубиною в рост человека, и жандармы, подкараулив их, убивают двоих и тяжело ранят третьего. В другой сточной канаве они находят кре-

стьянина, раненного двумя пулями. Тот кричит в голос, умоляет добить его. Жандарм стреляет в него дважды — в руку и в ногу. «На, получай! — кричит он.— Так дольше протянешь».

Когда через несколько часов приезжают журналисты, в сточных канавах еще плавают сгустки крови. А в одной — кровь тянется черной полосой на несколько метров. В кустах ежевики — совсем новый берет, платок и выпачканные красным лоскутья: видно, кто-то пытался остановить кровь. Посреди поля лежат четыре забытых всеми трупа. Подле мертвеца, опустившись на колени, плачет женщина. Тот, которому прострелили руку и ногу, все еще агонизирует, истекая кровью, на губах у него пена. Солнце сверкает как ни в чем не бывало, муравьи и мухи оспаривают друг у друга неожиданную добычу под зорким оком стервятников, неторопливо и упорно описывающих концентрические круги над оливковой рощей.

Шапки, береты, вельветовые штаны, куртки, фартуки, платки вокруг шеи, грязные жилеты, альпаргаты... Молодые парни, подростки, старики, ребятишки теснятся на помосте, не спуская глаз с ворот, за которыми заперт молодой бычок. Это публика простая и грубая, среди них нет туристов, читателей Хемингуэя, барчуков в широкополых шляпах с сигарами во рту, красоток с гребнями в волосах и в накинутых на плечи мантильях, холодных англосаксонок, ищущих грубых и острых ощущений. Чтобы скоротать время, парни, не торопясь, строгают палки. Другие, высоко подняв над головой мехи, пьют густое местное вино. Струя падает в открытый рот геометрически точной прямой, и пьющий время от времени выписывает ею арабески и узоры, вызывая восторг у всего собрания. Мехи переходят из рук в руки, по кругу; продавцы пива и газированной воды кричат, предлагая свой товар.

Юные тореро поджидают появления животного, упражняясь пока в фигурах с мулетой, и, точно знаменитые мастера, принимают то и дело презрительные и мужественные позы.

К несчастью, им недолго удается сохранять бравый вид: как только загон открывают, оттуда стрелой вылетает молодой бычок, и их горделивая повадка мигом исчезает, словно растаяв в беспощадных солнечных лучах. Животное бросается в атаку, одним махом разрывает плащ, в бешенстве бьет рогами в доски ограды и с удивлением принимает пинки и палочные удары, которые сыплются на него из-за ограды. Стоит ему приблизиться, как люди хватаются друг за друга и, подминая соседа, сливаются в одну многорукую и разноцветную массу. Те, что стоят у барьера, как могут, цепляются за тех, кто устроился выше, за все, за что только можно,—люди гроздьями висят над рогами животного, словно грешники над адским пламенем на иллюстрациях Густава Доре к «Божественной комедии». За оградой толпятся женщины; одни стоят, поднимаются на цыпочки, другие сидят на земле, их лица искажены наслаждением; они осыпают руганью быка и, истошно вопя, подзадоривают мужчин.

Объектив кинокамеры медлительно запечатлевает весь ход сражения и обряд смерти быка: неудачные приемы будущих тореро, палочные удары погонщиков, бешеный восторг публики. Стоит быку отвернуться, как подбегают парни и колют его палкой, зрители швыряют в него камнями, а какой-то батрак что есть силы тянет его за хвост. Удары сыплются градом на рога, на затылок, на хребет, в живот, под коленки. Обычай запрещает убивать его сразу ударом шпаги, игру следует продлить до предела, агонию надо растянуть до конца. Старший пастух пытается набросить веревку ему на рога, но бык недоверчиво отступает и упирается задом в дверь загона. Несколько раз человек безуспешно пробует набросить аркан. На губах у быка выступает кровавая пена.

Ободрившись, юные тореро дразнят его плащами. А публика швыряет в застывшее животное чем попало. Какой-то тип высовывается через брешь в ограде позади быка и огромным мясницким ножом наносит ему глубокую рану у хвоста. Кровь бьет ключом, животное мычит от боли. Собрание аплодирует отваге и изобретательности артиста. Старший пастух предпринимает еще одну попытку, но веревка соскальзывает с рогов. Он пробует снова и снова, а люди, цепляющиеся за ограду, хлыстами и прутьями отгоняют от себя животное. Бык низко пригибает голову, обнюхивает землю, делает несколько шагов, бьет копытами, ноги у него подгибаются, он падает на колени, приподнимается и снова падает, выплевывая кровь.

Его бессилие вызывает бурное ликование толпы. Униженное животное падает и точно в тягостном, отвратительном кошмаре видит и сознает ужас своего положения. Когда пастух, наконец, заарканивает его, хриплый рев толпы приветствует героический поступок. Батраки тотчас начинают неистово колотить быка, тянут за веревку, чтобы привязать его к фонарю, а какой-то седой человек подбегает к животному и вонзает ему в бок шило. Дюжины рук держат веревку, толпа высыпает из-за ограды. Несколько молодых парней хватают животное за хвост и тянут с такой силой, что хвост, и так уже наполовину отрезанный, отрывается с корнем. Бычок, видимо, уже нечувствителен к боли, он смотрит на густую человеческую массу налившимися кровью глазами... На этом, сжалившись, пленка кончается.

Где ты? Какой пласт памяти докучает тебе? Насилие порождает новое насилие, сцены зверств множатся, скрещиваются, перепутываются... Дело происходит в полутора километрах от Йесте между одиннадцатью и двенадцатью часами пополудни. Свидетели — жители деревни, тоже раненые, но оставшиеся в живых. Женщине кричат на улице: «Стой!» Она останавливается. Ей приказывают: «Ложись!» — и открывают по ней, лежащей, огонь... Она с трудом поднимается на колени и снова падает под градом оскорбительной ругани, пинков, ударов... Рабочий возвращается с работы в десять часов вечера, в городе все спокойно, как вдруг без всякого предупреждения его прошивают очередью... Тесный лес ног окружает его, в бешенстве его осыпают пинками... Николаса Гарсиа Бласкеса, который по приказанию алькальда ехал на грузовике подбирать тела жертв, заставляют выйти из машины по той лишь причине, что на нем красная рубаха, и он умирает под пулями...

Когда быка приканчивают огромным мясницким ножом, молодые парни бросаются на его труп, трогают и ощупывают его, словно это священная реликвия, и потом торжественно показывают свои платки, испачканные кровью... Человек в оливковой роще с простреленной рукой и ногой, этот человек все еще в предсмертной агонии.

— Ваши документы, пожалуйста.

Долорес ушла спать, бутылка фефиньянеса пуста. Ветер, проносясь, свистит в ветвях эвкалиптов. Ты привстаешь и снова ставишь на проигрыватель «Песни о мертвых детях».

В пять часов утра по случаю открытия ярмарки при участии
ваши документы...
оркестра, а также великанов и...
с чьего разрешения вы проживаете за границей...
ряженых...
когда последний раз были в Испании...
21-го в 7 часов утра «Праздничная зо́ря» в исполнении...

с какого года живете в Париже...

оркестра...

с какой целью приехали в этот город...

в пять часов вечера народное гулянье на Ярмарочной площади...

эта кинокамера ваша отвечайте почему по приезде вы сразу же связались с...

в 8 часов вечера концерт оркестра в павильоне на площади...

вы утверждаете что снимали только энсьерро тогда что вы делали на шоссе ведущем в Ла-Грайю и зачем вы останавливались на том месте где...

в 11 часов ночное гулянье...

люди заслуживающие полного доверия слышали как вы разговаривали с Артуро о республике и о гражданской войне разве вы не знаете что это за птица не хотите же вы чтобы я поверил будто этот тип взятый на заметку местной полицией за свое недоброжелательство...

22-го в 7 часов утра оркестр пройдет по главным улицам города и исполнит «Веселую зо́рю»...

мы следили за каждым вашим шагом с того момента как вы приехали в город и точно знаем с кем вы встречались а также откуда вы...

в 10 часов торжественная служба и церковная процессия...

не можете ли объяснить какой вам интерес встречаться с человеком у которого на совести...

в честь Иисуса Утешителя...

есть ли у вас разрешение снимать кинокамерой мы не знаем ни что вы снимали ни с какими целями и пока высшие власти не разберутся мы обязаны...

Иисуса Утешителя...

забрать у вас камеру и пленки...

Утешителя...

если хотите можете продолжать путешествие при условии что явитесь в полицию...

У-те-ши-те-ля...

когда вы потребуетесь властям.

Антонио ушел к себе. Ты спустился в сад. Дождь перестал, и звезды проступали из хаоса ночи, сверкая в темноте, точно горящие уголья. Казалось, ветер раздувает их и начищает до блеска. Эвкалипты сушили на ветру свои легкие листья. Свежий воздух прояснил мысли.

Несколько минут ты стоял, облокотившись на перила балкона. Вдали на горизонте небо сливалось с морем. Последние огоньки в деревне погасли один за другим. Нетронутая тишина укрыла спящие окрестности. Единственный, кто не спал во всей округе,—это ты: ты бодрствовал, вспоминал, воображал, бредил.

Автомобильные фары метут по брусчатой мостовой и взмахом освещают группу людей из ИФА*, с револьверами и винтовками стоящих посреди дороги.

— Стой! Руки вверх!

Старенький «форд» резко тормозит всего в нескольких метрах от патруля. Фонарики высвечивают ошарашенное лицо шофера. Рядом с ним щурится пожилой человек.

— Почему не остановились сразу?

* Иберийская федерация анархистов.

— Мы вас не видели,— бормочет шофер.

— Выходите живо... Документы.

Шофер сует правую руку в карман брюк. Начальник патруля, не проронив ни слова, бьет его рукояткой револьвера, от неожиданности и резкой боли шофер чуть не падает.

— Смирно, понял?

Начальник отбирает у обоих бумажники, достает из них документы и показывает их парню в фартуке.

— Что там написано?

— Лукас Мендиола Орбанеха...

— Профессия?

— Биржевой маклер.

Парень читает по складам, как школьник. Один из них тем временем осматривает машину внутри и трудится над ручкою багажника.

— Эй, смотри-ка,— говорит он.—Там что-то шевелится.

Весь патруль подходит посмотреть. Двое с поднятыми руками дрожат, как осиновый лист.

— Что за черт у вас там?

— Лягушки.

— Получай, сволочь, буржуй.

Пуля попадает в грудь, прямо в сердце. Дядя Лукас рухнул, как тряпичная кукла, с выражением безграничного удивления на лице.

Шофер падает на колени рядом. Щеки его дергаются от ужаса.

— Не убивайте меня, ради бога. Клянусь вам, это правда.

Один из патрульных выбрасывает мешок на землю и рывком развязывает его. В насмешливом свете фонариков дюжины и дюжины лягушек выпрыгивают из мешка и с тупым, каким-то нелепым проворством скачут по еще теплому телу дяди, по запятнанному кровью шоссе.

Сколько раз еще при жизни матери, когда под сенью эвкалиптов собирался семейный совет, ты слышал рассказ о печальной кончине дядюшки Лукаса, жертве своего неуемного обжорства и экстравагантного гастрономического вкуса, кончине, приключившейся в тот самый день, именно в тот самый день — о, какая поразительная историческая интуиция в вашем роду! — когда народ в ответ на мятеж генерала Годеда штурмовал полицейское управление и неудачливый генерал был арестован. А ты сам, чудом спасенный благодаря энергии и отваге горстки людей, решивших воспрепятствовать «советизации» Испании, над которой нависла международная жидо-масонская угроза, ты слушал, дрожа от страха, рассказы об убийствах, поджогах, пытках и о Чека. Пепе Солер, толстый мужчина за пятьдесят, свидетель преступления, в который раз пересказывал в лицах сцену смерти дядюшки, а тетушка Мерседес, не отрываясь от чулка, который она вязала для опекаемых миссионерами негритят, сокрушаясь, припоминала историю внезапного исчезновения кузена Серхио. Это была прихоть: одетый с иголочки, в мягкой шляпе и шелковом галстуке, настоящий денди, он вздумал прогуляться у всех на виду в те времена, когда красное знамя и черный флаг анархистов развевались на балконах, трепетали на кузовах такси, украшали фасады больших домов, а мстительные мужчины и молодые парни, неизвестно откуда взявшиеся, спесиво расхаживали в красных платках на шее, с самодельными патронташами на поясе, в разноцветных костюмах милисиано.

Грузовики ехали на фронт, битком набитые добровольцами, и шофер одного такого грузовика — ты представлял его себе с бородой и усами, как в кинохронике, которую видел в Париже,— поравнявшись с кузеном, затормозил.

— Эй ты, чучело.
— Вы мне?
— Да, тебе... Скажи-ка, куда это ты вырядился?
— Прогуляться.
— Ах, ты любишь подышать воздухом?
— А что в этом плохого?
— Ну-ка, живо полезай в кузов, поедешь с нами.

Кузен Серхио повиновался — под револьверным дулом — и вместе с остальными на этом грузовике отправился на фронт. Больше о нем ничего не слышали. Его мать, двоюродная сестра Аугустина, Эулохио, Мерседес и Сесара, всех подняла на ноги, пытаясь разыскать его следы. Вероятнее всего, он умер в окопах, пав жертвою артиллерийского обстрела националистов. Было ему семнадцать лет.

А что случилось с твоим отцом?

Когда кончилась война и ты вернулся в Барселону, семья начала розыски, и в присутствии твоей матери, дядей и теток бренные останки твоего отца без шума были выкопаны на йестенском кладбище, и труп был опознан. Из патруля, который его расстрелял, никого не осталось: одни умерли, другие жили в изгнании, и история — теперь уже давняя — его последних дней была по-прежнему окутана туманом, которого теперь уже, без сомнения, никто никогда не рассеет.

Не имея ни документов, ни доказательств, ни свидетелей, ты мог как угодно рисовать себе историю его ареста в разрушенном родовом доме, может быть, даже очные ставки с жертвами событий 29 мая и одинокое ожидание смерти в голых стенах крепости. Сидя взаперти, как и другие землевладельцы и бывшие доверенные лица касика, он, быть может, взбунтовался в эту последнюю ночь перед смертью? Его строгое и печальное лицо, с детских лет отмеченное печатью сурового пуританского воспитания, казалось, временами скрывало тайную муку, невысказанное и упорное сомнение, которое, может статься, в те мгновения всплыло и проявилось резко и неприкрыто, разом сметя все верования и догмы, законы и принципы — весь этот непрочный, неверный замок, который был старательно возведен на песке другими и в котором он смиренно обитал. На фотографиях он обычно выглядел сосредоточенным и углубленным в себя, словно его издавна мучили вещие предчувствия. Думал ли он о тебе, хрупком мальчике, которого навсегда оставлял на попечение женщин? Думал ли о жене, с которой разделил десять никчемных лет внешне безмятежного существования и лжи? Или о боге своей касты, далеком и немом, отсутствующем и сомнительном? Твой отец умер и отошел в небытие нелепо, как и многие люди его поколения. (Ибо кто у кого выиграл? Кому прибавила чести эта жестокая и детоубийственная победа?) Он был расстрелян. И ты представлял до ужаса медлительный и точно сухой звук его шагов по коридору крепости, последнюю чашку кофе, выпитую бережливыми глотками, краткий и суровый приговор местного комитета (праведники расплачиваются за грешников), ты видел, как он выходит под конвоем вооруженных крестьян, как люди мстительно осыпают его руганью, как он, подталкиваемый пинками и ударами, поднимается на грузовик...

Холмистый пейзаж Йесте в августе красив. Шоссе 3212 змеится среди строевого леса по откосу над голубой гладью водохранилища Фуэнсанта, спускается, вьется по берегу, снова поднимается и, оставляя позади сосновый лес, бежит по равнине. Немного спустя появляются террасы и постепенно исчезает растительность. В зарослях дрока проглядывают белесые пятна грунта. Солнце пылает белое, бесцветное. Всякая жизнь здесь затухает.

Надгробный крест сурово встает на крутом повороте дороги, и, сойдя с грузовика, твой отец видел ту же самую картину, которую видишь

ты сейчас: на первом плане пасека, развалившаяся лачуга, искривленный ствол дерева; дальше — спящая под солнцем голая степь, небо без единого облачка; холмы, курящиеся, точно только что вынутые из печи караваи. Может быть, где-то рядом осторожно выглядывает из-за камней змея. От земли, словно жалоба, поднимается густое гудение цикад. Отряд — перед ним, и приговоренный мочится от страха, когда начальник патруля поднимает руку и крестьяне вскидывают винтовки...

Как это объяснить? Часто во время приступов депрессии и тревоги мысли о смерти этого неизвестного тебе человека (твоего отца), о том, что между вами никогда не было и не будет никакой связи (если не считать того случайного факта, что он все-таки был твоим отцом), разъедают тебя изнутри, точно сознание некоей потерянной возможности, сожаление о чем-то, что не было сделано; и эта предательская, неизлечимая тоска преследует тебя неотступно. В другой стране, думается тебе, в другую эпоху ваши с ним жизни сложились бы иначе и, в большей или меньшей степени, вы поняли бы друг друга. А теперь, что общего между вами, если не считать краткого, необратимого мига причащения смертью? Глядя в черные дула винтовок (направленные на тебя), ты тщетно пытаешься удержать время.

Резко прозвучал залп.

На протяжении трех лет вихрь безумия дул над Бычьей Шкурой — так называют некоторые землю твоих отцов, пустую и бесплодную страну, скопление современных Таифских царств,— дул, дополняя разрушительную работу, которую из века в век с упорством и терпением вели твои прославленные предки, одержимые темными инстинктами, в которых стыдно даже признаться, демонами ненасытной алчности и неутолимого честолюбия. Они кропотливо и методично, неумолимо и сурово наводили в стране свой жестокий порядок, охотились за ведьмами, истребляли и губили самих себя, не останавливаясь ни перед чем и ничего не принимая во внимание, изничтожали по очереди во имя сомнительных догм торговлю, промышленность, науку, искусство. Раздавленный, сметенный, тысячу раз заклятый враг мерещился им повсюду, призрак возрождался вновь, иногда под каким-нибудь новым ярлыком, а вместе с ним — и неуемное стремление уничтожить его и спуститься еще одной ступенькой ниже по лестнице варварства. И теперь твои соплеменники радуются тому, что перед лицом всего мира утвердили свое зловещее понятие родины как некоего незыблемого утеса, о который бесплодно разбиваются бурные волны исторического развития.

Ребенком, не понимая смысла происходящего, ты был свидетелем безумной братоубийственной борьбы и пришел в ужас вначале от преступлений и зверств одних, а потом возмущался тем, что творили другие (старательно обеленные), прежде чем постиг, что все они (и те, кто был побежден, и те, кто одержал победу, и оправданные, и те, кому оправдания нет),— все они подчинялись законам одного и того же клинического цикла, в котором за бешенством и безумием следуют длительные периоды покоя, отупения и спячки...

Тебя не задела шумная туристская волна, которая, словно манна небесная, обрушилась на спящую, погрязшую в лени страну в это жаркое лето 1963 года; радио с ликованием сообщило, что через границу в пункте Пертюс только за последнюю субботу и воскресенье проехало сто тысяч машин — французских, шведских, бельгийских, голландских, немецких, английских, скандинавских, в которых люди ехали смотреть на бой быков, пить мансанилью, валяться на солнце, словно ящерицы, и есть в новеньких кафе, окрещенных «исконно испанскими» именами, вроде «Вестминстер», «Орли», «Сен-Тропез», «Виски-клаб»,

«Л'Эмпревю», «Олд-Инглэнд» и тому подобное; ехали, чтобы приобщить, наконец, испанский народ к насущному ремеслу изготовления промышленных и политических ценностей, превращая страну с помощью вашего пресловутого радикализма в плодородный и пышный питомник по производству устриц и сырья для кровяной колбасы.

Ты думал о профессоре Айюсо и о твоем отце, о людях, бесполезно погибших в 36—39-м годах, о вашем горестном поколении, обреченном состариться, так и не узнав ни юности, ни ответственности за настоящее дело. Облокотясь на перила балкона, ты ловил ухом далекое шуршание туристских автомобилей, которые день и ночь бежали по шоссе вдоль берега, и, погружаясь вновь в покой и тишину родового сада, пытался отрыть в припорошенной пылью памяти запоздалые воспоминания, чтобы лучше понять и обдумать минувшее — пока не поздно.

Ты страшился, что придет смерть, прошлое умрет вместе с тобою. И только ты, ты один был в силах спасти его от гибели.

На маленьком курорте на юге Франции весна была холодной, и ребятишки, игравшие на детской площадке за платановой аллеей, были еще по-зимнему упакованы в пальто, шарфы и перчатки. Вот уже два года, как Альваро со своими друзьями свободно бродил по улицам, ни на минуту не прекращая войны с ватагой своих сверстников, которые, едва выбежав из школы, принимались швырять в них камнями и обстреливать из рогаток. Слабая попытка приобщить Альваро к школьному обучению, предпринятая матерью, к великому облегчению Альваро, натолкнулась на категорическое неодобрение мадам Дельмонт: «В светскую школу? Да вы с ума сошли. Там из него сделают безбожника и плохого патриота. Если вы не в состоянии оплатить коллеж Святого духа, то лучше вообще никуда его не отдавать. Вот если бы нами управлял Муссолини...» Дядя Сесар и тетушка Мерседес тоже не уставали повторять, как опасно двуязычие и как теперь уже близок конец спасительного Крестового похода националистов.

В течение последних месяцев Альваро случалось присутствовать на собраниях колонии испанской эмиграции. Они устраивались сразу же, как только приходили сообщения о сколько-нибудь важных событиях: прорыве фронта на Эбро, освобождении Барселоны, бегстве республиканской армии (пятнадцать лет спустя в фильмотеке на улице Ульм Альваро с волнением смотрел горестные кадры разгрома, кадры, запечатлевшие сотни тысяч людей — мужчин, женщин, детей и стариков,— пешком с жалким скарбом за плечами бежавших к границе, в сторону Пертюса, массовый исход, сравнимый по численности лишь с теперешним, только в обратном направлении, наплывом туристов всех возрастов и из всех стран, которые на машинах с прицепами и фургончиками мчатся по шоссе и дорогам, словно спасаясь от неведомого бедствия, мимо тех же самых скал, тех же самых деревьев, по той же самой местности, которая была ареной великого катаклизма в феврале 39-го года).

Как только открылся путь через Ирун, часть эмигрантов вернулась в Испанию и ожидала эпилога трагедии в Сан-Себастьяне, Бургосе или Саламанке. Оттуда они слали семейству Мендиола карлистские береты, фалангистские фуражки и даже синюю рубашку с вышитыми на ней красными стрелами; рубашкой завладел дядя Сесар, часто появлялся в ней на людях — по воскресеньям в церкви и вечерами на увитой цветами террасе «Кафе де ля Пост». По совету дяди Сесара женщины вязали для солдат свитера, подшлемники, носки и регулярно отсылали их благодарным испанцам (или же итальянцам), которые отвечали им красивыми открытками и письмами в романтическом стиле, предназна-

ченными, вероятно, еще больше подогреть благотворительный энтузиазм покровительниц (тетушка Мерседес держала фотографию своего подопечного, инженера Сандро Росси, на тумбочке у себя в спальне до того рокового дня, когда появилось заявление Бадольо и Италия трусливо и предательски сдалась союзникам).

В день, когда передали последнюю военную сводку из штаб-квартиры в Бургосе, Альваро с кузенами бегал в саду, а взрослые в салоне откупоривали бутылки шампанского и после тоста благоговейно слушали пластинку, на которой был записан голос каудильо. Заразившись возбуждением взрослых, дети в который уже раз ловили «красного шпиона», запускали бумажного змея, бегали с камнями за кошкой и, исчерпав обычный набор развлечений, придумали состязание—кто пописает дальше, целясь с установленного расстояния в четыре метра в живую изгородь из туи. Кто-то (не Хорхе ли?) уже было выиграл, когда Кончита Солер, несомненно предупрежденная одной из кузин, прервала игру, закричав на весь сад (в Мадриде в это самое время толпа безумствовала, встречая войска победителей):

— Дети! Что вы делаете! Выставляете напоказ срамоту, как раз когда наши победили!

Ты повернулся спиною к морю. Темнота скрыла знакомые очертания деревьев в саду — парящую пышность эвкалиптов, тонкую дрожь кипарисов,— размашисто набросив на весь ландшафт из края в край огромную тень. Жизнь, казалось, замерла — но только с виду, ибо глухой и сокровенный пульс ее продолжал биться. Время от времени налетал ветер, пронизанный запахами растений, и срывал с отяжелевших от влаги ветвей непрочное ожерелье дождевых капель. Прислушавшись как следует, ты мог различить вдалеке кваканье лягушек, треск цикад, похожий на жужжание заводной игрушки,— всю таинственную ткань сообщничества, колдовства и хитросплетений ночного мира. Посреди хаоса ночи одна только лампа на галерее не спала, охраняя покой уснувших.

Ты вернулся в дом, спрятал бумаги в папку и погасил свет. Когда ты выходил, старые стенные часы в темноте пробили час. Хотелось пить, и, откупорив новую бутылку, ты залпом выпил половину. Хотелось забыть прошедший день со всем, что было на самом деле, со всем, что припомнилось и пригрезилось. Хотелось подойти к постели Долорес, услышать ее дыхание, дотронуться до ее тела, скользнуть губами по ее животу... и замереть в ней, ища укрытия, затеряться в ее глубинах, вернуться в лоно женщины, ибо лоно женщины дало тебе жизнь.

Лучше бы, думал ты, этой жизни тебе не давали!

Глава IV

Твои усилия восстановить и синтезировать прошлое натолкнулись на серьезное препятствие. Благодаря документам и свидетельствам, собранным в папках, ты мог откопать в памяти события и случаи, которые еще некоторое время назад считал невосстановимыми, и теперь, извлекая их из забвения, ты мог осветить не только твою собственную биографию, но и оставшиеся в тени существенные стороны жизни Испании (одновременно личные и коллективные, частные и общественные); мог, сопоставляя собственные выводы и объективные свидетельства, постигать свое внутреннее «я» и развитие гражданского сознания в ваших Таифских царствах. Однако в силу того, что ты по собственной воле жил в изгнании, в Париже, и странствовал по Европе, прежняя

твоя общность с собственным племенем исчезла, ты был вырван с корнем из неблагодарной родной почвы (колыбели героев и конкистадоров, святых и провидцев, безумцев и инквизиторов—всей этой своеобразной иберийской фауны); путь, которым пошел ты, и тот, которым двигалась твоя родина, были разными: ты шел своим курсом, и все связи, которые прежде скрепляли тебя с твоим народом, были порваны, а сам ты был ослянен и поражен открывшейся тебе новой, невероятной свободой; горстка твоих друзей, упорствовавших в благородном стремлении преобразовать родную землю, расплачивались за это собою (цена, которую из безразличия или трусости отказался заплатить ты сам); они достигали зрелости ценою неизбежных ошибок, они становились взрослыми и получали закалку, которой не хватало тебе: жестокий опыт тюрем, которого никогда не знал ты, дал им ясное понимание пределов вашего отчужденного человеческого достоинства. Десять лет, прожитых вдали от родины, выпотрошили твою память; как теперь восстановить без ущерба утраченное единство?

С тех пор (накрепко запомни дату: октябрь 1952 года) далекая жизнь твоих друзей развивалась независимо от твоей собственной жизни, и, чтобы охватить одновременно и ту и другую, тебе надо было сопоставлять и перемежать факты, перетасовывать их, точно две карточные колоды, совмещая пережитое с услышанным (Барселону и Париж, Париж и Агилас), но при этом никогда не давая окончательно слиться одному с другим. Дневник слежки областного полицейского управления (копию его Антонио после процесса получил от своего адвоката), документы следствия и протоколы суда, в котором рассматривалось дело, ассоциации и воспоминания, не просеянные еще сквозь строгое сито памяти (относящиеся к разным периодам времени и не приведенные к общему знаменателю), беспорядочно дополняли рассказ Антонио об его аресте и ссылке (который ты восстановил потом с помощью Долорес). Подчиняясь властным требованиям реальности, твое воображение рисовало былое, неторопливо сочиняя ситуации, шлифуя грани диалога, связывая концы и заполняя провалы, действуя в нужный момент в качестве катализатора.

Ясным и сверкающим летним днем (нагревшийся под солнцем пруд, запахи трав и цветов, свежий, проветренный сад, галерея с разбросанными по диванам пестрыми подушками и красочными, разных размеров чехлами от пластинок), собравшись втроем, как накануне, вы повели дальше эллиптическую, извилистую линию разговора. Солнце одинаково щедро расцвечивало виноградники и сосны, пробковые дубы и оливковые деревья. Стаи воробьев шныряли под сияющим, прозрачным и легким тентом неба, гряда отлогих холмов защищала вас от сумасшедшего потока машин, которые мчались по побережью из края в край, и в окружавшей вас тишине, как в старые времена, господствовало, властвовало, царило слово.

Дело № 61. Принятые меры: учитывая отмечающееся по некоторым симптомам усиление коммунистической деятельности и принимая во внимание сообщения, которые свидетельствуют о присутствии в Барселоне ряда руководящих элементов партии, прибывших сюда с целью создания организации и превращения ее в соответствии с директивами Центрального Комитета, который находится в странах за железным занавесом, в руководящую силу запрещенной ЕСПК,* ввиду всего вышеизложенного верховный комиссар полиции предписал принять особые меры бдительности и глава областного поли-

* Единая социалистическая партия Каталонии.

цейского управления распорядился, чтобы вторая оперативная группа под командованием инспектора Флоренсио Руиса Гарсиа, в составе двенадцати сотрудников, имена которых будут перечислены ниже, а также секретаря Аурелио Гомеса Гарсиа осуществляла необходимую слежку и наблюдение в целях выявления просочившихся извне элементов и установления характера их деятельности, контактов и передвижений.

Он очень давно не был здесь. Два последних года он проводил лето за границей, готовясь к конкурсным экзаменам и совершенствуясь в языках, и когда, только что зачисленный в дипломатическую школу, он незадолго до рождественских праздников собирался навестить мать, в шесть часов утра в пансион явились полицейские и, перерыв в комнате все вверх дном, конфисковали все до единой книги, а его в наручниках отвели в камеру при полицейском управлении и оттуда — через семьдесят два часа — в отделение для политических заключенных тюрьмы Модело, восемнадцать месяцев принудительного покоя и публичного одиночества, восемнадцать месяцев видеть сны наяву, сидя в камере, и без устали мерять шагами тюремный двор, напряженно прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи,— голос женщины, зовущей ребенка, знакомый шум трамвая,— и так до закрытого суда, на котором разбиралось дело шестнадцати обвиняемых, а затем неожиданно мягкий приговор: ссылка. Услышав приговор, он растерялся. С того момента, как его арестовали, он ни на минуту не переставал думать о родном селении; оно стало для него единственной целью, мечтой, горькой и недоступной. То и дело вспоминалось ему яростное южное солнце, синее и спокойное море, отблеск света на беленых стенах домов. Он вспоминал свое детство, которое провел на молу и у Рыбного рынка; вспоминал, как поджидал возвращения взрослых рыбаков и шел на шлюпке ставить переметы на Орильо. Приговор суда одним махом убил его страстную жажду вернуться домой, превратив родной дом, о котором он столько раз мечтал, в место наказания. Он хотел укрыться от мира и был лицемерно обманут, и теперь, чем ближе он подъезжал к селению в неудобном рейсовом автобусе, тем с большим беспокойством думал о матери и о том, что все его иллюзии в отношении собственного будущего потерпели крах. Он приедет к ней не блестящим учеником дипломатической школы (что у нее наивно ассоциировалось с «кадиллаком» последней модели, которым, к примеру, владел генеральный консул Испании в Александрии дон Карлос Агилера,— на этой роскошной машине консул имел обыкновение навещать свою семью во время ежегодного отпуска) — он приедет преступником, приговоренным первоначально к трем годам тюрьмы, приедет под конвоем двух жандармов отбывать оставшийся срок в ссылке.

Когда прошел первый прилив радости (встреча с Рикардо, Пако, Артигасом и остальными друзьями из их группы, нервные приготовления к отъезду, прощальная прогулка по бульвару Рамблас), возбуждение мало-помалу спало, а хлопоты и формальности в пути (его обязали явиться к полицейским властям в Валенсии, Аликанте, Мурсии) постепенно привели его в плачевное состояние, отняв мужество и преисполнив усталости и тревоги. В Лорке жандармский сержант читал и перечитывал его путевой лист, изучая со спокойной подозрительностью, и в пылу непредусмотренного программой усердия решил доверить его заботам двух жандармов — одного андалузца, из батраков, и второго, уже старика галисийца; они не отходили от него ни на шаг и, сонно оглядывая пустынную местность, тряслись с ним в автобусе в своих лакированных треуголках, зажав карабины между ног. Дорога шла через небольшие овражки, следуя рисунку, который он знал наизусть и который

он в чутком тюремном сне то и дело вспоминал во всех подробностях: вершины гор, изъеденные эрозией, солончаковые лагуны, сбрызнутые дубовыми рощицами и карликовыми смоковницами, балки, окаймленные олеандрами и агавами, ограды из кактусов, белые хутора. Последний раз он был здесь, когда снимался документальный фильм об эмиграции рабочих за границу; Долорес вела «дофин», а Альваро через окошко снимал иссохшие оливковые рощи, хижины, брошенные жителями, выжженные хлеба, разрушенные колодцы и водосборники.

За перекрестком Масаррон вид становится веселее. Тупой, бесцельный, как в дурном сне, труд многих поколений мучительно возделал склон горы, из-за бесчисленных стен и стенок, сложенных из камня и земли, чтобы укрепить почву, поднимаются миндальные и оливковые деревья; вокруг каждого дерева разбит небольшой огородик. Чем ниже, тем зеленее и оживленнее становится местность. Работники из ближайшей асьенды окапывают деревья в апельсиновой роще. Дальше идут спелые виноградники и огороды, засаженные помидорами и салатом. Наконец показалось море, и он снова с горечью вспомнил, что именно заставило его совершить паломничество в прошлое, в сказочно прекрасную страну его детства. В сверкающем, недвижном воздухе внезапно, словно чудо, возникли белые домики селения, а слева на фоне спокойного неба, по которому текла ватная пена облаков, поднялись тупые контуры гор. Море под почти вертикальным откосом Копе было густого синего цвета, и огромный массив скалы Монаха наполовину выступал из-за скрывавшего его плюмажа пальм, росших у берега. Он вспомнил, что когда они с друзьями приезжали на съемку документального фильма, то остановили машину на вершине холма и, окинув взглядом африканский пейзаж — агавы, нопали, оросительные колодцы, мельницы,— который простирается до солончаков Сан-Хуан-де-лос-Терреров, Альваро закурил сигарету и неожиданно, обернувшись к нему, воскликнул: «В какой стране ты родился, бродяга? В племени туарегов?»

Автобус ехал по прямой мимо ранних посевов, и, пересекая железнодорожный переезд, Антонио с удивлением заметил, что сердце его забилось неровно. Верхом на осле ехала женщина, прикрывшись от солнца выцветшим зонтиком, на улице дюжина полуголых ребятишек гонялась с камнями за собакой. Почти тут же шофер свернул направо, к шоссе на Альмерию. Несмотря на жару, на тротуарах толпился народ, и досужие, как обычно, подпирали стенки у баров. Доехав до перекрестка, автобус сбавил скорость, а потом и вовсе остановился; Антонио взял чемодан и вышел, сопровождаемый жандармами. Старая бензоколонка превратилась в станцию обслуживания; какая-то блондинка курила, прислонившись к крылу открытого автомобиля. Кучки любопытных, прекратив разговор, молча разглядывали их.

— Пошли,— сказал галисиец.

Под конвоем треуголок Антонио направился к жандармерии. Он чувствовал на себе взгляды людей и с мучительным ощущением вины думал о неизбежной встрече с матерью.

Дневник наблюдения. Суббота, 2 ноября 1960 г. Около 11.50 сотрудники, которым поручено наблюдение за подпольной деятельностью коммунистов, сосредоточивают свое внимание на проспекте Хосе-Антонио и наблюдают за человеком лет 45—50, рост около 168 см, коренастый, широкоплечий; ходит вразвалку, волосы каштановые, высокий лоб, на макушке пролысина, лицо удлиненное, одутловатое. Он направляется на улицу Энтенса с ящиком средних размеров. Горилла (условно назовем его так) входит в автомастерскую Переда, дом номер 81 по вышеназванной улице. Немного спу-

стя появляется вместе с человеком, которого мы назовем Синий, и они направляются в бар «Пичи», расположенный на углу улицы Дипутасьон. Выйдя из бара, Синий возвращается в мастерскую, а Горилла в 12.55 подходит к газетному киоску на проспекте Хосе-Антонио напротив кинотеатра «Рекс», встречается с двумя какими-то людьми. Они передают ему чемодан светло-коричневого цвета и идут в бар «Мариола», что на перекрестке улиц Дипутасьон и Рокафорт. Через несколько минут Горилла выходит с чемоданом, идет в мастерскую к Синему, оставляет у него чемодан и идет к автобусной остановке; обнаружив, что автобусы там не останавливаются по причине ремонтных работ, идет дальше по улице Сепульведа до Мунтанер; на перекрестке улиц Ронда и Сан-Антонио берет такси и едет до дома номер 51 по улице Альманса, в квартале Лас-Рокетас. Входит в вышеуказанный дом; за домом ведется наблюдение.

В тот же день было установлено: Синий — Энрике Медина Сото, проживает в Барселоне, ул. Консехо-де-Сьенто, 145; в прошлом оказывал помощь Союзу партизан Каталонии, арестован в 1948 году и содержался в тюрьмах Оканьи и Бургоса, освобожден условно в январе 1956 года и 3 октября того же года — окончательно; после выхода из тюрьмы остался на жительстве в Барселоне и, как выяснилось по результатам наблюдения Мигеля Прьето Вернета, в 1958 году снова вступил в контакт с представителями ЕСПК.

В твой первый и единственный приезд в селение ты оставил машину в начале улицы, и мать Антонио вышла вам навстречу, сдержанная и величавая. Долорес была в облегающих джинсах, и какой-то мальчишка, показывая на нее пальцем, сказал: «Антонио приехал с француженкой».

Было начало августа 58-го года, и в селении шли празднества. Мать настояла на том, чтобы приготовить для вас гаспачо на свой особый лад; когда вы кончили ужинать, все небо было уже усыпано звездами. После душного августовского зноя свежий ветер возвращал силы. За несколько минут вы обежали улочки селения, укрытые ночной темнотой. С площадки перед молом доносился невнятный рокот музыки, перемежавшийся с хрипловатым голосом диктора и сумасшедшим галопом, сопровождавшим фильм, который показывали в открытом кинотеатре, «Элен, это индейцы».

Неровное дыхание ярмарки пронизывало воздух, невольно настраивая всех на какой-то нервно-приподнятый лад. Жители холма небольшими группками стекались к центру селения, и главная площадь представала перед ними в необычном убранстве. Пальмы и фикусы в свете прожекторов казались зеленее обычного, на мостовой кипел людской водоворот, было в этом что-то от праздничного гулянья на армейском плацу, где веселятся солдаты, на время избавленные от начальственного надзора.

У входа на ярмарку власти соорудили триумфальную арку. Чем ближе к молу, тем больше нарастал шум и радостная кутерьма. Отцы города убивали скуку в обветшалых салонах казино, а ты, воображая себя Эйзенштейном, ловил кинокамерой пузатых и неподвижных, словно будды, стариков, вросших в свои кресла (теснейший симбиоз человека и кресла). Будды, не отрывая глаз, смотрели на сновавших туда-сюда молоденьких девушек.

Слева, под раковиной эстрады, музыканты в синих пиджаках и красных галстуках бабочкой играли приторно слащавое болеро. Несколько

пар кружились на пустынной площадке под завистливыми взглядами зевак, теснившихся за оградой. Это были танцы для господ, по пять дуро с носу, и Антонио рассказал вам о тех временах, когда он, не имея в кармане ни сентимо, приходил сюда с ребятишками-ровесниками поглазеть вот точно так же на широкий мир (каким он тогда ему представлялся), разодетый в бархат, мир, далекий и недоступный.

Справа другой оркестр давал волю своим чувствам, наяривая («Столица, да и только»,—сказала Долорес) ча-ча-ча. Под вопли приближающихся индейцев партнер Элен, судя по выговору — чистейший мадридец, патетически объяснялся с героиней (открытый кинотеатр примыкал к самой ярмарке, и шум стоял невообразимый). Бар Констансио был битком набит. Вы вошли, и Антонио представил вам своих друзей. Помнится, когда вы уходили, ты был немного пьян.

За кружкой пива и тарелочкой маслин шли вечные разговоры о женщинах и о распроклятой работе — разговоры, которых потом, во время съемок, ты наслушался до тошноты. При первой встрече с югом грубая и необузданная жизненная сила здешних жителей покорила тебя (это даже раздражало Долорес), и теперь, после пространного рассказа Антонио (о том, что он недавно там пережил), воспоминание о крещении, которое ты получил тогда, возродилось из забвения, точно феникс, яркое, ослепительное, сверкающее. Узнав, где ты живешь, рыбаки тотчас стали расспрашивать, нет ли у тебя влиятельных друзей за границей, и доверчиво просили записать их адреса.

— Если подвернется случай, я поеду за вами, куда прикажете. Кто меня отсюда вызволит, тому я ножки целовать готов.

— Чтобы прожить здесь, надо либо зарабатывать вдвое больше, либо научиться вилять хвостом перед господами.

— Только из нашего квартала уехало больше десяти человек.

— Мы, испанцы, как улитка — свой дом носим с собой на закорках.

(Ухо твое, может, скоро и привыкло бы к заунывным жалобам, но сердцу не привыкнуть никогда. Прекрасно сознавая, что невозможно каждому помочь в его бедах, ты тем не менее, слушая их, испытывал — это уже становилось привычным — смутное ощущение вины.)

На следующий день, когда вы проснулись, площадь была пуста. Безжалостное солнце навалилось на неподвижное и синее море, на разъеденные эрозией голые горы, сделало плоским белесое небо. Антонио поджидал вас в баре Констансио и, захватив купленную недавно 16-миллиметровую пленку «Патэ», вы отправились снимать ловлю тунцов.

Понедельник, 4-е. Личность человека, с которым разговаривал Горилла напротив транспортного агентства «Ла-Каталана» и которого назовем Никита, установлена; это — Рамиро Саурет Гомес, ул. Принсеса, 40, Барселона. Перед войной состоял в Национальной конфедерации труда*, и во время нашего крестового похода был гласным членом Контрольного комитета этого профцентра. Потом вступил в Коммунистическую партию, арестован в Валенсии касадистами, 16.4.39; был приговорен к 12 годам заключения и вышел на свободу по истечении трех с половиной лет. Выйдя на свободу, тут же снова связывается с находящейся в подполье Коммунистической партией и в марте 44-го года приговаривается к 20 годам за работу в качестве секретаря организации ЕСПК. 5 мая 1959 года первый раз отмечается в Бригаде, как освобожденный условно из Бургосской тюрьмы; в этом положении находится по сей день.**

* Профсоюзная организация, находившаяся под контролем анархистов.

** Сторонники переворота, организованного в Мадриде хунтой Касада — Бейстейро (март 1939 г.).

«Посмотрим, найдем ли мы общий язык. Ты играл и проиграл... Теперь ты в наших руках, и мы можем сделать с тобою все, что угодно... Даже убить... Ты будешь не первым, кто пропал без вести...» Человек смотрел на него пристально, почти нежно: «Я знаю, что ты сейчас думаешь... Я должен выдержать... Ничего не сказать... Не выдать товарищей...»

Он протянул белую, в пушке волос, руку и ласково задержал на его плече: «Чепуха, мы здесь умеем развязывать людям языки. У нас раскалываются все. Только одни раньше, а другие — позже... Умные не дают себя и пальцем тронуть, а дураки заставляют нас прибегать к мокрым полотенцам и электрическому току... Посмотрим, кто ты — умный или решил строить из себя железного... Но так или иначе, ты в конце концов заговоришь».

Неожиданно, к великому своему облегчению, он оказался на тюремном дворе среди уголовников. Инспектор куда-то исчез, и арестанты тряпичным мячом играли в футбол. Почти тут же офицер позвал их на перекличку. Было время обеда, и его товарищи стучали ложками об алюминиевые миски. Он ждал, когда назовут его имя, чтобы откликнуться, но голос ему отказал.

Первые месяцы заключения перед ним во сне неизменно вставала его жизнь на свободе — прогулки пешком куда глаза глядят, просторы полей, чистая линия горизонта; словно напрочь отгоняя реальность тюрьмы, подсознание слепо цеплялось за прежнее существование, которое тюрьма отрицала и разрушала. Но прошло время, и заключение постепенно просочилось в его ночи и в конце концов завладело ими целиком, сведя разнообразие ночных пейзажей к единственной однообразной и навязчивой картине: тюремный двор, камера, карцер при полицейском управлении. И если во сне он видел родное селение, то селение было ограждено колючей проволокой, а если снилась мать, то снилась она ему заключенной. Приговор судьи не проник еще в его подсознание. После ареста и заключения ссылка в места, где он родился, оказалась дымовой завесой, которая обманчиво прикрывала гораздо более мрачную реальность: хотел он того или нет, но его подлинным миром продолжала оставаться тюрьма.

Фермин ждал его в баре Констансио, облокотившись на стойку. Бывший товарищ по юношеской футбольной команде, несколько растолстевший с тех пор, как Антонио виделся с ним во время последнего своего приезда, дружески ему улыбался.

— Поздравляю. Как только я узнал, что ты на свободе, я помчался сюда... Ну, как ты?

— Изнасилованный, но довольный, — сказал Антонио.

— Ну, ладно, слушай. Отныне и впредь забудь, чем ты занимался, и оставайся здесь. С нами ты в эти дела не впутаешься. Мы тебя убережем.

— Как дела на работе?

— Ту, прежнюю, работу я оставил, тебе говорили? В прошлом году завел свое дело... Мастерская по ремонту мотоциклов и автомашин. Потом покажу.

— Поздравляю.

— У меня два помощника, втроем и управляемся. Летом я закрываю в полночь — и еле успеваю. Теперь не то, что раньше. С каждым днем машин становится все больше, и каждому теперь подавай мотоцикл. Если у кого не хватает наличными, покупают в рассрочку.

Они сели у окна, лицом к молу, и Констансио принес им три чашки кофе. Фермин был парень живой, его занимала политика, и одно время он был одержим желанием уехать во Францию. Во время съемок доку-

ментального фильма об эмиграции, помнится, Альваро дал ему свой парижский адрес и, по привычке, пообещал подыскать работу.

— Как там твои друзья? — спросил вдруг Фермин, точно угадав мысли Антонио. — Кончили фильм?

— Не знаю, — ответил Антонио. — Позавчера в Барселоне я видел Рикардо, но он ничего об этом не говорил... Долорес все еще в Париже, а Альваро, по-моему, уехал на Кубу.

Вопреки ожиданиям, Фермин никак не прореагировал.

— Помнишь, — глаза его вспыхнули, — как мы играли в футбол? Мы еще выиграли у команды из Веры. Какая потом вышла потасовка! Решающий гол забил с пенальти Анхел, всего за минуту до конца матча...

— Хорошие были времена, — сказал Антонио. — Что стало с остальными?

— Анхел отчалил в Германию и за пять лет сколотил полмиллиона песет... Эдаким стал барином! Нынче весной приезжал на «фольксвагене», такой отгрохал хуторок своему семейству — двадцать тысяч дуро потратил. Хочешь, съездим как-нибудь в Пульпе на моем мотоцикле. Мировой парень. Я уверен, он тебе обрадуется.

— Я еще тогда подбросил его в Барселону, а оттуда он отправился за границу, — пояснил Констансио. — Сейчас он занялся экспортом томатов.

— Если будут дожди, он здорово набьет карман, — сказал Фермин.

— А Лусьо?

— Этот и носу сюда не кажет. — Жена Констансио говорила нараспев. — Так занят своей невестой, что ему теперь не до друзей. Если и забредет в воскресенье, тут же обратно.

Лейтенант предупреждал Антонио, чтобы он не очень-то общался с бывшими заключенными, и Антонио только спросил, что с Рохасом.

— Где-то тут, — сказал Фермин. — Как раз вчера я столкнулся с ним на танцплощадке.

Констансио поднялся обслужить клиента. И так как Фермин замолчал, Антонио спросил:

— Его больше не беспокоили?

— Городишко-то с пятачок, и всем известно, на какую он ногу хромает. Даже захоти шевельнуться — не смог бы.

— Он по-прежнему занимается ловлей тунцов?

— Нет, теперь он ходит на «Юном Карлосе». Только на то, что он зарабатывает, семью не прокормишь.

— Рыболовство в наши дни не профессия, — сказала жена Констансио.

— В один прекрасный день и этот смоется отсюда, ищи свищи... Его свояченица сказала мне, что он выправляет бумаги, чтобы уехать.

Автомобиль американской марки медленно ехал по молу. За рулем сидел человек в синей форме, а на заднем сидении, разглядел Антонио, уместились две девушки-блондинки и целый выводок ребятишек в ковбойских шляпах. Бесшумно описав полукруг, машина остановилась перед дверями кинотеатра. Не обращая внимания на шофера, который, держа в руке фуражку, поспешил выйти из машины, чтобы открыть дверцу, девушки через окошко разглядывали расписание сеансов. На их бесцветных, банальных лицах отразилась неподдельная досада. А еще через несколько секунд послушный, точно красивое домашнее животное, автомобиль так же мягко тронулся и исчез из глаз, окутанный облачком пыли.

—Это «кадиллак» дона Карлоса Агилеры,— сказала жена Констансио. — Позавчера он с семьей вернулся из Египта.

Наступило молчание. В бар вошли полицейские с портовым лоцма-

ном пропустить по рюмке, и Фермин, понимающе перемигнувшись с Антонио, поднялся.

— Пошли, — сказал он.

Скользнув еще раз лучами по земле, солнце скрылось за тучами; у скалы Монаха лежала густая тень.

— Куда мы идем? В курзал?

Фермин вел его под руку и теперь остановился закурить.

— По утрам там всегда пусто, — отозвался Фермин. — И потом персонал не тот, что раньше. И нового бармена, и помощника дон Гонсало привез из Мадрида.

Антонио вспомнилась Лолита, вспомнилось, как в тот год, когда они были здесь, он пригласил ее посмотреть церковные процессии в Лорке и на обратном пути он остановил машину Альваро, не доезжая до селения, у оливковой рощи, и, выйдя из машины, они легли под открытым небом. Он спросил Фермина, что стало с нею.

— Это дочка Дамасо?

— Да.

— Поскользнулась голубушка и быстренько выскочила замуж, чтобы обзавестись отцом для ребеночка.

— Кто ее муж?

— Парень себе на уме: ей дает волю, а сам сорит ее денежками. Она, такая-сякая, крутит с другим, а он — как ни в чем не бывало... Хочешь повидать ее?

— Нет, — сказал Антонио. — Я просто из любопытства.

— Помню, было время, она и с тобой гуляла. Тогда она была красотка. А теперь бы посмотрел: растолстела, за собой не следит, опустилась. Если и дальше пойдет этой дорожкой, то как бы не кончила в Барселоне веселым домом.

— А дочка Артуро?

— Эта поссорилась с женихом и уехала отсюда, — Фермин задумался: — Смотри как все устроено в жизни. Ни одна девчонка моего возраста уже ровным счетом ничего не стоит... Почти все повыходили замуж, обзавелись детьми и стали похожими на своих матерей. А молоденькие девушки, которые нравятся мне, находят меня скучным, предпочитают гулять с двадцатилетними мальчишками, которые курят сигары и умеют танцевать мэдисон...

— Мы вышли из моды, — сказал Антонио.

— Вот именно, и, что гораздо хуже, все идет своим чередом, точно нас с тобой и не существует. Когда ты сидел, я часто думал: вот вернется Антонио и увидит, как все переменилось. Страна изменилась и без нашего участия.

— В тюрьме у меня было время подумать, — ответил Антонио.

— Лучшие ребята едут в Германию, а мы, которые остались, молчим-помалкиваем. Одним полегче, другим — тяжелей, но все как-то выкручиваемся. Людям только кажется, будто они вздохнули свободнее, на деле верховодят-то по-прежнему все те же.

Чтобы утешить его, Антонио рассказал о людях, которые, совершив революцию и проиграв войну, обречены теперь на бесплодные воспоминания о юности, но Фермин стоял на своем:

— Наше положение хуже. У них, по крайней мере, как ты говоришь, была юность. А у нас и этого не было. Мы все к чему-то готовились, а ничего не произошло. Вот мы и стареем, не узнав, что такое настоящая цель в жизни, понимаешь?

Они дошли до площади, и Фермин, остановившись, показал на кучки праздных людей, которые разговаривали перед террасой бара.

— Большинство из них были республиканцами, а после войны перекрасились. Потом они стали фалангистами, а когда и у этих дела пошли

скверно, выкинули партийные билеты. Теперь они продают пляжи немцам. Что бы ни случилось, дерьмо всегда наверху плавает.

— Выпьем кофе?

— Здесь? — Фермин печально усмехнулся. — Сразу видно, ты только приехал... Приличные люди в эти забегаловки не ходят, разве не знаешь?

— Куда же они ходят?

— Этим летом открылись два кафе с музыкой, официантки там в форме и умеют даже спасибо сказать по-французски. Говорят, это на денежки дона Гонсало... Пошли, до самого шикарного отсюда рукой подать.

— Покажи мне сначала мастерскую, — сказал Антонио.

Они направились в сторону рынка. Дорогой Фермин изливал свое негодование на отцов города. На первом же перекрестке была вывеска с полным именем и фамилией Фермина, и, завернув за угол, Антонио увидел рыжего парнишку, который, устроившись посреди тротуара, со всем старанием изучал автомобильную шину. В помещении другой парнишка возился с гаечным ключом и плоскогубцами.

— Что нового? — спросил Фермин.

— Приходил Маноло, — ответил рыжий. — Сказал, что зайдет еще раз вечером.

Антонио поинтересовался, откуда он берет запасные части, и Фермин стал подробно вводить его в курс дела. Деньги на покупку мастерской ссудили ему в банке благодаря поручительству алькальда; несколько минут он со знанием вопроса рассуждал о кредитах, процентах и тому подобном.

— В один прекрасный день, — закончил он насмешливо, — увидишь меня в казино, рядом с господами.

— Надо еще добрать весу, — сказал Антонио.

Фермин хотел было показать ему новое кафе, но тут вспомнил, что у него свидание, и распрощался. Над горами собирались темные, тяжелые тучи, и время от времени внезапная вспышка молнии театрально освещала пейзаж, на несколько секунд опережая далекие и прерывистые раскаты грома. Одиночество снова захлестнуло Антонио, как в худшие минуты заключения, и неопределенные границы его свободы вдруг представились ему еще более суровыми, чем тюремные застенки. Вырвав его из отупляющего и в какой-то мере удобного безволия тюрьмы, ссылка вводила его в мир растяжимый и двусмысленный. Он мог бродить по селению, напиваться в таверне, нырять в море, как любой другой смертный, и тем не менее в глубине души он чувствовал себя в заключении, все тем же арестантом, нисколько не обманываясь миражами так неожиданно дарованной ему мнимой свободы.

Прогулочные парусники мягко покачивались на волнах; среди них он узнал и яхту дона Гонсало. Туман окутывал остров Монаха и скрывал жалкие лачуги Пунты. Чайки летали низко, рыская в поисках добычи, потом взмывали в воздух и снова падали вниз. На краю мола стоял какой-то мужчина, задумчиво глядя на море, и Антонио непонятно почему вдруг почувствовал, как екнуло у него сердце.

Много лет назад — пятнадцать, двадцать? — Антонио, помнится, шел на волнорез собирать морских ежей, когда увидел вдалеке стоявшего к нему спиною человека. Сгорбленный, несчастный, похожий на пугало, человек смотрел на горизонт; неистовый ветер трепал на нем брюки и раздувал пиджак. Его одиночество и беззащитность так поразили Антонио, что, приближаясь к нему, он совершенно искренне сказал себе: «Если это отец, я покончу с собой».

Это была первая в жизни нравственная боль, которую ему привелось испытать, первое звено длинной цепи. В ту ночь, перебирая список

отцовских унижений с первого дня, как он вышел из концлагеря, — молчаливую злобу матери, бесплодные поиски работы, постоянное напряжение воли, необходимое, чтобы выдерживать косые взгляды людей, — Антонио плакал, уткнувшись лицом в подушку, и рана, открывшаяся тогда, никогда уже больше не зарубцовывалась. Эта встреча, которая у обоих вызвала чувство стыда, произошла в тот год, когда дядя Габриэль заплатил за обучение Антонио в одном из пансионов Мурсии. Антонио не покончил с собой, но через несколько недель после той прогулки на волнорезе его отец ушел навсегда. Однажды вечером они с матерью напрасно прождали его к ужину. А на следующий день Антонио нашел его: отец в пиджаке и изношенных брюках чуть покачивался, свисая с балки.

СРЕДА, 6-е. В 16.15 Горилла приезжает из Матаро на вокзал. Садится на трамвай, заходит в мастерскую Синего, они выходят из мастерской и отправляются в бар «Пичи». Пять раз Синий выходит в мастерскую и возвращается в бар. В 18.50 Горилла выходит из бара и идет на улицу Вильядомат. В 19.05 он встречается с Никитой, и они вместе прогуливаются; разговаривая, заходят в два бара на проспекте Мистраль. На перекрестке улиц Боррель — Флоридабланка Никита вынимает из папки какие-то бумаги, они оба читают их, после чего бумаги забирает Горилла. На углу Урхель — Хосе-Антонио они расстаются.

СУББОТА, 9-е. В 18.15 Горилла опять появляется с чемоданом в поле наблюдения около мастерской Синего. Садится в такси; немного спустя его теряют из виду из-за сильного уличного движения и не могут обнаружить в течение всего дня, несмотря на то, что на всех вокзалах было установлено наблюдение на тот случай, если бы ему вздумалось уехать из Барселоны. Ввиду того, что он не показывается, наблюдение за домом на ул. Альманса снимается в 2.30 утра в воскресенье.

Как и отца Антонио, мысль о самоубийстве посещала тебя, но только тебе не хватало решимости это выполнить.

Вид, расстилавшийся перед твоими глазами, невольно вызывал в памяти наглядные картинки из устаревшей школьной энциклопедии, которая была для тебя настольной книгой в анемичном и растянувшемся преддверии твоей буржуазной юности. Ты стоял наверху, у решетчатого парапета улицы Акведук, а внизу у твоих ног раскинулся рабочий пейзаж Северного вокзала, сверху похожий на игрушечную железную дорогу, в которой не упущена ни одна характерная деталь: платформа, лебедка, контейнер, виадук, подъездные пути, семафоры, будка стрелочника, водокачка, цистерна, воздушный транспортер и чуть подальше — навесы; метрах в двухстах на той же высоте, что и твой парапет, перекинулся через пути мост бульвара Шапель с текущим по нему густым потоком грузовиков, легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов; в глубине панорамы над центральной частью того же бульвара — часть выходящей на поверхность линии метро с фантастическими, нереальными вагончиками, повисшими в окоченевшем ветреном небе, до белизны выцветшем на солнце. Все это вместе, казалось, было специально расставлено для прилежного ученика, который сидел в тебе, и во время прогулок по предместью тягостный образ школьных аудиторий с их тайным набором унижений, страхов и наказаний то и дело всплывал в твоей памяти, вызывая в тебе освобождающий, очистительный гнев, какой ты знал лишь в пору твоей, теперь уже ушедшей юности.

Пять месяцев назад неприветливым и туманным мартовским воскресеньем ты бродил много часов подряд, засунув руки в карманы пальто и уставившись на носки собственных ботинок, далекий всему окружающему, и думал о том, что жизнь уходит у тебя между пальцами, и ты отчетливо понимал, что уже начался медленный и неотвратимый процесс уничтожения и распада, который приведет тебя, как и всех, к роковому концу. С тобою был сотню раз исправленный черновик письма, которого ты так и не отправил Долорес, и коротенькое послание от нее, написанное в те времена, когда вы, влюбленные, неторопливо и сладостно познавали друг друга, оба молодые и нерастраченные, — познавали, точно двое незнакомых людей, которые осязают и ищут, прежде чем желание сольет их воедино. Ты бродил, снова и снова перечитывая оба письма, и совершенно точно знал, что уже никогда больше не будешь счастлив; и когда ты, исходив много улиц, вышел на площадь Бастилии и увидел задернутого пеленою тумана стройного ангела на колонне и раскинувшиеся на тротуаре между спуском в метро и каналом балаганы, голова твоя, немного затуманенная выпитым по дороге «рикардсом», стала совершенно ясной. И точно откровение, тебя неодолимо и требовательно озарило желание умереть.

Ты пересек площадь, лавируя в головокружительном потоке машин. Палатки тира, колеса лотереи, повозки гадалок, лотки со сладостями, русские горы, карусели, качели, как магнит, притягивали непритязательную и шумную публику, которая толпилась вокруг тех, кто пытал свою силу, свою судьбу, свою ловкость, свою меткость. В погоне за сильными ощущениями оживленные кучки длинноволосых подростков ждали своей очереди, чтобы штурмом захватить электрические вагончики и крутящиеся сиденья тобоггана. Тебя охватило отвратительное, как патока, ватное омерзение ко всему, что ты видел.

МАДАМ НАДЯ

Гороскопы — влияние планет
на вашу судьбу
гаданье на стеклянном шаре
и на картах

ИГОРЬ

Все виды оккультных наук
Читает по руке
Отгадывает мысли
Возвращает утраченную любовь —
3 франка

МАДАМ ЛЕОН — ПРОВИДИЦА

Все о вашем прошлом
настоящем
будущем
Даст совет и руководство в любых
трудностях

Буколическая картинка с оленями, санями, елками, заснеженными холмами и пастухами служила задником для лотереи, где разыгрывались кухонные принадлежности. Колесо крутила девочка, худенькое существо, с выражением беспредельного счастья на лице. Музыка из репродукторов мешалась с неумолимым говором ярмарочной публики. Ты брел, затерявшись в толпе, когда вдруг объявление, написанное красными буквами, привлекло твое внимание:

ПУТЕШЕСТВИЕ — за 1 франк

Людям со слабым сердцем следует воздержаться

Зазывала — тип со смуглым лицом и закрученными усами — вручал картонные билетики малышам и молодым людям, выстроившимся в очередь перед входом. «Входите, мсьедам... К вашим услугам... За исключительно низкую плату... Незабываемое путешествие... Оно заставит биться ваше сердце в три раза быстрее... Но если оно у вас слабое, не рискуйте. Не исключен несчастный случай. Тобогган Малатеста за вашу жизнь по закону не отвечает. Входите, мсьедам, входите... Плата — один франк... Просто задаром».

В висках у тебя стучало, голова болела, сердце колотилось. Одутловатое лицо мужчины притягивало тебя и отталкивало в одно и то же время. Вверху, на мемориальной колонне ангел площади Бастилии, заложник зимы и тумана, казалось, притоптывал, безуспешно пытаясь согреться. Подошла твоя очередь, и ты вынул из кармана монетку.

— Один билет, пожалуйста,— сказал ты по-французски.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11-е. Следует перестроить весь порядок наблюдения. Горилла выходит из дома Сойки в 16.10, садится в поезд на Барселону, на такси едет до перекрестка ул. Калабриа — проспект Хосе-Антонио и идет в мастерскую Синего. Немного спустя выходит вместе с ним, а в баре «Пичи» к ним присоединяется Никита. Они разговаривают втроем, но Синий то и дело отлучается в мастерскую.

В 18.15 Горилла с Никитой прогуливаются по кварталу напротив бара «Пичи». Они прощаются, и Никита уходит пешком. Горилла остается один и идет к центру города; здесь сильное уличное движение, и он пропадает из виду в 19.45.

ВТОРНИК, 12-е. В 9.50 Горилла садится в поезд на Барселону. В городе на трамвае едет до площади Испании и потом пешком идет до мастерской Синего. Выходит из мастерской, заходит в бар «Пичи», и немного погодя туда приходит Синий. Они вместе идут в бар «Эскосес» и остаются там около полутора часов. Возвращаются в мастерскую и в 14.04 расстаются.

Горилла идет в центр, по дороге заходит пообедать в пивную. В 16.35 он заходит в контору транспортного агентства, расположенную на углу улиц Дипутасьон и Пасео де Грасиа, берет билет на автобус до Хероны. В 16.55 он идет вверх по проспекту Лайетана. На углу Перманьер встречается с человеком, которого назовем Лапа; ему лет 50, рост — 170 см, худой, брови густые, сросшиеся, большие руки, лицо багровое. Они идут в бар «Лас-Антильас» на углу улицы Арагон. Минут 15 остаются там, что-то пьют и разговаривают. В 17.10 расходятся.

Лапа — Фелипе Морено Васкес, ул. Льагостера, 9, Барселона; служащий мастерской «Орион», ул. Лауриа, 131. Морено перешел из зоны, занятой националистами, в зону красных и вступил в республиканскую армию. После окончания войны был осужден за дезертирство, поселился в Таррагоне в 1945 году и вступил в контакт с представителями ЕСПК; был арестован в декабре того же года; 6 мая 54-го года освобожден условно, поселился в Барселоне.

ПЯТНИЦА, 15-е. В 18.30 Горилла появляется в мастерской Синего; тут же — Синий и еще трое, с виду похожие на служащих. Горилла с одним из них идет в бар «Пичи» и воз-

вращается обратно в мастерскую. Горилла прохаживается по тротуару. Выходит Синий, и оба идут в типографию, ул. Вильямари, 96. Поговорив 20 минут, отправляются в кафе «Пуэрто-Рико», но как только туда подъезжает машина полицейского патруля и двое полицейских входят в бар, Горилла и Синий поспешно уходят.

Потянулись исполненные покоя дни: Антонио купался на пляже Орнильо, обедал в баре у Констансио, не торопясь переводил книгу, коротал тихие вечера с матерью. В конце августа ярмарка закрылась, и оркестры убрались восвояси. День заметно укоротился, дневной зной спал, ночи стали мягкими и прохладными. По субботам Антонио приходил отмечаться в жандармерию и несколько минут беседовал с лейтенантом. Капрал вручал ему просмотренную цензурой корреспонденцию: открытки от Рикардо и Артигаса, французские журналы, испанское издание «Лайфа». В письме, которое он получил от дяди Габриэля, высказывалось глубокое разочарование его, Антонио, поведением; он обманул их надежды и не сумел закончить образование, они с женой, заключал дядя, решили отныне посвятить себя и все свои средства миссионерской деятельности. Однажды почтальон принес ему телеграмму. Она была от Долорес, в ней было всего несколько слов: «Сердечный привет буду пятницу».

В ту ночь в бессильном оцепенении бессонницы Антонио до самого рассвета одолевали воспоминания об университетской жизни. Разрозненные эпизоды сбивчиво толпились и причудливо переплетались в его голове: его бегство с Энрике в Париж, поездка с Альваро на съемки документального фильма и памятные злоключения в Йесте. Попытки прогнать воспоминания, забыть все разваливались, как карточный домик; он думал о том, как устроить Долорес в отель, что она будет здесь делать, и ему казалось, что время тянется слишком долго и ожиданию не будет конца.

Он все утро ждал ее, карауля в кафе у шоссе, и, увидев ее за рулем красного «дофина», от радости выбежал на середину шоссе — ей пришлось резко затормозить. С короткой стрижкой, в кофточке без рукавов, Долорес казалась моложе, и прежде чем сжать его в объятиях, она несколько мгновений, удивленная и счастливая, разглядывала его.

— Я бы тебя и не узнала с бородой, честное слово. Ох, как же ты меня напугал...

— Если хочешь, я побреюсь...

— Нет, — сказала она. — Все равно. Главное, что ты на свободе.

Оба они были взволнованы, и, чтобы скрыть это, каждый старался не смотреть другому в глаза. Антонио сел рядом с нею и спросил, как Альваро.

— Все еще на Кубе, — сказала Долорес. — И неизвестно когда вернется.

— Пишет?

— Изредка. Ты же его знаешь. Бывает, что месяцами ни строчки.

— Ты надолго?

— О нет, я проездом. Мои родители вернулись в Испанию.

— Я приготовил тебе комнату в отеле.

— Я не могу остаться, Антонио. Мама ждет меня уже десять дней... Я заскочила на минутку только обнять тебя и хоть немного поговорить.

Видно, она заметила его разочарование, потому что сразу замолчала; глаза у обоих наполнились слезами.

— Мне ужасно жалко. Ты, должно быть, считаешь меня эгоисткой.

— Уже несколько месяцев мне не с кем поговорить.

— Прости меня,— Долорес взяла его руку в свои и крепко сжала.—

Я здесь переночую. О стольком надо поговорить, что не знаю, с чего и начать.

— Я тоже, — сказал Антонио.

— Люди смотрят на нас, будто мы опасные преступники... Куда нам лучше пойти?

— Куда хочешь, только недалеко от селения.

— Помнишь, как мы тут были в прошлый раз? — спросила она. — Почему бы нам снова не отправиться посмотреть на ловлю тунцов?

Они проехали по главной улице до порта и у железнодорожного переезда свернули на шоссе к Копе.

— Боже мой, — сказала Долорес. — Как давно это было...

Серые лачуги остались позади; в мутной тишине тихо жужжал мотор. Солнце лилось назойливо и упорно на скользившие мимо крупы холмов, опрокидывало волны яркого света на неподвижную холку гор. Казалось, жизнь покинула эти края, и, подернутые дымкой, узловатые стволы оливковых деревьев, перекрученные, корявые смоковницы, ограды из агав и кактусов создавали неясное ощущение, будто все тут неживое, ненастоящее. Среди этого сверкающего и немого запустения приходил на ум образ смерти, образ издыхающего от жажды животного, заблудившегося среди мертвых холмов, образ нацелившегося сверху на добычу орла, вспоминалось тяжкое зловоние разлагающейся на солнце падали. Ветер, тучи желтой пыли, растрескавшиеся и сверкающие на солнце следы высохших луж, назойливое зудение цикад.

Кругом была бесплодная, прожаренная степь, скупая и непроницаемая, степь белых колодцев и развалившихся лачуг, ослов и водокачек, высохших трав, пасек, ощипанных пальм. Стоило на мгновение поднять глаза, и ты начинал чувствовать себя узником, навеки заключенным между этим небом и камнями, незваным гостем в этом пустынном и мертвом мире, который мог показаться карой господней, а на деле был создан трудом рук человеческих, ибо кто же еще мог насыпать земляные террасы на этой неблагодарной земле, вскрыть пасти шахт, которые в безграничной усталости зияли на солнце? Этот мир был создан безымянным трудом многих поколений и затем был оставлен людьми по причине, теперь уже никому не ведомой и ими, покорными обитателями этого мира, забытой; заброшенная земля, пустыня без облаков и без птиц; точно отгороженная от всего на свете стеклянным колпаком. Дорога была глинистой, иссохшей, и машина обдала тучей пыли двух ехавших на велосипедах жандармов. Дом, где помещалось жандармское управление, стоял на самом верху холма, квадратный и массивный на фоне этого безжизненного пейзажа. Шоссе то и дело ненадолго вырывалось к морю, и по временам щебенка дороги отсвечивала, слепя глаза.

Долорес, щурясь от солнца, смотрела по сторонам; у перекрестка Эль-Канталь свернули вправо. Пятна солнечного света играли на поверхности воды, и пляж лениво тянулся между двумя скалистыми мысами. Машина затормозила. Несколько женщин гуськом двигались по жнивью на самом солнцепеке, прикрываясь выгоревшими унылыми зонтиками. Должно быть, это были жены жандармов, некоторые на руках держали детей; дойдя до моря, женщины вошли в воду, как были, одетыми, так и не выпуская из рук раскрытых зонтиков; они громко визжали, придерживая разлетавшиеся юбки. Долорес разделась в машине, а Антонио лег на песок лицом кверху и закрыл глаза.

Солнце падало тяжелым потоком на плененную землю, отражалось в синем, спокойном море. Долорес энергичным брассом доплыла до скал и, вернувшись на берег, стала рассказывать Антонио, как она беспокоится за Альваро и как ему трудно живется.

— Когда он ушел из Франс Пресс, я даже обрадовалась. Мне казалось: поездка на Кубу встряхнет его... А теперь не знаю, что и думать.

— Почему вы не вернетесь в Испанию? — спросил Антонио.

Она молчала, и Антонио, отвернувшись, стал рассматривать строгие и голые контуры холмов, далекие выжженные горы, бесцветные сверкающие вершины.

— А ты, как ты?

— Сама видишь,— ответил Антонио.— День и ночь — сутки прочь. Дни идут, а жизни нет. Сплошное ожидание.

Это был не пляж, а настоящая жаровня. Несколько раз они, не прерывая разговора, окунались в море и потом, не двигаясь, лежали на солнцепеке. Когда жара спала, они вернулись в машину и, устроившись на липких, горячих сиденьях, поехали дальше, к месту, где ловили тунцов.

Снова вокруг расстилалась степь, раскаленная и страдающая от жажды: пятна белесого грунта, скалистые островки, охряные холмы, каменистые откосы, горы, похожие на животных, приготовившихся к прыжку. Слева стеной поднималась на горизонте громада мыса, и домишки лепились по склону, зажатые с одной стороны жнивьем, с другой — морем. Весь разбитый понтонный причал отважно уходил вдаль по прозрачной воде. В прошлый раз Антонио с Альваро прожили неделю среди людей, занимающихся ловлей тунцов, и на рождество в камеру тюрьмы Модело пришла открытка из Калабардины.

Машина двигалась, объезжая выбоины на дороге; из-под колес торопливо разбегались куры. Старики и ребятишки сидели в холодке; любопытные смотрели им вслед, когда они проезжали мимо. Древняя нищета юга с ее извечным шлейфом голых ребятишек, экскрементов и мух, казалось, стала еще страшней, и мысль о том, что он с пустыми руками явится к своим друзьям (неужели они так и умрут, не дождавшись своего часа и не узнав, ради чего они родились на свет, не получив однажды завоеванной и почти сразу же утраченной возможности существовать, жить и в конце концов просто именоваться человеком?), обескураживала Антонио. Но его уже узнали, и, когда они вышли из машины, молодые ребята стайкой окружили их.

— Антонио! — к нему обращался стройный юноша, похожий на мавра. — Вы меня помните?

— Да, — неуверенно ответил Антонио.

— Я — сын Таранто. Когда делали фильм, вы жили у нас в доме...

— А, теперь вспомнил. У тебя еще был черный пес, и ты хотел стать адмиралом.

— Да, сеньор. Пса уже нет. В прошлом году он взбесился, и сержант прикончил его из винтовки.

Они пошли на мост, сопровождаемые свитой ребятишек. Паренек шел, опустив голову, засунув руки в карманы. Он сказал, что накануне за один только выход поймали больше трехсот арроб тунца.

— А как твои приятели? — спросил Антонио.

— Одни ребята в Германию уехали, другие работают, как я, в поле... В море теперь ходят одни старики.

— А отец продолжает рыбачить?

— Продолжает. Как только узнает, что вы тут, сразу примчится. Недели не прошло, как он вас вспоминал.

— А мать как?

— Она как всегда. Хотите ее повидать?

Долорес ответила за него, и они направились к первому ряду домов. В тени, подпирая дверные косяки, невесело беседовали вечные безработные. В баре жандарм, сняв мундир, в рубахе и в альпаргатах играл в домино со стариком. Ребятишки все еще шли за ними, предугадывая каждое их движение, и Антонио слышал, как один шептал другому: «Это французики, которые делали кино».

Жена Таранто, видимо, уже знала, что они придут. Чтобы прикрыть свою замызганную, штопаную-перештопанную кофточку, она кокетливо, точно шаль, накинула на плечи скатерть с бахромой. Детишки — четверо, пятеро? — упрямо цеплялись за ее юбку, а как только вошли посторонние, разбежались и спрятались за старой занавеской, скрывавшей кровать.

— Господи, ну и срам! — сказала женщина. — Секундочку постоять спокойно не можете?

Она усадила гостей на два камышовых стула, а сама со старшим сыном устроилась на ящиках. Убогие олеографии и рекламные плакаты выглядели на этих стенах неуместно яркими. Смуглый мальчишка то и дело выскакивал из-за тряпки и смотрел на них, расплывшись в белозубой, до ушей, улыбке,— у него была веселая и лукавая рожица чертика из коробочки.

— Поди-ка сюда, — приказала мать. — А не то выдеру.

Угроза не оказала никакого действия, и, пока они разговаривали, чумазая, смешливая рожица то и дело выглядывала из-за занавески. Мысленно Антонио вновь переживал приготовления к съемкам документального фильма, тогдашние разговоры и споры — словом, все те плотно заполненные дни, которые предшествовали катастрофически окончившейся поездке в Йесте. Жена Таранто подала им стакан подслащенной воды и спросила, не хотят ли они есть.

— Нет, спасибо, я не голоден.

— А сеньора?

— Тоже нет.

— Если вы хотите ехать на промысел, мы можем нанять лодку, — сказал юноша.

— А как море?

— Разве вы не видели?

— Мою приятельницу быстро укачивает.

— Не беспокойтесь, — сказал парнишка. — Море гладкое, как масло.

Они попрощались с хозяйкой — пришлось пообещать, что они обязательно зайдут на обратном пути, — и Антонио договорился о цене с хозяином лодки. На улице под навесом женщины старательно потрошили рыбу и, промыв ее в котле, складывали в ящики со льдом. Другие сортировали на земле икру, молоки и печень. Мухи жадно копошились в свернувшейся крови тунцов, и в тихом, словно пронизанном светом, воздухе плавал запах пустоты и смерти, вперемежку с запахом рассола, смолы и еле уловимыми испарениями вара.

Сын Таранто вставил весла, а Долорес с Антонио устроились на корме. Чем дальше они отплывали, тем меньше становилось селение, а ребятишки все махали им руками. Солнце стояло высоко в небе, до бесконечности множась в бликах морской ряби. Пока парнишка греб к мысу, они смотрели, как солнце блестело на буйке и, точно домовой, плясало на влажном песке; вот оно подмигнуло из осколка стекла, окружило сиянием мелькнувшую в воздухе птицу, рассыпало по воде пригоршни сверкающих блесток и, не удержавшись на поверхности, стало тонуть в море. Движением подбородка сын Таранто указал в сторону пустынных пляжей и сказал, что осенью здесь начнут строить отель для немцев.

— Они едут сюда, а мы уезжаем к ним. Так и сержант сказал: человек никогда не доволен тем, что имеет.

— За солнце денег не берут, но за деньги можно получить солнце,— сказал Антонио.

— Только из Калабардины уехало человек десять. Молодые не мо-

гут прожить морем. В тот же день, когда мне выправят бумаги, я вскочу в первый попавшийся поезд, и ноги моей здесь больше не будет.

— А что отец говорит?

— Отец стар и смирился. Но я не хочу пропадать здесь, как он. Не найду работы в Барселоне, уеду за границу.

— А в армии отслужил?

— Нет, мне в марте срок.— Парнишка помолчал несколько секунд. — Если у вас есть знакомый хозяин за границей, черкните ему несколько слов. Напишите, может, ему нужны люди. Через два года я буду свободен и готов делать все, что потребуется.

Огибая мыс, они заметили вдалеке посреди синего моря тупоносые и черные рыболовецкие суда, вышедшие на ловлю тунцов. Сын Таранто греб, и с каждым взмахом весел лодка резко подавалась вперед. Голосом, срывающимся от возмущения, юноша рассказал, что несколько шахтеров на Эль-Канталь наняли «сеат» и хотели поехать в Гамбург, но на германской границе власти Федеративной Республики не разрешили им въезд, потому что бумаги были не в порядке. Хозяин машины, видно, был в сговоре с таможенниками, потому что его тут же и след простыл.

— По четыре тысячи песет с носу — и вернуться с пустыми руками. Таких типов я называю кровопийцами.

— Почему же они не заявили на него?

— У этих субчиков всегда найдется рука, и ничего ты ему не сделаешь... Если бы такое случилось со мной, я бы его прямо на месте там вздул как собаку.

Пробковые поплавки указывали, где были расставлены сети, и когда лодка подошла ближе, люди на судах привставали посмотреть и, приветствуя их, поднимали руки. Это были многострадальные рыбаки андалузского побережья, люди со смуглой кожей и морщинистыми, как старая шкура, лицами; на них не было ни зюйдвесток, ни резиновых сапог, одеты они были в те же лохмотья, которые носили их отцы, но из-под беретов и широкополых шляп лица их всегда улыбались приветливо и мягко.

— Нам повезло,— сказал парнишка.— Вроде они собираются сниматься с якоря.

На передовом судне капитан — голова и плечи прикрыты мешковиной — изучал море, склонившись над стеклянным глазком. Рыбаки выжидали, вот капитан дал знак, и корабельная прислуга стала поднимать заслоны сети. Ища дорогу назад, в Атлантический океан,— дорогу, которую им преграждала земля,— тунцы заплывали в сеть и, пытаясь спастись, переходили из секции в секцию, пока не оказывались в самой последней — в капкане. Пока рыбаки тянули из глубины сеть, парнишка подгреб к самому борту и помог Долорес подняться на капитанское судно.

Таранто, Хоселес и остальные рыбаки повторяли эпизод, заснятый на пленку почти четыре года назад, только они постарели и износились за это время, и смерть уже подстерегала их и затуманила их черты своим дыханием, неопределенным, тайным и неясным, как и само существование этих людей. Долорес с Антонио стояли у борта, а рыбаки четкими, быстрыми движениями выбирали огромную сеть и отбрасывали ее к противоположному борту, постепенно все ближе и ближе подвигаясь к капитану.

Антонио, задумавшись, смотрел на квадратную камеру смерти; по мере того как сеть поднималась, тунцы сбивались все теснее, метались, как безумные, и били по воде хвостом. Вода от этой бешеной карусели клокотала, точно закипая, и понемногу начинала окрашиваться в красный цвет. Рыбаки ритмично выбирали сеть, и когда показался последний отсек, плеск мечущихся в агонии рыб перекрыл гортанные крики людей

и приказания капитана. Во время съемок фильма Альваро крупным планом снял Хоселеса, по пояс голого, и его лицо, выпачканное кровью тунца. Об этом вспомнил сам Хоселес, когда, сидя на плотно скатанной сети, они с Долорес курили. Вечер наступал вызревший и ленивый.

— Я вас сразу и не признал,— сказал Таранто.— С бородой-то. Если бы не сеньорита с вами, я бы решил, что вы—немец.—Таранто смущенно улыбнулся.— Мы дома вас часто вспоминаем, и жена все говорит: видно, он про нас забыл.

— Друзей не забывают,— ответил Антонио.

— Мне говорили, что видели вас в селении, но я не поверил. Если Антонио здесь, подумал я, он обязательно придет повидаться...

— Ну, а ты-то как живешь?

— У бедняка все одно и то же. Работа да нужда, нужда да работа. Вот так и сами не заметим, как помрем.

Мужчины, управившись с сетями, окружили их и стали расспрашивать, как Альваро и что с фильмом. Насколько Антонио понял, они знали, что он в ссылке: хромой, ласково хлопнув его по спине, внимательно оглядел и заверил, что с ним еще хорошо обошлись.

— Кто?

— Ваши задушевные друзья.

— Я бы этого не сказал.

— Отдохнули за государственный счет, вам ли жаловаться. Уверен, многие позавидовали бы.

— Я бы предпочел ходить с вами в море,— ответил Антонио.

— Море! — удивился хромой.— Да мы не знаем, какого оно цвета, это море. Чтобы увидеть его, надо приехать сюда туристом.

Разговор был все тот же, и те же голоса, и те же слова, те же горькие сетования на жизнь, прожитую без пользы и без надежды,—даже если их час когда-нибудь настанет, кто воскресит мертвых?

Когда они добрались до Калабардины, были уже сумерки. Селение вышло встречать их. Дети, старики, женщины и просто зеваки, столпившись у пристани, с явным разочарованием следили за приготовлениями к разгрузке. «Всего ничего,— сказал капитан.— Только сорок арроб».

Антонио хотел было сразу же ехать обратно, но Таранто настоял, чтобы они зашли к нему. Без маскарадного убранства солнечных лучей ужасающая нищета Юга представала во всей жестокости, и когда, уже сидя в доме, они беседовали, Антонио охватила тоска — неясное, но неодолимое чувство, словно он забыл нечто крайне важное, будто совершил какую-то непоправимую и страшную ошибку. Стемнело, в домах стали зажигаться первые коптилки; на берегу, словно тени, скользили рыбаки. Двое жандармов с фонарями обходили побережье. Долорес казалась удрученной не меньше Антонио; когда они стали прощаться с семейством Таранто, Антонио неловко вынул из кармана ассигнацию, и Таранто, должно быть, сознавая, что его час никогда не придет, взял бумажку. Прощаясь за руку, они на мгновение отважились посмотреть друг другу в глаза, и Антонио почувствовал, как оба они покраснели.

Возвращение было печальным. Ни Долорес, ни он не могли бы толком выразить своих чувств; обмякнув за рулем, Долорес вела машину, нервничая и вздрагивая на каждой выбоине, каждой рытвине, каждом ухабе. Дважды дорожный патруль спрашивал у них документы; посветив электрическим фонариком, капрал узнал Антонио и спросил, как улов.

— Поторапливайтесь,— добавил он.— Вам не положено гулять так поздно.

— Лейтенант позволил.

— Если что случится, виноватыми окажемся мы. А нам отвечать за вас не хочется.

Пока они сидели и ужинали на террасе курзала у самой воды, Антонио рассказывал Долорес, что болтали о нем в Барселоне: один из арестованных, осужденный на семь лет на основании собственных признаний, уверял, что Антонио якобы тоже признался и даже выдал товарищей, и, несмотря на полное отсутствие доказательств и абсурдность обвинения, некоторые друзья из его же группы советовали сторониться его.

— Тюрьма — как тяжелая болезнь,— заключил Антонио,— раз ты побывал в тюрьме, тебя сторонятся, словно заразы.

— Я бы хотела быть тебе чем-нибудь полезной.

— Единственное, чем ты можешь быть полезной,— это переспать со мною.

— Если бы ты сказал это всерьез, я бы так и сделала.

— Ты потрясающая женщина,— ответил Антонио.

Он взял ее горячую руку в свои и прижался к ней губами.

— Не обращай внимания,— сказал он.— Это была шутка.

СУББОТА, 16-е. В 14.35 Горилла приезжает в Барселону, идет в мастерские «Орион» и несколько минут спустя выходит вместе с Лапой. Они идут в бар «Лас-Антильас» и минут через 10 возвращаются в мастерские. Через четверть часа Горилла выходит вместе с человеком, которого обозначим Ламбретто, некоторое время разговаривают у входа в Пассаж Перманьер. Затем они берут такси у входа в бар «Пичи», где их ожидает Синий. В 20 часов они расходятся. Горилла едет трамваем до вокзала, и в 22.10 в последний раз его видят около дома Сойки.

Ламбретто—Хулио Марродан Лопес, ул. Микель и Бадиа, 90, Барселона. Родился в Аликанте; 4 сентября 1956 года там же судился за участие в подпольной деятельности и был освобожден в декабре того же года. С тех пор проживает в Барселоне.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18-е. «Пежо» 9089 М-75, принадлежащий Тео Батет Хуанико, в 15 часов останавливается на перекрестке шоссе и улицы Генерала Годеда. За рулем сидит хозяин, которого будем называть Скимо. Горилла выходит из машины, входит в дом Сойки, возвращается и на «пежо» едет в Барселону, на угол ул. Лауриа и проспекта Хосе-Антонио. Некоторое время Горилла прохаживается, разглядывая витрины, заходит в магазин кожаных изделий, покупает какую-то мелочь. У дверей мастерских «Орион» его ожидает Лапа с мальчиком лет 12. Ламбретто, Лапа и мальчик идут с Гориллой в бар «Лас-Антильас». Все четверо сидят там около часу. Потом Ламбретто, Лапа и мальчик возвращаются в мастерские, а Горилла — автобусом на вокзал. Садится в поезд до Масноу и в 20.30 приезжает домой к Сойке.

Ты любил эту землю глубоко и чувственно, любовью, подобной медленно текущей лаве, под которой бьется горячее пламя; щедрый дар ее нищеты был бесценным подношением для тебя, и мнилось тебе: ты и она едины в борьбе со свирепой судьбой.

Годы прошли с тех пор, и полное надежды, одетое в лохмотья Вчера ушло, а Завтра так и не настало. Вот она, твоя земля, по-прежнему порабощенная все тем же неумолимым законом; а ты живешь вдали от нее, и в мыслях уже не с нею, и тебя не мучают уже ни боль, ни думы по

ушедшей, всепоглощающей любви прежних лет. Вас обоих судьба обманула. Тучный Север позарился на нее, и гнусная орава спекулянтов солнцем (хищная стая стяжателей, высасывавшая веками ее золото и серебро, богатые руды ее недр, ее леса, плодородие ее долин, ее гордость, ее непокорство, ее любовь к свободе) набросилась на страну (о новая, пылающая Аляска), чтобы ограбить, чтобы нажиться за счет ее последнего дарового блага (неистового и обжигающего, как дыхание разгоряченного фавна), чтобы основать колонии, построить коттеджи, закусочные, туристские отели, андалузские таверны, гостиницы, чтобы изуродовать страну, не улучшив жизни ее обитателей; кого только здесь нет: немецкие специалисты, эксперты по пляжам, охотники за богатыми невестами, увенчанные лаврами и сединами бойцы Крестового похода и даже некая дама в индусском тюрбане, которая чинно читает «Сида», восседая на верблюде, в неуютной впадине меж горбами (а служанка, сидя ближе к хвосту, прикрывает ее от похотливого солнца выцветшим зонтиком).

Земля, по-прежнему бедная и оскверненная, истощенная и разделенная, состаренная веками, и по сей день—сирота. Смотри на нее, запомни. Пусть образ ее всегда стоит у тебя перед глазами. Любовь, которая вас соединяла,— в прошлом. Чья в том вина — ее или твоя? Тебе остались фотографии и воспоминания. Солнце, горы, море, ящерицы, камень. И больше ничего? Больше ничего. Разъедающая боль. Прощай, навсегда прощай. Твои блуждания вывели тебя на новые дороги. И ты это знаешь. И ты никогда больше не ступишь на эту землю.

ВТОРНИК, 19-е. Горилла приезжает в Барселону и идет в мастерские «Орион». Его встречает Ламбретто, они пьют кофе в баре «Лас-Антильас» и разговаривают в течение 30 минут. Горилла не спеша идет по улицам и на углу улиц Рокафорт и Арагон встречается с женщиной лет 40, у женщины в руках две светло-коричневые сумки: одна — небольшая, другая саквояж, обе с чем-то тяжелым. Время 12 часов ровно. Они идут вместе, как хорошие знакомые, и Горилла пять раз кладет руку на плечо женщине. Входят в бар на углу улицы Валенсиа и проспекта Рома; пробыв там 15 минут, расстаются на перекрестке улиц Арагон и Калабриа. Затерявшись в сильном уличном движении, Горилла пропадает из виду. Женщина, которую назовем Гого, идет на улицу Вильядомат, причесывается в парикмахерской и едет на такси в отель «Фалькон».

В 18 часов она встречается с Гориллой в баре «Мариола». Через 20 минут они выходят из бара и на тротуаре перед бойней на улице Вильямари обмениваются предметами, издали похожими на конверты или маленькие пакеты, что невозможно как следует разглядеть из-за плохого освещения. Она вынимает из сумки несколько купленных ею безделушек и отдает сумку Горилле. Они прощаются. Гого теряется из виду и снова обнаруживается через два часа. В 20.45 она входит в отель «Фалькон» и больше не появляется.

В результате проверки в отеле «Фалькон» выясняется, что Гого записалась там 17 ноября под именем Коллетт Одьяр родом из Амьена, паспорт № 671380, выдан в Париже 10 сентября 1958 года. По сведениям полицейского управления, Коллетт Одьяр приезжала в Барселону 4 мая 1959 года и поселилась в отеле «Комерсио», а 7 января 1960 года — с теми же паспортными данными — в отеле «Сурбано». Там она записывается, как Коллетт Одьяр Леви. Видимо, Леви это ее

девичья фамилия. Возможно, что Гого совершала свои поездки с целью связать Гориллу с другим представителем Центрального Комитета.

Внезапный приезд Долорес и ее стремительный отъезд вдруг обнаружили всю глубину его беспомощности. Несколько дней Антонио бродил словно во сне, заново, до мельчайших мелочей переживая все подробности их встречи, до дна исчерпав воспоминания об этих недолгих, таких насыщенных и так быстро промелькнувших часах. Жесткое расписание, которое он для себя установил, не заполняло размеренными заботами отчаянного ощущения пустоты и покинутости. Полный жизни, лучистый образ Долорес неотступно стоял перед глазами: принесенное ею дыхание реального мира по контрасту заставило его еще острее почувствовать всю бессмыслицу своего существования.

Каждое утро он шел загорать на пляж Орнильо и в полдень на велосипеде отправлялся в бар Констансио. Позавтракав, он возвращался домой и без всякого желания переводил полдюжины страниц из многословного спиритуалистического труда по философии. Вечером он ужинал в обществе матери и потом шел на мол побеседовать с Фермином или играл в домино с рыбаками. От морских купаний кожа у него потемнела, и смуглое лицо, обрамленное густой черной бородой, казалось высокомерным и даже чуточку презрительным, из-за чего он походил на второразрядного актера, загримированного под арабского князька.

По субботам, прежде чем идти на пляж, он являлся в жандармское управление отметиться. Капрал вручал ему корреспонденцию, а иногда на несколько минут заглядывал лейтенант поговорить с ним. Однажды лейтенант даже попросил у него совета — ему хотелось сделать подарок одному своему начальнику,— и подчеркнуто небрежно он спросил, не знает ли Антонио хорошей биографии адмирала Мендеса Нуньеса. Пока Антонио вспоминал, лейтенант, взяв его под руку, провел к себе в комнату и показал библиотеку.

— У меня есть превосходная книга о Марии Стюарт, читали?

— Нет.

— Вы человек с запросами, и вам бы стоило иногда заглядывать к нам. Врач и учитель очень вами интересуются, Рамирес. Они добрые, чистосердечные люди. С ними вы можете разговаривать о чем угодно.

— Вы очень любезны, лейтенант.

— В казино я становлюсь штатским, понимаете? Форма, которую носишь,— одно, а личные убеждения — совсем другое. Когда я прихожу домой, я снимаю мундир и думаю так, как мне нравится.— Он рассеянно погладил твердые корешки серии «Жизнь выдающихся людей» и вдруг сказал:— Впрочем, к чему я об этом толкую? Вы не хуже меня знаете, что в нашей проклятой стране свободно говорить, что думаешь, нельзя.

Лейтенант улыбнулся иронически; Антонио тоже улыбнулся, и они обменялись рукопожатием. Проходя через казарменный двор, Антонио скомкал полученное письмо и, выйдя на шоссе, направился к селению, а письмо выбросил в канаву.

Осень понемногу начинала сказываться. Количество приезжих убывало на глазах, а оставшиеся редко выходили за пределы курорта; обычно они потихоньку собирались в кафе на главной улице.

«Кадиллак» консула в Александрии все еще стоял на пустынной площади, и однажды вечером Констансио под большим секретом поведал Антонио, что семейство дона Гонсало и семейство Агилера намерены остаться в селении до рождества.

— Старшая дочка консула и Гонсалито — как нитка с иголкой,— сказал он.— В казино ходят слухи, что быть свадьбе.

Как-то вечером, гуляя по селению, Антонио столкнулся с врачом из местной фалангистской организации. Он стоял с приятелями на площади и, увидев Антонио, подошел к нему и театрально обнял.

— Ну вот, наконец-то я вас поймал, Рамирес! — воскликнул он. — Как это вы ухитряетесь прятаться от людей даже на таком пятачке?

— Мир не ограничивается пятачком, доктор.

— Все время ускользаете, точно за вашу голову назначены большие деньги. Что вы против нас имеете?

Антонио коротко рассказал, как складывается его день, и пообещал как-нибудь прийти в казино, но доктор запротестовал и положил ему на плечо свою всю в кольцах руку:

— Нет, нет. Теперь-то уж вы от меня не сбежите, слышите? Мы сейчас же пойдем ко мне ужинать.

— Благодарю вас, но...

— Никаких «но». Моя жена до смерти хочет познакомиться с вами. У нас вы будете чувствовать себя как дома.

— И потом, я в таком виде,— Антонио показал на свою мятую рыбацкую куртку и грязные выцветшие брюки. — Если хотите, то в следующий раз...

— Да и я не ахти в каком виде. Вы идете со мной, и никаких отговорок.

Ничего не оставалось, как согласиться. Доктор крепко взял его под руку, церемонно распрощался со своими приятелями и тут же начал вполголоса рассказывать Антонио о последних событиях в селении, попутно стараясь выведать и об его жизни.

— Как-то я встретил вас, но не захотел беспокоить, потому что вы были не один, а...

— Я не помню, доктор.

— Вы были с девушкой, смуглой такой, ну просто бутончик... Как раз выходили из машины марки «дофин» с французским номером. Правильно?

— Это жена моего близкого друга, — пояснил Антонио. — Ее родители живут в Малаге, и по пути она заехала навестить меня.

— А разве вы не ездили на ловлю тунцов?

— Черт возьми, откуда вы все знаете?

— Вчера мы с доном Гонсало были в Калабардине, и там мне говорили об этом.

— С доном Гонсало?

— Он как раз получил большинство на выборах в административный Совет рыбного концерна. Мастерски было состряпано, он прирожденный делец... Я вам потом расскажу.

Они шли по главной улице сквозь плотную толпу праздных людей; не доходя немного до бензоколонки, доктор остановился перед двухэтажным домом с верандами и выкрашенными в черный цвет балконами.

— Мой дом — ваш дом, Рамирес. Я надеюсь, впредь вы будете ходить к нам запросто, не придется вас упрашивать.

Антонио кивнул. Доктор провел его в небольшую гостиную рядом с прихожей, а сам пошел предупредить жену. Разглядывая фамильные портреты, Антонио все время испытывал ощущение, будто угрюмая мрачная мебель шпионит за ним; потом до него донеслось шушуканье и следом — торопливые шаги. Портьеры раздвинулись, и из-за них выглянула крошечная детская головка, некоторое время девочка внимательно его разглядывала. Через несколько минут вернулся доктор с серебряным подносом и двумя рюмками. На лице его читалась досада.

— Только бутылка мальвазии, — сказал он. — Хотите, я пошлю служанку в магазин?

— Не надо, доктор, не беспокойтесь.

— У нас в доме за едою не пьют... А, может, хотите, я принесу аперитив?

Тут вышла жена, белотелая и не в меру полная. Подав руку Антонио, она устроилась в кресле-качалке и молча, со сдержанным любопытством благовоспитанного человека стала смотреть на него — так смотрят на неизвестное насекомое, не поддающееся классификации.

— Перед нами знаменитый Рамирес. Один из немногих, еще оставшихся у нас в Испании нонконформистов...

— Извините меня, пожалуйста, за мой вид. Ваш муж просто заставил меня прийти сюда.

— У нас и у самих дома немножко богема,— сказал доктор.— Даже учитель часто говорит: «Вы живете как художники», — не правда ли, солнышко?

— Налить вам вина? — спросила женщина.

Антонио любезно улыбнулся и залпом проглотил темную, притворную жидкость.

С того момента, как он вошел в этот дом, он чувствовал себя словно в ловушке и жалел только, что никак не может решиться, сославшись на любой предлог, встать и уйти. Доктор перевел разговор на политику. В то время как жена его наливала Антонио вторую рюмку, хозяин с разочарованным видом разглагольствовал о том, что жизненный опыт и возраст сделали его скептиком.

— Люди моего поколения — не трусы, Рамирес. Мы просто осторожны, потому что у нас есть все основания быть такими. Жизнь припасла нам достаточно ударов, мы ею научены, понимаете?

— Да.

— Лезть в искупители — этим дела не поправишь: они сильнее нас с вами и они все равно победят. С этим надо примириться, если только вы не мученик по призванию. Простите, может, это вас обидит, но вы себя вели неразумно. Можно с виду покориться, вот как я, а внутренне оставаться свободным.—Он помолчал.—Не знаю, точно ли я выразился.

— Чрезвычайно точно.

— Вот и я в молодости хотел исправить зло: общественная справедливость и всякое такое. Спасать ближнего... Пока в один прекрасный день не понял, что ближний вполне доволен своею долей и вовсе не намерен спасаться. Хотите еще вина?

— Чуточку, спасибо.

— Единственно, что нужно стране, — это деловые люди, способные и предприимчивые, которые умели бы делать деньги; которые умели бы их вкладывать и получать от них плоды... Это они способствуют движению нации вперед, а не романтики вроде нас с вами... Помните, я говорил вам о доне Гонсало?

— Да.

— Вот он образец такого человека. Я знаю, завистники, должно быть, наболтали вам о нем с три короба: мол, состояние его темного происхождения, мол, разбогател он на черном рынке... Ну что ж, пусть даже все эти россказни верны — это не имеет никакого значения, абсолютно никакого. Сегодня нам нужен современный, деловой человек. Дон Гонсало — только он и никто другой — наладил промышленное производство в селении, он новыми глазами взглянул на здешние земли, он сумел привлечь сюда туристов. И если люди живут здесь лучше, чем прежде, то этим они обязаны дону Гонсало. Словами сыт не будешь... Хотите еще вина?

— Спасибо.

— Больше всего привлекает меня в людях этого типа их поразительная изобретательность... Вы удивляетесь?.. Дон Гонсало прежде всего — творец идей, человек необычайно чуткий ко всем новшествам и запросам; прагматик, способный увидеть свою выгоду в любой ситуации или конъюнктуре. На днях зашел у нас разговор о вас, и он сказал мне: «Для меня безразлично, коммунист, анархист или кто-то еще, мне все равно. Одного я не прощаю: когда проигрывают. Будь я знаком со Сталиным, я уверен, мы бы с ним нашли общий язык. Мир принадлежит и всегда будет принадлежать людям с головой».

— Я вижу, вам понравилось вино, — сказала жена, наливая Антонио новую рюмку.

— И потом, я считаю дона Гонсало человеком гуманным в полном смысле слова. Простой народ, глядя со стороны, считает его жестким, но люди ошибаются. Мы, которые имеем удовольствие общаться с ним часто, знаем такие стороны его жизни, о которых другие и не подозревают: он отец семейства, всей душой предан жене и детям, он так внимателен и мил с гостями... У меня были случаи убедиться в его исключительной, поистине трогательной доброте. Не знаю, известно ли вам, что каждый месяц он посылает чек в сиротский приют в Мурсии. Поверьте мне, его щедрость безгранична.

— Ой, сколько вы пьете!

К концу ужина Антонио почувствовал, что он пьян, и слова доктора доходили до него словно в ватной обертке, отчего казались однообразными и бесцветными. Женщина по-прежнему не спускала с него холодно-любопытных глаз, и, когда они все трое поднялись из-за стола пить кофе, Антонио, сославшись на срочные дела, распрощался.

Воздух, свежий и бодрящий, словно ласка, заполнил легкие. Люди рано разошлись по домам, и на террасах кафе было пусто. Селение вдруг представилось ему гигантским кладбищем, где каждое окно было могилой, каждое здание — мавзолеем мечты или надежды. Страна не ощущала, как текут дни, а их дни, дни, отведенные детям этой страны, были ужасающе быстротечны.

Приторный винный привкус во рту мешал думать. Куда идти? Что делать? Как отомстить? Дикая и невозделанная, залитая солнцем земля, сколько еще поколений должны потерпеть поражение? Сколько дней, сколько недель, месяцев, лет еще будет она необитаемой? Он прошел через площадь перед статуей Скорбящей богоматери работы Салсильо. Печальный бог его предков не спал: раскинув мертвые руки, караулил пустоту. Молчаливый и бесчувственный к людской боли, этот бог бесстыдно, точно пиявка, питался бесполезными молитвами людей. Антонио быстро пошел вверх по крутой улочке, пройдя немного, он остановился и спросил у молодого парня, как найти проститутку.

— Второй поворот направо, приятель. Домик под фонарем.

Он забарабанил в дверь кулаком, и скоро ему открыла крепкая девушка, краснощекая, с каштановыми волосами и ярко накрашенными губами. Увидев его, она прижала руку ко рту, еле удерживаясь, чтобы не рассмеяться. Она заперла за ним дверь на задвижку и остановилась, уставившись в землю, точно от стыда и смущения.

— Что такое? — спросил Антонио.

— Ничего, — пробормотала она. — Напугалась.

— Из-за бороды?

— Я знаю, кто вы такой и почему приехали в селение... На днях я видела вас издали еще с одним сеньором... Вот бы уж не подумала...

— Что не подумала?

— Не знаю... Мне про вас рассказывали, и вот бы уж не подумала, что увижу вас здесь... — Девушка смущенно улыбнулась. — Ой, да мне на вас и смотреть-то боязно...

— Я пришел не для того, чтобы ты на меня смотрела.
— Не для того, сеньор.
— Ну, иди, делай свое дело и помалкивай...

ВТОРНИК, 26-е. В 8.30 Горилла с Сойкой едут на такси с чемоданами в Альмогаварес, Премья де Мар, дом 8, на старую квартиру Карлоса Ауреля. Через два часа Горилла со светлым портфелем садится на поезд и на площади Паласио берет такси и едет в мастерскую к Синему. Вместе они идут в бар «Пичи» и через пять минут выходят оттуда, и Горилла идет на перекресток улиц Рокафорт и Арагон. Как только он доходит до этого места, рядом с ним останавливается «пежо» номер 4703 PI-75. Время — 12.01. Из машины выходят женщина и мужчина, мужчина похож на иностранца, обозначим их соответственно Эскучи и Кокто. Эскучи обнимает и целует Гориллу, Кокто пожимает ему руку, потом лезет в машину и достает чемодан. Светлый портфель, должно быть, остается в машине, потому что больше его не видели. Оставив машину на стоянке рядом с магазином «Эль-Агила», Кокто прогуливается один по центру — похоже, он хорошо знает город — и пьет аперитив в баре «Эстудиантиль». В 15.30 Горилла входит в мастерскую к Синему. Приезжает Кокто; Синий заводит «пежо» в мастерскую и спускает металлическую штору на входной двери. Горилла и Кокто находятся внутри около получаса, а Синий между тем сторожит на улице. Затем Горилла и Кокто выходят, выводят машину, едут на площадь Испании, к Параллело, и немного спустя теряются в уличном движении.

ВТОРНИК, 26-е. Эскучи оказалась Эулалией Миральес Бадиа, арестованной в 1947 году за то, что она работала связной в ЕСПК; ее дело было передано особому трибуналу, разбиравшему дела масонских и коммунистических организаций, в 51-м году была освобождена и через два года уехала во Францию. Кокто — Роже Даниэль Алеви, родившийся в 1916 году в Оране, по национальности француз, паспорт № 847321, выданный в Париже 15 июля 1956 года; выяснилось, что 14 апреля 1960 года он был зарегистрирован в отеле «Регина», Барселона, судя по чему можно предположить, что пребывание его в нашем городе уже тогда было связано с выполнением некоего подпольного задания.

Что же делал ты в то время, когда твои друзья кинулись в политику?

Рекомендательное письмо знакомого мецената-латиноамериканца открыло перед тобою двери домов левой парижской интеллигенции, и прием, оказанный тебе этими щедрыми душою мужчинами и женщинами, слегка льстил твоему тщеславию. Тебе вспомнилась первая встреча с Морисом Тессье (аскетическое лицо, открытый взгляд, сдержанные жесты римского прелата) в кабинете влиятельного издательства на Левом берегу (ковер на полу, на полках — книги в роскошных переплетах, склонившаяся над «ремингтоном» прелестная белокурая секретарша), и то волнение, которое охватило тебя, когда ты заметил страстный интерес собеседника к твоему рассказу, теперь вызвало у тебя лишь снисходительную улыбку. (Испанские дела нынче не в моде, думаешь ты, и Тессье со своими друзьями, без сомнения, ратуют сейчас за мятежных бойцов Анголы или Вьетнама.)

В конце продолжительной беседы он назвал своей секретарше номер телефона и, дождавшись ее знака, поднял трубку: «Алло, Жозетт?» Ты с восхищением разглядывал алтарь этого храма культуры, освященный безмолвным присутствием писателей, которыми ты пылко восторгался в юности и которые теперь, возведенные в прославленный пантеон бессмертных, продолжали и с фотографий, на которых они застыли в строгих позах, наблюдать за порядком и исправным ведением дела в этом доме, пытливо вглядываясь в гостей и пролаз, время от времени появлявшихся здесь. «Да. Это молодой интеллигент из Барселоны... Юноша восстал против режима... Он рассказывает чрезвычайно интересные вещи... Да, говорит по-французски... Мы можем устроить ему встречу с Казалисами...» Голос у Тессье был мягкий и звучный; суровые лица писателей с фотографий, казалось, издали одобряли его слова: мимолетный отблеск улыбки или едва заметное подмигивание, означавшие удовлетворение и полное взаимопонимание, время от времени оживляли застывшее и холодное выражение их лиц.

Ты вышел на улицу; от счастья кружилась голова, и ты не мог отделаться от гипнотического влияния этого независимого и вожделенного мира, от радостного ощущения, что ты получил ключ от входа и пожизненное место под солнцем (твой актерский талант чуточку все приукрасил, и, вслушиваясь в перипетии своей биографии, ты попал в ловушку собственных чувств).

Несколько дней спустя (стояла середина сентября, и листья на деревьях желтели) ты поднялся по устланной ковром лестнице в квартиру семейства Тессье и с бьющимся сердцем позвонил у дверей. Хозяин дома встретил тебя с заговорщической улыбкой и представил тебе по очереди гостей: Бернар Казалис и его жена Леон, критик Робер Нуво, Мари-Пьер Дрейфюс, Жерар Бонди и другие, чьи имена ты забыл; всех собравшихся за этим столом роднило тонкое и неясное сходство, словно они были родственниками; многие из них загорели, потому что недавно вернулись из отпуска, который проводили, как ты потом узнал, купаясь в море и лежа под солнцем Испании.

— Я говорил о вас с Казалисом,— прошептал Тессье, тихонько беря тебя под руку.— Это старый сюрреалист, он и по сей день им остается, хотя после войны порвал с группой Бретона. В течение двух лет был членом партии. Написал прекрасный рассказ об этом... Сейчас он интересуется восточной философией. Вы знаете его эссе о Мишо и о мире наркоманов?

— Нет.

— Это очень значительное произведение... В прошлом месяце мой друг вместе с женою поехал в Испанию и вернулся оттуда взволнованным. Он хотел бы, как все мы, что-нибудь сделать, но нам, понятно, нужно согласие самих испанцев... Какие вы видите возможности для оказания помощи извне вашему движению Сопротивления?

Восемь лет прошло с того дня, но твоя прихотливая память до сих пор хранила точное и четкое воспоминание о том ужине в строгом особняке на улице Сольферино: прямоугольный стол, salade niçoise и canard aux olives,* анализ интеллектуальной эволюции испанской молодежи и умопомрачительное количество выпитого вами божоле.

— Значит, вы считаете, коммунизм имеет большое влияние на новое поколение университетской молодежи?

— Это нормально. Я даже скажу больше — это совершенно необходимо... Опыт не наследуется. Молодые должны учиться сами. Вы понимаете?

— Не беспокойтесь, дорогой друг. Мы все прошли через это. Этому каждый из нас должен отдать дань.

* Салат по-ниццки и утка с маслинами *(франц.)*.

Казалис говорил спокойно, обратив к тебе лицо не то заклинателя змей, не то астронома, не то мандарина, а его тонкие руки между тем осторожно поднимали рюмку с вином, и голубые глаза безжалостно оценивали тебя, точно ставя диагноз.

— Что мы можем для вас сделать? Я полагаю, вы знаете, какую роль сыграл Народный фронт в испанской гражданской войне... Предательство, за которое мы, увы, очень дорого заплатили. Все мы чувствуем себя немного виноватыми... Поистине непостижимо, что в пятьдесят пятом году этот режим еще существует. Это позор в полном смысле слова, и с ним надо покончить... Мы видели Франко на арене в Сан-Себастьяне. Мы находились примерно в тридцати метрах от него, и никто нас не обыскивал... Покушение на него казалось нам делом вполне возможным. Нужно только договориться с группой испанцев. Возможно, вы могли бы сообщить нам полезные данные...

Сотрапезники внимательно разглядывали тебя, а ты пытался объяснить цели и планы твоих друзей: ты рассказывал о попытках вести пропагандистскую работу, о научных семинарах, об информационных киноклубах. Когда ты кончил, бутылки божоле были пусты, и Жозетт Тессье пошла в погреб за новыми. Наступило короткое молчание.

— Если я правильно понял, у вас еще подготовительный период, — сказал Казалис ласково.

— Вот именно.

— Вы не вступили в контакт с более радикальными группами?

— Нет, пока еще нет.

— Но я полагаю, такие группы существуют?

— Несомненно.

— В этом все дело. Как установить с ними контакт? Может быть, вы знаете какую-нибудь группу, которая помогла бы установить с ними контакт?

Снова все взгляды устремились на тебя, и ты сказал, что возможность добиться успеха при помощи акта насилия кажется тебе чрезвычайно незначительной. Страна до сих пор еще живет под знаком проигранной гражданской войны, большинство политических группировок приспосабливают свою стратегию к мирным целям, и, судя по всему, на долгий срок. Тебя перебили.

— А анархисты?

— Они тоже.

— Во время поездки в Испанию я заметила, что рабочий класс не пошел дальше экономических требований. Как вы собираетесь придать их протесту революционное содержание?

— Это — основная проблема нашего времени, — заметил Тессье. — Как только удовлетворяются самые насущные требования, вызванные нищетой, пролетариат склонен впадать в спячку. Вы же видите, каковы результаты профсоюзного патернализма во Франции. У нас уже нет больше рабочего класса.

— Сотни и тысячи французов каждый год едут в Испанию. Предположим, что, на худой конец, десять процентов из них антифранкисты... Я уверен, они были бы счастливы оказать какую-то помощь ребятам из испанского Сопротивления.

— Какого рода помощь? — спросил Нуво. — Оружием? Пропагандой?

— Это уж испанцы должны решить сами.

— В багажнике моей машины я мог бы провезти целый арсенал, — сказал Жерар Бонди. — Полицейские даже не открывали у меня багажник.

— Можно ли свободно покупать оружие в Испании?

— Надо, чтобы вы сказали нам, в чем вы нуждаетесь и что мы мо-

жем вам доставить, особенно летом. Единственная проблема тогда — договориться об очередности отпусков.

Вина уже опять не было. Жозетт Тессье снова спустилась в подвал, а люди за столом слегка ослабили узлы галстуков и засучили манжеты рубашек.

— Есть у вас постоянные контакты с португальскими патриотами?

— Мой брат нынче весной был в Эсториле. Условия жизни крестьянских масс там, кажется, еще хуже, чем в Испании. По словам брата, в ближайшее время там вполне возможны революционные волнения.

— Марк говорил нам еще о Комитете поддержки греческих коммунистов. Вы знаете об его существовании? Может, полезно было бы выработать общую программу действий для Испании, Португалии и Греции...

Вошла Жозетт Тессье с новым запасом вина. На другом конце стола Жерар Бонди расхваливал Чамако, а Мари-Пьер Дрейфюс сетовала на то, что испанские повара неумеренно пользуются оливковым маслом. Казалис мягко вмешался.

— После разгрома освободительного движения революционный дух может прийти только извне. У нас владычествуют левые, но какие левые! Левые колеблющиеся, неустойчивые, разнородные, непоследовательные, обуреваемые противоречиями... Почтительные левые. Левые, которые не смеют даже называть себя таковыми.

— Последняя поездка в Испанию дала нам небольшую надежду, принесла свежее дуновение. У вас, по крайней мере, слово «свобода» имеет определенное значение. Здесь же это слово потеряло свой смысл. Все считаются свободными. И мы живем в худшую из худших пору отчуждения.

— Возможно, вы и не отдаете себе в этом отчета, но это — факт неоспоримый. Вы, испанцы, счастливее нас. Вы сохраняете нетронутым ваш протест, в то время как мы, против кого нам восставать? Нам внушает отвращение вся Франция.

— К счастью, у нас еще остаются колонии и возможность сражаться на стороне различных освободительных движений...

— Я прожил несколько месяцев в Малаге, — сказал Жерар Бонди спокойно. — У меня сложилось впечатление, что надо совсем немного и людей и времени, чтобы организовать вооруженное восстание против режима.

— Мы с женою пришли к такому же выводу относительно Каталонии. Налицо революционная ситуация, и народный порыв пропадает впустую из-за отсутствия твердого направления...

— Если испанское Сопротивление нуждается в нас, скажите вашим друзьям, что мы готовы вновь взяться за оружие.

— У нас есть старые связи с маки́. Вы не хотели бы познакомиться с нашими партизанами?

Все еще восхищенный сердечностью оказанного тебе приема, ты погрузился в мечты, ты был твердо убежден, что знаешь «сезам» и держишь в руках ключ к правде, тебя восхищала возможность извне поддержать благородную борьбу, которую вели твои друзья, внести ощутимый вклад в разрешение всех невзгод Испании; безоговорочная помощь французской интеллигенции, единая стратегия борьбы во всех европейских странах, сообща выработанная представителями различных движений Сопротивления, возможность народного вооруженного восстания — все эти идеи еще бродили у тебя в голове, когда через неделю ты во второй раз поднялся по устланной ковром лестнице особняка на улице Сольферино и позвонил у дверей. Робер Нуво взялся провести встречу с греками и португальцами с целью разведки, и ты послал Антонио зашифрованное письмо, в котором сообщал, как идут

твои хлопоты и о том, что создан Комитет помощи, который займется приобретением и переправкой оружия и пропагандистской литературы.

Тессье любезно поздоровался с тобой за руку и провел в гостиную. На диване, свернувшись клубком, спал черный кот. Из проигрывателя вполголоса неслось «La leçon des ténèbres» * Куперена.

— Робер Нуво просил извиниться перед вами. Вы слышали новость?

— Какую?

— Национальный фронт Алжирского освобождения начал новое наступление против французских войск.

Он устроился в кресле напротив тебя и налил в два стакана виски.

— Нам сообщил об этом вчера один из руководителей... Надо немедленно организовать кампанию в прессе в защиту их действий. Мы с Нуво набросали черновик заявления для печати, оно сейчас у Казалиса.

Его прервал резкий телефонный звонок. Ты поднялся с кресла и стал рассматривать стоявшие на полках книги. На другом конце комнаты тихонько вибрировал приятный тенор. Тессье, сидя на валике дивана, пристально смотрел в окно.

— Алжирец?.. Скажи ему, чтобы он зашел к нам... Нет, никуда не ухожу. Кто редактирует?.. В основном его писал Нуво... А каково твое мнение?.. Слишком много прилагательных, правда?.. Ну, ладно... Можешь прислать мне копию... Договорились... Да, я предупрежу тебя, как только он придет...

Когда он повесил трубку, ты опять вернулся в кресло, а он закурил сигарету и мягко тебе улыбнулся.

— Практически мы не спим уже сорок восемь часов. Я только что сказал жене: я чувствую себя почти так же, как в прежние дни, когда вступил в Сопротивление...

На этот раз позвонили у дверей, и Тессье, жестом извинившись, вышел. Через несколько минут он вернулся вместе с двумя женщинами и мужчиной, которые были тебе не знакомы. Вас представили друг другу, и наступило долгое молчание.

— Я очень прошу извинить меня, но нам с друзьями нужно обсудить срочный вопрос... Может быть, вы подождете немного?..

— Не лучше ли мне прийти в другой раз?

— Как вам удобнее, дорогой друг. Вы позвоните мне, и я устрою вам встречу с Нуво.

— Когда мне позвонить?

— На будущей неделе, например..Выберите сами любой день. Я по утрам всегда дома.

Он стал прощаться с тобой; выражение лица у него было отсутствующее и в то же время озабоченное, и ты, разочарованный неудавшейся встречей, заставил себя выждать несколько дней, прежде чем решился ему позвонить. По телефону ответил он сам, удивленным и в то же время любезным тоном, и когда ты напомнил ему о намечавшейся встрече за «круглым столом» с греками и португальцами, он печально сообщил тебе, что Нуво уехал в Алжир и вернется в Париж через две-три недели — не раньше. Он сказал, что Комитет друзей алжирского народа, созданный французской интеллигенцией, должен собраться на квартире у Казалиса, и пообещал своевременно сообщить о дне и часе, чтобы и ты пришел. Насколько тебе помнится, он ни словом не упомянул об Испании.

Ты звонил ему еще два раза, прежде чем до тебя окончательно дошло, что заботы о твоей стране решительно выпали из сферы его ин-

---

* Урок темноты *(франц.)*.

тересов. Превратности войны в Алжире, Суэцкий кризис полностью поглотили всю до капли энергию его друзей, а тем временем донкихотская борьба Антонио и твоих товарищей против тупого и косного испанского общества и его всемогущих стражей задыхалась в пропагандистском чаду, грязи и лжи опустошающих и бесполезных Годов Мира. Что же касается Жерара Бонди, отделившегося от остальных по причине политических и чисто личных разногласий, то он провел несколько месяцев в Малаге, только не организовал там, как собирался раньше, вооруженного восстания. За то время, что он там пробыл, он лишь написал коммерческую книжонку с метафизическими потугами, которая после его возвращения в Париж была единодушно поддержана буржуазной критикой и получила Гонкуровскую премию.

ВТОРНИК, 2-е. Горилла приезжает никем не замеченный. В 12 часов обнаруживается на улице Рокафорт; он идет к тому месту, где в прошлые вторники встречался с Гого, Кокто и Эскучи. Никого там не застав, направляется в бар «Пичи», где его ожидают Цыган и Синий. Потом возвращается на угол Рокафорт — Арагон и идет сразу туда, где в прошлые разы происходили встречи. Вечером он снова появляется там с Эскучи, и сначала он, а потом она проходят несколько раз мимо этого места, но связного не обнаруживают. Добавим, что когда Эскучи подходит к этому месту, она вслух говорит: «Улица та самая, да...» И тут же для большей верности она спросила у человека, случайно оказавшегося сотрудником, ведущим наблюдение: «Скажите, пожалуйста, это улица Рокафорт?» В 17 часов они садятся в такси и едут на вокзал. В 20.30 приходят к Сойке, и в 21 час наблюдение за домом снимается.

Он мог опять предаваться своим мечтам, купаться в холодном море у Орнильо, спать с проституткой, заточенной в доме на холме, переводить страницу за страницей тяжеловесного метафизического труда, без устали беседовать с рыбаками в баре Констансио. Но он по-прежнему жил и двигался в мире двусмысленном, в мире, где слова теряли свое первоначальное значение и приобретали смысл ускользающий и переменчивый, словно легкие облака под ветром. Свобода и заключение смещались в этой нечеткой действительности, и временами ему казалось, что уже невозможно вырваться из зубьев этого прочно сцепленного механизма. Время плелось черепашьим шагом, тянулись дни томительного существования, и Антонио не покидала опустошающая уверенность, что жизнь его проходит бесполезно, неоправданно и пусто, как и у всех остальных его соотечественников.

Проститутка простила ему грубость той первой встречи, и теперь, когда он приходил, ее большое и крепкое тело встречало его с заученной нежностью. В конце дня, как две капли воды похожего на все остальные и столь же однообразного, он, погружаясь в ее плоть и кусая ее податливые и мягкие груди, чувствовал себя уверенней и хоть на несколько минут забывал тиканье часов.

Привычки стали ритуалом, и когда в конце октября погода испортилась и пришлось отказаться от купания, Антонио по-прежнему совершал прогулки на велосипеде и, сидя на скале напротив острова Монаха, часами смотрел на пугливый полет птиц, на застывший, обезлюдевший пляж и слившиеся в сером объятии небо и море.

В День всех святых он целый вечер провел в баре Констансио, играя в домино с рыбаками, а потом, предупредив мать, пригласил Фермина вместе поужинать.

— Курзал подойдет? — спросил Антонио.

— Куда хочешь, — ответил Фермин. — Мне все равно.

Они прошли Главной улицей до Пасео. Последние отдыхающие разъехались еще несколько недель назад вместе с кормилицами и детьми, и неоновые огни светились вяло и печально. Клубный ресторан ни капельки не изменился со времени его встреч с Лолитой. Они сели за столик в углу зала—посетителей еще не было, и официанты бродили, точно тени, — и Антонио заметил стол, накрытый на двенадцать персон, в центре которого красовался пышный букет цветов. Принимая у них заказ, официант сообщил, что стол этот заказан доном Гонсало.

— Готов спорить, это — помолвка, — сказал Фермин. — Сегодня утром голубки были в церкви, моя мать говорит, что они шли под руку, точно жених и невеста.

— Вот именно, сеньор, тут что-то есть, — сказал официант. — Дон Гонсало самолично приходил заказывать ужин и велел поставить на лед двенадцать бутылок шампанского.

— А ведь злые языки станут болтать, будто это состряпано родителями, — прошептал Фермин. — Боже мой, как жесток мир.

Им подали кларет из Вальдепеньяса, который пился с обманчивой легкостью. Фермин шутил насчет состояний обоих семейств, а Антонио слушал его молча, еле сдерживаясь, чтобы не взорваться. Необычайная красота цветов бесила его. К тому времени, когда прибыли гости, они уже успели выпить бутылку, и Антонио заказал вторую.

— Может, уйдем? — предложил Фермин.

— Побудем еще.

За столом рассаживались дон Гонсало, его жена, сын, испанский консул в Александрии с женой и двумя дочерьми и еще полдюжины одетых с иголочки гостей. Среди них Антонио заметил самодовольно надутую физиономию доктора. Официанты порхали вокруг стола, и по знаку дона Гонсало повар подал к столу поднос с закусками.

— Да, эти толк в жизни знают, — прошептал Фермин.

Антонио, не останавливаясь, наливал из второй бутылки и решил остаться еще. Кто-то из гостей за тем столом рассказал забавный анекдот, и раздался восторженный хор возгласов. «Божественно!» — ворковал женский голос. Доктор сидел к ним спиною, неподалеку от дона Гонсало; он перегнулся через даму, сидевшую между ним и доном Гонсало, и зашептал тому что-то на ухо.

— Осторожней, они о тебе.

Дон Гонсало обернулся и мгновение смотрел в упор на Антонио (лицо, каких в Испании тысячи: большой нос и косматые брови), а доктор, улыбнувшись, помахал ему приветственно рукой. Антонио, не отрываясь от вина из Вальдепеньяса, с удивлением рассматривал любезное лицо официанта, который, выслушав внимательно дона Гонсало, стоял теперь перед ними.

— Сеньор Рамирес, это вы?

— Я.

— Дон Гонсало просил передать вам приглашение пересесть за их стол.

Доктор снова обернулся и смотрел на него с выражением заговорщика. Официант в ожидании ответа вытянулся в струнку, как рекрут. Антонио залпом осушил стакан.

— Скажите этому господину, что я крайне признателен за приглашение, но я сам выбираю себе компанию, а его компания меня не устраивает.

— Как?

— Как я сказал.

Официант смотрел на него, словно на сумасшедшего. Чтобы привести его в чувство, Антонио похлопал его по руке и заказал еще одну бутылку кларета.

— Хорошо, как прикажете.

Официант подошел к дону Гонсало и повторил слова Антонио. Гости за столом оцепенели, потом пришли в ярость. Доктор сорвался с места и подлетел к ним.

— Чего вы добиваетесь, Рамирес? Хотите перессориться со всем селением?

— Я ничего не добиваюсь, доктор.

— Вы ведете себя грубо и неумно.

— Возможно.

— Вы просто глупец, слышите: невоспитанный и безответственный глупец...

— Не кипятитесь, — сказал Антонио мягко. — А то омар не переварится.

— Вы раскаетесь, Рамирес. Клянусь, вы раскаетесь.

Доктор повернулся к нему спиной, а Антонио вдруг почувствовал себя безмерно счастливым. Все за тем столом смотрели на него с презрительным осуждением, а дон Гонсало стал рассказывать какую-то историю почтительно внимавшим ему гостям.

— Сеньор Рамирес.

Бармен твердым шагом подошел к их столику и недобро уставился на Антонио.

— Я вас слушаю.

— Дирекция просит вас немедленно покинуть наше заведение.

— Скажите, пожалуйста, сколько я должен?

Бармен жестом подозвал официанта.

— Счет сеньорам.

— Всего сто шестьдесят три песеты пятьдесят сантимов.

— Пожалуйста, — Антонио положил бумажки на стол. — Сдачу оставьте себе.

Он вышел на улицу, Фермин — за ним. Плотные тучи окружали серп месяца и через несколько минут закрыли его совсем. С моря дул сильный ветер. На Пасео одна скамейка пустовала, и он сел на нее, вдыхая полной грудью солоноватые и острые запахи воды.

— Вот отмочил, — сказал Фермин. — Тебе что — нехорошо?

— Мне просто отлично, — ответил Антонио. — Я словно помолодел.

На горизонте в море, как светлячки, дрожали огни рыболовецких судов, вдали кто-то печально пел песню. Антонио долго слушал, охваченный невыразимым восторгом, а потом обнял Фермина и пожелал ему спокойной ночи. Придя домой, он в первый раз за многие месяцы заснул спокойным сном, без помощи снотворных.

СРЕДА, 3-е. В 10.40 Горилла входит в бар «Пичи», а оттуда — в бар «Мариола», где его ожидает Синий с механиком из своей мастерской. Когда в бар входят два продавца лотерейных билетов — приятели Синего, которые могут знать в лицо сотрудников полиции, — наблюдение за баром снимается.

ЧЕТВЕРГ, 4-е. В 12.30 приезжает Горилла. На площади Корреос садится в метро и едет до Уркинаона и встречается с Никитой напротив транспортного агентства «Ла-Каталана». Сегодня он выглядит спокойнее, чем накануне. Они идут по Ронда Сан-Педро и в 14.20 расстаются. Через несколько минут Горилла теряется в уличном движении на Уркинаона.

ПЯТНИЦА, 5-е. Горилла приезжает в 15 часов и, походив немного по центру города, идет в мастерскую к Синему. Они

заходят в бар «Пичи», возвращаются к мастерской, 20 минут разговаривают у дверей, некоторое время разглядывают витрины и потом исчезают. Их не оказывается ни в баре «Мариола», ни в «Эскосесе». В 18.15 их замечают на улице Калабрия, около магазина оптики. Некоторое время они идут вместе, а потом расходятся.

СУББОТА, 6-е. В 14 часов Горилла садится на поезд в Премья. На площади Паласио он пропадает из виду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-е. Горилла приезжает в 11.45, идет в бар «Эскосес» и встречается со Скимо, Кудрявым и Никитой. Через полчаса он садится в «пежо» № 9089 МС-75 вместе со Скимо и уезжает в направлении Санса; далее следить за ними невозможно за неимением подходящей машины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8-е. Горилла не появляется.

ВТОРНИК, 9-е. Гориллу замечают в 10.35. Он садится на такси на площади Паласио и едет до угла улицы Энтенса и проспекта Хосе-Антонио. На минуту заходит в бар «Эскосес» и, не найдя там никого, тихо доходит до перекрестка Рокафорт—Арагон; неподалеку от обычного места встреч замечает женщину, которая идет тоже медленно, и они переглядываются. Время — 12.01. Женщина останавливается на углу, Горилла внимательно смотрит на нее, подходит, будто хочет что-то спросить, и они радостно здороваются. Женщина, которую мы назовем Пиаф, — низкого роста, худощавая, в руках у нее черная дамская сумочка. Они заходят в бар «Эскосес» и через 15 минут выходят. Заходят в другой бар. Когда через 10 минут они выходят, у Гориллы в руках небольшой сверток в синей бумаге. Он что-то объясняет Пиаф, и они прощаются.

СРЕДА, 10-е. Пиаф выходит из отеля в 10.15 и встречается с Гориллой напротив дворца Виррейна. Вместе идут на площадь Реаль, сидят на террасе бара и через полчаса расходятся.

ЧЕТВЕРГ, 11-е. Кудрявый оказался Антонио Рамиресом Труэба, родом из города Агилас, Мурсия, в настоящее время проживает в пансионе «Самора», улица Калабриа, 116. Доктор права, слушатель дипломатической школы. В университете был замечен в симпатиях к марксистам, в досье фигурирует как спутник Альваро Мендиолы, автора антииспанского фильма об эмиграции рабочих, конфискованного гражданской гвардией города Йесте, провинция Альбасета, 23 августа 1958 года.

Никаких сомнений: полиция работала безупречно. Пять веков слежки, инквизиции и цензуры постепенно сформировали моральную структуру этого уникального организма, который даже недруги и клеветники считали образцом одного из сложнейших общественных гигиенических институтов и каковые ныне, вдохновленные этим примером, множатся во всем мире.

Годы Мира, царившие на протяжении двадцати пяти лет, были истинным и осязаемым плодом некоей скрытой работы поколений, посвятивших себя благородной и счастливой миссии: любой ценой сохранить в строгой неприкосновенности принципы, необходимое почтение к законам, мгновенное и слепое повиновение тем загадочным нормам, которые правят человеческим обществом, иерархически разделенным на общественные категории и классы, каждый из которых блистательно исполняет свою роль в иллюзорном театре жизни. Получив столь обширный и полезный опыт, народ и сам научился применять очиститель-

ные средства, и к призрачно счастливому лету 1963 года твоя родина превратилась в зловещую, дремотную страну, населенную тридцатью с лишним миллионами полицейских в штатском (включая бывших непокорных и бывших мятежников). С присущим тебе оптимизмом ты думал, что пройдет еще немного, и чиновники со служащими вовсе не будут нужны, ибо в большей или меньшей степени, но надзиратель, цензор, шпик исподволь и потихоньку уже просочились в души твоих соотечественников. Система, установленная твоими соплеменниками, возродила инквизицию, только в несколько ином обличии, но с теми же доносами, слежкой, очными ставками, допросами. Жандармерия, полиция военная, полиция гражданская — несть им числа. Словно короста, они покрыли изможденную, оцепенелую землю отцов. Муж шпионит за женой, жена — за мужем, отец — за сыном, сын — за отцом, брат — за братом и каждый — за соседом. Буржуа (крупные и мелкие, сельские и городские), рабочие, крестьяне, обыватели — все сплошь полицейские. Шпионит и «независимый» интеллектуал-индивидуалист и даже добродушный писатель-романист, обуреваемый социальными проблемами (по крайней мере, касающимися его близких). Друг, прошедший рядом всю жизнь, товарищ, разделивший с тобой тяжкие часы,— тоже полицейские. (И сколько раз ты сам, Альваро, мирился с окружающим тебя конформизмом, порицая себя публично или же втихомолку, сколько раз ты скрывал от остальных свою подлинную суть; и ты был полицейским, как бы ни было тебе неприятно в этом сознаться.)

Мы дорого заплатим, думал ты, за проигранную гражданскую войну, за двадцать лет косматого страха, за пагубное легкомыслие, которое нас захлестнуло. Все мы больны неизлечимо, все мы искалечены, все обманулись в надеждах. Как вернуть мир, цельность, покой нашим сердцам? Несчастный, жалкий народ, несчастная родина, какой психоанализ в состоянии помочь тебе воспрянуть? Время для тебя не движется, и дети твои выходят из твоего лона никчемные, не в силах противостоять твоей косности, твоему упрямству, твоему безумию. Изменишься ли ты когда-нибудь? Может, изменишься (думал ты), когда твои кости (твои, Альваро) унавозят, о родина, твою почву и другие, лучшие люди (сегодня еще дети) принесут свой дар в жертву неосуществленным порывам, которые были твоей участью. Вот ты умрешь, мучила тебя мысль, кто же, кто об этом расскажет?

Протокол обыска. 8 часов 30 минут 18 декабря 1960 г.

«Согласно приказу инспектора, начальника бригады общественных расследований данного полицейского управления, полицейские инспекторы дон Элой Ромеро Санчес, дон Мамерто Киксарт Лопес и дон Эдуардо Гарсиа Барриос, имея соответствующий ордер, явились в пансион «Самора» на улице Калабриа, 116, в комнату, занимаемую Антонио Рамиресом Труэба, с целью произвести обыск. В присутствии названного лица и при свидетелях Хосе Кальво Мартинесе, владельце пансиона, и Хосе Мария Кортес Берруэсо, служащем того же пансиона, был произведен обыск, давший следующие результаты: книга под названием «Капитал» Карла Маркса, «Начала философии» Жоржа Политцера, «Избранные произведения» Розы Люксембург, «Письма из тюрьмы» Антонио Грамши, «Сталин» Исаака Дейчера, «Интеллигенция и война в Испании» Альдо Гароши, «Оттепель» Ильи Эренбурга, «Избранные стихотворения» Рафаэля Альберти, «Дополнения» Антонио Мачадо, «Театр» Бертольта Брехта, номера журналов «Куадернос» и «Иберика», посвященные Испа-

нии, несколько номеров «Эроп» и «Контемпоранео», репродукция голубя Пикассо и т. д. Все упомянутые книги и журналы прилагаются к данному акту для последующей передачи соответствующим судебным властям».

Ощущение двусмысленности пропало. Теперь он снова мог ходить, гулять по селению, как ссыльный, угадывая в немом приговоре людей отмечавшее его неизгладимое клеймо. Иллюзия свободы, наконец, рассеялась, и его смягченное заключение стало обычным заключением — заточением с границами неопределенными, но вполне реальными, хитроумный механизм, специально рассчитанный на то, чтобы не допустить ни физического, ни духовного бегства. Морской горизонт хоть и отгораживал от мира это место, забытое богом и разрушенное дурным правлением человека, он все же меньше угнетал, чем пустота, рожденная недоверием и страхом, подозрительными опасливыми взглядами, едва различимыми приветствиями, короткими и ничего не значащими разговорами. Одинокий в своем заточении на этой порабощенной земле, еще более одинокий от того, что люди рядом — чужие и каждый миг множит одиночество, подобно тому, как дикое эхо множит крик под огромными сводами, теперь он с радостью мог считать свою ссылку тюрьмою, тюрьму — путем к свободе, а свободу — единственной целью, достойной мыслящего человека, единственного свободного существа,— по крайней мере, так считается — в толпе своих соотечественников, которые мнят себя свободными потому лишь, что продают по дешевке (и то прогресс!) свою жалкую рабочую силу, один раз в неделю по закону отдыхают, невесть зачем регулярно производят детей, запальчиво спорят о статях какого-нибудь футболиста или же о ляжке тореро, поврежденной быком, а сами-то они — тоже быки и даже хуже — довольная, покорная скотина, которая с независимым видом толкует лишь о дозволенном и осуждает осужденное, печальное стадо волов, но только без колокольчиков, пешки в руках ловкачей и циников, народ, когда-то героический — развернутые красные знамена, свирепые лица людей, поднимающих вверх сжатые кулаки, и эта песня «qu'on ne pouvait pas entendre sans que le coeur battit et le sang fût en feu»*,— помните? — все это к концу Двадцатипятилетия превратилось (боже мой, как это удалось, боже мой?) в пустую тень прошлого, в мертвый звон, в дремлющую плоть, которая, быть может, когда-нибудь и проснется...

Последствия случая в курзале не замедлили сказаться. На следующий день, когда Антонио переводил особенно темный кусок из книги по философии, к нему домой явились два жандарма и грубо велели ему следовать за ними в жандармерию. Дело близилось к вечеру, и когда они шли селением, люди на улицах останавливались и глазели на них, а с террасы одного кафе кто-то сказал наставительно: «Так ему и надо. Пусть расстреляют».

Лейтенант встретил Антонио хмуро: на этот раз его обращение немногим отличалось от обращения тех, кто избивал Антонио в полицейском управлении, и Антонио почувствовал облегчение при мысли о том, что комедия, которую разыгрывали обе стороны, раз и навсегда кончилась.

— Рамирес,— сказал лейтенант.—До сих пор мы считались с тобою, но наша снисходительность имеет границы. Твоя вчерашняя выходка переполнила чашу терпения: каждый порядочный человек осудил бы твой возмутительный хулиганский поступок. Если ты намерен извиниться перед доном Гонсало...

---

* Которую нельзя было слушать без того, чтобы сердце не забилось и кровь не закипела *(франц.)*.

— Ни за что на свете, лейтенант.

— В таком случае правила для тебя меняются в корне. С сегодняшнего дня ты будешь приходить отмечаться дважды в день, и ноги твоей не будет ни в одном баре, ни в одном публичном месте. Если ослушаешься, пожалеешь, понятно?

— Да, лейтенант.

— А для начала сегодня же сбрей бороду или я сам обрею тебя на свой лад. Испания — это тебе не Куба, и если будешь петушиться, то гляди — как бы перышки не общипали.

— Да, лейтенант.

— Мои люди не сведут с тебя глаз, а что тебя ожидает — сам знаешь. Так отделаем, что и родная мама не узнает.

Он грубо простился, но когда Антонио шел через двор казармы, послал капрала вернуть его обратно.

— Это еще не все, Рамирес. Все уже знают о твоей выходке, и народ сурово осуждает твое поведение. Если кто-то вздумает накостылять тебе, мы вмешиваться не станем.

— Это угроза?

— Понимай как знаешь.

Вернувшись в селение, он вошел в первую же парикмахерскую. Борода для него не имела никакого значения теперь, когда ясно обозначились рамки заключения, и он снова почувствовал себя свободным человеком в стенах просторной, благоустроенной тюрьмы. Фермину запретили здороваться с ним, и когда они случайно сталкивались на улице, он лишь улыбался Антонио. Утром и вечером Антонио приходил отмечаться в казарму, а в часы, свободные от занятий переводом, он брал велосипед и ехал полежать куда-нибудь на пляж, счастливый тем, что может затеряться на несколько часов в упрямом рокоте волн, которые тонким, узорным кружевом бросались на песок.

Во время одной из таких бесцельных прогулок незадолго до рождества он шел по тропинке в сторону Калабардины. В ожидании тунца, который появляется у берегов к весне, вся снасть с судов была снята и покоилась на складах, такая же декоративная и бесполезная, как и ее безработные хозяева, и одетые в траур серьезные женщины, и чумазые печальные детишки. Ослабелое зимнее солнце отсвечивало на рыбачьих хижинах, и, сидя на уступе на другом конце залива, Антонио в тоске смотрел на борозду, вспаханную рыбачьими судами на морской поверхности, на корпуса суденышек, вытащенных на берег и лежащих там словно обескровленные, безжизненные дельфины. Он был далек от всего этого, но все это странно его волновало. Сердце его сжалось от щемящей печали, и, когда он поднялся, на глазах у него были слезы.

Обратно, чтобы не наткнуться на жандармов, он возвращался теми же уединенными тропинками. Внезапно на его пути встал маленький человечек, который, похоже, поджидал его за поворотом дороги в зарослях агав.

— Привет, товарищ,— сказал он.— Узнаешь меня?

Взлохмаченные седые волосы, глаза, как головешки, выдающийся вперед подбородок — все это показалось смутно знакомым. Антонио поколебался и ответил:

— Не знаю. Не могу вспомнить.

— Я Морильо, товарищ твоего отца по оружию.

Смертный приговор, отмененный в самый последний момент, пятнадцать лет тюрьмы, горести и унижения сделали из бывшего главы местного сельского комитета старого, изношенного человека, превратившегося, как и множество других по всей испанской земле, в расплывчатую тень самого себя.

— Я давно хочу поговорить с тобой, товарищ. Несколько раз писал

тебе и назначал свидание в полночь на развалинах замка, но ты не пришел.

— Я ничего не получал,—сказал Антонио.

— Настал момент действовать. Вся страна готова подняться и только и ждет, чтобы мы взяли инициативу в свои руки... Как только получим приказ, мы, патриоты, уйдем в горы и откопаем спрятанное оружие, ты меня слышишь?

— Да.

— В каждом квартале созданы комитеты, занятые покупкой винтовок и пулеметов. Вчера ночью приходила подводная лодка наших и передала зашифрованное послание... Когда пробьет час, я тебе дам знать. А пока — молчание, и главное — бдительность.

Антонио ушел, бросив его один на один с его мрачным бредом, и вернулся в селение. До конца заключения оставалось совсем немного, и Антонио с беспокойством думал о том двусмысленном мире, который подстерегал его в конце срока, об искусительных хлопотах жизни, с виду, казалось бы, такой устроенной и благополучной. Он хотел бы не участвовать больше в игре и взять назад свою ставку, но игра, хотя и в новом, видоизмененном виде, продолжалась, и как тогда, в курзале, помня о других донах гонсало, которые в будущем встретятся на его пути, он твердо знал (глубокая уверенность, точно пойманная птица, таилась у него в душе) — знал, что нечто гораздо более сильное, чем он сам, заставляет его и всегда будет заставлять ставить в этой игре снова и снова.

В сад ворвался автомобиль. Вы втроем сидели на галерее, и отпечатанные на машинке страницы дневника наблюдения устилали плетеную циновку из дрокового волокна, на которую несколько часов назад служанка подавала вам кофе. Долорес вздохнула и поднялась.

Вечер обвел красноватой сияющей каймою горы, и посеребренные листья эвкалиптов застыли в головокружительном покое. Стремительные ласточки рассекали неподвижный воздух, задевая острыми клювами навес крыши. Поблекшая голубизна моря растворялась в небе.

Машина, ловко объехав игрушки, разбросанные по гравию, остановилась около террасы, и из нее вышли Рикардо, Пако и Артигас; видно было, они провели ночь без сна. Они крикнули Альваро, что хотят пойти искупаться. И, поднимаясь по дорожке к пруду, Пако на ходу проделал блистательный стриптиз. За ними с восторженным лаем неслись собаки.

Вы тоже решили выкупаться. Долорес пошла к дому батраков искать своих племянников, а вы с Антонио разделись на галерее. Вы оба молчали, утомленные многочасовым разговором. В образе прошлого, который мало-помалу перед тобою вырисовывался, оставалось еще множество пробелов, заполнить которые было трудно, и ты испытывал беспокойство, словно ты оставил незавершенным какое-то важное дело. Возможно, что-то существенное проскользнуло у тебя между пальцами, и теперь все твои усилия ухватить его ни к чему не приводили. Прежде чем выйти в сад, ты выпил глоток ледяного фефиньянеса.

Твои друзья ныряли в зеленой воде, и их смеющиеся лица то и дело появлялись над поверхностью. Ты лег на открытом месте и стал ждать Долорес, погрузившись в плотный покой сумерек. Солнце только что скрылось за горами, и последний багряный луч умирал в ветвях пробковых дубов.

— В Барселоне жарища была жуткая,— сказал Артигас.

— Тридцать восемь в тени.

— На площади Испании задержали англичанку в исподнем.

— Не англичанку,— уточнил Пако,— англичанина.

— Кстати,— перебил Антонио,— а что с датчанками?

— Рикардо вчера вечером пригласил их поужинать. Спроси у него.

— Я-то при чем? Это же ты трудился, язычник.

— Ты ли, он ли, но едят они за семерых,—сказала Долорес.—Заметил, как они очищали тарелки?

— Дания — слаборазвитая страна, разве не знаешь? — Пако ткнул пальцем в Антонио.—Вот ты — экономист... Что ты скажешь об испанском чуде?

Это как бальзам — ощутить прикосновение теплой воды, медленно вытянуть руки и плыть, затерявшись взглядом в бесцветном, без единого облачка небе. Рикардо, Артигас и Пако приехали побыть с тобой субботу и воскресенье, и благодаря их помощи ты верил, что сделаешь еще один шаг в познании и постижении фактов. Вся твоя жизнь теперь была битвой один на один с призраками прошлого, и от результатов этой битвы зависело — ты это знал,— будет ли оплачен долг, который довлеет над твоим ограниченным, целиком зависящим от случая будущим.

Сознавая всю серьезность опасности, ты шел решительным шагом навстречу вполне вероятному бедствию.

(Окончание следует)

ДЖОН ОКАЙ

999 улыбок

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Девятьсот
Девяносто
Девять
улыбок
Плюс
Одну
размолвку
Тому назад,
Наши глаза,
наши сердца
Были
в полном согласии,
Что по-прежнему
Солнце
восходит
с востока
И заходит
на западе,
Что по-прежнему
Дождь
Падает
с неба
на землю,
Что по-прежнему
Дым
Поднимается
к небу
с земли,
Что по-прежнему
Земля
Круглая,
а не плоская,
Как циновка.

И все же...
Подумай,
где ты
И что ты
сегодня
делаешь —
Камни
бросаешь...
в нас,
Ядовитые
камни...
в нас,
Сатанинские
камни...
в нас;

И если бы я по-прежнему
Руки имел
На плечах,
Я поднял бы
руки
над головой,
Чтобы ловить
Один за другим
Твои камни,

Покуда они горячие
В прохладном воздухе,
Покуда они летят
В нашу голову;
И если бы я по-прежнему
Владел
своими руками,
Сложил бы я
Камни твои
Грудой
И оставил лежать
на месте
До некоего дня,
Когда
Пригодятся нам
эти камни,
Чтобы сбить
Для дружеского костра
Птицу,
которая
На ветке сидит
Над нашею головой —
Как ты,
сидящий
На скользкой ветке
Из воздуха;

И если бы мне по-прежнему
Руки мои
служили,
Поймал бы я
Камни твои
И даже не смог бы подумать,
Чтобы ими бросить
В тебя —
Но и руки мои
Ты унес
С собой
На ветку,
где ты —
подумай! —
И что ты
сегодня
делаешь —
Камни
бросаешь...
в нас,
Гнусные
камни...
в нас,
Презренные
камни...
в нас.
. . . . . .

Девятьсот
Девяносто
Девять
улыбок
Плюс
Одну
размолвку
Тому назад,
Наши глаза,
наши сердца
Были
в полном согласии,
Что по-прежнему,
Когда человек
поднимает ногу,
Он делает шаг —
Вперед,
Что по-прежнему
У каждого человека
Десять
Пальцев
На двух
Руках.

И все же...
Подумай,
где ты
И что ты
сегодня
делаешь —
Камни
бросаешь...
в нас,
Адские
камни...
в нас,
Злобные
камни...
в нас;

Но все равно
Я не назову
Имени твоего,
Чтобы
Вечные верные
Ветры
Не донесли его
До слуха предков,
Которые
спят
очами,

Но слухом
бодрствуют
вечно,—
Чтобы предки во гневе
Не нарушили
Свой покой,
Не дохнули бы
Ураганом,
Который во гневе
Сломит
Гнилую,
поникшую
ветку,
На которой
из всех людей
Ты сегодня
сидишь
Один —
Камни
бросая...
в нас,
Позорные
камни...
в нас,
Бессильные
камни...
в нас.

ЖОРЖ СИМЕНОН

Поезд из Венеции

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского
Н. БРАНДИС, Э. ШРАЙБЕР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Почему он думал все время о дочери и образ ее заслонял перед ним все? Это его смутило, но пришло в голову лишь после того, как поезд тронулся в путь. Правда, смущение было мимолетное и, возникнув под стук колес, вскоре исчезло. Кальмара отвлек мелькавший за окном пейзаж.

Но почему все-таки ему вспомнилась Жозе, а не жена или младший сын,— ведь они стояли втроем под жгучими лучами солнца!

Может быть, оттого, что фигурка дочери на перроне выглядела особенно нескладной? Жозе минуло двенадцать лет, она была длинная и худенькая, с тонкими руками и ногами. Белокурые волосы, посветлевшие от морской воды и солнца, отливали серебром.

Выходя из пансиона, Доминика спросила Жозе:

— Уж не собираешься ли ты в таком виде провожать отца?

— А что? Столько людей ездят на глиссере в купальных костюмах. Ведь пристань прямо у вокзала. Разве потом мы не пойдем сразу купаться?

Доминика была в шортах и в прозрачной полосатой кофточке, купленной в каком-то узком переулке, среди толчеи неподалеку от канала.

Не потому ли Кальмар смутился, что впервые обратил внимание на начинавшую наливаться грудь дочери?

Все эти впечатления были неясны, словно мысли его окутал утренний туман, словно перед его глазами стояло марево, колышащееся между небом и землей, почти ощутимое, мерцающее и жаркое.

В голове и теле Кальмара еще отдавалась вибрация пароходика, привезшего их из Лидо, и то плавно покачивавшегося на длинных ровных волнах, то вдруг вздрагивавшего при приближении встречного судна.

Перед мысленным взором Кальмара вдруг возникла Венеция — ее купола и храмы, дворцы, собор святого Марка, Большой канал, гондолы

и воскресный колокольный звон во всех церквах и часовнях в это раннее, но уже знойное утро.

— Купи мне мороженого, папа!

— В восемь часов утра?!

— А мне? — попросил мальчуган. Его звали Луи, и ему недавно исполнилось шесть лет, но так как в раннем детстве он называл соску «Биб»*, за ним сохранилось это прозвище.

Костюм Биба состоял лишь из плавок и клетчатой рубашки навыпуск. На детях были соломенные гондольерские шляпы с плоским дном и широкими полями, украшенные красной лентой у сестры и голубой у брата.

Сказать по правде, Кальмар не любил менять обстановку и поэтому все эти две недели чувствовал себя выбитым из колеи. Но жена захотела провести отпуск в Венеции, а дети, разумеется, горячо поддержали ее.

Кальмар ненавидел также отъезды и проводы. Он стоял перед открытым окном в неубранном купе, потому что это был один-единственный вагон, который шел издалека, из Триеста или откуда-то еще и больше отличался от других вагонов своим чужеземным обликом, цветом и особым запахом.

Какой-то человек, сидевший почти вплотную к Кальмару, внимательно разглядывал его. Видимо, он ехал издалека и уже сидел в купе, когда вагон прицепили к поезду в Венеции.

Вообще говоря, Кальмар не задумывался на этот счет. Он нетерпеливо поглядывал по сторонам, и у него в памяти невольно запечатлелись залитая солнечным светом платформа, газетный киоск в ее левом углу, люди, стоявшие у вагонов,— они так же, как его жена и дети, ожидали отправления поезда и не сводили глаз с друзей и родных.

Все происходило, как обычно: поезд должен был отправиться в 7 часов 54 минуты. В 7 часов 52 минуты проводник начал закрывать двери, а механик прошел вдоль вагонов, постукивая то здесь, то там молотком. Всякий раз, когда Кальмар ехал поездом, ему хотелось узнать, что простукивает этот человек. Но потом он как-то забывал спросить.

Появился начальник вокзала со свистком во рту и сложенным наподобие зонтика красным флажком в руке. Откуда-то вырвалась струя пара, а может, и не пара — ведь поезд вел электровоз. Это, наверно, прочищали тормоза, и поезд вздрагивал, как вздрагивают все поезда.

Наконец раздался свисток. Жозе, лизавшая мороженое,— «джелато», как она теперь говорила,— помахала рукой на прощание. Доминика давала последние напутствия.

— Главное — береги себя. Завтракай, обедай и ужинай в ресторане, у Этьена.

Ресторан, хорошо знакомый им обоим, находился в двух шагах от дома, на бульваре Батиньоль. Доминика считала, что у Этьена очень чисто и всегда свежая пища.

Взметнулся красный флажок. Начальник вокзала поднял руку — так же как Жозе и подражавший ей Биб.

Поезду пора было уже трогаться. Часы показывали 7 часов 55 минут, но вместо того, чтобы дать сигнал к отправлению, начальник опустил руку и несколько раз отрывисто и повелительно свистнул.

Поезд не тронулся. Провожающие смотрели куда-то вперед. Кальмар выглянул в окно, но ничего не увидел, кроме спин высунувшихся из окон пассажиров.

— Что случилось?

— Не знаю,— ответила Доминика.— Как будто бы ничего.

---

* От французского слова «вівегоп» — соска.

Она была тоненькая — конечно, не такая тоненькая, как дочь,— и даже в шортах выглядела элегантно. Она не могла загорать, как дети, и кожа ее лишь слегка покраснела от солнца. Темные очки скрывали голубые глаза.

Все взоры были обращены к начальнику вокзала, но тот, казалось, и не думал торопиться. Держа флажок под мышкой, он спокойно смотрел в сторону электровоза и чего-то ждал. И весь вокзал застыл, словно кадр из цветного фильма, отпечатанный в виде фотографии.

Провожающие чувствовали себя нелепо и теребили в руках уже развернутые платки. Застывшие на лицах улыбки напоминали гримасы.

— Кто-то опаздывает,— раздался голос рядом с Кальмаром.

— Не знаю, не видно, чтобы кто-нибудь бежал к поезду.

Мужчина — низкорослый и широкоплечий — бросил газету на диван и встал.

— Разрешите?

На какое-то мгновение его голова и плечи заслонили Кальмара в окне.

— С этими итальянцами вечные истории...

Незнакомец успел разглядеть Доминику и обоих детей. Кальмар снова встал у окна, принужденно улыбаясь. Он чувствовал, что Жозе и Бибу не терпится окунуться в море, удрать с раскаленного вокзала, прыгнуть в катер, который отвезет их на пляж. На лице у Доминики появилось озабоченное и грустное выражение.

— Главное, береги себя, Жюстен.

— Хорошо, обещаю тебе.

— По-моему, вот сейчас поезд уже отойдет.

Прошло еще не менее двух бесконечных минут, во время которых все не сводили глаз с невозмутимого начальника вокзала.

Наконец, из кабинета со стеклянной дверью вышел его помощник и подал знак. Начальник дал свисток, подождал еще несколько секунд и взмахнул флажком. Состав тронулся. Проплыл перрон со стоявшими на нем людьми. Жюстен все больше высовывался из окна по мере того, как удалялась и уменьшалась фигурка дочери и ее красный купальный костюм понемногу сливался с цветовой гаммой вокзала.

Солнце преследовало их, властно врываясь в купе вместе с потоками горячего воздуха. Тяжело дыша, Кальмар опустил голубую занавеску, которая, надувшись как парус, сначала раза два или три взметнулась вверх и только потом повисла.

Венеция осталась позади.

Со своего места Кальмар мог теперь, сколько душе угодно, изучать своего попутчика, тот скомкал газету и сунул ее под сиденье.

Довольно долго двое мужчин притворялись, что не замечают друг друга, вот только незнакомец не так поспешно отводил взгляд, как Кальмар. Он был уже в годах, лет пятидесяти, а может быть, шестидесяти, с широкими плечами, мощным торсом и резкими чертами лица.

Кальмар успел заметить необычный, похожий на кириллицу шрифт газеты. Русский язык? Или сербский?

Внезапно голубая занавеска снова взметнулась вверх, впустив палящие солнечные лучи. Незнакомец поднялся и ловко, умелым движением закрепил ее.

— Вы француз? — спросил он, усаживаясь.

— Да.

— Парижанин?

— Да.

— Я уловил, что у вашей жены парижское произношение.

Кальмар не возражал против того, чтобы завязать разговор, но начать всегда трудно. Поезд остановился в Местре — первой станции после

Венеции, и в коридоре появились местные жители, разыскивавшие купе второго класса.

— Почему вы уехали один? Какие-нибудь дела?

— Мы все собирались уехать сегодня. Но, как назло, не было ни одного свободного места в скором, который уходит в десять тридцать две. Вот я и решил уехать один, чтобы не заставлять семью проводить ночь в поезде и пересаживаться в Лозанне. А они останутся еще на несколько дней. Детям этого очень хотелось.

Кальмару казалось, что попутчик пристально рассматривает его костюм из летней шелковистой ткани. Впервые в жизни на нем был такой светлый, кремового цвета костюм. Жена настояла, чтобы он купил его на той же узенькой улочке, где она купила себе блузку.

«Кроме тебя, Жюстен, почти никто не ходит здесь в темном».

Кальмар предпочел бы одеться в дорогу иначе. Ни в Венеции, ни в семейном пансионе на Лидо, где они жили, такой костюм не бросался в глаза, но сейчас он чувствовал себя так, словно вырядился на маскарад. Этот наряд не вязался с его внешностью, с его расползшейся фигурой.

— Хорошо провели отпуск? Дождей не было?

— В общем-то нет, только раза два или три была гроза.

— Вам нравится итальянская кухня?

— Дети обожают все, кроме моллюсков. Сын их в рот не берет.

— Ну, а раз вы отдыхали в частном пансионе, вам подавали их ежедневно.

Кальмар вздрогнул. Как этот незнакомец, видевший его всего несколько минут, догадался, что они жили в семейном пансионе, а не в одном из больших отелей на Лидо?

У него возникло смутное ощущение своей неполноценности, и он еще больше пожалел, что надел этот шелковистый костюм, итальянский покрой которого ему вовсе не шел.

Этот добродушный с виду человек, который сидел напротив, одновременно и раздражал, и интересовал его. Он, несомненно, успел уже заметить, что оба чемодана Кальмара, купленные специально для этой поездки, были отнюдь не первого сорта. Кальмару приходилось слышать, что в модных отелях портье судят о клиентах по их багажу, подобно тому как некоторые мужчины судят о женщинах не по их платьям и мехам, а по обуви.

— Вы занимаетесь коммерцией?

— Нет, я работаю в промышленности, на одном предприятии.

Ну, это уже слишком. Ведь этот человек не имеет никакого права расспрашивать его. Тогда зачем же он, Кальмар, так искренне, даже, можно сказать, подробно отвечает ему.

— Вы разрешите?

Кальмар снял пиджак, он был весь мокрый от пота, несмотря на ветер, поминутно вторгавшийся в купе и грозивший сорвать занавеску. Под мышками у него появились большие влажные полукружья, и он стыдился их, как физического недостатка. На работе Кальмар тоже стеснялся своей потливости, в особенности при машинистках.

— Ваша дочь станет настоящей красавицей.

А ведь незнакомец и видел-то ее всего лишь миг!

— Очень похожа на мать, но только живее...

И в самом деле, Доминике недоставало живости, остроты, того, что называют изюминкой. В тридцать два года она была стройна, миловидна, со светлыми голубыми глазами и грациозной походкой, но в ней всегда чувствовалась какая-то робость, как если бы она боялась привлечь к себе внимание, занять более видное место, чем положено.

— У вашей жены красивое контральто.

Жюстен принужденно улыбнулся. Как этот тип умудрился все заметить. Верно — голос Доминики, бархатистый и низкий, казался неожиданным для такого хрупкого существа и неизменно обращал на себя внимание.

Снова остановка — Падуя, и опять толчея на перроне, казалось, сотни людей брали штурмом поезд; целые семьи, множество детей, матери с младенцами на руках и даже толстая крестьянка с корзинкой, полной цыплят.

Пассажиры врывались через все двери, и видно было, как они, толкая друг друга, пробираются по коридорам в «голову» поезда, чтобы захватить свободные места.

— Вот увидите, через час по коридору нельзя будет пройти.

— Вам уже случалось ездить этим поездом?

— Не этим, но подобным. Порой просто диву даешься, куда эти итальянцы без конца разъезжают и почему в это надо вкладывать столько пыла? В иные дни кажется, что вся Италия стала на колеса в поисках места, где бы обосноваться.

Он говорил с каким-то акцентом, но Кальмар не мог понять с каким.

— Вы инженер?

Вопрос этот снова заставил Кальмара вздрогнуть. Но на этот раз, по крайней мере, его попутчик ошибся.

— Нет, я ничего общего не имею с техникой. Я работаю в отделе образцов, и мой титул, поскольку каждому из нас выдали титул,— коммерческий директор на заграницу.

— You speak English?*

Кальмар ответил по-английски:

— Я преподавал английский язык в лицее Карно.

— И по-немецки говорите?

— Да.

— А по-итальянски?

— Могу только прочесть меню в ресторане.

На крутом повороте голубая занавеска снова хлопнула и взвилась к потолку, но тут в купе вошел контролер и занялся ею. Провозившись несколько минут и водворив ее на место, он попросил предъявить билеты.

У Кальмара билет представлял собой простой кусочек картона, билет же незнакомца состоял из нескольких сколотых вместе розовых листков. Контролер вырвал один из них и положил к себе в сумку.

■

Если бы у Кальмара спросили о его впечатлениях от дороги, он не смог бы определить их и, наверно, лишь раздраженно ответил бы, что ему не терпится поскорее приехать домой.

Примерно то же он ответил бы на вопрос о проведенном отпуске.

Кальмар был по горло сыт солнцем, песчаным пляжем, заполненным купающимися, ревом катеров и глиссеров, площадью святого Марка с ее голубями, лавчонками, где все казалось таким дешевым и где люди покупали бесполезные вещи только потому, что они заграничные. Его изводило все: непрекращавшиеся ни днем ни ночью шум, пение и музыка, детский крик и шаги на лестнице. Ох, как надоело ему за каждым завтраком, обедом и ужином переводить Жозе и Бибу название блюд в меню и пререкаться с ними, какое кушанье им по средствам, не говоря уж о тайном унижении оттого, что комнаты сняты в семейном пансионе, даже без вида на море.

* Вы говорите по-английски? *(Англ.)*

И, однако, Кальмар знал, что пройдет какое-то время и дни, проведенные на Лидо, покажутся ему самыми яркими и приятными в жизни и он будет сокрушаться, что им не суждено повториться. Так бывало каждый отпуск. Минувший год всегда представлялся ему прекрасным, даже минувшие осень и зима, с их гриппами и детскими болезнями, которые в ту пору так тревожили его. Быть может, он не умел радоваться сегодняшнему дню, а может быть, это свойственно большинству людей? Кальмар сам не мог в этом разобраться, но не решался спросить кого-нибудь, тем более своих коллег по службе, которые несомненно высмеяли бы его.

Вот и сейчас ему было как-то не по себе, и он уже считал часы, остававшиеся до Лозанны, а потом до Парижа. По мере того как шло время, жара становилась все мучительнее. На минуту Кальмар открыл дверь в коридор, но там все окна были опущены и гулял невыносимый сквозняк. В купе снова взвилась оконная занавеска; на этот раз вставленный в нее прут прогнулся и ее не удалось опустить до конца, так что целый сноп солнечных лучей, врываясь в окно, обжигал лицо Кальмара.

Конечно, можно было перейти в другое купе. В вагоне оставалось еще четыре свободных места помимо тех, над которыми висели таблички «занято». Очевидно, пассажиры займут их на ближайших остановках.

Станции следовали друг за другом через каждые двадцать минут: Лонизо, Сан Бонифацио, Верона... Повсюду та же сутолока, повсюду вагоны брались приступом и люди, как обезумевшие, неслись по коридору. Однако вскоре передвижение прекратилось, так как пассажиры второго класса плотно забили проходы. Чемоданы, стянутые ремнями или перевязанные веревками, корзины, картонки, бесформенные тюки занимали места не меньше, чем люди. Все это громоздилось чуть не до потолка, а на полу сидели ребятишки. Чтобы попасть в туалет, приходилось перешагивать через них и протискиваться между родителями. Еще несколько станций — и добраться до туалета стало невозможно.

Однако никто не пытался завладеть четырьмя свободными местами — мягкими и удобными. Женщины стоя давали младенцам соску или кормили их грудью, поезд трясло, а им даже и в голову не приходило, что они могут сесть. В их глазах не отражалось ни зависти, ни грусти, ни обиды.

— Субботу и воскресенье вы проводите за городом?

— Да, неподалеку от Пуасси. Вы там бывали?

— Кажется, это между Парижем и Мант-ла-Жоли. Верно?

По существу, незнакомец даже не расспрашивал Кальмара, а скорее Кальмар подтверждал его вопросы. Создавалось впечатление, будто ему заранее известно, что тот скажет, и он задает вопросы только для того, чтобы удостовериться в правильности своих предположений.

— У вас машина?

— Да, малолитражка. В Париже она мне необходима, особенно для поездок из конторы на фабрику.

— И вы предпочли ехать поездом? Понятно, шоссе так забиты. Особенно трудно, когда ездишь с детьми.

А ведь Кальмар чуть было не поехал в Венецию на машине. Особенно Жозе хотела этого, хотя уже после двадцати километров принималась считать, долго ли еще им ехать.

Он чуть было не согласился. Но Доминика заявила:

«В таком случае мы уже ничего не сможем взять. Каждому придется оставить половину того, что нужно».

— У вас свой загородный дом?

На лице попутчика не было и признаков пота, и он в платке не нуждался. Когда поезд останавливался неподалеку от тележки с напитками и съестным — а, как правило, она оказывалась на другом конце

платформы,— неизвестный покупал небольшую бутылку содовой «Кампари», и под конец Кальмар решил последовать его примеру.

— В нашем поезде тоже есть разносчик, но до нас он доберется не раньше Милана.

В душе Кальмар сердился на свою податливость. Он подробно отвечал на все вопросы незнакомца, а сам спрашивать ни о чем не осмеливался. Хотя ему любопытно было узнать кое-что.

Например, он заметил, что в сетке над сиденьем его спутника не было никаких вещей. Значит, он сдал свои чемоданы в багаж или, быть может, путешествовал налегке?

Вагон шел из Белграда, через Триест. Под скамьей валялась газета какой-то славянской страны. Почему бы Кальмару не спросить запросто:

«Вы едете из Белграда?»

Или же:

«Вы из Югославии?»

Маловероятно. У этого человека совершенно не славянский тип, и он одинаково бегло говорил по-французски, по-немецки и по-английски, а с контролером изъяснялся на правильном итальянском языке.

На нем был неважно сшитый, весьма заурядный, темный шерстяной костюм и самый простой галстук, который он и не думал развязать, чтобы расстегнуть ворот рубашки.

Почему же Кальмар робел перед ним, как мальчишка? И почему, когда молчание затягивалось, считал своим долгом возобновить разговор, хотя незнакомец ничуть не тяготился длительными паузами и даже не притворялся, что дремлет.

— Моему тестю пришло в голову открыть своеобразный ресторан-ферму при выезде из Пуасси, на холме над Сеной. Это совсем крошечная ферма. И животные там скорее для декорации: две коровы, старая лошадь, коза, три овцы, несколько гусей, уток и кур. Клиенты едят в большой общей комнате с деревянными балками. Им это страшно нравится.

— Вы ездите туда каждое воскресенье?

— Обычно да. Жена очень привязана к родителям, дети обожают животных, и дочка после обеда часами катается верхом.

Кальмар был почти уверен, что за этим последует вопрос: «А что делаете вы?» Он почти всегда целый день валялся одетый в любой свободной комнате.

Еще маленькая станция — Сомма Кампанья. Ее проскочили не останавливаясь. Потом миновали Кастельново ди Верона, Пескьера дель Гарда, Десендзано, Лонато...

— Я не смогу задержаться в Лозанне, как собирался, мне надо поспеть к женевскому самолету, а этот поезд приходит тютелька в тютельку...

Ага! В первый раз неизвестный заговорил о себе. Но все же он не объяснил, почему выбрал такой неудобный поезд, который останавливался на всех остановках, и почему путешествовал без багажа. И вообще непонятно, почему он едет из Белграда или Триеста поездом — ведь оттуда до Женевы столько прямых самолетов.

— Вы работаете на крупном предприятии?

Его спутник снова начал расспрашивать.

— Да, как теперь говорят, на перспективном. Оно возникло из скобяной лавки в Нейи, потом переросло в мастерскую в Нантере, а сейчас у нас фабрика между Дрё и Шартром, и вторая строится в Финистере.

Брешиа. Много пассажиров вышло, вдвое больше вошло. Давка в коридорах увеличилась. Когда приехали в Милан, рубашка у Кальмара была мокрой, хоть выжимай.

— Наверно, я успею...— начал он.

— Не советую выходить из вагона — его сейчас отцепят и присоединят к другому составу.

В самом деле, едва Кальмар успел купить через окно сандвич и бутылку пива, как крохотный паровозик вывез их вагон с вокзала и оставил на самом солнцепеке, среди расходившихся во все стороны железнодорожных путей.

— Нас скоро снова подвезут к вокзалу.

— Вам приходилось бывать тут?

— Да. Я знаю почти все маршруты на этой линии. В Милане сядут наши попутчики.— Он показал на таблички над свободными местами.— Двое едут в Лозанну, третий — в Геную, четвертый — до Сиона.

Он ни разу не поднялся с места, ни разу не вышел в туалет. Помимо них в вагоне теперь почти никого не было. Остались лишь две американки в соседнем купе, да в последнем купе спал какой-то толстяк. В коридоре уже никто не стоял. Встревоженные американки решили, видимо, что про них забыли, и с несчастным видом поглядывали на железнодорожные пути и далекий вокзал. Жара усилилась.

— Из Лозанны вы, наверно, поедете парижским поездом, который уходит в двадцать тридцать семь?

Опять он угадал совершенно точно. Прямо не человек, а всеведущий господь бог.

— Мы прибываем в Лозанну в семнадцать ноль пять. Смею ли я просить вас об одном одолжении? Если только у вас найдется время.

— Я совершенно свободен и просто не знаю, на что употребить эти два часа.

— Вы знакомы с городом?

— Нет.

— И не собираетесь его осматривать?

— Что вы, в такую жару!

— На первой платформе, возле камеры хранения, находится несколько багажных автоматов.

Неизвестный вытащил из кармана ключ.

— Этот ключ от автомата номер сто пятьдесят. В нем небольшой, совсем легкий чемоданчик... Право, я боюсь злоупотребить вашей любезностью...

— Сделайте одолжение.

— Я попросил бы вас вынуть оттуда чемоданчик. Для этого надо опустить в отверстие автомата что-то около полутора швейцарских франков. Вот немного мелочи.

Кальмар сделал протестующий жест.

— Обождите! Вообще-то говоря, если поезд простоит подольше, я смогу это сделать и сам. Но вся беда в том, что чемоданчик нужно отнести по адресу.

Он достал красную записную книжку, написал адрес, вырвал листок и протянул вместе с ключом Кальмару.

— Это в пяти минутах езды от вокзала на такси. Разрешите вручить вам швейцарские деньги и на такси.

Толчок — вагон прицепили к поезду и отвезли на другой вокзал. На платформе ожидала толпа пассажиров.

— Заранее благодарю вас.

Прошел официант из вагона-ресторана, раздавая талоны на обед. Незнакомец взял талон первой смены. Кальмар не решился пойти обедать. Сандвич и пиво давили ему на желудок. К тому же он казался себе таким неопрятным в мокрой от пота рубашке, что решил обойтись бутылочкой содовой «Кампари», купленной с лотка.

Пассажирами до Женевы оказались англичане, с трудом разместившие в сетке спортивные сумки с принадлежностями для игры в гольф.

Дама ехала до Брига и господин, читавший «Трибюн де Лозанн»,— очевидно, тоже.

Около часа Кальмар пробыл в купе один: едва раздался звоночек официанта, как все пассажиры отправились в вагон-ресторан.

Поезд шел вдоль берега озера Маджиоре. На маленьких станциях возобновилась давка, и люди снова забили проходы. Сквозь дремоту Кальмар едва расслышал, как кто-то на перроне крикнул:

— Арона!.. Арона!..

Открыв глаза в Стрезе, Кальмар увидел красные крыши и пальмы. Новые станции: Бавено, Вербания Палланца.

В Домодоссоле коридоры наконец опустели. К вагонам устремились носильщики с тележками.

— Ваши паспорта!

Полицейский быстро взглянул на паспорт Кальмара, так же как на паспорта двух англичан и дамы, но долго рассматривал документ незнакомца. Впрочем, во взгляде, которым он его окинул, после того как внимательно изучил фотографию, не было подозрения. Однако прежде чем поставить печать, полицейский перелистал все страницы паспорта и только потом, не без почтения, протянул его владельцу и приложил руку к козырьку.

Кальмар проспал около часа, пока солнце не подобралось к его лицу. Настроение у него было по-прежнему мрачное, его раздражал горький привкус во рту, и поэтому он снова приложился к розовому лимонаду, который утром впервые попробовал.

— Таможенный осмотр. Что везете?

На перроне выстроились карабинеры.

— Что в этом чемодане?

— Одежда и белье.

Казалось, уже все в порядке, однако их продержали еще четверть часа, и только потом поезд медленно тронулся к Симплонскому туннелю, темный вход в который уже можно было увидеть, если высунуть голову. Как раз в этот момент Кальмар стоял у окна. Зажглись лампы, он скорее почувствовал, чем увидел, как его спутник поднялся с места и вышел в коридор. Когда поезд въехал в туннель, Кальмар снова сел напротив опустевшего места, закрыл окно и стал ждать.

Он не любил туннелей. Когда они ехали в Венецию, этот туннель представлялся Кальмару бесконечным, а дети — те были в восторге. Прошло добрых десять минут, однако человек, сидевший напротив него с восьми часов утра, не возвращался.

Что заставило Кальмара в свою очередь подняться и выйти в туалет? Он ожидал увидеть на эмалированной табличке слово «занято», но прочел «свободно» и машинально зашел вымыть руки.

Того человека в купе по-прежнему не было. Не появился он и тогда, когда поезд, вынырнув из мрака на свет, остановился в Бриге и в вагон снова вошли полицейские и таможенники.

— Предъявите паспорта! Что везете?

— Одежду, белье. Я проездом, в Париж.

Полицейский посмотрел на пустое место.

— Здесь не занято?

— Нет, был пассажир. Он вышел из купе, когда начался туннель.

— А где его вещи?

— Вещей у него не было, разве что...

— Что?

— Может быть, он сдал их в багаж?

Полицейский что-то записал себе в книжку.

— Благодарю вас!

Вот и все. Дама вышла. Пассажиры покупали шоколад.

Опустевший поезд снова тронулся в путь. Он шел мимо опаловых вод Роны, казавшихся удивительно прохладными.

Еще две станции — без толчеи, без толпы, без шумных прощаний. Остановка в Сионе, за ней в Монтре, на берегу Лемана.

Незнакомец не появился и по прибытии в Лозанну. Напрасно Кальмар прошел весь состав из одного конца в другой.

Глава вторая

До сих пор Кальмару, одуревшему от солнца, духоты и бесконечного хлопанья занавески, казалось, что этот день похож на любой другой, проведенный в дороге.

Тогда его внимание ничто особенно не привлекло, и только значительно позднее, разбираясь в ворохе впечатлений, бессвязных мыслей и образов, Кальмар выделил несколько вполне определенных фактов.

Однако после Лозанны он стал воспринимать все иначе и все, что происходило как в нем самом, так и вне его, запечатлелось в мозгу словно на фотографии. Он точно раздвоился и трезвым взглядом наблюдал со стороны, как некий Жюстен Кальмар, чуть располневший, коротконогий мужчина, с черными, слипшимися от пота волосами остановился в нерешительности с двумя чемоданами на платформе № 5.

С этой минуты он стал перед выбором, перед необходимостью принять ряд решений, которые ему предстояло тщательно взвесить, чтобы поступить как надлежит порядочному человеку, ибо Кальмар всю жизнь поступал как порядочный человек, чем даже немного гордился.

В Венеции в предотъездной суматохе, от которой в памяти его сохранился лишь образ дочери в красном купальном костюме со стаканчиком мороженого в руке, он смутно почувствовал, что сидевший рядом с ним человек пристально осматривает его с ног до головы. Кальмар еще заметил тогда, что неизвестный читал газету на каком-то славянском языке.

Исподволь, самыми безобидными вопросами этот человек выудил у него подробные сведения о его жизни, родственниках, работе, которые Кальмар давал ему с такой поразительной готовностью, что даже сам немного растерялся.

Почему незнакомец произвел на него впечатление человека необычного? В его внешности не было ничего примечательного, если не считать его удивительного спокойствия да глаз, которые будто ничего не замечали, а на самом деле видели все.

Кальмар тогда еще подумал: «Этому палец в рот не клади!»

Так же думал он и о своем патроне, бывшем владельце скобяной лавки на авеню Нейи, который стал крупным промышленником. А Кальмар, хотя и не считал себя слабохарактерным, невольно завидовал людям сильным, тем, кто ни в ком не нуждается, не следует общепринятым правилам, не улыбается с готовностью, когда с ним заговаривают, и при любых обстоятельствах остается самим собой, не беспокоясь о том, что думают на этот счет окружающие.

Разве, к примеру, его патрон испытывал потребность считать себя порядочным человеком? Разве его попутчик старался произвести впечатление порядочного человека?

Главное, что волновало Кальмара в связи с этим типом: следует ли сообщить кому-либо о его исчезновении — начальнику вокзала или полицейскому комиссару?

Но ведь Кальмар уже сказал о нем, правда, вскользь, полицейскому,

проверявшему паспорта в Бриге. Не исключено, что незнакомец, переместившись в какое-нибудь дальнее купе, сошел именно в Бриге и, смешавшись с толпой, вышел из вокзала.

В любом случае — зачем Кальмару вмешиваться в это дело? Да, но ведь незнакомец возложил на него миссию. Но к чему такие громкие слова — простое поручение, которое мог выполнить кто угодно вместо него. У Кальмара в кармане лежал ключ от ящика-автомата, где хранится чемоданчик, несколько мелких монет и десять швейцарских франков на такси.

Наконец, он спустился в туннель, где, как и в Бриге, продавали шоколад, потом поднялся на первую платформу. У него было много времени. Сначала он направился в камеру хранения, чтобы сдать свои чемоданы, где ему пришлось простоять несколько минут в очереди.

Автоматы для хранения багажа находились напротив. На каждом был номер. Когда Кальмар отыскал 155-й, выяснилось, что за хранение причитается всего полтора франка.

Кальмар еще ничего не знал и ни о чем не догадывался. Тем не менее в его поведении и в том, как он озирался по сторонам, уже чувствовался какой-то страх, словно он совершал поступок, не то что предосудительный, но в какой-то мере сомнительный. А ведь это вовсе не он оставил на хранение чемоданчик.

Прочитав правила, Кальмар узнал, что за сутки хранения взимается тридцать сантимов. Следовательно, чемоданчик был оставлен здесь пять дней тому назад.

При каких обстоятельствах и каким путем ключ попал к неизвестному, который еще накануне вечером находился в Триесте или в Белграде?

Кальмару казалось, что, вставляя ключ в замочную скважину, он становится как бы сообщником незнакомца. Но сообщником в чем?

Он опустил в щель автомата франк, затем пятьдесят сантимов, повернул ключ и, убедившись, что никто не обращает на него внимания, вынул коричневатый небольшой чемоданчик, скорее даже не чемоданчик, а портфель, размером примерно сорок на двадцать пять—тридцать сантиметров, толщиной сантиметров пятнадцать.

Несколько минут спустя Кальмар вышел из вокзала и сел в первое подвернувшееся такси. Мимо шагали, словно сошедшие с цветных открыток, рослые парни в шортах, грубых башмаках, подбитых гвоздями, и в маленьких зеленых шапочках. У всех за спиной висели зеленоватые рюкзаки. Острый запах мужского пота ударил Кальмару в нос, будто мимо прошла рота солдат, возвращавшихся с маневров.

Он достал из бумажника листок, который вручил ему попутчик и на который он еще не удосужился взглянуть.

«Арлетта Штауб, улица Бюньон, 24».

— Улица Бюньон, двадцать четыре, пожалуйста. Мне говорили, что это минут пять езды.

— Даже меньше, но не в воскресенье!

Кальмар совсем забыл, что это воскресный день, и лишь сейчас увидел, что все дороги в городе забиты машинами, а панели безлюдны.

Такси двинулось в гору, покружило, снова двинулось в гору — казалось, вся Лозанна построена на крутых склонах. Кальмар увидел большие здания — кантональная больница. У всех окон, на всех балконах стояли больные и медицинские сестры.

Он и не заметил, как такси замедлило ход.

— Приехали.

Напротив больницы — дома современного типа, все квартиры с балконами. Такси стало перед баром — несколько круглых столиков под светло-зеленым тентом.

— Подождите меня, я на несколько минут.

Шофер промолчал.

Кальмаром владело какое-то странное чувство виновности. Но разве было что-нибудь дурное, запретное в том, что он привез чемоданчик по адресу, нацарапанному незнакомцем на листке записной книжки?

Почему же ему хотелось остаться незамеченным и почему он подумал, не привлек ли внимание людей, сидевших в баре, его кремовый итальянского покроя костюм?

Кальмар ожидал, что здесь, как и в Париже, вход оберегает привратник. Но вместо привратницкой увидел почтовые ящики, украшенные визитными карточками владельцев или написанными от руки фамилиями. Ящики висели друг над другом в четыре ряда. Очевидно, по количеству этажей. Имя Арлетты Штауб значилось под номером 37 в третьем ряду.

Кальмар вошел в лифт, доставивший его на площадку перед довольно длинным коридором. На всех дверях были визитные карточки или надписи. И в каждой двери — круглый, величиной с пуговицу, стеклянный глазок, позволявший хозяину, не открывая двери, увидеть посетителя. Номер 37 — последняя дверь в конце коридора. Кальмар позвонил и вдруг весь покрылся потом, словно в самое жаркое время лета. Его охватила беспричинная паника, и захотелось как можно скорее покончить со всем этим.

Может быть, вот сейчас кто-то разглядывает его в стеклянный глазок, вмонтированный в дверь из красного или палисандрового дерева?

Теряя терпение, Кальмар снова позвонил и прислушался. Никто не спешил открыть ему, за дверью царила тишина. Он машинально нажал на ручку.

Дверь подалась без всякого усилия с его стороны. Он шагнул в переднюю.

— Есть тут кто-нибудь? Мадемуазель Штауб дома?

Прямо против входа висел бежевый плащ, налево открытая дверь вела в залитую солнцем гостиную. Дверь на балкон была тоже широко открыта, и ветер вздувал занавеску — совсем как в поезде из Венеции.

— Алло! Есть кто дома?

Он глупо повторил:

— Никого нет?

Ему захотелось поставить чемоданчик на пол, выйти из квартиры, захлопнуть дверь и уехать на вокзал. Он так и собирался поступить, как вдруг возле светло-голубого дивана заметил туфли, две ноги, розовую комбинацию и, наконец, затылок с рыжеватыми локонами. На голубом, более темном, чем диван, ковре, вытянувшись во всю длину, лежала женщина. Одна рука у нее была вытянута вперед, другая, словно вывихнутая, подвернута под туловище.

Кальмар не видел лица женщины, потому что она лежала ничком. Крови он тоже не увидел. Тогда он быстро склонился над женщиной и дотронулся до ее руки.

— Мадемуазель Штауб!

Но мадемуазель Штауб была явно мертва.

Не размышляя, не колеблясь, Кальмар попятился, выскочил из квартиры, захлопнул дверь и, не вызывая лифта, помчался по лестнице. Только внизу он обнаружил, что все еще держит в руке чемоданчик.

У него мелькнула мысль вернуться, но шофер уже заметил его и, высунув руку из машины, открыл дверцу. Какое счастье! Иначе Кальмар мог бы зайти в кафе и заказать что-нибудь спиртное, чтобы прийти в себя.

— На вокзал?

— Да, на вокзал.

Куда угодно, лишь бы убраться отсюда.

Пока машина разворачивалась, Кальмар заметил на одном из балконов облокотившуюся на перила парочку, на другом — ребенка в красном, как и у его дочки, купальном костюме, присевшего на корточки возле ярко раскрашенной игрушечной тележки, а на пятом этаже он даже разглядел женщину, принимавшую солнечную ванну,— она тоже лежала на животе, как и та...

Ну, а как он должен был поступить? Кальмар вспомнил, что в гостиной мадемуазель Штауб стоял телефон. Разве он не обязан был сразу позвонить в полицию? Но ему это и в голову не пришло. Его единственной мыслью было скорее бежать подальше от трупа, и только сейчас он понял, в какое сложное положение попал.

Что бы Кальмар ответил полицейским, если бы те застали его в чужой квартире у трупа незнакомой женщины, в городе, куда он приехал впервые в жизни?

«— Мне поручили передать ей этот чемоданчик...

— Кто?

— Не знаю. Какой-то пожилой человек. Он ехал со мной в одном купе из Венеции.

— Его фамилия? Адрес?

— Не знаю.

— Почему он поручил это вам?

— Потому что он ехал в Женеву, а здесь поезд стоит всего три-четыре минуты.

— Есть ведь и другие поезда.

— Ему надо было попасть на самолет в Куантрене.

— Какой рейс?

— Он мне не сказал.

— Но он доверил вам этот портфель и сообщил, что намерен лететь самолетом?

— Да.

— Значит, сейчас он находится на пути в Женеву?

— Не думаю.

— Почему?

— Потому что после Симплонского туннеля я его больше не видел.

— Вы полагаете, что он сошел с поезда посреди туннеля?

— Не знаю.

— Но, несмотря на это, вы принесли сюда чемоданчик? Где же он вам его вручил?

— Он дал мне не чемоданчик, а ключ от автомата номер сто пятьдесят пять в багажном отделении. Я запомнил номер. И еще он дал мне разменную монету и десять швейцарских франков на такси».

Все это звучало бы крайне неубедительно. Кальмар представил себе сцену с полицейскими, затем то же самое у полицейского комиссара и в кабинете следователя.

Но ведь он не сделал ничего дурного! По существу, у него даже не было желания оказывать услугу незнакомцу. Тот, можно сказать, принудил его, и этот чемоданчик попал к нему в силу случайного стечения обстоятельств. И не по доброй воле он вошел в дверь Арлетты Штауб, имя которой было ему неизвестно еще несколько минут назад, хотя листок с ее адресом и лежал у него в бумажнике.

Она в самом деле была мертва, рука ее уже окоченела. Кальмар понятия не имел, отчего она умерла, он только знал, что на ней были туфли на высоких каблуках, туго натянутые чулки, бледно-розовая шелковая комбинация и что смерть, по-видимому, наступила в ту минуту, когда женщина одевалась — ей оставалось лишь накинуть лежавшее на диване платье и взять сумочку.

Гостиная была обставлена кокетливо, дорого. Вероятно, в квартире имелась и ванная, и кухня, а может, и еще одна комната... Если только диван не превращали на ночь в кровать. Но Кальмар ничего не видел, кроме гостиной, и мог лишь предполагать.

Однако нельзя же было бы на все вопросы отвечать, что он ничего не знает.

— Четыре франка семьдесят.

Кальмар протянул шоферу купюру в десять швейцарских франков и заколебался, не оставить ли портфель в машине. Но это было рискованно. Кто-нибудь мог обнаружить портфель до отъезда Кальмара в Париж. А найти его по такой примете, как кремовый, помятый после долгой езды в поезде костюм, не представляло труда.

Всего половина седьмого. Там, на Лидо, Доминика и дети уже ушли с пляжа — по вечерам обычно становилось свежо — и, нагруженные купальными халатами, ведерками, лопатками, надутым мячом и большой полотняной сумкой, приближались к пансиону.

— Мамочка, можно нам принять душ завтра? Ты же видишь, мы совсем не грязные.

— Каждый вечер — одна и та же песня! Вы оба в песке с головы до ног.

— Песок ведь не грязь, морская вода все очищает.

— Не спорьте, дети, из-за вас у меня опять разболится голова.

Обычно Доминика взывала к нему:

— Жюстен, уговори их... Хоть бы раз Жозе послушалась меня без пререканий!

На вокзале Кальмар спустился в туалет, намереваясь оставить чемоданчик, но сообразил, что это не пройдет незамеченным. Удрученный, он вновь поднялся на перрон. Ему хотелось сесть на ступеньки лестницы и, подперев голову руками, ждать развития событий.

До поезда оставалось еще два часа — как ему представлялось, два самых опасных часа.

Почему-то Кальмар считал, что в поезде он почувствует себя спокойней, особенно после переезда границы.

Он вошел в привокзальный ресторан. Бара со стойкой там не было, и ему пришлось сесть за столик, чтобы заказать виски. С ним это случалось редко, он почти никогда не пил, разве что немного виноградного вина за едой. Даже содовую «Кампари» он попробовал только благодаря своему попутчику, и она так ему понравилась, что он выпил потом бутылочек пять или шесть в течение дня.

«Я порядочный человек!» Он всегда был порядочным человеком. Всегда старался поступать как положено. Он часто жертвовал собой для других, как, например, только что — провел отпуск на пляже, который возненавидел с первого дня.

Номера в пансионе были тесные, без удобств, иногда приходилось по полчаса ждать, когда освободится душевая в конце коридора. Дети требовали, чтобы не закрывали дверь в их комнату, так что за целые две недели им с женой удалось урвать лишь несколько минут близости, да и то Доминика непрестанно шептала: «Тише!» или «Подожди!»

Так неужели он заслужил такую кару — за что должен он терзаться раскаянием, как преступник, да и вести себя, как преступник?

Почему его спутник, имени которого он так и не узнал, исчез на перегоне между Домодоссолой и Бригом, где-то в нескончаемом Симплонском туннеле? Судя по его настроению во время поездки, он совсем не походил на человека, собиравшегося покончить с собой. И тем не менее под предлогом, что он торопится на самолет (теперь Кальмар все больше убеждался, что это был только предлог), он дал Кальмару, которого видел впервые, судя по всему, важное поручение.

Что там такое в этом чемоданчике, который стоял сейчас на стуле рядом с ним?

Но если неизвестный не покончил с собой, то почему и каким образом он исчез? Может, кто-то столкнул его с поезда, когда он входил или выходил из уборной?

Такое предположение казалось более правдоподобным — что-то не верилось, чтобы незнакомец скрылся на вокзале в Бриге, смешавшись с толпой. Бриг — пограничная станция, и там проверяют паспорта всех пассажиров как в поезде, так и при выходе в город.

— Мадемуазель!

Он щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание официантки.

— То же самое, пожалуйста!

— Еще раз виски?

А если во французской таможне его попросят — что весьма вероятно — открыть чемоданчик, от которого у него нет ключа?

«Простите, господа... Я потерял ключ в дороге».

Чемоданчик был внушительный, из настоящей кожи, а не из какого-нибудь заменителя. В чем, в чем, а в этом Кальмар разбирался, так как почти десять лет имел дело с синтетикой.

Заметно было, правда, что чемоданчик изрядно поношен. Должно быть, его немало таскали по залам ожидания вокзалов, аэропортов, по разным учреждениям. Но замки превосходного качества, это не дешевые замки, которые легко открыть перочинным ножом.

«Господи, пронеси...»

Он не верил в бога, точнее, давно перестал верить, но, видимо, в глубине души сохранил искорку веры, вспыхнувшую в трудных обстоятельствах. Два года назад, когда Жозе должны были срочно оперировать по поводу острого аппендицита, он тоже шептал: «Господи, пронеси...»

Он даже дал какой-то обет, но, конечно, не помнил какой, поскольку не выполнил его. Что подумают дочь и жена, если узнают, что он задержан в Лозанне по подозрению в убийстве молодой женщины у нее на квартире? А господин Мандлен? А его друг чертежник Боб и все сослуживцы?

— Я вот думаю, мадемуазель, не перекусить ли мне перед дорогой? В парижском поезде есть вагон-ресторан?

— В поезде двадцать тридцать семь? Боюсь, что нет. Могу вам предложить филе из окуня, цыпленка в сметане, пирог со сморчками.

Кальмар не был голоден, но заказал пирог со сморчками, потому что ему понравилось название и потому что в доме редко ели сморчки.

— Какое вино? Местное или «Божоле»?

— «Божоле».

Ему было безразлично, все безразлично — мысли его были поглощены этим чемоданчиком, который словно прилип к нему, да кремовым костюмом, что был на нем. Как назло, Кальмар надел его сегодня по настоянию жены, и костюм этот привлекал к нему такое же внимание, как если бы он шел с флагом.

«Господи, пронеси...»

■

В купе оказалось пять человек, в том числе один священник. Кальмару пришлось сидеть между дамой лет шестидесяти, которая все время отодвигалась от него, словно ее шокировало его прикосновение, и стариком с розеткой Почетного легиона, читавшим «Фигаро». После переезда границы старик уснул безмятежным сном, как в собственной постели.

У священника, сидевшего напротив, были черные башмаки с широкими серебряными пряжками. Муж пожилой дамы — щуплый, нервный

человечек, раз десять выходил в туалет и всякий раз извинялся, протискиваясь между коленями пассажиров.

— Ты принял таблетки?

— Да. Еще в Лозанне, сразу после обеда.

— Две?

— Ну да.

— И все равно плохо с желудком?

Муж смущенно поглядывал на присутствующих, надеясь, что они не слышат слов его супруги.

— Не надо было есть телячий язык. Ты же знаешь, что тебе это вредно.

В другом углу купе молодая девушка, высокая и стройная, сидела, простодушно обнажив ноги выше колен. У нее были рыжеватые волосы, как у Арлетты Штауб, и всякий раз, когда Кальмар невольно замечал полоску тела над чулком, ему вспоминалось тело, распростертое на голубом ковре на улице Бюньон.

Но самое любопытное: если бы Кальмар встретил Арлетту где-нибудь, например в этом поезде, он бы ее не узнал; тем не менее ему необходимо быть в курсе всего, что с ней связано. О ее смерти французские газеты едва ли сообщат, если только это не сенсационное убийство. Здешняя же газета, кажется, называется «Газетт де Лозанн». Кальмар вспомнил, как кто-то говорил ему, что в киоске на площади Оперы, напротив «Кафе де ла Пэ», продаются газеты всех стран, и решил завтра же купить там швейцарскую газету.

Будет ли там сообщение о случившемся? Интересно, сейчас уже обнаружили труп? Если молодая женщина жила одна, если у нее не было прислуги, то может пройти несколько дней, прежде чем ее хватятся,— особенно теперь, в период отпусков.

Кальмару не следовало пить виски и есть сморчки. Он чувствовал себя не лучше мужа своей соседки и, если бы у него хватило духу, вышел бы в туалет и попытался вызвать рвоту. По мере приближения к границе недомогание его возрастало. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким, а это чувство Кальмар терпеть не мог.

Однако если бы он ехал в купе один, то, наверно, страдал бы меньше, но их было шестеро, и они разглядывали друг друга, не вступая друг с другом в контакт. Кальмару казалось, что во всех этих взглядах, обращенных не только на него, но и на остальных пассажиров, сквозило подозрение или осуждение.

Даже у соседки слева и у ее мужа. Женщина злилась, что муж съел что-то такое, чего не следовало, и что он беспокоил всех в купе каждый раз, когда выходил в коридор. А тот сердился на жену за ее бестактность и попреки.

Кальмар всегда чувствовал себя неловко в толпе, и покупка машины явилась для него большим облегчением — не потому, что отныне он мог поехать куда и когда заблагорассудится, а потому, что он перестал быть объектом взглядов, которыми люди окидывают попутчиков в метро или в автобусе.

Конечно, он никогда не признался бы Доминике, что женился на ней прежде всего для того, чтобы не быть одиноким. Конечно, он любил ее. Она понравилась ему в первый же день знакомства. Но не встреть Кальмар Доминику, он женился бы на другой.

И сейчас — подобно тому как его соседка сердилась на мужа — он сердился на Доминику за то, что она заставила его жить среди этой толпы на Лидо, в семейном пансионе, все обитатели которого сталкивались в столовой и разглядывали друг друга, как в вагоне-ресторане. Более того: он бессознательно злился на Доминику за то, что она тоже иногда смотрела на него так, будто думала:

«Что же это, в сущности, за человек? Он мой муж. Я живу с ним тринадцать лет. Мы спим в одной постели, наши тела сроднились. Но когда он, возвращаясь с работы, целует меня, о чем он думает? Что он делал целый день? Что случится, если я умру? Как он в действительности относится к детям?»

Поезд прибыл в Валлорб, и снова — привычные слова и жесты таможенников и полицейских.

— Приготовьте, пожалуйста, паспорта...

Кальмар, словно преступник, ожидал, что сейчас его паспорт начнут рассматривать, но ему вернули документ после одного беглого взгляда.

— Господа пассажиры везут что-нибудь недозволенное?

Даже у священника изменился взгляд и, как у всех остальных, на лице появилось деланно-невинное выражение.

— Ничего недозволенного у меня нет.

— Что в этом чемодане?

— Белье, несколько предметов благочестия, которые я везу из Рима для прихожан.

— Золота, драгоценностей, часов нет? Шоколада, сигар, сигарет?

Мужа соседки Кальмара попросили открыть чемодан. Ему пришлось стать на скамью, чтобы снять его. Таможенник пошарил рукой под одеждой и бельем.

— Что у вас в чемоданчике?

— Деловые бумаги...— отчетливо произнес Кальмар с непринужденностью, поразившей его самого.

— А это ваш чемодан?

— Да.

— Откройте его!

Уф! В чемодане не было ничего запретного. Таможенник отпустил Кальмара с миром и перешел в соседнее купе, не оштрафовав никого из его попутчиков.

Но в других купе, очевидно, совесть не у всех оказалась чиста: какую-то чету, нагруженную чемоданами, отвели в таможню, и по походке женщины на высоких каблуках видно было, как она волнуется.

Поезд отправился дальше. В его составе были комфортабельные спальные вагоны и вагоны с мягкими сидячими местами, куда Кальмар не позаботился заранее взять билет, и наконец жесткие вагоны, подобные тому, в котором он сейчас ехал и где, как только зажгли ночник, все пассажиры постарались заснуть. Похрапывал — да и то слегка — один лишь старик, а молодая девушка, что сидела напротив, скорчилась в своем углу, еще больше обнажив ноги.

Кальмар покачивался в такт движения поезда и старался ни о чем не думать. Но едва он начинал засыпать, как вспоминалась какая-нибудь подробность пережитого дня. И мозг снова начинал лихорадочно работать.

Почему еще в Венеции неизвестный выбрал именно его?

Что за чушь! Вовсе он не выбирал его — просто никого другого в купе не было. Тем не менее неизвестный устроил Кальмару нечто вроде экзамена. Все его вопросы преследовали определенную цель. Он хотел выяснить, с каким человеком имеет дело. И, несомненно, тотчас же определил — перед ним человек порядочный, вернее, порядочный болван, которому можно дать такое поручение. Иначе незнакомец пересел бы в другое купе и обратился бы с просьбой к кому-то другому.

Что же касается его исчезновения, Кальмар сначала решил, что его похитили,— но разве возможно похитить человека из поезда, да еще в Симплонском туннеле?

Итак, это было преднамеренное исчезновение или самоубийство. В обоих случаях незнакомец поступил нечестно по отношению к Кальмару.

Правда, он не знал о смерти Арлетты Штауб, иначе он не старался бы так доставить ей чемоданчик, в котором она больше не нуждалась.

Но имел ли Кальмар право так строго осуждать своего спутника? Ведь если бы не смерть молодой женщины, роль его, Кальмара, свелась бы к простой и безопасной роли посыльного.

И все же, как объяснить то, что чемоданчик был положен в хранилище всего пять дней назад? Ведь незнакомец ехал не из Венеции, а из Триеста или Белграда, а может быть, даже из более отдаленных мест. Каким же образом ключ оказался у него?

Переслали ли ему этот ключ бандеролью? Или же он сам оставил чемоданчик на хранение до своей поездки?

Но почему? Для чего? Почему этот человек поступал так, а не иначе и при чем здесь он, Кальмар?

Наконец Кальмар задремал — он слышал сквозь сон крики: «Дижон», хлопанье дверей, распоряжения железнодорожников. А когда проснулся, было уже светло. Священник пристально смотрел на него, и, когда их взгляды встретились, смущенно отвел глаза, словно воспользовавшись сном незнакомого человека, подверг его допросу или исповеди.

Что за глупости! Не хватало еще морочить себе голову такими мыслями! Кальмар поднялся, вынул из чемодана бритву и добрых четверть часа провел в туалете, а потом встал в коридоре, пытаясь установить, где они едут. Вскоре он понял, что едут они вдоль Сены и приближаются к Мелену. Тогда он решил пойти в вагон-ресторан, но, пройдя несколько вагонов, узнал у проводника, что ресторана в поезде нет.

Наконец, в половине седьмого утра они прибыли на Лионский вокзал. Кальмар быстро прошел вдоль всего состава — их вагон оказался в хвосте — и, проходя мимо газетного киоска, полюбопытствовал:

— Вы получаете «Трибюн де Лозанн»?

— Да, мосье, и «Трибюн» и «Газетт де Лозанн».

— Утреннего выпуска еще нет?

— Утреннюю газету за понедельник мы получим только в половине первого.

— А в городе ее можно достать?

— Да, в киосках на Елисейских Полях и на площади Оперы.

— Благодарю вас!

Им владело одно желание, неотступное, как навязчивая идея, как бред: поскорее целым и невредимым добраться домой.

Он подозвал такси.

— Улица Лежандр... Я скажу, где остановиться.

Однако сначала он вышел у бара, потому что у него не оказалось сигарет и к тому же ему захотелось выпить кофе. Машинально Кальмар съел два рогалика: несмотря на все его заботы, он получил от еды удовольствие — ведь это были настоящие французские рогалики.

— Еще чашку кофе, пожалуйста!

Наконец его дом. А вот и привратница, значит, не избежать расспросов.

— Как себя чувствует мадам Кальмар? А детки? Наверно, эти ангелочки глядят не наглядятся на все чудеса Венеции.

Привратница протянула какие-то рекламы и счета, доставленные уже после того, как она перестала пересылать ему почту.

— Дом совсем пустой, уже двадцатое августа, а почти никто не вернулся, даже торговцы. Вы и не представляете себе, в какую даль приходится бегать за мясом!

Добрый старый лифт, немного тряский, с таким привычным и неопределенным запахом. И лестница, устланная коричневой дорожкой. Коричневая дверь с медной, слегка потускневшей за время отсутствия Доминики кнопкой звонка.

Вначале домашняя обстановка разочаровала Кальмара. Все было погружено во мрак. Он не сразу сообразил, что задернуты шторы, и поспешил раздвинуть их повсюду, даже в детской. Проходя мимо холодильника, вспомнил, что надо его включить, и лишь потом вернулся в столовую, где оставил на столе чемоданчик.

Неужели он решится открыть его? Взломать замки?

Теоретически у Кальмара не было на это права, поскольку ни чемоданчик, ни его содержимое ему не принадлежали, но после всего случившегося просто необходимо узнать, что там лежит. Он хитрил сам с собой, прекрасно понимая, что движет им не долг, а простое любопытство, желание разгадать тайну. И зачем себе отказывать? В конце концов из-за этого проклятого чемоданчика он чувствовал себя как преступник. А ведь его содержимое могло дать объяснение всему.

У Кальмара тоже был портфель, запиравшийся на ключ. Он носил в нем деловые бумаги. Вспомнив об этом, Кальмар пошел в спальню за ключами, которые лежали в одном из ящиков. По дороге взгляд его упал на остановившийся будильник. Он довольно долго заводил его, желая оттянуть исполнение своего намерения. Потом завел часы на мраморном камине в гостиной. Конечно, ключ от его портфеля не подошел к замку и сразу же погнулся. Не удивительно — дешевка.

Кальмар пошел на кухню, где у них стоял ящик с инструментами, какие имеются в каждом доме,— молоток, отвертка, клещи, щипцы лежали там вместе с пробочником и различными консервными ножами.

Кальмар дал себе последнюю отсрочку — пошел запереть входную дверь, словно уже чувствовал себя глубоко виноватым. Наконец, скинув пиджак и развязав галстук, он попытался взломать замки — сначала кусачками, потом клещами, но это удалось ему сделать лишь отверткой.

Два металлических язычка щелкнули и отскочили. Крышка приподнялась. Он откинул ее и обнаружил аккуратно сложенные, как у кассира или инкассатора, пачки банковых билетов.

Французских франков там не было; главным образом — стодолларовые купюры, сложенные пачками по сто штук (как он определил с первого взгляда), купюры в пятьдесят фунтов стерлингов, а также менее толстые пачки швейцарских франков.

Первым его побуждением было взглянуть на дом через улицу: в квартире напротив какая-то женщина занималась уборкой в своей спальне и ни разу даже не обернулась в его сторону.

— Нет, не сейчас,— прошептал он.

Только не теперь. Ему надо прийти в себя, собраться с мыслями. Он устал, взвинчен после целого дня и ночи, проведенных в поезде... Выбит из колеи... Сначала надо восстановить душевное равновесие.

Кальмар взял чемоданчик со стола и, прикрыв крышку, сунул его под комод в своей комнате, затем наполнил ванну водой и разделся.

Никогда еще Кальмар так остро не ощущал своей наготы и своего одиночества.

Глава третья

— Когда вернешься в Париж, позаботься о том, чтобы отдать в чистку костюм. Только не клади его в бельевую корзину, а то мадам Леонар еще отнесет его в прачечную. Боюсь я этих новых тканей — они часто садятся. Лучше сам отнеси в чистку на улицу Дам.

Всего два раза Кальмар оставался один в квартире на улице Лежандр — это было, когда Доминика рожала в клинике. Нет, три раза — однажды она провела несколько дней в Гавре у своей сестры.

Неужели только для того, чтобы поступить наперекор звучавшему в его ушах голосу, он засунул кремовый костюм в корзину для грязного белья?

— Ты очень устанешь с дороги, дорогой. Раз ты пойдешь на работу после полудня, постарайся лечь и поспать. Пусть твои вещи распакует мадам Леонар.

Мадам Леонар, приходившая к ним два раза в неделю во второй половине дня, была маленькой, сухонькой женщиной, но с таким большим, монументальным задом, что казалось, она вечно устремлена вперед. Муж мадам Леонар был человек больной, и она ухаживала за ним вот уже двадцать лет. С утра до вечера убирала она квартиры, а по ночам нередко обряжала покойников из своего квартала.

Она жила где-то на соседней улице, под самой крышей, почти ни с кем не общалась и только цедила сквозь зубы:

— Все богачи одинаковы.

Мадам Леонар считала богачами всех, кого ей приходилось обслуживать,— и мелких торговцев, и даже привратницу.

Сидя в ванне, Кальмар подумал о ней и подивился, как может мадам Леонар жить так и не впасть в отчаяние. Однако в Париже существуют тысячи, десятки тысяч таких, как она, а есть и еще более несчастные — те, что с трудом передвигаются по квартире или прикованы к постели и всецело зависят от соседей или сиделки из благотворительного общества.

А у него под комодом лежало целое состояние. Он не знал, сколько там денег, и пока еще не хотел знать.

— Постарайся лечь и поспать...— сказала ему Доминика.

Кальмар старался изо всех сил, он и в самом деле очень устал. Он надел пижаму, точно был не один в квартире, и лег, предварительно задернув занавески. Но чемоданчик стоял у него перед глазами, и в мозгу возникали бесчисленные, смутные вопросы: после суток, проведенных в поезде, ванна притупила остроту его мыслей.

Может быть, незнакомец был международным вором и поручил это дело Кальмару, чтобы не подвергать себя риску и не попасться с чемоданчиком в руках?

В таком случае зачем убили Арлетту Штауб? Кстати, у него в кармане еще лежит листок с ее адресом. Это опасно. А вдруг записка случайно выпадет у него из бумажника где-нибудь на работе. И ведь к этому времени фамилия и имя жертвы уже могут быть опубликованы в газетах...

Кальмар встал с кровати, подошел к комоду, где лежало все, что он вынул из карманов, и разорвал записку. Он хотел было выбросить клочки бумаги в корзину для мусора, но вспомнил, что мадам Леонар после полудня остается одна в квартире, и кто ей помешает из любопытства собрать обрывки и прочесть адрес.

Внезапно Кальмаром овладела поистине маниакальная осторожность. Он сжег записку в пепельнице, выбросил пепел в унитаз и спустил воду.

Когда он снова лег, сонливость его уже как рукой сняло. Он даже не пытался закрыть глаза. А если деньги фальшивые? Кальмар ясно представил себе незнакомца главарем шайки фальшивомонетчиков. Все возможно. Тайная торговля оружием? Шпионаж?

Сколько же денег в чемоданчике? Он дал зарок, как бы для испытания своей выдержки, пересчитать их позднее, ближе к полудню, отдохнув часа два-три. Тем не менее он снова встал и, не раздвигая занаве-

сей, чтобы его не увидела женщина из квартиры напротив, сел перед туалетом Доминики.

Доллары лежали пачками по сто купюр, и в каждой такой пачке (тоньше записной книжки) было десять тысяч долларов.

Двадцать пачек! Двести тысяч долларов новенькими на вид банкнотами! Да, кроме того, еще пятьдесят пачек английских банкнотов по двадцать купюр, то есть пятьдесят тысяч фунтов.

Кальмар поднялся, взял бумагу и карандаш и прикинул, сколько же всего денег в портфеле. Одних долларов там оказалось примерно на миллион новых франков. Все завертелось у него перед глазами, тело покрылось испариной, руки задрожали.

Целый миллион! Потом семьсот тысяч франков в английских фунтах! Да еще отдельные купюры на дне чемоданчика, не сложенные в пачки и не перетянутые резинкой. Двадцать тысяч немецких марок и десять широких плотных купюр, каждая достоинством в тысячу швейцарских франков.

«Господин комиссар, я принес вам чемоданчик, который... который... какой-то неизвестный вручил мне в поезде, шедшем из Венеции, ключ и попросил... Он написал адрес на клочке бумаги... Я его только что сжег... Почему? Из-за мадам Леонар, нашей служанки... Нет, нет! Я и не собирался присваивать себе эти деньги... И если я взломал замок...»

Ерунда! Ни один здравомыслящий человек не поверит этому бреду.

«Я поехал на такси по указанному адресу — на улицу Бюньон, к некой Арлетте Штауб... Позвонил... Никто не отозвался, тогда я машинально повернул ручку двери, и она открылась... Молодая женщина была мертва... По-видимому, убита... Но крови я не заметил... Возможно, ее удушили... Сейчас лозаннская полиция, конечно, уже в курсе дела».

Тут Кальмар подумал, что надо бы спрятать чемоданчик, во всяком случае его содержимое, и еще больше разволновался. Ну, чемоданчик-то он куда-нибудь выбросит, как только стемнеет, например, в Сену. А пока можно положить его в комод, который запирается.

Заметит ли мадам Леонар, что комод заперт на ключ? Ведь придется запереть все три ящика, а этого никогда раньше не делали.

Только тут он осознал, что в квартире никогда ничего не запиралось и в ней нет даже уголка, где можно что-нибудь спрятать.

Его жена, дети, мадам Леонар, свояченицы или теща могли, придя к ним, открыть любой ящик комода, шифоньер или стенной шкаф.

Итак, в субботу жена и дети вернутся домой. А он до сих пор еще ничего не решил. Если он и думал о тайнике, то вовсе не потому, что собирался оставить у себя эти деньги. Во всяком случае, оставить не навсегда. Но сейчас необходимо их спрятать, пока он не примет окончательного решения.

Как был, в пижаме, Кальмар медленно обошел все комнаты. Сначала свою супружескую спальню, обставленную сообразно возможностям людей среднего достатка современной мебелью, довольно приличной, но до крайности стандартной. Наверняка в тысячах квартир существовали такие комнаты. Но для них было достижением уже эта спальня. После свадьбы они жили в двухкомнатной квартире, в старом доме на бульваре Батиньоль и мебель покупали только подержанную, вроде, например, высокой кровати из орехового дерева, какая стояла в комнате его родителей.

А теперь у них была низкая кровать, и Кальмар долго не мог к ней привыкнуть, так же как к хрупкому изяществу комода, двух кресел, обитых оранжевым бархатом, стола и туалета.

Квартира раньше принадлежала родителям жены и перешла к ним, когда Луи Лаво, отец Доминики, работавший метрдотелем в «Вейлере»

на площади Клиши, ушел на пенсию и основал собственное дело в Пуасси.

Во времена Лаво квартира выглядела мрачной. Гостиная, выдержанная, как и спальня, в современном стиле, была тогда оклеена красновато-коричневыми обоями под кордовскую кожу.

— Делайте, что хотите, дети мои, поскольку теперь это ваш дом, но сейчас вы вряд ли найдете такие обои. Их можно мыть, не жалея воды, они нигде не отстанут. Сколько раз ты их мыла, Жозефина?

В ту пору и мебель здесь была тяжелая, из мореного дуба. Вокруг обеденного стола стояли стулья, обтянутые тисненой кожей.

Совсем как в Жьене, у родителей Кальмара. Только там почти никогда не накрывали в столовой, а ели в кухне, позади лавки.

Нет, он не вор и не намерен пользоваться этими деньгами, хотя они вроде бы и не принадлежали теперь никому.

Ну, хорошо. Допустим, он опишет полиции незнакомца. Допустим, что того найдут живым. Но разве тем самым он не предаст доверившегося ему человека?

А доверился он Кальмару не случайно, не потому, что они были соседями по купе. Незнакомец долго за ним наблюдал, задавал ему подробные вопросы и уже в Милане знал о нем почти все.

Когда Кальмар учился в местной начальной школе, а потом в лицее, товарищи называли его Червяк — не только потому, что он был самым толстым, но еще и потому, что отец его торговал рыболовными снастями на набережной Ленуар, недалеко от Старого моста через Луару.

Дом их был узкий, вытянутый в высоту, с узорчатым коньком на крыше. Лавка была тоже узкая, заставленная удилищами из тростника и бамбука, стеклянными витринами с поплавками всех цветов и размеров, шелковыми лесками, конским волосом, мотками кетгута, свинцовыми грузилами... Сотни, а может быть, и тысячи различных принадлежностей для рыбной ловли, в которых разбирался только отец.

Помимо этого, отец торговал наживкой: личинками, червями и мошками, а по воскресеньям он еще наполнял садок пескарями для ловли щук. Отец Кальмара в противоположность сыну был высокий и тощий, к тому же белокурый, со светлыми отвислыми усами. Жюстен придумал ему прозвище, о котором никогда никому не говорил. Он прозвал отца Хилым Галлом, потому что у того было бледное, веснушчатое лицо и он выглядел всегда таким изможденным, что казалось, его длинное туловище скоро согнется до земли. Отец умер молодым, в 42 года, от чахотки. Мать говорила — от воспаления легких, но на самом деле это был туберкулез.

Вдова продолжала дело мужа. Она справлялась в лавке одна, а мальчишка по имени Оскар субботними вечерами по-прежнему ловил для нее неводом рыбешку да поддерживал в глубине садика «фабрику по производству червей». Но соседи стали жаловаться, так что пришлось буковыми ветками замаскировать шест, на который насаживали баранью голову, регулярно поставляемую из соседней мясной лавки. Через несколько дней там заводились черви, которые затем падали в сито с опилками.

Червей продавали ложками. Кальмар помнил, что когда он был маленьким, столовая ложка червей стоила двадцать пять сантимов.

Но почему он вспомнил об этом, тщетно ища, куда бы спрятать деньги? Однако такого места в квартире не оказалось. Вот, скажем, раньше, вскоре после их замужества, тут стоял огромный зеркальный шкаф, на который можно было положить что угодно — и никто бы не увидел.

В конце концов, Кальмар взял свой портфель, где лежали различные рекламы, вытряхнул из него содержимое и засунул туда пачки денег. Себе он оставил только одну стодолларовую бумажку, чтобы проверить, не фальшивая ли она. Такая проверка представлялась Кальмару необходимой. Никогда у него не было и никогда не будет воровских замашек! Но ведь обязан же он узнать, настоящие это деньги или фальшивые, хотя бы для того, чтобы решить, как быть дальше.

— Очень прошу тебя, Жюстен, обедай у Этьена.

Какая-то мания или, если угодно, привычка, присущая, очевидно, многим женам.

Когда Кальмар служил скромным репетитором в лицее Карно и деньги у них водились редко, случалось, он время от времени баловал себя хорошим обедом в ресторане на бульваре Батиньоль — старомодном ресторане, с зеркалами на стенах, высокой конторкой для кассирши и металлическими кольцами для салфеток. Мадам Этьен сама сидела за кассой, а мосье Этьен, отличавшийся огромным красным носом, ходил от столика к столику, советуя попробовать рыбу по-нормандски, или рагу из гуся, или утку с бобами.

Они довольно часто столовались у Этьена, когда Доминика была в положении, и несколько раз праздновали там годовщину своей свадьбы.

Жена и теперь считает, что вкусно и хорошо поесть можно только у Этьена.

Так вот, сегодня он не пойдет завтракать к Этьену, у него другие дела и заботы. Если можно считать это просто заботами.

Раздвинув занавески, Кальмар оделся. Наудачу включил радио, но услышал лишь песни, а затем «Новости дня».

«Количество специальных поездов, пущенных на субботу и воскресенье, побило все рекорды. Это объясняется тем, что большинство людей, возвращающихся из отпуска, решило прихватить для отдыха и 15 августа, являющееся нерабочим днем».

Вряд ли радиостанция «Европа I» или «Радио-Люксембург» сообщит о молодой женщине, найденной мертвой в Лозанне у себя на квартире, если, конечно, это убийство не имеет международного значения. А прийти к такому выводу почти невозможно, если не знать о существовании чемоданчика.

В киоске на вокзале Кальмару сказали, что лозаннские газеты поступают между двенадцатью и половиной первого.

Зная о любопытстве мадам Леонар, Кальмар не мог оставить в квартире чемоданчик с двумя взломанными замками. Он решил унести его и тут лишний раз убедился, как трудно иногда бывает осуществить самые простые на первый взгляд намерения: в доме не нашлось оберточной бумаги. В одном из ящиков валялись обрывки веревок, различные инструменты, консервные ножи, но нигде не было плотной коричневой бумаги для упаковки.

После их отъезда мадам Леонар произвела генеральную уборку, и в квартире не осталось даже старых газет.

Тут Кальмар вспомнил, что ящики комода устланы голубой бумагой. Он вытащил один лист, решив, что успеет заменить его до возвращения жены. Конечно, подмененный лист окажется свежее остальных и Доминика непременно это заметит:

«Смотри-ка, ты переменил бумагу во втором ящике!»

Там лежали его рубашки и белье. Что он ей скажет на это?

«Я нечаянно пролил»...

Что пролил? Ведь никто не пьет кофе или вино, когда вынимает из ящика рубашку.

«Я уронил туда *сигарету* и..»

Ничего, что-нибудь он придумает. Если уже сейчас терзаться из-за подобных мелочей, тут и голову потерять недолго.

Кальмар наспех завернул чемоданчик в бумагу, а свой портфель запер на ключ и положил в шкаф на обычное место: уж конечно госпоже Леонар не придет в голову взламывать замки, как он это проделал с чемоданчиком.

Слишком много он размышляет обо всем этом. Мало сохранять спокойствие. Конечно, прежде чем принять решение, нужно все продумать, но не терять душевного равновесия.

Кальмар сошел вниз. Привратница заметила его.

— А я думала, что вы легли. После такой утомительной поездки...

— Что поделаешь! Дела, госпожа Годо...

— Берегите себя. Я уверена, что госпоже Кальмар будет неприятно, если она узнает, что супруг в ее отсутствие жил кое-как... Я вот вспоминаю моего бедного мужа. За всю нашу жизнь мы только две недели не были вместе — я-то знаю, что получается, когда мужчины предоставлены самим себе.

Кальмар прошел несколько шагов до гаража, где стояла его машина.

— А, мосье Кальмар! Я-то думал, что вы вернетесь только на будущей неделе. Верно, перепутал число... Ну, я не задержу вас.

Однако пришлось переместить с десяток машин, чтобы вывести покрытую пылью машину Кальмара, стоявшую в самом дальнем углу.

— Простите, совсем запамятовал. Позвольте хоть обтереть ее.

Пакет мешал Кальмару. Он не надеялся, что хозяин гаража не заметит его, и вместо того, чтобы положить в багажник, небрежно бросил на сиденье.

— Прекрасный день, хоть и жарко. Не знаю, какая погода стояла у вас там, а здесь уже много лет не было такого пекла. Вы ведь знаете наш квартал не хуже меня, тринадцать лет тут живете. Все как будто приличные люди, и представьте себе — я своими глазами видел, как хозяйки выходили за покупками в шортах, а ребятишки играли на улицах в купальниках...

Кальмар ехал к площади Оперы по почти пустынным улицам. Ему даже удалось найти на улице Обер место для машины, и, поставив ее, он устремился в один из банков на Больших бульварах. Поднявшись по лестнице в зал, довольно прохладный и казавшийся даже темным по сравнению с залитым солнцем улицами, он вдруг почувствовал, как его охватила паника.

Кальмар понимал, что сейчас он делает первый серьезный шаг. Впрочем, нет. Первый шаг он сделал, когда открыл автомат для хранения багажа на платформе лозаннского вокзала. Но и это не совсем точно, ибо в ту минуту поручение незнакомца не вызывало еще у него никаких подозрений.

В крайнем случае, если бы полиция подняла всех на ноги, она могла бы разыскать итальянца-контролера, который проверял проездные билеты около Падуи, и тот, конечно, вспомнил бы, что вырвал из билетной книжки незнакомца розовый талон. А полицейский из Домодоссолы, медленно перелиставший паспорт и вернувший его владельцу с почтительным поклоном?.. Кстати, почему он ему поклонился? Ведь не поклонился же он Кальмару. Может быть, потому, что это был человек, известный или занимавший видное положение в какой-то стране? Скажем, дипломат? Нет, неизвестный не походил на дипломата, он ни на кого не походил. По существу, описать его было бы невозможно.

Кальмар нашел окошечко, где меняли валюту. Перед ним стояло человек шесть: несколько американцев и две немки. Американцы про-

тягивали в окошко аккредитивы, кассир просил их расписаться, а потом, после беглого сравнения подписей на корешке и на чеке, выдавал французские деньги. Один иностранец затеял было спор с ним, не соглашаясь с выданной ему суммой, но две немки — мать и дочь, стоявшие позади него, стали проявлять нетерпение и заставили его отойти. Время приближалось к полудню, и Кальмар опасался, что касса закроется на обед. Тут он вспомнил, что оставил пакет с чемоданчиком на сиденье, хотя намеревался остановиться на какой-нибудь тихой улице и спрятать его в багажник. Ну, да что там! Машина заперта, а небрежно перевязанный пакет едва ли привлечет воров.

Перед Кальмаром оставалось еще два человека... Потом один, теперь его очередь. Кальмар протянул стодолларовую бумажку — только бы не дрожала рука. Как он и ожидал, кассир удивленно поднял на него глаза, пощупал ассигнацию большим и указательным пальцем, дабы убедиться, что она должной толщины и плотности, затем посмотрел ее на свет.

— Одну минуту, пожалуйста.

Кассир откинулся назад, выдвинул ящик стола, находившийся на уровне его живота, и вытащил оттуда узкий реестр с колонками цифр.

Хотя все это длилось несколько секунд, позади Кальмара уже образовалась очередь из нескольких молодых итальянцев.

Задвинув ящик, кассир спросил:

— Желаете получить французскими деньгами?

— Да, пожалуйста.

Купюры по десять франков поскрипывали под пальцами кассира. Считая их, он отгибал уголки, ибо они были сложены пачками, как доллары и фунты в чемоданчике незнакомца.

Потом кассир еще раз пересчитал банкноты и добавил две монеты в два франка и в один франк.

Кальмар не стал вкладывать деньги в бумажник, а просто сунул их в карман. Итак, доллары настоящие! И у него на квартире по улице Лежандр, в портфеле, валявшемся на полке шкафа, лежит около полутора миллионов франков!

■

Первый раз в жизни он тратил не принадлежавшие ему деньги.

Впрочем — нет! Был такой случай, когда он украл, украл по-настоящему, с полным сознанием совершаемого проступка. Ему было лет десять-одиннадцать. Стояла такая же вот жара, как сегодня. В ту пору ни родители, ни он не уезжали на отдых, наоборот — отпускное время считалось лучшим для торговли. Бывало, после завтрака отец дремал на кухне в плетеном кресле, а заслышав колокольчик, оповещавший о появлении посетителя, вскакивал и бежал в лавку.

Кальмар не мог вспомнить, где находилась в тот день его мать, может быть, в саду расстилала на траве белье для просушки. Воспользовавшись ее отсутствием, он тайком подкрался к кассе, залез в ящик, где лежали деньги, и взял — всего пятьдесят сантимов. Несколько минут спустя он купил на улице стаканчик мороженого у итальянца разносчика.

Кальмар шел, слизывая ванильный крем, как вдруг заметил издали одного школьного товарища. Было это не в воскресенье, а в обычный будний день, когда Кальмару не разрешалось лакомиться мороженым, и он поспешно бросил стаканчик в лужу, а сам кинулся в первую же боковую улицу.

Он чувствовал, как горит у него лицо. Кровь стучала в висках. Он посмотрел на себя в витрину бакалейной лавки и, поскольку в ту пору был еще религиозен, помчался в церковь исповедоваться.

Теперь же, сидя во внутреннем зале «Кафе де ла Пэ», Кальмар не должен был, не хотел испытывать угрызений совести. Он не сел завтракать на террасе, где было прохладнее, только потому, что не желал, чтобы его заметил кто-нибудь из сослуживцев или из клиентов, ведь прежде ему не доводилось посещать такие роскошные кафе.

Тем не менее он заказал самые дорогие блюда, различные закуски, половину лангуста, печенку, жаренную на вертеле,— словом, все, чего не попробуешь дома. Конечно, это был уже третий рискованный шаг, но он представлялся Кальмару неизбежным. Не потому, что его вдруг обуяла жадность, а потому, что ему необходимо было еще раз убедиться, что стодолларовая бумажка действительно превратилась в настоящие франки. Но хоть у него и были теперь деньги, он не мог открыто их тратить.

Купи он вещь, которую ему давно хотелось — портсигар, например, или зажигалку последнего образца,— Доминика удивилась бы, так же как если бы он вдруг ни с того ни с сего сделал ей подарок или принес игрушки детям. В любом случае он не мог бы объяснить, откуда взял на это деньги. Жена отнюдь не всегда проверяла, сколько он тратит, и если делала это, то вовсе не из подозрительности. Она прекрасно знала, сколько он зарабатывал и сколько оставлял себе на расходы после того, как выдавал ей деньги на хозяйство. А потому появление этих пятисот франков он никак не мог бы объяснить, и, следовательно, их нужно было истратить до субботы.

Эта мысль начала изводить Кальмара. Он прекрасно понимал значение слова «начало». Он отдавал себе отчет в роковой последовательности событий — с той минуты, когда в Венеции смотрел на застывший кадр вокзала, в центре которого стояла его дочь, и вдруг почувствовал, что рядом находится человек, внимательно наблюдающий за ним.

С тех пор он ни разу не действовал по собственной воле. Все его поступки механически следовали один за другим.

Прежде чем войти в «Кафе де ла Пэ», Кальмар спросил в газетном киоске, не поступала ли «Трибюн де Лозанн».

— Наверно, через полчаса доставят.

Он не исключал того, что ему, возможно, придется оставить у себя эти полтора миллиона франков, которые лежат у него в портфеле и о существовании которых госпожа Леонар, так ненавидевшая богачей — всех, кто имеет хотя бы немного больше досуга или денег, чем она,— даже и не догадывалась.

При том, как обстоит сейчас дело, при тех скудных сведениях, какими он обладает, он не может отнести деньги в полицейский участок или положить в банк и держать их там до тех пор, пока он не узнает, кому они принадлежат. Это было бы наилучшим выходом из положения. Кальмар мечтал о такой возможности, пока завтракал. Конечно, он будет молчать, никому не расскажет ни о поезде, в котором он ехал из Венеции, ни о чемоданчике, ни об Арлетте Штауб. Он твердо сохранит свою тайну, несмотря на все волнения, которых это может ему стоить, несмотря на подозрения, которые, возможно, падут на него. Потом, в один прекрасный день, когда газеты раскроют правду о незнакомце и о миллионах, положенных на хранение в автомате на лозаннском вокзале, он явится в полицейский участок или, еще лучше, в более высокую инстанцию — в сыскную полицию.

«Господин начальник, я принес деньги... Можете пересчитать. Все в сохранности, за исключением одной купюры в сто долларов, которую я счел нужным разменять в банке на бульваре Итальянцев, только чтобы проверить, не фальшивые ли они».

А почему бы и нет? Разве так не может когда-нибудь случиться? И все будут его поздравлять.

«Поймите, я не мог поступить иначе. Конечно, выйдя из квартиры Арлетты Штауб на улице Бюньон, я должен был немедленно сообщить полиции. Но я так растерялся, что не сделал этого. Наверно, не будь я честным человеком, я бы так не растерялся. А потом мне пришлось...»

Впрочем, открыть счет в банке можно, лишь предъявив удостоверение личности. Кроме того, в некоторых случаях банки ведь обязаны сообщать в налоговое управление о вкладах своих клиентов.

Если взять сейф, то для этого тоже необходимо предъявить документ и подписать ряд бумаг.

Безумная затея... Он принялся за лангуста. И решил, что выбросит пустой чемоданчик в Сену сегодня вечером по пути домой. А может быть, выбросить и деньги? Дождь из банкнот! Сотни тысяч франков поплывут по течению! Нет, это невозможно, ни один здравомыслящий человек не откажется от целого состояния.

Кальмар переоценил свой аппетит и едва прикоснулся к печенке.

— Гарсон, спросите, пожалуйста, в киоске, поступила ли «Трибюн де Лозанн», и если да, то принесите мне...

Какой промах! Сейчас малейшая деталь могла привлечь к нему внимание. Именно такие незначительные факты запечатлеваются в памяти людей и вспоминаются в нужный момент.

«Послушай, помнишь, в тот день один клиент — он еще заказал шикарный завтрак с вином — попросил купить ему «Трибюн де Лозанн»?»

А может быть, и читать газету на людях не стоит? Тем не менее Кальмар просмотрел ее за кофе.

На первой обложке ни особых происшествий, ни броских заголовков, только иностранная хроника. На второй странице — объявления. На третьей — длинная статья о загрязнении вод озера Леман и протокол заседания кантонального совета.

На следующих страницах: новости из Вале, из кантона Невшатель, Женевы и, наконец, из Во. Пожар в Морже, столкновение машин в Коссонэ, сбитый велосипедист в... А вот Лозанна. Под рубрикой «Наши гости» сообщение о визите американских педагогов... Опять столкновение машин — одна врезалась в другую... Неудавшееся ограбление ювелирного магазина на улице Бург... Фельетон «Каков гусь!..»

Затем — спорт и, наконец, на последней странице — снова зарубежная информация. Ни слова об Арлетте Штауб, ни слова о человеке, исчезнувшем из поезда в Симплонском туннеле.

Во всяком случае, Кальмар теперь знает, какую страницу просматривать в этой газете.

— Гарсон, счет, пожалуйста.

Он не нашел в газете ничего, что его интересовало, и оставил ее на диванчике в кафе. Часы показывали половину второго. Там, на Лидо, Доминика и дети снова шли из пансиона на пляж, где за каждым, словно по немому уговору, сохранялось жизненное пространство. Одни и те же компании занимали те же места, на том же расстоянии друг от друга. В конце концов при встрече люди начинали улыбаться.

— Жозе, не ходи по воде до купания.

— А я? — с невинным видом спрашивал Биб.

— И ты тоже. Если я говорю это Жозе, то...

— Конечно, ты считаешь, что я непослушная. По-твоему, у меня одни недостатки. А ведь никто не ждет двух часов, чтобы пошлепать по воде или выкупаться.

Возможно, за завтраком в pensione di famiglia * Доминика сказала:

* Семейном пансионе *(итал.)*.

— Сейчас папа тоже завтракает у Этьена. Надеюсь, он не взял ничего жирного.

Кальмар отыскал свою машину и сразу же спрятал в багажник чемоданчик со взломанными замками. Он поехал через Елисейские Поля на авеню де Нейи и, немного не доезжая до министерства обороны, затормозил перед светло-желтым зданием с вывеской «Асфакс, Робюр и Роб». Ниже более мелкими буквами значилось: «Акционерное общество».

Это был довольно большой трехэтажный дом с мансардами. До и во время войны в нем помещалась скобяная лавка, где торговали по старинке и где можно было найти что угодно — алюминиевые кастрюли, болты всех размеров, целые бочонки с гвоздями, инструменты для любого рукомесла, проволочные сетки для курятников наряду с гантелями и карнизами для занавесей.

В те времена еще был жив старик Боделен, седовласый старец с пышной шевелюрой, с утра до вечера расхаживавший в рабочем халате, в таком же сером, как железо, которым он торговал.

Его сын, нынешний хозяин, Жозеф Боделен, носил такой же халат и так же бродил по всему помещению, похожему на аквариум, ибо огромный этот магазин с галереей освещался через стеклянную стену, выходившую во двор. Здесь во дворе, в каком-то сарае, Боделен-сын производил свои первые опыты. Он ничего не понимал в пластмассах, но заметил, что ими пользуются все больше и больше для изготовления домашней утвари.

Вместо того чтобы обратиться к специалисту, он пошел к своему товарищу, химику Этьену Расине, который зарабатывал на жизнь, делая анализы мочи и крови. Расине был холостяк, маленький, краснолицый, веселый, и поскольку он был одинок, то нередко засиживался в лаборатории до полуночи.

Через несколько недель Расине собрал и освоил огромную литературу о существовавших в ту пору пластмассах и всякий раз, как появлялось что-нибудь новое — а синтетические материалы, можно сказать, рождались чуть ли не каждую неделю (полиэтилен, полиприлен, полистирен, поликарбонат),— добавлял их к своему списку.

— Добыть первичное сырье — не проблема, оно продается в виде порошка, крупинок, таблеток, пасты. Но если вы хотите что-то производить, необходим смеситель, так как в сырье придется добавлять ряд ингредиентов. Нужна печь, чтобы довести смесь до должной температуры, нужны, наконец, пресс и формы.

— Это займет много места?

— В зависимости от величины изготовляемых изделий.

Боделен начал с небольших предметов, например, с зубных щеток, дорожных ложек и вилок, пляжных ведерок, детских лопаток и грабель, подставок для яиц, колец для салфеток.

От старой скобяной лавки уцелел только остов. Нижний этаж, перестроенный в современном стиле, со светящимся потолком, был оборудован под выставочный зал фирмы «Асфакс, Робюр и Роб».

Контора — во всяком случае, контора Парижского отделения — помещалась на втором этаже. Кроме этого было еще отделение в Нантерре и основной завод в Брезоле.

Кальмар быстро поднялся по мраморной лестнице и на мгновение задержался перед застекленной кабиной с табличкой «Прием посетителей».

— Патрон вернулся?

— Приехал сегодня утром и спрашивал вас.

— Ему прекрасно известно, что я должен приступить к работе после полудня.

— Вы что, забыли, какой у него характер, господин Кальмар?

Патрон был неплохим человеком, даже наоборот, но раздражался, когда не находил кого-нибудь на месте. Каждый должен сидеть в своем закутке.

Его мечтой, его идеалом был бы мир без воскресений, без отпусков. Разве он сам брал отпуск? Мир без женщин и без детей!.. Разве он часто бывал в своей огромной квартире на бульваре Ришара Валласа, где его жена и дочь жили с четырьмя или пятью слугами? Вряд ли он навещал их раз в неделю... Вряд ли ездил на виллу, купленную для семьи в Мужене.

Он спал наверху, в бывшем чулане, рядом с которым оборудовал самую примитивную ванную.

— Хозяин поехал в Брезоль?

— Разве у него узнаешь?

В Брезоль, или в Нантерр, или же на новую стройку в Финистере. Иногда думали, что патрон уехал в предместье Парижа, а он звонил из Лондона или Франкфурта. Такова была его жизнь, и отчасти такой же была жизнь Кальмара, поскольку добрую треть своего времени он проводил на авеню де Нейи.

— Ну что, вернулся наконец?

Это спросил Жув, которого все звали Бобом,— фантазер и весельчак.

— Послушай, да ты еще разжирел и совсем не загорел. Ты уверен, что был в Венеции?

Кальмар нахмурился.

— Что-нибудь не клеится, старина?

Жув был его единственным другом.

И тем не менее Кальмар вынужден был ответить ему с деланной улыбкой:

— Нет, все в порядке... Просто чертовски устал, целый день провел в вагоне, где было столько народу, что по коридору в туалет не пройдешь, да еще потом целую ночь ехал.

— А как же дети?

— Пока остались там, вернутся в субботу.

Глава четвертая

До сих пор Кальмар видел лишь два раза свою привратницу, причем мельком. Затем хозяина гаража — тоже мельком. Остальных — например, кассира в банке, интересовавшегося лишь стодолларовой купюрой и вполне удовлетворившегося тем, что она не фальшивая, метрдотеля и гарсона в «Кафе де ла Пэ» — можно не принимать в расчет.

Теперь же было другое дело, и Кальмар, входя в свой кабинет, где его ждали каталоги, поступившие за время его отсутствия из США, почувствовал тревогу, вспомнив шуточки Боба.

Жув слыл легкомысленным парнем, ничего не принимавшим всерьез, как и положено питомцу Школы изящных искусств. Этот повеса не мог спокойно пропустить ни одной машинистки, чтобы не ущипнуть ее или не дать ей шлепка. Даже мадемуазель Валери, самую уродливую и нескладную в конторе. А она считала своим долгом всякий раз испуганно вскрикнуть, словно он пытался ее изнасиловать.

Жув жил в мастерской на набережной Великих Августинцев, всегда с какой-нибудь подружкой, но почти каждый месяц — с другой. Зачем он их менял, было не очень ясно, поскольку все девушки походили друг на друга — маленькие, чернявые, с большими ласковыми глазами.

Когда Жув по своему обыкновению посмеивался над кем-нибудь, он становился похож на великовозрастного светловолосого мальчишку с лукавыми глазами. На самом же деле он был одних лет с Кальмаром, и они знали друг друга еще с той поры, когда учились в Сорбонне и посещали «Колокольчик» — дешевый ресторан на набережной Турнель, где было всегда лишь одно горячее блюдо, написанное мелом на грифельной доске.

Однажды хозяин ресторанчика вычитал в газетах, что некоторые его коллеги разбогатели, принимая в виде платы за обед полотна молодых художников, и решил иногда тоже брать произведения учащихся Школы изящных искусств.

Продолжал ли Жув писать картины? Он утверждал, что да. И это было вполне вероятно, хотя в речах Жува трудно было отличить серьезное от зубоскальства.

— Знаешь, старина, придется мне жениться. Надеюсь, ты будешь свидетелем?

— На ком же ты женишься?

— На Алине, черт побери. Мы уже три месяца вместе, и она заявила, что беременна... Ну, а поскольку ее отец — полицейский какого-то участка в районе Изера...— И Жув добавил с комическим вздохом: — Всегда надо спрашивать у подружек, кто их отец. Нет, ты представь себе! Полицейский! А почему не солдат муниципальной гвардии?

Это было больше полугода тому назад, поздней осенью. Перед Новым годом Кальмар спросил:

— Как поживает Алина?

— Алина? Какая Алина?

— Ну, дочь полицейского?

— Ох, голубчик, понимаешь, во-первых, он оказался не полицейским, а всего лишь путевым обходчиком, во-вторых, в один прекрасный день Алина подцепила на танцах какого-то молодого субчика и удрала от меня.

— А ребенок?

— Думаю, что никакого ребенка не предвиделось. Впрочем, меня это не интересует. А ты еще не видел Франсуазу? Она со мной всего три недели, но теперь я уверен — это всерьез.

Кальмар порой завидовал Жуву, но, присмотревшись к нему, понял, что друг его не так уж счастлив и шутит, только чтобы скрыть грустное настроение.

Жув тоже наблюдал за Кальмаром — особенно сегодня. Их закутки сообщались. У Боба было нечто вроде студии художника — большой чертежный стол возле окна, эскизы моделей, приколотые к стене, и повсюду на полу самые неожиданные предметы из пластмассы. Патрон каждую неделю притаскивал ему что-нибудь новое.

— Взгляните-ка на это ведро, Жув. Это наш новый конкурент. Неплохо, но мы можем сделать лучше. Прежде всего закруглим края...

Закруглять! Это он обожал. Как ни странно, но, быть может, именно в этом таился частично секрет его успеха. Придать предметам из пластмассы, независимо от из назначения, более округлый, более мягкий, более привлекательный вид.

— Если у ведер, тазов или зубных щеток грубые линии — покупатели считают их барахлом.

Иногда Жув, сняв пиджак, заходил к Кальмару...

— Похоже, что в каталоге «Сирс-Робак» ты найдешь кучу новых штуковин...

У каждого из них была своя, весьма своеобразная профессия. И, само собой разумеется, у каждого и почти у всех сотрудников фирмы был свой титул. Жув именовался художественным директором, а Кальмара возвели в сан директора по заграничным поставкам. Все это было забав-

но. И тем не менее приносило ощутимые результаты, несмотря на то, что «технический директор», он же «заведующий лабораториями», провел добрую половину жизни, делая анализы мочи.

Клиентов приводили в выставочный зал на первом этаже, но остерегались показывать им замечательные лаборатории и конструкторские бюро. Главным конструкторским бюро была мастерская Жува, хотя существовали и другие, как будто более солидные на вид, укомплектованные инженерами и специалистами, окончившими технические институты. Такие бюро имелись на заводе в Нантерре и в других филиалах, но прежде всего — на ультрасовременном заводе в Брезоле, где трудилось двести рабочих и работниц.

Однако в Нейи находился мозг всего предприятия и кабинет самого патрона, обставленный так же просто, как комната уборщицы на третьем этаже или чуланчик, где ночевал шофер Мишель, когда не успевал вернуться домой.

Лаборатория помещалась в глубине двора, в бывшей мастерской, из которой убрали все старое оборудование и постепенно полностью преобразили. Маленький кругленький господин Расине производил там опыты, напоминавшие детские игры: испытывал различные химические составы, смешивал краски, орудовал прессом с помощью Каду, бывшего кладовщика скобяной лавки, считавшегося мастером на все руки.

— Послушай, старина,— Боб, с потухшей сигаретой во рту, стоял перед Кальмаром.— Ты в самом деле хорошо себя чувствуешь? У вас с Домиником ничего не произошло?

— А что могло произойти? Уверяю тебя, что...

— Ладно, не сердись. Просто ты сегодня какой-то не такой, только и всего. Как себя чувствует Доминика?

— Очень хорошо.

— Загорела?

— Ты ведь знаешь, что ей никогда не удается как следует загореть. Она сразу обгорает, и у нее начинает лупиться кожа.

Жюстена Кальмара и Жува связывала тайна, о которой Жюстену было неприятно вспоминать. Когда его спрашивали, где он познакомился со своей женой, он небрежно отвечал:

— Представьте себе, в метро. Кое в чем и метро может быть полезно. Мы каждый день ездили в одном направлении и в конце концов разговорились.

Это была неправда. Он встретил Доминику в «Колокольчике» — она работала продавщицей в магазине перчаток на бульваре Сен-Мишель и была тогда любовницей Боба.

Доминика и Боб расстались. Как случилось, что Жюстен заместил своего друга? Это была запутанная история, в которой Кальмар так и не смог разобраться. Главное: вот уже тринадцать лет Доминика — его жена и он с ней счастлив.

— Клянусь тебе, у меня все в порядке.

— Возможно! Возможно! Только по твоему виду этого не скажешь.

— Как ты думаешь, патрон будет сегодня?

— А почему это тебя интересует?

— Шаллан еще в отпуске?

— До первого сентября.

Шаллан — коммерческий директор — ничем особенным от других не отличался. Но он занимал пост главного директора, вероятно, потому, что строго и элегантно одевался, имел представительную внешность и мог часами беседовать на любую тему, создавая впечатление, что досконально знаком с данным вопросом.

Раньше он служил простым агентом фирмы, производившей хими-

калии. Теперь же ему предоставили в конторе самый красивый кабинет с приемной, где помещался коммутатор и дежурили два секретаря.

Шаллан принимал посетителей, с достоинством водил их по выставочному залу от одного образца к другому. Когда он обсуждал очередную сделку в своем кабинете, сам хозяин, господин Боделен, частенько заходил туда с таким скромным видом, что большинство посетителей принимало его за простого служащего.

— Как вы думаете, господин директор, можно предоставить клиенту кредит на тот срок, который он просит?

Это походило на фарс, но Жозеф Боделен никак уж не был персонажем из фарса. Вопреки простодушной внешности старого слуги, пользующегося доверием хозяина, он видел все, вникал во все, решал сам все вопросы как здесь, в Нейи, так и на других заводах.

Нередко Боделен сам обходил большие магазины и торговые дома с многочисленными филиалами, где, прикинувшись покупателем, подолгу разглядывал выставленные предметы.

— Вы убеждены, мадемуазель, что такое ведро выдерживает температуру восемьдесят градусов?

— Никто до сих пор не заявлял претензий, мосье.

— А если его подержать несколько недель на солнце, краска не потускнеет?

— Вы можете это проверить сами, мосье.

— Сколько же вы продаете их за неделю?

— Этого я не знаю. Надо справиться у заведующего отделом.

Боделен, не называя себя, платил деньги и появлялся в мастерской Боба с пакетом под мышкой.

— Полюбуйтесь на этого урода, голубчик. Халтура, а ведь продается. Следовательно, если вам удастся закруглить края, а Расине добьется более приятного цвета, не выгорающего на солнце...

Кальмару вдруг стало ясно, что до сих пор он был счастлив в этой фирме, и он принялся убеждать себя, что и теперь нет причин чувствовать себя несчастным.

Но куда же спрятать деньги?

В его кабинете стоял довольно вместительный шкаф с раздвижными дверцами, где Кальмар хранил каталоги. В дверцы был вделан замок, но поскольку шкаф никогда не запирали, ключ давно уже куда-то исчез.

В левом углу, возле окна, Кальмар поместил металлический картотечный ящик для писем с исправным замком и по вечерам запирал его на ключ, а ключ прятал в письменный стол, который, впрочем, тоже никогда не запирался.

А что вообще запиралось во всем помещении? Вероятно, ничего, за исключением маленького шкафчика палисандрового дерева, где Франсуа Шаллан держал для клиентов посолиднее виски, коньяк и портвейн.

Даже в лаборатории в глубине двора ничто не запиралось, поскольку господин Расине не считал свои формулы настолько оригинальными, чтобы держать их в секрете.

Куда же спрятать капитал более чем в полтора миллиона франков? И каким образом, если деньги обнаружат, доказать, что они принадлежат ему?

Вот о чем размышлял Кальмар, притворяясь, что изучает иллюстрации в американских каталогах. Еще сегодня утром деньги, лежащие сейчас в его портфеле, воспринимались им как ничьи, временно никому не принадлежащие.

Только временно... иначе в какой-то момент, около полудня, ему не пришла бы в голову мысль поместить эти деньги в банк до нового распоряжения или взять сейф, чтобы хранить их в надежном месте.

Сам того не замечая, Кальмар стал думать об этом капитале как о своем собственном. Он еще не задавал себе вопроса, на что употребит эти деньги. У него еще не было никаких планов. Все было смутно. Пока еще капитал не принадлежал ему, но не исключено, что обстоятельства примут какой-то иной оборот и деньги станут его собственностью.

И это не явится ни кражей, ни мошенничеством. Просто он будет вынужден оставить деньги у себя, так же как сегодня вынужден где-то их прятать. Подобная перспектива представлялась Кальмару и соблазнительной, и тягостной. В данный момент скорее тягостной, чем приятной. Все было так неопределенно. Поминутно возникали непредвиденные осложнения.

Прежде всего, как узнать, что случилось с человеком из поезда и кто он был. Шпион или аферист международного класса? Кальмар имел все основания предполагать и то и другое.

Тогда кому же возвращать деньги? Мог ли он явиться в консульство какой-либо страны (если предположить, что речь идет о шпионаже) и заявить:

«Я хочу отдать деньги, которые один из ваших агентов оставил в Лозанне в автомате для хранения багажа, а ключ передал мне».

Но почему тот человек доверил ключ Кальмару?

Для того, чтобы он отнес портфель некой Арлетте Штауб.

«Когда я пришел к ней, она была мертва...».

Нелепо! А если неизвестный связан с международной воровской шайкой? Кому в таком случае принадлежат эти деньги? Наверняка не человеку, ехавшему с ним из Венеции, раз они попали к нему незаконным путем. Предмет кражи, мошенничества или грабежа ни при каких условиях не может считаться собственностью преступника или его соучастников. Кстати, были ли соучастники? И кто?

Сначала положение, в котором он очутился, представлялось Кальмару довольно простым, но чем больше он размышлял, тем оно казалось сложнее, хотя Кальмар изо всех сил старался об этом не думать. Хоть бы хозяин зашел к нему в кабинет и дал срочную работу, которая заняла бы все его дни и ночи на целую неделю.

Соучастники!.. В этом деле не было соучастников, а если и были, то, вероятно, один из них решил выйти из игры и, работая уже на себя, убил Арлетту.

Как все запутано! Кальмар вдруг покрылся холодным потом, к горлу подступила тошнота, захотелось побежать в туалет и выблевать вкусный, чрезмерно обильный, чрезмерно плотный завтрак, который он съел в «Кафе де ла Пэ».

Необходимо сейчас же внести во все ясность. Сначала — ключ. Это главное звено, поскольку тот, в чьи руки он попадал, мог стать обладателем полутора миллионов.

Итак, в воскресенье 19 августа на пути между Венецией и Миланом этот ключ находился в кармане неизвестного, который под предлогом, что его ждет самолет в Женеве и у него нет времени на остановку в Лозанне, передал ключ Кальмару.

Так на перегоне Милан—Лозанна временным обладателем ключа стал он, Жюстен Кальмар.

Кто знал об этом? Разумеется, человек, который отдал ему ключ. Но можно ли быть уверенным, что кто-то посторонний случайно не заметил этого? В течение многих часов большинство пассажиров не выходило из вагона, и любой из тех, кто толпился в проходе, мог увидеть то, что происходило в купе.

Исчез ли незнакомец добровольно? Но зачем ему было кончать жизнь самоубийством в Симплонском туннеле? И почему, если это про-

изошло, в утреннем выпуске «Трибюн» не упоминалось о несчастном случае? Ну что же, подождем до завтра.

Допустим, он пропал без вести. Но ведь кто-то в поезде, в Лозанне или где-нибудь в другом месте знал о существовании чемоданчика, раз Арлетту Штауб убили до прихода Кальмара. Знал ли тот, кто ее убил, что она должна была получить деньги — по всей вероятности, на хранение, а может быть, и для передачи третьему лицу?

Но если так, тогда почему убийство произошло до того, как она получила эти деньги? Ведь через полчаса, через час, самое большее — через два они уже были бы на улице Бюньон.

Ох, хватит... Он устал так, словно двадцать раз обежал по жаре Булонский лес.

— Ты совсем позеленел, старина. Если у тебя что-то с желудком, прими соды.

Боб очень проницателен, хотя и кажется ветрогоном. Он не верит в несварение желудка. И, должно быть, уже догадался, что его друга что-то мучает, и притом что-то очень серьезное.

А почему бы тому, кто прикончил Арлетту Штауб, не прикончить теперь и его, Жюстена Кальмара? Даже если у него уже не будет этих денег?

В результате бесконечных раздумий Кальмар уже готов был прийти к мысли, что необходимо сегодня же вечером вложить деньги в чемоданчик со вскрытыми замками и выбросить его в Сену в каком-нибудь пустынном месте, подальше от Парижа. Но что бы это дало? Если кто-то — а это вполне вероятно — знает, что деньги у него, он никогда не поверит, что Кальмар решил вдруг швырнуть их в воду.

И что тогда? Когда и где ему может грозить опасность? Когда он вернется домой? Возможно, там уже кто-нибудь спрятался. Нет, этого не может быть — ведь там еще мадам Леонар. Но после пяти часов в квартире никого не будет, и любой человек при небольшой сноровке без труда откроет замок входной двери.

Возможно и другое. Он пообедает у Этьена на бульваре Батиньоль, чтоб сделать приятное Доминике, затем вернется к себе, зажжет свет. Тем временем по лестнице поднимется какой-то человек и позвонит в квартиру. Может ли Кальмар не открывать двери, чтобы тот решил, что его нет дома? Ничего не получится: с улицы виден свет в окнах.

И даже здесь он не в безопасности. Вот сейчас он спустится в лабораторию и убедится, что и там нет надежного тайника для денег. Но пойдет он туда не только для этого: вернувшись из отпуска, надо все-таки поздороваться с Расине и Каду, которых он не видел две недели.

И вот пока он будет переходить двор, кто-то может наброситься на него или выстрелить из револьвера, а он и защититься-то не успеет.

Сегодня утром Кальмар впервые сделал открытие, которое поразило его особенно потом, когда он поразмыслил об этом: у себя дома, в своей собственной квартире он, тридцатипятилетний мужчина, психически нормальный, женатый, отец семейства, не имел даже уголка, куда мог бы положить что-либо втайне от остальных членов семьи. Не доказывает ли это, что у него нет личной жизни?

В самом деле, разве этот факт не означает, что он — пленник своего семейного очага? Если он возвращался поздно, от него требовали объяснений. Если тратил деньги, обязан был отчитаться. Не удавалось даже скрыть, когда у него болел живот. Более того, самый ничтожный клочок бумаги он не мог хранить так, чтобы никто об этом не знал.

— Папа, что в этой коробке?

Или же:

— Что у тебя в пакете?

То же самое продолжалось и на работе. Прежде он считал, что

здесь он предоставлен сам себе. Ну, хотя бы в уборной он может запереться и остаться наедине с собой. Кальмар так и сделал. При виде унитаза он почувствовал приступ рвоты и не стал сдерживаться.

— Ну вот, ты уже лучше выглядишь, дружище! Пообедаем сегодня вместе в «Колокольчике». Я познакомлю тебя с Франсуазой, она веселая, сам увидишь. Никогда не встречал девушки с таким острым язычком!

— Очень жаль, но я занят.

Боб нахмурился. Он знал, что Доминика в отъезде. Знал также, что у Жюстена, кроме него, друзей не было и что вряд ли тот в одиночестве отправится обедать к свояченице или в Пуасси, к родителям жены.

Кальмар, заметив удивление Жува, поспешно добавил:

— Я познакомился в Венеции с одним человеком и обещал ему...

Ай-яй-яй, какая оплошность! Он должен теперь остерегаться таких промахов. Ведь Боб, встретив его с Домиником, способен спросить с самым невинным видом: «Кстати, что слышно о твоем друге из Венеции?»

Кальмар решил исправить положение, но запутался еще больше.

— Когда я говорю — в Венеции, это не совсем точно. На самом деле я познакомился с ним в поезде.

— Француз?

— Нет, он из Центральной Европы, точно — не знаю откуда.

Вот до чего он дошел! Приходится следить за каждым словом, даже за выражением лица!

■

В безлюдном месте близ Сартрувиля Кальмар избавился от чемоданчика, который, конечно, вряд ли кто-нибудь мог опознать.

По иронии судьбы перед этим ему пришлось все же съесть жареную печенку.

— А, мосье Кальмар, ну как провели отпуск? Как поживает прелестная мадам Кальмар?

Он зашел к Этьену еще засветло, и тот не преминул подойти к нему пожать руку.

— По-моему, вы что-то мало загорели,— заметил при этом он.— Даже не похоже, что вернулись из отпуска. Неважно выглядите. Вам сейчас подадут легкий обед: овощной суп и омлет с печенкой, пальчики оближете...

Кальмару опять пришлось подчиниться чужой воле, а то, к примеру, придут они как-нибудь с Домиником в ресторан, и хозяин скажет:

«Помните, как по приезде из Венеции вы пришли ко мне обедать и еще отказались от моего омлета с печенкой?»

Так жена узнает, что он не завтракал на бульваре Батиньоль. Начнутся расспросы... И ложь, ложь без конца. Кальмар уже сам себе не доверял...

А что, если... У него мелькнула новая идея, но ему претило рассматривать ее всерьез, если, конечно, не рассказать все Доминике. Как бы она отнеслась к этому? Конечно, она такой же честный человек, как и он. Доминика станет упрекать его, почему он сразу же не обратился в полицию...

Быть может, ему удастся убедить ее, что с той минуты, как он взял в руки ключ, всякое обращение в полицию исключено. Не может он пойти туда ни сегодня, ни завтра, да и вообще никогда, если только не произойдет что-нибудь неожиданное.

Кальмар все больше и больше начинал верить, что деньги останутся у него, что бы ни произошло. Если он расскажет о них Доминике, та, вполне вероятно, придет к тем же выводам, что и он, и уже сама станет принимать все решения.

«Надо прежде всего подумать о детях, Жюстен. Я всегда говорила, что воздух Парижа для них вреден. Вспомни-ка, ведь с первых дней нашего брака я настаивала на покупке загородного домика. Можно найти неплохой, в рассрочку на пятнадцать лет...»

Эта идея возникла у нее только потому, что ее родители переселились на покой неподалеку от Пуасси!

«Чем ты занимался, когда я с тобой познакомилась? Преподавал английский язык в лицее Карно, не так ли? И отказался добровольно от преподавания, чтобы больше зарабатывать. Ты ведь даже поговаривал в то время о диссертации. Ну вот, а теперь ты сможешь засесть за нее без всяких помех. Мы поселимся где-нибудь в живописном местечке у реки. Ты постараешься получить назначение в ближайший городок, в лицей. Избавившись от материальных забот, ты сможешь выбрать работу по своему вкусу, а дети будут крепнуть, живя на воздухе. Часть денег мы отложим на их образование. Ведь никогда не знаешь, что может произойти...»

Ну, нет! Деньги, из-за которых он так страдает и, наверно, будет еще немало страдать, не пойдут на воплощение мечты Доминики.

Прежде всего — потому что это не его мечта. Она его никогда не прельщала, даже в ту пору, когда он делал вид, что разделяет планы Доминики. Например, проблема диссертации. Правда, он тоже подумывал об этом. Правда и то, что некоторое время ему нравилось представлять себя маститым ученым, в домашних туфлях, самозабвенно пишущим труды по сравнительному языкознанию или о каком-нибудь английском поэте, хотя бы о Байроне и его влиянии на литературу. Честно говоря, он выбрал специальность преподавателя потому, что один из учителей старших классов сказал:

— У этого мальчика способность к языкам.

Потом он добился стипендии. Далее — степени лиценциата. Затем сдал экзамены CAPES * по английскому и немецкому языкам, что позволяло ему преподавать эти два языка в старших классах средней школы.

Все это происходило, когда он жил еще в Латинском квартале, в маленькой гостинице позади Винного рынка, и если бывал при деньгах, ходил обедать в «Колокольчик», где и познакомился с Робером Жувом.

Мать Кальмара радовалась, что сын стал учителем, и жалела только о том, что он назначен в Париж, а не в Жиен. Она не знала, что вначале он был лишь скромным репетитором. Впрочем, мать все равно не поняла бы разницы. Она с гордостью говорила своим покупателям:

— Мой сын — учитель!

Никто не принуждал Кальмара стать преподавателем. Но нельзя сказать, чтобы он сделал и свободный выбор. Он как бы плыл по течению. Женился на Доминике и поселился с ней на бульваре Батиньоль, в двухкомнатной квартире, выходящей во двор; неподалеку был ресторан, куда они ходили обедать.

Он познакомился с семейным кланом Лаво. Они жили тогда в той квартире, где живет теперь Кальмар. Отец, работавший в ту пору метрдотелем, был весьма высокого мнения о своем общественном положении. Кое-кто из театральных звезд и критиков еще захаживал в «Вейлер», и все они называли Лаво просто Луи. Он тоже, рассказывая о разных знаменитостях, охотно называл их по имени, как если бы они принадлежали к одному кругу.

— Понимаешь ли, дружок, такова моя профессия. Все тебя знают, и ты всех знаешь. Ни одна другая профессия не дает возможности завязать такие интересные знакомства, не говоря уже о том, что узнаешь о людях гораздо больше, чем они думают. Представляешь, что было бы,

---

* Удостоверение, дающее право преподавать в средней школе.

если бы такой человек, как я, проживший сорок лет в Париже, написал воспоминания! Вот ты, к примеру, учишь ребятишек моих клиентов, а почти ничего не знаешь о них...

Старшая замужняя сестра Доминики жила в Гавре, муж ее служил старшим барменом в Трансатлантической компании, а она торговала там же прохладительными напитками. Вторая, одинокая сестра, Роланда, работала секретарем у адвоката на левом берегу Сены и вела довольно замкнутый образ жизни. Как знать, не предложит ли Доминика, хотя внешне она и не разделяет вкусов родителей:

«Почему бы и нам не купить такой же ресторанчик, как у папы?»

Это ведь у нее в крови. По воскресеньям, пока он отдыхал после обеда, она с удовольствием помогала родителям в кухне или в зале. Нередко он заставал ее в передничке.

«Пойми, Жюстен, они с ног сбились. Надо же им помочь, раз они не берут с нас денег за еду».

И, уж конечно, не он стремился каждое воскресенье в Пуасси. Дети? Предположим. Дети — другое дело, хотя бы из-за этой старой клячи. А он не прочь был иногда поехать куда-нибудь на новое место.

Ну, а что касается преподавания... Как-то странно вдруг обнаружить — только потому, что какой-то неизвестный почти насильно вложил ему ключ в руку,— что вся его жизнь стала строиться на полуправде, если не целиком на лжи.

В начале своего преподавания в лицее Карно он был вполне счастлив и так же, как тесть, считал свою специальность одной из самых прекрасных на свете. Его радовали внимательные юные лица, и ему не терпелось преподавать в выпускных классах, дабы передать юношеству свое восхищение английскими поэтами.

И совсем не из-за денег Кальмар бросил преподавание, хотя и сказал так Доминике. Только Боб знал подлинную причину.

На самом же деле Кальмар из-за ерунды, по-глупому испортил себе карьеру. И это случилось всего через два года после начала его педагогической деятельности.

А ведь он делал все, что было в его силах. Зная отвращение большинства учащихся к иностранным языкам, он пытался сделать свой предмет увлекательным. Например, придумывал забавные диалоги и проводил их с лучшими учениками.

— Вы, кажется, сегодня чем-то озабочены, мосье Браун?

— Я забыл свой зонтик, сэр.

— Разве идет дождь?

— Может ли дождь не идти?

Все смеялись, и только один, всегда один и тот же ученик на последней парте, некий Мимун, никогда не смеялся и не интересовался тем, что происходило вокруг.

— Могу ли я узнать, мосье Мимун, о чем вы думаете?

— Ни о чем, мосье.

— Разрешите вам напомнить, мосье Мимун, что в настоящий момент вы обязаны думать об уроке английского языка. Я полагаю, что родители посылают вас сюда именно для этого.

Мальчик был упрямый и злой. В эти минуты в его глазах вспыхивала скрытая ненависть.

— Мосье Мимун, переведите первое предложение на странице шестьдесят пять.

— Я забыл книгу дома, мосье.

— Одолжите у соседа.

— Я никогда ничего не одалживаю, мосье.

— Мосье Мимун, вы три раза перепишете шестьдесят пятую страницу.

Это становилось нелепым, длительная борьба между взрослым человеком, наделенным властью над классом, и двенадцатилетним ребенком, сознающим свою силу, поскольку он сын высокопоставленного лица.

— Мосье Мимун!

— Что, мосье?

Это «что, мосье» звучало так издевательски, что часто Кальмар тут же складывал оружие.

— Ничего, садитесь. Мы постараемся не мешать вашим мечтам, а вы уж, пожалуйста, не мешайте нам.

В остальных классах у Кальмара все шло гладко. В классе же Мимуна обстановка все больше накалялась, и вскоре там наметилось два лагеря.

Кальмар уловил это по смеху. Наступил день, когда на его шутки стала реагировать половина класса, а потом лишь незначительная часть учеников.

— Прекрасно, господа, если вы предпочитаете строгость, я буду строгим. Должен добавить: к большому моему сожалению.

До тех пор он вел занятия только в шестом и пятом классах. В год, когда Мимуна, несмотря на плохие оценки по английскому языку, перевели в четвертый, судьбе было угодно, чтобы Кальмара повысили в должности и назначили в тот же, более старший класс.

Мимун был уже не ребенок, голос его погрубел, а во взгляде отражалось не только озлобление, но и непреклонное намерение всегда оставлять последнее слово за собой.

— Мосье Мимун!

— Да, мосье.

— Хрестоматия при вас?

— Да, мосье.

— Будьте любезны, читайте.

— Я сделаю это не из любезности, мосье, а по обязанности.

— Хотя ваш ответ меня не радует, тем не менее поздравляю вас с умением тонко воспринимать смысл слов. Страница сорок два, пожалуйста...

Дважды Кальмара вызывали к директору лицея. Никто не упоминал фамилии Мимуна, речь шла о родителях учеников вообще.

— Родители жалуются, мосье Кальмар, на недостаточную требовательность с вашей стороны. Говорят, что вы любите смешить учеников, даже в ущерб дисциплине. Впрочем, это не мешает вам в иных случаях быть чрезмерно строгим... Соблаговолите подумать об этом... Не забывайте, что быть строгим не значит переходить границы. Вы свободны, господин Кальмар.

Роковая пощечина прозвучала в июне, на третьем году его преподавания. Жозе было полтора года, у нее резались зубы. Жилось трудно. Тесть и теща еще не переехали из Парижа, и семья Кальмара ютилась в двух тесных комнатках на бульваре Батиньоль. Доминика всю весну прихварывала.

Мимун вел себя вроде бы более сдержанно и вместе с тем более вызывающе.

— Мосье Мимун, я уже говорил вам, что запрещаю жевать резинку на уроках.

— Позволю себе заметить, мосье, что вы сами подаете нам пример, постоянно сосете таблетки.

Это была правда. В то время Кальмар часто страдал желудком и не хотел, чтобы ученики чувствовали дурной запах у него изо рта.

— Я вам запрещаю...

— А я не потерплю, чтоб какой-то...

Они говорили, стоя на расстоянии метра друг от друга, причем Мимун был одного роста с преподавателем. Кто из них первый взмахнул рукой? Возможно, невольный жест одного был неверно истолкован другим. Так или иначе — прозвучала пощечина. В классе сразу воцарилась мертвая тишина. Потом поднялся неимоверный шум.

— Поверьте, господин директор, мне показалось, что он хочет меня ударить, он с такой ненавистью смотрел на меня, что, когда он поднял руку, я решил...

— Подождите, господин Кальмар, дайте же и ему сказать.

— Он ударил меня, господин директор, я знаю, он давно хотел это сделать, все эти годы он ненавидел меня.

— Что скажете вы, господин Кальмар?

— Действительно, все три года этот ученик...

К чему продолжать? Он проиграл, и не только из-за Мимуна. К этому приложили руку и другие. Преподаватели, воспитатели, директор смотрели теперь на Кальмара с подозрением, словно среди них затесалась паршивая овца.

А ведь он взялся учительствовать с такой радостью, с таким энтузиазмом!

— Все потеряно, дружище Боб! Пока мне только выразили порицание, но дальше будет хуже. Меня наверняка переведут в какую-нибудь провинциальную дыру, а потом предложат подать в отставку.

— Что ж ты собираешься делать?

— Сам не знаю. Как-то не представляю себя в роли переводчика у «Кука» или портье в модном отеле. Но с моим образованием это единственное, что остается.

— Скажи, а немецким ты владеешь?

— Почти так же свободно, как английским.

— Надо мне поговорить с патроном.

— А что, по-твоему, я смогу делать на предприятии, выпускающем пластмассовые изделия?

— Ты не знаешь Боделена. Ведь сам-то он тоже не промышленник. Прежде был жестянщиком и понятия не имел о пластмассах. Ну, а я кто? Художник, окончивший Школу изящных искусств. И разве это помешало патрону взять меня на работу? Вот я и рисую теперь тазы, ведра, зубные щетки, дорожные приборы и небьющиеся фляжки! Еще на прошлой неделе патрон жаловался, что никто в конторе не знает английского. «У этих проклятых янки,— сказал он,— более совершенные образцы, чем у нас. И они ежедневно изобретают все новые изделия из пластмасс. Если б кто-нибудь у нас мог разбираться в их каталогах...»

Этим и занимался теперь Кальмар. Все началось с каталогов «Сирс-Робак», «Мейси», «Думбелс» и других больших американских магазинов.

И Доминика и ее родители были твердо уверены, что он бросил лицей, чтобы зарабатывать больше денег.

— Я знаю, ты приносишь себя в жертву, Жюстен, мне и Жозе (Биба тогда еще не было на свете). Тебе не очень тяжело? Ты не пожалеешь?..

— Ну что ты, дорогая!

А теперь в чем придется ему убеждать жену? Он размышлял об этом, лежа в постели, в их супружеской постели, и чувствовал себя таким одиноким, потерянным — мысль о портфеле, набитом деньгами, который он небрежно бросил в шкафу у входной двери, неотступно преследовала его.

А что, если?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

— едняжка Жюстен! Ты так плохо выглядишь! Надеюсь, ты регулярно питался у Этьена и там о тебе заботились?

Была суббота, они ехали с вокзала, и она то и дело окидывала его встревоженным взглядом.

— Ты не забывал принимать лекарство от печени?

Это началось уже давно, еще в ту пору, когда он в лицее затеял борьбу на износ с Мимуном. Больше всего его огорчило то, что он не видел для себя иного пути, кроме педагогической карьеры, и в то же время прекрасно понимал, что надолго его не хватит. Угнетенное состояние духа начало отражаться на его желудке. Уже в то время он лечился у доктора Боссона, ставшего впоследствии их семейным врачом.

Однако не Боссон заговорил о его печени, а Доминика.

— Вы не находите, доктор, что у Жюстена что-то с печенью?

Боссон никогда никому не возражал. Он только пожал плечами и пробормотал:

— Может быть, в какой-то степени...

Он прописал порошки, которые следовало принимать утром натощак и три раза в день после еды. Однако Жюстен месяцами о них забывал.

— Ты должен заняться своим здоровьем. У тебя желтеет лицо...

Как-то непривычно было видеть их снова — дочку, одетую теперь уже в платье, еще больше загоревшую после его отъезда, и Биба, который вдруг очень повзрослел.

На этот раз Жюстен чувствовал себя с ними стесненно. Да и они, особенно Доминика, смутно догадывались, что в нем произошла какая-то перемена.

— Ты часто уходил куда-нибудь по вечерам?

— Один-единственный раз, с Бобом.

— И поздно вернулся домой?

— В одиннадцать часов. А так — в десять я уже был в постели.

— А мадам Леонар каждый день приходила, как мы с ней условились?

— Полагаю, что да. Правда, мы с ней ни разу не виделись, но, когда я возвращался с работы, все было прибрано.

— На службе никаких неприятностей?

— Все в порядке.

Нужно было привыкать, как-то приноравливаться...

За эту неделю произошло множество мелких событий, но он не имел права о них говорить. Во вторник он купил в киоске на Елисейских Полях «Трибюн де Лозанн», сунул ее в карман, зашел в бистро и, заказав аперитив, спустился в туалет, чтобы просмотреть газету. Слишком рискованно было читать швейцарскую газету у всех на виду — за всю свою жизнь он ведь пробыл в этой стране не более трех часов и не имел там ни родных, ни друзей.

В разделе происшествий ему бросилось в глаза нечто, заставившее его сердце забиться сильнее.

Изуродованный труп в Симплонском туннеле.

В ночь с воскресенья на понедельник бригада путевых обходчиков в Симплонском туннеле сделала страшное открытие. В пяти километрах от Брига на путях были обнаружены чудовищно изуродованные останки пожилого мужчины, личность которого установить не удалось. Есть пред-

положение, что погибший ехал в поезде, из-за темноты в туннеле ошибся дверью и, потеряв равновесие, упал на рельсы.

По Симплонскому туннелю в отпускное время, особенно по субботам и воскресеньям, проходит множество поездов, а потому на данной стадии расследования невозможно установить, в каком поезде ехал несчастный пассажир.

Никаких кричащих заголовков. Никаких гипербол, кроме слов «чудовищно изуродованные» и «несчастный пассажир». Одно из обычных происшествий. Возможно, о нем будут говорить, а может быть, и не будут.

Важно то, что незнакомец с венецианского поезда уже не явится к Жюстену и не потребует свой чемоданчик. Странно, что ничего не говорилось ни о его паспорте, ни о содержимом бумажника, если только злоумышленник или злоумышленники, прежде чем столкнуть его с поезда в темноту туннеля, не завладели документами жертвы.

Через две страницы другой заголовок тем же скромным шрифтом:

Задушена лозаннская маникюрша.

В понедельник в конце дня портниха Жюльетта П., проживающая по улице Бюньон, вызвала полицию, так как ее встревожила тишина, царившая в соседней квартире.

Убедившись, что входная дверь незаперта, она приоткрыла ее и заметила в гостиной безжизненное тело соседки. Речь идет о девице Арлетте Штауб, уроженке Цюриха, много лет проживавшей в нашем городе.

Арлетта Штауб была маникюршей и довольно долго работала в одном из наиболее известных лозаннских отелей, посещаемых иностранцами.

Однако есть основания предполагать, что красивая и элегантная молодая женщина, не довольствуясь своим жалованьем, нередко принимала клиентов на дому.

Хотя полиция о подробностях дела умалчивает, нам стало известно, что двадцатипятилетняя маникюрша была задушена в воскресенье днем с помощью голубого шелкового шарфа, который был найден недалеко от тела.

И все. Здесь тоже никаких броских фраз. Даже никакой жалости к «элегантной» молодой женщине, которая, вероятно, «не довольствуясь своим жалованьем, нередко принимала клиентов на дому».

И все же одна деталь встревожила Жюстена: «Полиция о подробностях дела умалчивает...»

Не означало ли это, что полиция уже напала на след и пока что воздерживается от объяснений? Не заметил ли кто-нибудь мужчину в кремовом костюме, который в воскресенье, на исходе дня, подъехал к дому на улице Бюньон в такси, а несколько минут спустя снова укатил?

Быть может, уже задержали шофера? Быть может, он сообщил приметы Жюстена и упомянул о чемоданчике?

Официантка в вокзальном буфете, конечно, запомнила клиента, потребовавшего двойную порцию виски, его расстроенное, испуганное лицо... Все это отныне прочно вошло в жизнь Жюстена. Он уже свыкся с этим.

Он боялся теперь всего: стоявших в укромных уголках машин, в которых прятались влюбленные; барж, причаливших к набережным; бродяг, спящих под деревом или под мостом...

Все это время он столовался у Этьена, кроме одного раза, когда обедал вместе с Бобом и его новой любовницей Франсуазой, довольно вульгарной женщиной, которая после его ухода наверняка воскликнула:

— Да, уж твоего дружка не назовешь весельчаком...

И правда, его весельчаком назвать было нельзя. Однако, если не считать самого тяжкого в его жизни, лицейского периода, он не был мрачнее других. По вечерам он помогал Жозе готовить уроки, и девочка, не задумываясь, подтрунивала над ним. А разве она решилась бы на это, будь отец ворчливым и строгим?

Нет. Он ничем не отличался от других. И даже теперь, не поступал ли он так же, как поступил бы любой другой на его месте?

Не найдя подходящего тайника в конторе и в лаборатории на авеню де Нейи, Кальмар принял решение, которое устраивало его лишь отчасти. Но он рассматривал это как временную меру.

Взял же он чемоданчик из автоматического хранилища на вокзале, так почему бы и дальше не держать там деньги?

Во вторник он ушел с работы раньше обычного и кружным путем, исколесив почти весь Париж, зашел в магазин кожаных изделий на бульваре Бомарше. В своем квартале Кальмар не мог совершить такую покупку, которую потом трудно было бы объяснить, и он вспомнил об одном магазине, рядом с Зимним цирком, мимо которого как-то проходил.

Его интересовал размер, а не качество. Даже наоборот: Кальмар постарался выбрать самый неприметный чемоданчик, чтобы он не бросался в глаза, когда его будут вынимать из автомата.

А вынимать его отныне придется каждые пять дней. Уж таково правило. По истечении этого срока контролер открывает автомат и переносит багаж в общую камеру хранения, где его держат в течение полугода.

Кальмар не хотел рисковать. Конечно, он мог бы абонировать автомат и на более долгий срок, но тогда пришлось бы заполнять бланк, указывать фамилию, адрес.

Он начал с вокзала Сен-Лазар. Итак, он либо до воскресенья должен забрать чемоданчик, либо опустить новую монету в скважину, что казалось ему рискованным. Лучше через каждые пять дней менять вокзал.

Все это оказалось гораздо сложнее, чем он думал вначале. Раньше, до возвращения из Венеции, он никогда не чувствовал, что является пленником, скованным рамками установленного порядка, что все двадцать четыре часа в сутки он находится под наблюдением, дома — жены и детей, на работе — патрона, сослуживцев и машинисток.

Доказательство? Никогда раньше ему так много не говорили о том, что он плохо выглядит. Он не имел права плохо переваривать пищу, быть озабоченным, взволнованным.

— Что-нибудь не ладится, дружище?

Доминика вставала из-за стола, чтобы принести ему порошки.

— Если через три-четыре дня тебе не будет лучше, я позвоню доктору Боссону.

Доктор жил через два дома от них, и они часто видели, как он шел со своим старым саквояжем в руках, таким тяжелым, что одно плечо у него казалось намного ниже другого. Пышные, черные с проседью усы делали его похожим на пуделя, а осматривая больного, он все время ворчал.

Доктор очень любил семью Кальмара, в особенности Жозе, которую знал с рождения. А может быть, он любил всех своих пациентов?

Жюстену совсем не хотелось, чтобы его осматривал доктор, но пока жена еще не слишком наседает на него, и он успеет обрести душевное равновесие. Ему стало легче. Он уже мог более или менее спокойно, без особого страха поразмыслить о будущем, решить, что надо и чего не надо делать, что можно и чего нельзя говорить.

Не отстал от других и мосье Боделен. Во вторник он влетел в кабинет Кальмара:

— Смотри-ка! Уже вернулся!

Будто он не знал, будто не сам потребовал, чтобы Жюстен приступил к работе в понедельник днем!

— Не видно, чтобы отдых пошел вам на пользу. По правде говоря, отпуск никому еще на пользу не шел. Мчаться по дорогам, обгоняя грузовики, ночевать в какой-нибудь грязной дыре, жрать всякую дрянь, считая ее вкусной только потому, что это не дома. Потом торчать на пляже, рискуя схватить солнечный удар, ссориться с женой, орать на детей — и, вернувшись, отдохнуть наконец на работе! Отдыхайте же, мой друг! У вас для этого достаточно времени. Что касается меня, то я не ездил в отпуск и, надеюсь, никогда не поеду...

И правда, не будь укороченного дня в субботу и воскресенья, Боделен чувствовал бы себя совершенно счастливым. А так в эти дни он места себе не находил.

Как-то раз, в субботу под вечер, Кальмар вернулся в контору, чтобы взять папку с делом, над которым собирался поработать в воскресенье. Тишина пустых служебных помещений произвела на него угнетающее впечатление. Здание выглядело заброшенным, и все, что в течение недели казалось важным и значительным, вдруг стало таким ничтожным.

Даже выставочный зал с экспонатами из разноцветных пластмасс походил на карикатурное изображение какого-нибудь магазина. Классификаторы, где хранилась переписка, утратили свою внушительность, а черные чехлы на пишущих машинках производили впечатление траура.

Трудно было поверить, что в будние дни здесь все кипело, с озабоченным видом сновали люди, производящие эти желтые и зеленые ведра, прозрачные столовые приборы, бутылки, расчески, все эти предметы — плоды долгих исследований, споров, лабораторных опытов. Сейчас все это выглядело таким нелепым.

Присев за свой письменный стол, Жюстен принялся искать нужные ему бумаги, как вдруг услышал наверху стук пишущей машинки. Из любопытства он поднялся на третий этаж, куда обычно заходил редко.

Боделен в халате, накинутом на пижаму, печатал двумя пальцами на портативной машинке, которой Кальмар никогда у него не видел.

— А вы-то что здесь делаете в субботний вечер, хотел бы я знать?— спросил патрон.

— Прошу прощения. Я вернулся за документами, которые хочу перевести дома на свежую голову.

— Каким вы стали усердным!

Патрон насупился, но Кальмар почувствовал, что старик рад перекинуться словцом с живым человеком. Должно быть, он проводил свободные дни, бродя по пустым кабинетам, лабораториям, складам. Это выяснялось в понедельник, так как он вызывал стенографистку и диктовал свои наблюдения в виде кратких указаний начальникам отделов.

Если все помещения на втором этаже были обставлены удобной, современной мебелью, то кабинет Боделена представлял собою святилище, куда не допускался ни один клиент. На стеллажах из светлого дерева, рядом с зелеными папками, лежали груды каталогов и различных бумаг. А на полу, во всех углах, громоздилась продукция фирмы, главным образом плоды неудачных изысканий Боба или господина Расине.

Часто по утрам в воскресенье патрон садился в машину и говорил шоферу Марселю, чтобы тот отвез его в Нантерр или в Брезоль, где он заставал одного только сторожа и так же, как у себя в конторе, совершал обход пустых помещений.

С тех пор как стали строить завод в Финистере, Боделен нередко выезжал туда ночью, а наутро, в воскресенье, люди, проезжавшие на автомобиле мимо Финистера, могли видеть, как он бродил в одиноче-

стве под подъемными кранами, вокруг котлованов, возле бетономешалок и камнедробилок.

— Надеюсь, ваша жена лучше отдохнула в Венеции, чем вы?

— Она еще не вернулась — приедет только в субботу...

Боделен видел ее всего один раз, когда отмечалось двадцатипятилетие фирмы и весь персонал собрался в выставочном зале, где был устроен буфет. У старика была хорошая память на лица, на имена. Он ничего не забывал. Ведь вспомнил же он, что Жюстен поехал в отпуск в Венецию, и, конечно, знал, куда отправлялся каждый из его служащих.

Пожалуй, труднее ему было бы сказать, что делали его собственные жена и дочь.

«Нужно быть с ним поосторожнее»,— подумал Жюстен.

Патрона он видел редко, чаще всего — мельком. Но теперь старик казался Кальмару опаснее всех.

Но и Боб стал что-то уж слишком пристально наблюдать за своим другом, то и дело расспрашивал его, проявлял беспокойство. Но Боб — тот скоро придет к единственному возможному и вполне естественному, на его взгляд, выводу.

— Браки ни к чему хорошему не ведут,— частенько изрекал он, делая вид, что шутит.— Глупо думать, что если соединить два существа — одно мужского, другое женского пола,— каждый из них навечно пожертвует своей индивидуальностью.

Сам Боб ни с одной женщиной не жил больше трех месяцев. Жалел ли он об этом? А может быть, его пессимизм объяснялся тем, что он не мог найти себе подходящую пару?

— Какое-то время люди разгуливают, держась за руку или под ручку. Рассказывают друг другу о себе. Каждый обожает рассказывать о себе и только краем уха слушает, что говорит другой... Но когда женщина начинает во второй или в третий раз рассказывать одну и ту же историю из своего детства, мужчине становится невтерпеж, и то же самое случается, если мужчина начнет вспоминать, что он делал в семнадцать лет...

Далее следовал вывод:

— Это вроде бокса. В конце концов один из двух должен выиграть, а другой — безропотно покориться. Вопрос лишь в том: кто кого?..

Жюстену казалось, что в их супружеской жизни никто не пытался верховодить. И только теперь он стал ощущать, что каждый его шаг строго лимитирован.

Даже для того чтобы поехать на вокзал за чемоданчиком, ему приходилось каждые пять дней придумывать какой-нибудь предлог — то надо было на работе объяснить, почему он уходит раньше обычного, то объяснить дома, почему вернулся позднее.

Прежде, если он и задерживался по дороге домой, то лишь для того, чтобы купить первые фиалки Доминике (эта традиция существовала уже тринадцать лет) или же ранние фрукты детям: первые вишни, абрикосы, персики, а зимой иногда пирожные, которые он покупал в одной и той же кондитерской на авеню Великой Армии.

— Простите, дорогие, что опоздал. Прямо передо мной произошел несчастный случай. Еще повезло, что меня не записали в свидетели... Я прикинулся, что ничего не видел...

Но нельзя же придумывать происшествия каждые пять дней. Ладно, потом все как-нибудь образуется. Просто все дело в тренировке, в «организации», как выспренне выражался выспренний Франсуа Шаллан, так ценивший слово «эффективность».

Человек, который ехал с ним в поезде, погиб. Арлетта Штауб, маникюрша, женщина легкого поведения, если верить «Трибюн де Ло-

занн»,— тоже мертва. Ни о том, ни о другой в газетах больше не упоминалось, как не упоминалось и о чемоданчике с деньгами. Не было разговоров и о раскрытии шпионского заговора или какой-нибудь международной банды.

Таким образом, эти полтора миллиона пока не принадлежали никому и были собственностью Жюстена Кальмара.

Волей-неволей ему приходилось их хранить. Надо еще раз заметить, что делал он это совсем не из жадности, так как даже не представлял себе, на что мог бы употребить эти деньги. За все время он разменял только один банковский билет, да и тот истратил с трудом.

■

— Смотри-ка! Ты купил себе новый галстук?

— Я решил, что тебе будет приятно видеть на мне галстук веселых тонов...

Обычно выбирала ему галстуки Доминика. Это был неизбежный подарок ко дню его рождения, на рождество. Теперь же он не смог устоять от соблазна и купил галстук в голубую и красную полоску. Он увидел его в магазине рубашек на авеню Георга V, куда раньше даже и не помышлял бы зайти.

— Должно быть, ты дорого заплатил...

— Не так дорого, как думал... Восемнадцать франков...

Это была неправда. Он уплатил двадцать пять. И тут же пожалел, что солгал. Надо быть осторожнее, заранее все продумывать. Ведь название магазина стояло на изнанке галстука. А если в день его рождения Доминика пойдет в этот магазин и попросит галстук за восемнадцать франков?..

Он работал всю жизнь. В детстве, чтобы добиться стипендии, он трудился больше, чем все его сверстники, а когда служил в лицее, работал гораздо больше, чем другие преподаватели, что не помешало ему, однако, потерпеть крах из-за какого-то мальчишки Мимуна.

Теперь ему нужно было взять реванш — взять втихомолку, втайне, поскольку он никому не мог признаться, что стал богатым человеком.

■

Проходили дни, недели, и жена все внимательнее приглядывалась к нему, становилась все заботливее, то и дело поглядывала на него.

— Скажи, у тебя действительно нет неприятностей? Или ты от меня что-то скрываешь?

— Да нет же, дорогая, клянусь тебе.

— Значит, ты просто переутомился.

— Уверяю тебя, я работаю не больше, чем обычно.

По воскресеньям родители жены тоже исподтишка поглядывали на него. Видимо, он служил в семье предметом разговоров. Подтвердилось это довольно скоро: однажды в воскресенье, когда Жюстен гулял с Жозе — Биб простудился и не выходил из дому,— она вдруг сказала ему с самым серьезным видом, как взрослая:

— В общем-то все мы эгоистки.

— О ком это ты?

— О нас, женщинах... Если хочешь знать, то и дети тоже.

— А почему ты мне это говоришь?

— Потому что все привыкли, что мужчины работают, и уже как-то не думают об этом. А мы еще всегда чего-нибудь требуем. На прошлой неделе, например, я попросила маму купить мне к осени новый свитер, потому что прошлогодний стал мне тесен. А ведь я вполне могла бы его еще поносить. По правде говоря, мне просто захотелось иметь такой же бледно-голубой, как у моей подружки Шарлотты. А тебе ведь

пришлось бы для этого больше работать... Ты простишь меня, что я такая эгоистка?

Даже она стала относиться к нему покровительственно и беспокоилась, если он отказывался от какого-нибудь блюда.

— Почему ты не ешь?

— Я съел достаточно.

— Ты уверен, что это достаточно для мужчины?

— Ну, конечно, дорогая...

Даже мадемуазель Денав, самая уродливая из секретарш — та, которую Боб, встречая в коридоре, непременно похлопывал, чтобы заставить покраснеть,— и та, казалось, перенесла на Жюстена тайную любовь, которую раньше питала к его приятелю.

Стоило ему зайти в секретариат в поисках свободной стенографистки, как она вскакивала, бросив работу на середине.

— Я нужна вам, господин Кальмар?

Какая разница — она или другая? Она садилась напротив него, и выражение ее лица становилось еще более смиренным, точно он был важной шишкой.

— У вас все в порядке, мосье Кальмар?

— Конечно, конечно.

Его возмущала эта заботливость, этот своеобразный шпионаж. И дома, и на работе он чувствовал себя узником, окруженным кольцом пристальных взглядов, следивших за малейшим его поступком, жестом, выражением лица.

Как-то раз Жюстен диктовал письмо к одной американской фирме, производящей химикалии, в котором просил сообщить данные о новом синтетическом изделии, и допустил ошибку в предпоследнем абзаце. Без пяти минут шесть он кончил диктовать мадемуазель Денав, а как только сел в машину, сообразил, что вместо одного слова употребил другое, отчего менялся весь смысл. «Надо будет завтра исправить»,— подумал Кальмар и, уже засыпая, еще раз повторил:

— Не забыть бы сказать Денав...

И вот назавтра, придя на работу, он увидел письмо у себя на столе, пробежал его глазами и обнаружил, что ошибка уже исправлена.

— Мадемуазель Денав... Зайдите ко мне, пожалуйста, на минутку...

— Что, мосье Кальмар?

Он сурово посмотрел на нее.

— Это письмо я диктовал вам вчера в конце дня? Скажите... Разве это мой текст...

— Видите ли...

— Вы ничего не изменили?

— Простите меня, мосье Кальмар... Мне показалось, что вы очень устали... Вы употребили одно слово вместо другого, и я позволила себе исправить...

— А, может быть, я имел в виду именно это слово?

Она опустила голову, будто собираясь заплакать.

— Впредь, пожалуйста, так не поступайте и не делайте скороспелых выводов... Я чувствую себя прекрасно, мадемуазель Денав, слышите, прекрасно... Гораздо лучше, чем думают некоторые...

Жюстен был неправ. Не стоило восстанавливать против себя эту бедную девушку, которая лишь хотела оберечь его, не стоило повторять историю с Мимуном. Но, с другой стороны, почему все считают, что его нужно оберегать? И от чего? От кого?

Наоборот, у него все стало налаживаться. Теперь, когда непосредственная опасность, казалось, миновала, он стал оставлять чемоданчик в хранилище на два, а то и на три срока, своевременно опуская монетку в щель автомата.

Жюстен нашел еще два киоска, где продавалась «Трибюн де Лозанн», причем один из них — на площади Звезды, так что теперь ему не надо было разъезжать за ней по всему городу. Однако, купив газету, он по-прежнему заходил в кафе или в бар и сразу отправлялся в туалет, чтобы ее просмотреть.

О человеке из Симплонского туннеля больше не упоминалось. Видимо, швейцарская полиция не придавала этому происшествию никакого значения. Только бы это действительно было так. Ведь бывает, что полиция умалчивает о каком-нибудь деле, потому что оно имеет чрезвычайное значение и лучше не привлекать к нему внимания! А иногда молчание может быть связано и с политическими мотивами.

Не упоминалось больше и об Арлетте Штауб. Словно в то воскресенье 19 августа в Швейцарии ничего не происходило, кроме народных празднеств да автомобильных катастроф.

Однако Кальмар продолжал держаться настороже. Ему припомнился случай, о котором несколько лет назад долго кричали газеты, а фамилия одного из участников напоминала название станции, связанной с его делом — если только это можно назвать делом,— Бригс или Брикс...

В газетах говорилось об одном солидном предприятии, которое обслуживало крупные индустриальные фирмы и банки, перевозя принадлежащие им ценности по всем Соединенным Штатам в бронированных грузовиках, в сопровождении частной полиции.

И вот группа бандитов в Бостоне в течение нескольких месяцев изучала маршруты, которые совершали бронированные машины местного филиала этой фирмы, и установили, что ежедневно, перед отправкой, крупные суммы денег лежат несколько часов в здании филиала.

Правда, речь шла о настоящей крепости. Они более года готовили ограбление, которое тогда было признано самым смелым и самым крупным за последнее столетие.

Деталей Жюстен не помнил. Так или иначе, четыре или пять человек завладели пятью-шестью сотнями тысяч долларов, не оставив ни малейшего следа.

Потом долгие годы полиция исподволь вела следствие. Под подозрение было взято несколько человек, посещавших один из баров в нижней части города, и день за днем за ними велась слежка.

Но ни один из них не разменял ни одного доллара, в котором не мог бы отчитаться. Ни один не выдал себя какой-нибудь крупной тратой.

Всем банкам, всем большим магазинам были сообщены номера купюр. Прошло около десяти лет, но ни одна из них не попала в обращение ни в Америке, ни за границей.

Через несколько недель истекал срок давности: по американским законам, если преступление совершено без кровопролития, через десять лет преследование по делу прекращается.

И вот тогда-то один провинциальный банк сообщил, что к ним поступила купюра указанной серии достоинством в десять долларов. Через торговца, сдавшего банкнот, удалось напасть на след одного из преступников, и всего за пять дней до истечения срока вся банда была арестована.

Выяснилось, что пятеро мужчин, проявив невероятную стойкость, долгие годы жили в нужде, хотя каждый обладал состоянием, зарытым — если Кальмару не изменила память — на кладбище.

Но один из них в последнюю минуту не выдержал. У него не то заболела жена, не то малыш, и он, дождавшись ночи, взял из тайника несколько купюр.

Нельзя забывать об этой истории! Правда, Кальмар не был злоумышленником. Он ничего не крал. И не сталкивал человека с поезда в Симплонском туннеле, не душил маникюршу голубым шелковым шарфом в ту минуту, когда она одевалась, чтобы выйти из дому.

Чистый случай вложил ему в руки состояние, которое никому не принадлежало. И чем больше он об этом думал, тем оптимистичнее становились его выводы.

Несомненно, незнакомец, ехавший с Кальмаром в поезде, выбрал его не случайно. Иначе почему бы он почти всю дорогу с такой настойчивостью расспрашивал его о нем самом, о его близких, работе, вкусах, привычках?

Жюстен потом даже упрекал себя за то, что был слишком болтлив, что позволил столько выведать и так охотно рассказывал о себе, не проявив при этом сам ни малейшего любопытства.

Теперь-то ясно, что такого подробного допроса вовсе не требовалось, если бы поручение оказалось столь простым, как это поначалу показалось Кальмару, то есть таким (он еще подумал об этом в Лозанне), которое можно было доверить первому попавшемуся рассыльному. С таким делом мог бы, например, справиться любой из вокзальных носильщиков.

А поскольку его попутчик уклонялся от разговоров о самолете, на котором должен был лететь, не значило ли это, что самолет был только отговоркой?

Следовательно, он либо уже тогда задумал воспользоваться темнотой в туннеле, чтобы покончить с собой, либо знал, что подвергается опасности, и предвидел, что может не доехать до места назначения?

И почему вдруг, если только не было крайней нужды, он отправился в туалет именно в тот момент, когда поезд шел по одному из самых длинных в Европе туннелей? Ведь он ни разу не выходил из купе от Венеции до Милана и от Милана до Домодоссолы.

А может быть, у него было какое-нибудь таинственное свидание в конце коридора или в другом купе? И все же версия о самоубийстве казалась более правдоподобной. Не подтверждалась ли она тем, что труп не смогли опознать? Не постарался ли незнакомец, прежде чем прыгнуть, уничтожить все бумаги и паспорт, который Жюстен видел у него на итальянской границе?

И если он выбрал Жюстена, хотя пассажиров в поезде было достаточно, значит, понимал, что поручение было не такое уж простое, как это казалось на первый взгляд.

Предвидел ли он возможность смерти Арлетты Штауб? И если да, то не стремился ли избежать шумихи, дабы не впутать в это дело других лиц, что вполне могло случиться, если бы Кальмар, как дурак, отнес эти полтора миллиона в полицию и обо всем рассказал?

Словом, версия о самоубийстве вполне устраивала Кальмара. Он постепенно ее оттачивал, и с каждым днем она становилась все правдоподобней, пополнялась всяческими подробностями. Так, например, в какой-то момент, перед тем, как вручить Кальмару ключ, пассажир якобы сказал, глядя ему в глаза: «Я знаю, вы порядочный человек, мосье...»

Почему так не могло быть в действительности? Это становилось действительностью.

И действительно так было. Ведь из-за грохота поезда и шума ветра, колыхавшего штору, они не расслышали многих фраз. Теперь Кальмар был почти уверен, что незнакомец произнес эту фразу.

Впрочем, это уже не имело значения. Самый сложный вопрос был решен. Кальмар убедил себя раз и навсегда, что ни в чем не виновен, и больше об этом не думал.

И все-таки остались заботы, от которых не так-то легко было избавиться. Например, в воскресенье, когда они по обыкновению ехали в Пуасси, жена, сидевшая в машине рядом с ним, сначала обратила внимание на то, что уже желтеют листья. Затем, когда они проехали еще несколько сот метров, вздохнула:

— Жизнь нынче еще больше вздорожала... Просто ужасно!

Он не ответил, фраза ответа не требовала, и он знал, что продолжение не замедлит последовать.

— Вчера я была на авеню Ваграм и остановилась возле магазина, где раньше были вполне доступные цены. В витрине выставлен очень скромный костюмчик цвета опавших листьев. Он очень бы мне пошел. Немного напоминает костюм, какие продают у «Шанель». Кстати, в том самом магазине я купила себе в прошлом году зеленое шерстяное платьице... Вхожу, спрашиваю, сколько стоит... Угадай...

— Ну откуда же мне знать...

— Триста двадцать девять франков!.. Триста двадцать девять франков за костюмчик, который видишь на каждом шагу...

— Ты не купила?

— Да ты с ума сошел? Ты понимаешь, что говоришь?

— Я считаю, что если он тебе нравится, то ты зря... Завтра же купи его...

Триста с чем-то франков! Что значит такая сумма для обладателя более полутора миллионов?

— О чем ты только думаешь! Можно подумать, что ты не знаешь цену деньгам? Ты что, забыл, что скоро надо покупать детям всю зимнюю одежду — просто с ума сойти, как они растут...

Ему вдруг стало жаль ее, жаль их всех. Долгие годы он жил, не отдавая себе отчета в том, сколь скромным был уровень их жизни. В детстве, конечно, ему хотелось иметь кучу вещей, но они были недоступны для него, особенно после смерти отца. Даже мороженое ему покупали только по воскресеньям и большим праздникам.

Он всегда носил обувь грубее, чем у большинства товарищей по коллежу, так как ему покупали то, что попрочней. На новый костюм он имел право только раз в год, на новое пальто — раз в два года, даже если он из них вырастал.

Первое время после женитьбы они жили очень стесненно, особенно в последние дни месяца, и можно по пальцам пересчитать, сколько раз они завтракали или обедали у Этьена — в более чем скромном ресторане.

Жюстен предпочитал об этом не думать, делая вид, что не замечает, но был почти уверен, что в иные месяцы, 25 или 26 числа, его жене приходилось брать в долг у родителей, чтобы «свести концы с концами».

И вот теперь после тринадцати лет семейной жизни бедняжке Доминике приходилось отказывать себе в каком-то костюмчике, которым, наверно, она долго любовалась в витрине, прежде чем решилась войти в магазин и спросить цену. И, должно быть, смущенно пробормотала:

— Я зайду потом вместе с мужем...

А Жозе, которая покаялась ему в том, что потребовала новый свитер, тогда как не испытывала в нем крайней необходимости, и считала, что этим увеличивает его заботы и усталость...

— О чем ты задумался, Жюстен?

— Ни о чем... Просто смотрю на идущую впереди машину и думаю, обгонит ли она фургон...

— Как поживает Боб?

— Прекрасно, как всегда.

— Завел себе новую подружку?

— Понятия не имею. Ведь ты прекрасно знаешь, что после твоего возвращения я с ним нигде не был.

— Но ты мог ее увидеть, выходя из конторы.

— Ты полагаешь, что она ждет его на тротуаре, как мамаша своих детей у школы?

— Нет, но когда вы идете с ним выпить аперитив...

Сигнал тревоги сработал.

— С чего ты это взяла?

Кальмар старался выиграть время, собраться с мыслями.

— А разве по дороге домой ты иной раз не заглядываешь куда-нибудь выпить?

Несомненно, она учуяла запах. И в самом деле, всякий раз, когда Жюстен отправлялся читать «Трибюн де Лозанн», он пил аперитив.

— Изредка случается, но не обязательно в компании с Бобом...

Не нужно было называть общих знакомых, которых она часто встречала. Правда, иногда они проводили вечер с Бобом, но не часто, и лишнего наговаривать не стоит.

«Я на вас сержусь, Боб. Вы развращаете моего мужа...»

(Само собой разумеется, с тех пор, как она вышла замуж за Кальмара, она уже не говорила Бобу «ты».)

«Я, Доминика?»

(Прожив с ней два-три месяца, Боб, конечно, не называл ее «мадам».)

«Ну, конечно, вы каждый день вместе пьете аперитив...»

Опасно! Теперь все становилось опасным, даже запах спиртного!

— Ты забыла, что в кабинете у Шаллана есть бар и в те дни, когда у него хорошее настроение, он угощает нас вместо клиентов...

— Видно, у него последнее время часто бывает хорошее настроение. Должно быть, отпуск принес ему больше пользы, чем тебе... Кстати, где он отдыхал?

— В Сен-Валери-ан-Ко. Там у него маленькая яхта, и он проводит большую часть времени в море.

— Вместе с женой?

— Этого он мне не говорил...

— Я успею прокатиться верхом до завтрака, папа?

— Да, дорогая...

Еще немного потерпеть — он сможет пойти спать в какой-нибудь комнате над рестораном. И на том спасибо.

Глава вторая

Прошло несколько тоскливых, мучительных недель. Иногда на работе или дома за столом Кальмар вдруг чувствовал, как его прошибает холодный пот, как напрягаются нервы, как внезапно перехватывает дыхание. В эти минуты любой направленный на него взгляд казался ему невыносимым.

Мало-помалу ему удалось себя убедить, что деньги перешли в его собственность, что получил он их на законном основании и было бы несправедливо, чудовищно глупо не воспользоваться ими. Ну, почему бы не купить себе какой-нибудь вещицы, о которой он мечтал годами, или не сделать подарка жене и детям?

А иногда он даже начинал волноваться: не исчезли ли деньги из чемоданчика.

Ключ от автомата, который он менял каждые пять дней, перенося чемоданчик с вокзала на вокзал, лежал у него в кармане, и он вечно опасался, как бы Доминика не спросила, от чего этот ключ.

Поскольку по истечении установленного срока служитель должен открыть автомат и отнести содержимое в камеру хранения, значит, у него есть дубликат ключа. Разве не мог какой-нибудь служащий, встречавший Жюльена в своем отсеке и видевший, как он отпирает гнездо, поинтересоваться...

Едва ли. Не может этого быть, но после того, что произошло в Лозанне, Кальмар готов был поверить самому нелепому предположению.

Он не мечтал о богатстве. Ему и в голову не приходило что-нибудь изменить в своей жизни, оставить службу у мосье Боделена, снять другую квартиру, отправиться бездельничать на Лазурный берег или купить дом в деревне.

Если бы он и отказался от привычного распорядка жизни, вырвался из привычной обстановки, то почувствовал бы себя выбитым из колеи.

Ему хотелось только одного: удовлетворить самые скромные свои желания, самые скромные, с детства питаемые мечты. Например, купить себе такой перочинный ножик, какой он видел когда-то, еще школьником, в лавочке у папаши Каша, оружейника из Жьена. Или время от времени делать небольшие подарки жене, детям.

По воскресеньям — если семейство Кальмара не ехало в Пуасси — они отправлялись на прогулку посмотреть на витрины и, затерявшись в толпе, бродили по Елисейским Полям, авеню Матиньон или улице Фобур-Сент-Онорэ.

— Смотри, папа...

Какая-то безделушка в несколько франков, тем не менее мать тащит девочку дальше.

— На что она тебе? Если покупать все, что тебе захочется...

А разве у самой Доминики не загорались глаза при виде какой-нибудь сумочки или шелкового платка в витрине «Гермеса» или в другом магазине?

Как раз такие мелочи и доставили бы им самое большое удовольствие, и он с наслаждением бы покупал их — без долгих споров, без мучительных колебаний, предшествовавших каждой покупке. Войти в магазин. Выбрать, что тебе хочется, не спрашивая о цене...

Все чаще он вспоминал грабителей из Бостона и в конце концов стал ими восхищаться, считая, что их несправедливо посадили за решетку по меньшей мере на пятнадцать лет, тогда как они не притронулись ни к одному банкноту, не доставили себе ни малейшего удовольствия и никогда уже не смогут это сделать.

А тот бедняга, их сообщник, который не удержался и, потеряв голову, предал их за неделю до истечения срока давности. Уж очень велик был соблазн почувствовать себя богатым человеком...

Но в октябре и у Жюстена не хватило выдержки. Он отправился во второй или в третий раз на вокзал Сен-Лазар, прошел со своим чемоданчиком в туалет и, запершись, открыл его как бы для того, чтобы удостовериться, не положил ли кто вместо его богатства старые газеты.

Деньги были целы. Вынув бумажку в пятьдесят фунтов, Жюстен попытался придумать для этого оправдание — такое оправдание необходимо было ему для себя самого.

Американские купюры были подлинные, он это проверил,— во всяком случае, та, что он разменял в банке на Итальянском бульваре. А английские?

Он отправился в другой банк. Кассир, проделав ту же операцию, вручил ему, не глядя, французские деньги.

Растерявшись, Кальмар не знал, куда их девать. Не знал, что с ними делать. Наконец он зашел в один из баров на улице Марбеф, куда раньше и ногой не ступал, и, усевшись на высокий табурет, осушил в одиночестве полбутылки лучшего шампанского.

Однако никакого удовольствия это ему не доставило. У него остались еще деньги даже после того, как он положил стофранковый билет в шапку слепого... То-то удивится нищий, когда обнаружит такой дар...

Нет, надо найти какой-то выход. Это становилось жизненно необходимым. Кальмар сознавал, что нервы у него сдают, страх охватывает его все чаще, и люди начинают приглядываться к нему.

Несколько дней он подумывал, не сделать ли вид, будто он выиграл в национальной лотерее, взвесил все «за» и «против», пытаясь предусмотреть все препятствия, все опасности. И вот в начале ноября он решил, наконец, что нашел выход.

Он подождал еще около двух недель. И вот, однажды вечером, в понедельник, он вернулся домой, нагруженный пакетами, с деланно сияющим лицом, несмотря на терзавший его страх.

— Что с тобой, Жюстен? Уж не решил ли ты, что сегодня рождество?

— Терпение, дети мои...

— Что это, папа?

Сначала подарок для Биба — автомобиль, которым можно управлять как угодно с помощью ручки, соединенной с машиной тонким проводом.

— Неужели это мне, папа?

Доминика недоверчиво и встревоженно смотрела на него.

— А мне что, папа?

Для Жозе — портфель, какой она просила уже два года. С первого класса она ходила с одним и тем же, не знавшим износа портфелем, который от времени стал серым и жестким.

Для Доминики он выбрал брошку, которой она как-то любовалась в витрине магазина на Елисейских Полях.

— Ты не находишь, что она очень подошла бы к моему голубому костюму? — заметила она тогда.

А себе Жюстен купил вожделенный перочинный нож с шестью лезвиями, отверткой, штопором и настоящей пилой. Ручка у ножа была из оленьего рога, точно такая, какой он восхищался в детстве на витрине оружейника.

— Вот вам, дети мои!.. Скажите спасибо лошадкам!..

— Лошадкам? — переспросила Доминика, не смея радоваться.

— Очень просто. Один наш клиент сказал мне в субботу утром, что у него есть точные сведения о фаворитах на скачках. Его зять там не то жокей, не то тренер, точно не знаю. Он спросил, согласен ли я рискнуть пятью франками, и я дал ему деньги, чтобы он поставил за меня. Я ведь ничего не понимаю в скачках. Даже не знал, на каких лошадей он собирался ставить... Представляешь мое удивление, когда сегодня днем приносит он мне более шестисот франков и заявляет, что мы выиграли... А поставь мы на тех же лошадей с указанием порядка прихода их к финишу, мы могли бы выиграть более двенадцати тысяч...

Доминика немного смягчилась, но была по-прежнему задумчива.

— Я слышал, что те, кто играют впервые, почти всегда выигрывают...

Жозе уже набивала свой новый портфель учебниками и тетрадями, а Биб пыхтел, стараясь запустить свой автомобиль.

— Папа, машина идет все время назад.

— Сейчас покажу, как надо...

Это заняло несколько минут.

— Надеюсь, Жюстен, ты не пристрастишься к скачкам?.. Видишь ли, я еще в детстве столько о них наслышалась...

Он знал историю, ставшую семейной легендой Лаво. Дедушка Доминики был владельцем первоклассного ресторана на улице Пти-Шан,

в котором бывали известные журналисты, писатели, высший свет. В течение долгих лет ресторан считался модным, и многие финансисты, в жакетах и серых цилиндрах, по пути с биржи на ипподром заходили туда позавтракать.

— Сначала он играл от случая к случаю, ставил гроши, да и то лишь, когда ему подсказывали, на кого ставить... Потом захотел видеть, как бегут лошадки, и стал почти каждый день уходить из ресторана, оставляя все хозяйство на шеф-повара. Кажется, сначала дедушка крупно выигрывал. Шла даже речь о том, чтобы переоборудовать ресторан, на чем он, правда, только бы пострадал. Увы! До этого не дошло. Деньги улетучились... Три года спустя мой дед был уже только метрдотелем в своем бывшем ресторане, который перешел теперь к одному из служащих... А мой отец, получи он, как положено, ресторан по наследству, не был бы вынужден в четырнадцать лет поступать в «Вейлер» рассыльным.

Жюстен, принужденно улыбнувшись, попытался сострить:

— Тогда бы он не познакомился с твоей матерью...

Его теща работала гардеробщицей в том же заведении.

— Мой дед,— продолжала Доминика,— кончил жизнь в нищете: каждую неделю он обходил своих детей, чтобы выклянчить у них немного денег... Он и умер на бегах в Сен-Клу, как говорят, от разрыва сердца, но я почти уверена, что от недоедания...

Кальмару приходилось действовать ловко и осторожно. Надо будет выбрать в следующий раз то, что особенно прельщало Доминику. Он попытался восстановить в памяти отдельные фразы, которые случайно роняют женщины в разговоре, вспоминал витрины, перед которыми жена особенно любила останавливаться.

Жюстен выждал две недели. Придя домой в понедельник, он ничего не сказал, но постарался придать лицу веселое выражение.

— Ты снова играл, Жюстен?

— Т-с-с! — таинственно пробормотал он, косясь на детей.

И позднее, уже в постели, пояснил:

— Зря я в прошлый раз рассказывал при них, как мне достались эти деньги. Хоть я и не считаю этот способ заработка аморальным, но лучше, чтобы они не слышали о деньгах, добытых с такой легкостью.

— Ты опять выиграл?

— Немного.

— Сколько?

— Достаточно для того, чтобы доставить тебе завтра приятный сюрприз.

Так, мало-помалу, он выдумывал себе порок, создавал порок-алиби, как он это называл.

— Кажется, я предпочла бы обходиться без сюрпризов.

— Послушай, Доминика, неужели ты считаешь нормальным упустить деньги, которые сами идут тебе в руки, деньги, которые никому не принадлежат, деньги вполне законные?

— Я тебе не раз говорила, что я думаю о скачках.

— А разве ты никогда не покупаешь билеты национальной лотереи?

Он нашел подходящий аргумент. Почти еженедельно, отправляясь за покупками, Доминика приобретала лотерейный билет и смотрела потом по телевизору таблицу выигрышей, держа этот билет в руках.

— Я ничего не выигрывала.

— Как же. А тысячу старых франков четыре года назад?..

— После того, как за несколько лет накупила билетов больше, чем на тысячу...

— А если бы ты выиграла сто миллионов?

— Такое бывает только во сне...

— Однако каждую неделю кто-нибудь выигрывает такую сумму по национальной лотерее, не говоря уже о других лотереях.

Но до поездки в Венецию он и сам рассуждал так же, как Доминика.

На этот раз он подарил ей машину для мытья посуды. От радости у нее на глазах выступили слезы.

— Я знал, что ты это хотела. Ведь не секрет, что каждый вечер из-за мытья посуды ты опаздываешь на восьмичасовую телевизионную передачу. Отныне мы будем смотреть ее вместе.

Они укладывали детей в постель незадолго до восьми часов — это было на обязанности Жюстена — и проводили большую часть вечера у телевизора.

— Как мило, что ты подумал об этом... Но ты не будешь больше играть, дай слово! Сколько ты поставил?

— Как всегда, пять франков...

— А на прошлой неделе ты не играл?

— Проиграл пять франков. Тем не менее за три недели у меня получилось тысяча триста франков чистой прибыли.

— Твои коллеги знают об этом?

— Мой клиент не хочет, чтобы я об этом рассказывал. Ведь если узнают другие, появится конкуренция.

— Кто он такой?

— Я тебе о нем никогда не говорил, некий Лефер...

Так, за какую-то секунду он придумал имя человеку, который в его рассказах мало-помалу обретал жизнь.

— Чем он занимается?

— Закупает товары для спортивной секции большого парижского универмага... Крупное предприятие... Если какой-нибудь товар хорошо расходится, значит, ему предрешен сбыт во всей Франции.

— Почему же он имеет дело с тобой, а не с Шалланом? Ведь ты, кажется, занимаешься только закупками за границей...

Опять пришлось импровизировать. Да еще рискуя допустить промах, произнести фразу или слово, которые нельзя произносить, которые могут повлечь за собой другие вопросы, а на них, быть может, не удастся ответить так, чтобы все выглядело правдоподобно.

— В первый раз, когда Лефер пришел к нам на авеню де Нейи, он искал новинки для английского универмага, на который он тоже работает. Естественно, что его направили ко мне. Тогда он стал ко мне обращаться и дальше. Конечно, Шаллан от этого не в восторге...

— Ты восстановил его против себя?

— Совсем нет. Все образовалось. Время от времени я его привожу.

— Лефера или Шаллана?

— Конечно, Лефера... Если ты будешь все время меня перебивать, я никогда не кончу... Итак, я сказал, что время от времени я привожу Лефера в кабинет к Шаллану, более внушительный, чем мой... Ну, а этот напыщенный дурак счастлив, что может похвастать своим баром, предложить аперитив. Он ведет себя с Лефером так, будто это его клиент, а я — только случайный посредник, который освобождает его от некоторых забот...

Да, получалось уж очень сложно. И Кальмар понимал, что дальше будет еще сложнее, что он должен быть всегда начеку и поступать, а особенно говорить, с крайней осторожностью.

Настроение у него опять испортилось. Первые покупки порадовали его — ему даже казалось, что он разорвал некий заколдованный круг, в котором долгое время был заключен.

Конечно, он мог иметь теперь небольшие карманные деньги, в которых никому не надо было отчитываться. И если бы пришлось объяс-

нить, почему от него попахивает алкоголем — а теперь Кальмар пил аперитив регулярно утром и вечером,— к его услугам был Лефер.

Поскольку он не мог посещать кафе, которое находилось рядом с его работой, из опасения быть замеченным сослуживцами, как не мог оставлять машину на Елисейских Полях, Кальмар наметил для себя такие маршруты, чтобы можно было ненадолго оставить машину на одной из малолюдных улиц.

Он заходил в бар, заказывал аперитив, мгновенно выпивал его и нередко делал хозяину или гарсону знак «повторить».

Это преисполняло его лихорадочным возбуждением, ощущением опасности, возможности катастрофы, как во время преподавания в лицее, когда, начиная урок, он искал глазами Мимуна и спрашивал себя, какая стычка ему предстоит.

Он менял бары почти ежедневно, боясь, как бы его лицо не примелькалось в каком-нибудь заведении, как бы его не сочли завсегдатаем.

В один субботний вечер он демонстративно открыл газету на той странице, где печатались сведения о скачках, и, когда комментатор по телевидению заговорил о шансах на следующий день, Кальмар вытащил из кармана карандаш и стал записывать на полях.

— Что ты делаешь, Жюстен?

Он готовил почву на будущее. Ведь не мог же Лефер являться каждую неделю на авеню де Нейи. С другой стороны, Жюстен был с ним не настолько близок, чтобы получать у него сведения по телефону.

Ему совсем не нужны были крупные суммы. Он только испытывал необходимость в карманных деньгах, в даровых деньгах, как он их мысленно называл. Это помогало ему даже при общении с коллегами. Так, например, когда Шаллан начинал важничать, как собака на выставке, Кальмар с полным основанием говорил себе:

«Можешь пыжиться сколько угодно, старина. Я знаю, что ты — главный директор, что твой кабинет шикарнее моего, что ты имеешь право под любым предлогом отлучаться с работы, что ты купил себе шикарную квартиру в новом районе, близ Сен-Клу, где в распоряжении жильцов имеются бассейн и четыре теннисные площадки... Ты зарабатываешь вдвое больше меня, и твой сын поступил в прошлом году в Политехнический институт. Однако, несмотря на все это, ты еле-еле сводишь концы с концами. Уверен, что у тебя есть долги и что ты не слишком-то аккуратно платишь своему знаменитому портному.

А вот я — богат. Я могу выйти из конторы, купить гаванские сигары, сделать одну затяжку и раздавить сигару каблуком. Денег у меня куры не клюют. Так много, что я не знаю, куда их деть, и главная моя забота — как их истратить... Я богат, понимаешь, богат!»

Не будь Жюстен суеверным, он бы добавил:

«Лопнуть можно от такого богатства!»

Доминика, вздохнув, прошептала:

— Ты больше не встречался с Лефером?

— Он уже сделал все заказы и теперь появится не раньше, чем через несколько недель.

— И тем не менее ты собираешься играть на скачках?

— Завтра утром поставлю пять франков.

— Ты ставишь на лошадей, которых называли по телевидению как возможных победителей?

— Нет. Я просматриваю газеты и делаю пометки. А завтра утром буду действовать по наитию.

— Значит, мы не поедем в Пуасси?

— Ты не находишь, что это начинает надоедать? Летом я ничего не имею против. В хорошую погоду дети могут поиграть на воздухе. Но

в ноябре — сидеть всем вместе за столом и ждать, не заглянет ли какой-нибудь посетитель...

— Ты меня тревожишь, Жюстен... Не знаю, что с тобой происходит, но с тех пор, как мы вернулись из Италии, тебя словно подменили... Вначале я думала, уж не болен ли ты и не пытаешься ли от меня это скрыть...

— Бьюсь об заклад, что ты звонила доктору Боссону.

— Да. И он спросил меня, какой у тебя аппетит, хорошо ли ты спишь и тому подобное. Потом сказал, что, если так будет продолжаться, он зайдет и осмотрит тебя... Ты уверен, что здоров?

— Конечно! Никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал.

Кальмар решил прибегнуть к одной нехитрой уловке: стал покупать хлорофилловое драже, от которого быстро исчезал запах алкоголя. Только приносить драже домой было довольно опасно, так как Доминика, когда чистила его одежду, частенько выворачивала карманы.

Сначала, по наивности, Кальмар покупал ежедневно по пакетику драже в разных аптеках, а остатки к концу дня выбрасывал. Затем ему в голову пришло простое решение, в последнее время он стал так усложнять самые простые вещи. Ведь пакет с драже можно держать в ящике письменного стола. Если кто-нибудь обратит на это внимание, он скажет, что принимает драже от изжоги.

— Я только прошу тебя, Жюстен, впредь не говорить о лошадях при детях.

— Разумеется!.. Кстати, завтра утром я отнесу свою ставку в одно из ближайших кафе под предлогом какого-нибудь дела.

— Жозе будет очень огорчена.

— Но не могу же я ее взять с собой.

— Ты бы мог не играть.

— А не кажется тебе, дорогая, что у меня и так не слишком много развлечений? Неужели ты предпочла бы, чтобы твой муж бегал за женщинами или каждый вечер ходил в кафе играть с друзьями в бридж или на биллиарде?. День-деньской я работаю... А затем, самое большое для меня удовольствие — проводить время с тобой и детьми... Тебе не кажется, что можно простить мне такую маленькую слабость?

— Я просто не понимаю...

— Чего?

— Почему ты вдруг пристрастился играть на скачках.

— Потому что выигрываю...

— А когда проиграешь?

— Я потеряю только пять франков в неделю, стоимость двух пачек сигарет, которые я курю.

— Пожалуй, ты прав... Я знаю... Просто я думала, что ты сильнее...

Он добился своего: теперь его считали слабым.

■

Боб сидел на краю стола, без пиджака, в рубашке с засученными рукавами, с сигаретой, прилипшей к нижней губе. Придя на работу, он, как художник, сразу же снимал пиджак и оставался летом — в тенниске, зимой — в шерстяной рубашке с накладными карманами.

— Ты начинаешь меня серьезно беспокоить, старина Жюстен... Конечно, ты можешь сказать, что я вмешиваюсь не в свое дело, но при моих дружеских отношениях к вам обоим...

— К кому?

— И к Доминике, и к тебе. Она еще ничего не знает?

Тут Кальмар не на шутку испугался.

— Что ты хочешь сказать?

— Послушай, идиот! Ведь твоя жена не наивнее меня, а я уже давно догадался. Кто она?

Жюстен все еще ничего не понимал.

— Могу даже сказать тебе, когда это началось. Я должен был бы сразу сообразить. Но это на тебя так не похоже, что все передумал, а до этого не додумался... Ты, видно, познакомился с ней, когда твоя жена и дети были в Венеции, а ты жил один в Париже... Или же — что вполне возможно — вы встретились в поезде... Ну, что, угадал? Ты с ней познакомился в поезде?.. То-то ты был таким странным, когда вернулся!

Кальмар молчал, пытаясь сообразить, взвесить все «за» и «против».

— Признаешься?

— Мне не в чем признаваться.

— Однако и не отрицаешь?

— Что я могу тебе сказать?..

— Если бы ты стал советоваться со мной, я сказал бы, что это слишком заметно. Смотри сам: раньше ты никогда первым не уходил с работы, а наоборот, задерживался дольше других, теперь же ты убегаешь, даже не простившись с товарищами, а зачастую под тем или иным предлогом уходишь раньше времени. То же происходит и во время обеда. Раньше ты болтал со мной на улице, спрашивал, приехал я на машине или пришел пешком... Что ты сказал?

— Ничего. Я слушаю.

— Затем ты так часто стал менять галстуки. Пристрастился к аперитиву. Брось! Не отрицай! От тебя несет алкоголем... Такого неисправимого пьяницу, как я, не проведешь. Я сразу распознаю человека, пропустившего две-три рюмки...

— Я никогда не пью трех рюмок...

— Ладно. Допустим, что на тебя так действуют две... А потом ты сосешь хлорофилловое драже, чтобы скрыть от жены...

— Ты рылся в моих ящиках?

— В этом не было нужды. Я просто видел, как ты совал их в рот, и почувствовал запах... Наконец, твой клетчатый пиджак!

Жюстен невольно заулыбался. Этот пиджак из настоящего шотландского твида был самым дорогим подарком, который он себе позволил. Кальмар мечтал о таком долгие годы, с самой юности. Когда он был преподавателем лицея, ему приходилось одеваться скромно, да и здесь Кальмар, как и большинство его коллег, исключая Боба, считал необходимым носить костюмы серых или синих тонов. Когда он явился домой в этом пиджаке, Доминика воскликнула:

— Неужели ты пойдешь в нем на службу?

— А почему бы и нет?

— В таком костюме не принимают клиентов...

— Я их и не принимаю...

— А Лефер? А другие, о которых ты мне говорил?

— Это не мои клиенты. Они приходят ко мне за советом. Им и в голову не придет, что я должен быть одет, как кассир в банке или администратор отеля. Кстати, коль ты уже заговорила о Лефере, он всегда носит пиджаки из твида...

Ткань, с виду грубая, была на самом деле очень мягкой. Такие пиджаки, с темно-серыми брюками, носят американские киноактеры, когда изображают настоящего мужчину, которого вокруг пальца не обведешь, человека храброго и независимого, спокойного и уверенного в себе.

— Скажи же мне, кто она? Одна из наших девушек? Мадлен?

Кальмар покачал головой.

— Ольга?

— Нет.

— Она работает здесь?

— Нет. Не приставай ко мне!

— Постой, постой! Уж не бедняжка ли Валери, которая сразу вскакивает с места, когда ты вызываешь стенографистку...

— Нет. Это не мадемуазель Денав.

— Ну, я в этом не так уж уверен. Во всяком случае, старина, советую тебе поразмыслить. Доминика тебя обожает. Она славная женщина и очень доверяет тебе. Если в один прекрасный день она узнает, что у тебя есть связь...

С ума сойти: Боб читает ему нотацию, защищая интересы Доминики, которая, прежде чем стать мадам Кальмар, была его любовницей!

— Не бойся. Я достаточно взрослый и умею себя вести.

— Как раз такой, как ты, и может влипнуть. Вот я — другое дело. У меня уже есть навыки. Женщины знают заранее, что со мной ничего серьезного не выйдет, несколько недель — и все, и бесполезно вешаться мне на шею. Ты же парень сентиментальный, и если попадется баба, которая вцепится в тебя, я не поручусь за дальнейшее...

— Но тебе и не придется за меня ручаться!

— Поступай как знаешь! Мое дело предупредить...

С этими словами Боб вышел из кабинета, а Кальмар даже потер руки от удовольствия, так его позабавила эта история.

Дома у него было алиби — скачки. Дома он был хорошим семьянином, внезапно охваченным страстью к игре, без которой он теперь не мог обойтись.

На работе же Боб, а скоро и все остальные будут считать его женатым человеком, отцом семейства, который стыдливо скрывает свою связь.

Тогда — пусть следят. И та, и другая сторона все его странности и перемены в настроении будут относить за счет одного из этих пороков.

Без особого желания, а лишь стремясь выдержать намеченную линию поведения, Жюстен отправлялся каждый день за «Трибюн де Лозанн» в один из четырех-пяти киосков, где, как он знал, продавали эту газету. Каково же было его удивление, когда однажды он прочитал на пятой странице:

Арестованы по обвинению в убийстве маникюрши.

Наши читатели, вероятно, помнят, что 20 августа текущего года молодая женщина, уроженка Цюриха, проживавшая в нашем городе, была найдена задушенной в своей квартире на улице Бюньон. По-видимому, преступление было совершено накануне.

Сегодня нам стало известно, что три дня назад сыскная полиция задержала одного выходца из Голландии для допроса по этому делу. Согласно последним данным, следователь Ла Паллю потребовал, чтобы его содержали в одиночной камере.

А как раз Кальмар стал приходить в себя, начал спокойно наслаждаться своими деньгами!

Что это за выходец из Голландии, и то, что он голландец, не свидетельствует ли о его принадлежности к международной гангстерской корпорации?

Человек, ехавший с ним в поезде, говорил с восточноевропейским акцентом и возвращался в то злополучное утро откуда-то из Белграда или Триеста.

Арлетта Штауб, если верить августовскому номеру «Трибюн», работала маникюршей в отелях, где останавливались иностранцы.

«А я — француз»,— хотелось ему добавить шутки ради.

«А теперь, дамы и господа, передаем спортивные новости... На велосипедных гонках...»

Дальше Кальмар не слушал. Он думал о голландце, о том, скажет ли он о чемоданчике и его содержимом и если да, то ведь и через несколько месяцев может быть обнаружено, что мужчина в кремовом костюме, с чемоданчиком в руке, приезжал в такси на улицу Бюньон, затем поспешно вернулся на вокзал и выпил залпом две порции виски.

«И в будущее воскресенье, первое воскресенье декабря, в Мезон-Лафит состоятся последние бега этого сезона... Мы поделимся своими предположениями, как обычно, в субботу, но уже сегодня можно сказать, что кобыла Майская Красавица, которая пришла второй в состязаниях в...»

Он ясно расслышал: последние бега в этом сезоне. Это значит, что теперь, в течение более или менее долгого времени, он не сможет ничего выигрывать?

Тоже скверно, так как он уже свыкся со своим положением игрока. В субботу вечером, во время передачи фильма или спектакля, он усердно делал пометки на странице газеты, где сообщалось о конских состязаниях, а в воскресенье утром уходил из дому один, почти всегда пешком.

— В каком агентстве ты получаешь свои выигрыши? — спросила Доминика.

— Я меняю агентства каждое воскресенье. Вот почему иногда я еду в машине, а иногда иду пешком. Если бы я ходил в одно и то же место, другие заметили бы, как мне везет, и начали бы ставить на тех же лошадей. Кроме того, лучше, чтобы о выигрыше никто не знал, а то еще дойдет до налогового инспектора.

— Ты думаешь, что о выигрышах нужно заявлять?

— Не знаю. Попробую осторожно разузнать об этом.

Еще один промах. Ведь Доминика была настолько щепетильна, что могла заставить его заявить о выигранных суммах, если это положено по закону.

Поскольку скачки были последними в сезоне, нужно сделать вид, что он сорвал большой куш, обеспечить себя на дальнейшее. В воскресенье, когда Кальмар вернулся домой, они отправились в Пуасси, где не были уже несколько недель. Днем, когда он, как обычно, дремал, в комнату вошла Доминика:

— Послушай, Жюстен, ты не можешь мне сказать, на каких лошадей ты ставил?

Он с усилием улыбнулся.

— Ни за что, дорогая. Нельзя задавать такой вопрос играющему на скачках. Мне кажется, что если бы я на него ответил, счастье отвернулось бы от меня. Во всяком случае, мне бы так казалось, и я отныне не смог бы выбирать лошадей, полагаясь только на свою интуицию.

— Ты ставил на Майскую Красавицу?

— Да... Это одна из фаворитов..

— И на Жерминаль?

— Кто тебе сказал про Жерминаль? Мне казалось, что ты никогда не читаешь в газете раздел скачек.

— А я и не читаю, но об этом только что сказали по радио. Ты ставил на нее?

— Может быть.

— А на Дьяволицу? Быстрее отвечай...

— Я тебе повторяю: может быть.

— Если ты ставил на этих лошадей и в этом порядке, ты выиграл бешеные деньги... Две тысячи семьсот с чем-то франков за один франк...

— Ничего удивительного.

— Посмотри быстрее...

— Ни к чему. Я на них ставил.

— Все-таки, прошу тебя, Жюстен, посмотри...

Она была в еще большем возбуждении, чем он. К счастью, у него в карманах всегда были билеты, а его жена не способна была разобраться в дырочках, которыми обозначали ставку.

— Ну, вот... Майская Красавица, Дьяволица, Жерминаль, Лусто и Гаргамель...

— Но ты перечислил пять... Потом ты поставил Дьяволицу на второе место...

— Ошибся... Клянусь, что я играл именно в таком порядке, а то, что я ставил на пятерых, ничего не меняет.

— Сколько же ты поставил?

— Десять франков...

— А я думала, что ты ставишь не больше пяти за раз.

— А сегодня поставил десять...

— Иначе говоря, ты выиграл больше двадцати тысяч франков?

— Совершенно верно... Послушай, дорогая, как только я получу деньги, знаешь, что ты сделаешь?

— Я так рада, и в то же время совесть не дает мне покоя. Как бы мне хотелось, чтобы эти деньги достались нам другим путем! Я не могу не думать о дедушке. Меня удивляет, что ты так спокоен...

— Может быть, потому, что я не настоящий игрок и не рискую плохо кончить. Итак, завтра или послезавтра ты пойдешь и купишь себе хорошую шубу...

— Ты с ума сошел!

— Я же не говорю — из норки...

И он добавил, с наигранным смешком:

— И не из шиншиллы... Я не знаю, что тебе нравится... Как-то ты говорила о леопарде...

— Это не для зимы... Кроме того, леопард очень броский... Это хорошо для женщины, у которой три или четыре шубы...

— Тогда какую же?

— Сказать тебе, о какой я мечтаю? Такая шуба, даже высшего качества, стоит не очень дорого... Из дикой кошки... Они снова в моде... Они очень легкие и скромные...

— Еще ты себе купишь костюм за триста тридцать девять франков на авеню Ваграм. А остальное...

— Остальные деньги, вернее, часть из них — ведь нужно подумать и о будущем,— мы истратим на ремонт квартиры Давно уже пора привести квартиру в порядок.

Впервые с тех пор, как они стали проводить воскресные дни в Пуасси, она, краснея, как девушка, закрыла дверь на задвижку и легла рядом с мужем.

— Ты не будешь больше играть? Обещаешь?

Глава третья

Кальмар купил себе новый костюм, новое пальто и новую шляпу, но это его нисколько не радовало, более того: ему почему-то стало стыдно, когда он во всем новом пришел на работу.

Чтобы избежать насмешек Боба, потешавшегося над его пиджаком в клетку, Кальмар заказал скромные, но очень дорогие вещи и, внутренне потешаясь, даже обратился к знаменитому портному Шаллана.

Когда он был подростком, ему приобретали все новое раз в год, на пасху,— только пальто покупалось на праздник всех святых.

Детям Кальмар купил новую одежду, и они — так же как радио и телевидение — только и говорили теперь что о рождестве. Впрочем, приближение праздника уже чувствовалось: во всех витринах были выставлены елки, через торговые улицы протянуты светящиеся гирлянды, а перед собором Парижской богоматери стояла гигантская ель, самая большая в мире, как утверждала пресса.

Доминика была в восторге от своей шубы из дикой кошки, и в этой шубе и в новой шляпке, которая очень шла к ее светлым волосам, молодая женщина выглядела еще более хрупкой и миловидной. В облике ее появилась какая-то нежность и мягкость, она напоминала щеголих со старинных гравюр, закутанных в меха и сидящих в санях, зябко засунув руки в муфту.

Но была ли она и в самом деле так нежна и мягка?

Конечно, она беспокоилась о здоровье мужа, тревожилась, когда видела, что он взвинчен или подавлен, а это теперь случалось с ним нередко, хотя он и сам не мог бы объяснить почему.

Это был уже не только страх перед тем, что лозаннская история может плохо кончиться. Мысль о банкнотах, лежавших в чемоданчике, отошла у него на задний план. Он уже по привычке каждые четыре-пять дней машинально переносил чемоданчик с одного вокзала на другой и, случалось, по ошибке отправлялся не на тот вокзал — вместо Лионского, где лежали его сокровища, ехал на Сен-Лазарский, а потом вдруг спохватывался.

Он пил ради того, чтобы пить, и, по мере того как приближались праздники, настроение у него становилось все более подавленным.

— Нет, дети мои, мы не можем ехать в горы. У вас есть каникулы, но ведь у взрослых их нет.

Биб продиктовал сестре длинный, на целую страницу, список подарков, которые ему хотелось бы получить к празднику, в том числе, конечно, и рыцарские доспехи, которые он видел в «романах с продолжениями», передававшихся по телевидению.

— Теперь, когда наш папа зарабатывает много денег...

Чтобы объяснить причину появления всех обновок, мать им как-то сказала:

— Ваш папа так хорошо работал, что патрон решил повысить ему жалованье.

— Мама, а что значит «повысить»?

— Теперь папа будет получать каждый месяц больше.

— Значит, мы скоро переедем на другую квартиру?

— Почему вдруг тебе это пришло в голову?

Биб, конечно, вспомнил разговор родителей, полагавших, что их никто не слышит. Они часто предавались мечтам о том, что, «когда будут богаты», купят домик в окрестностях Парижа или квартиру в новом доме, как у Шаллана.

А Жозе сказала отцу, отведя его в сторонку:

— Спасибо, папа, за все, что ты для нас делаешь, только я не хочу, чтобы ты сильно уставал.

Девочка замолчала, а потом со смущенным видом добавила:

— Не смейся, если я говорю глупости. Я всегда о чем-нибудь думаю и очень часто о тебе. Правда ли, что от усталости можно умереть?

— Кто это тебе сказал?

— Никто. Просто я часто слышу, как мама говорит, вздыхая: «Я умираю от усталости». А ведь у мамы не так много работы и не так много забот, как у тебя. Служить труднее, чем учиться в школе, верно? Но и в школе, особенно когда мы занимаемся арифметикой, я иногда так устаю, что даже хочется плакать, и я спрашиваю себя, не умру ли

я сейчас, вот положу голову на парту и умру... Скажи, так никогда не бывает?

— Успокойся, детка. Хоть мама вам так и говорит, когда вы вечером очень шумите, но у меня на работе не труднее, чем у вас в школе...

Погода была пасмурная. Часто шли дожди. Даже и в сухую погоду небо было белесое и ветер гнал по улицам пыль.

Кальмару было грустно — неизвестно почему, и он чаще обычного вспоминал о занятиях в лицее Карно, о жизни, которую тогда вел и которой положил конец какой-то Мимун.

Кем он стал, этот Мимун? Достиг ли он, как отец, высоких чинов и сделал политическую карьеру? Может быть, в один прекрасный день он станет министром? Что ж, вполне возможно, но мысль об этом почему-то огорчала Кальмара.

Было время, когда тайна, которой он вынужден был окружать свои поступки — ведь он не мог даже просто развернуть «Трибюн де Лозанн»,— возбуждала его. Но теперь он задумывался над тем, стоит ли так продолжать.

И еще он часто думал о том... Но эту мысль трудно выразить. Из всего огромного состояния, лежавшего в чемоданчике, купленном на бульваре Бомарше, он вытащил за все время только несколько купюр. А там лежало еще столько, что можно было купить десять домов в деревне или десять квартир, как у Шаллана. Вся семья могла бы жить на юге, а он мог бы ничего не делать, разве что заниматься рыбной ловлей.

Никогда, даже в детстве, он не ходил на рыбалку — может быть, из-за профессии отца и из-за того, что самого его звали Червяк.

И сейчас он испытывал даже не огорчение. А скорее усталость, меланхолию, которую он бы назвал «космической».

Он жил в городе, где было более пяти миллионов мужчин, женщин и детей. Четыре раза в день он вливался в поток машин, направлявшихся неизвестно куда. Каждый куда-то ехал. Куда-то спешил. Каждый работал, чтобы купить себе ту или иную вещь. По телевидению восхвалялись прелести зимнего спорта, путешествия по Средиземному морю и по другим не менее соблазнительным местам.

Но после поездки в Венецию мысль о Средиземном море вызывала в нем отвращение. Он никогда не занимался зимним спортом и не представлял себя на лыжах, ведь он бы падал каждые пять метров, к великой радости детей.

Он предпочитал сидеть у себя на квартире на улице Лежандр, хотя это была не совсем его квартира. Она была записана не на имя Кальмара, а на имя Лаво.

Доминика по отцу была Лаво и продолжала ею оставаться. Доказательство: ее страх, что он начнет играть на скачках, как играл ее дед, который с таким же успехом мог потерпеть крах из-за своей нерадивости.

Лаво не были интеллигентными людьми, и уж во всяком случае не был таким отец Доминики. У них были свои устои, семейные устои, которые не подлежали критике.

«Я... Мои дети... Я говорю...»

«Я... Я говорю...» Это было безапелляционно. Голос разума, жизненного опыта.

Кальмар содрогался при одной мысли, что надо ездить к ним каждое воскресенье и проводить у них рождество вместе с завсегдатаями заведения, совсем чужими ему, Кальмару, но близкими папаше Лаво.

Короче говоря, Кальмару надоело все это, и он часто думал о том, стоит ли надевать новый костюм и новое пальто,— он чувствовал себя в них как на маскараде.

И только мадемуазель Денав, самая уродливая из машинисток, смотрела на него с благоговением и не упускала ни малейшего повода, чтобы забежать к нему в кабинет.

Сначала она тоже была влюблена в Боба. Как и Доминика! Жюстен всегда удивлялся, чем это Боб так прельщает женщин.

Ведь и Кальмар когда-то был холостяком. Но у него было мало интрижек, чаще — короткие связи, длившиеся от одного дня до недели, которые приходилось срочно прерывать, так как женщины начинали претендовать на что-то более серьезное. А с Бобом они и не заговаривали о свадьбе. Они были веселы, жизнерадостны, старались ему понравиться, несмотря на то что он особенно на них не тратился. Боб никогда не спрашивал:

«Где бы ты хотела пообедать?»

Он водил их в ресторан по своему выбору и сам заказывал, что ему вздумается. И никогда не спрашивал, как бы им хотелось провести время. Он делал то, что хотел. А когда ему надоедала очередная подруга, он легко избавлялся от нее с помощью какой-нибудь уловки.

Но был ли Боб счастлив? Жюстен подозревал, что нет, при всем его закоренелом эгоизме.

А был ли счастлив сам Кальмар? Уж, во всяком случае, не после Венеции и этой страшной истории в поезде. До сих пор он не задавался таким вопросом или же делал это крайне редко, заставляя себя думать о чем-нибудь другом, о тысячах мелочей, о своей семье или работе.

Так оно и будет... Жозе, у которой уже стала наливаться грудь, подрастет еще больше, станет девушкой и заявит о своем праве гулять по вечерам с мальчиками или с подругами.

«Ты ей это разрешаешь, Жюстен? Ты не находишь, что так может вести себя только девушка, чьи родители не смотрят за своими детьми и позволяют им танцевать до полуночи?»

А сама Доминика? Что она делала до полуночи, когда он познакомился с ней? Спала с Бобом. Иногда даже оставалась у него до самого утра и прямо от него шла на работу, в магазин перчаток на бульваре Сен-Мишель. А все благодаря подруге, у которой ей разрешалось ночевать один или два раза в неделю.

Его же она заставила целый месяц ждать.

«Видите ли, Жюстен, я еще не уверена, что люблю вас... Вы хороший товарищ... Рядом с вами чувствуешь себя уверенно... Вы производите впечатление солидного человека, на вас можно положиться...»

А Боб? Да разве она спрашивала себя, любит его или нет? Конечно нет!

В сущности, она с первого дня поняла, что Кальмар для нее подходящая партия, что это будущий муж, а не просто мужчина, не случайный любовник, и испытывала его.

Кальмар не сердился на нее за это. Он полюбил ее. Он к ней привык. Он боялся причинить ей огорчение. Можно это назвать любовью или нет?

А еще он боялся ее слишком проницательного взгляда, ее манеры задавать самые щепетильные вопросы в самый неожиданный момент.

— На работе не заметили, что ты изменился?

— А разве я изменился?

— Брось, Жюстен. Ты это сам прекрасно знаешь. Полагаю, что всему виной деньги, которые ты выиграл на скачках... Мне только непонятно одно... Ты уже был другим, когда мы с детьми вернулись из Венеции... Может быть, ты уже тогда играл?..

— Вероятно... Пожалуй, да... Я точно не помню, когда начал...

— Ты уже знал тогда Лефера?

— Конечно, и давно...

— Однако раньше он не подсказывал тебе, на какую лошадь ставить.

— Он не каждую неделю имеет такие сведения... А может быть, он ничего не говорил мне еще и потому, что не очень хорошо меня знал...

— Ты когда-нибудь скрывал от меня выигрыши?

— Не помню, дорогая... Если да, то очень маленькие суммы...

— Но все-таки, значит, ты способен от меня что-то скрыть.

А она сама? Была ли она уверена, что ни разу ничего не скрыла от него за тринадцать лет семейной жизни?

— Это так странно...

— Что тебе кажется странным?

— Ты... Все это... Вот уже две недели, как меня мучат сомнения... Все эти деньги, которые на нас неожиданно свалились... Я убеждаю себя, что было бы глупо не воспользоваться ими для себя, для детей... Признаюсь, мне доставило удовольствие купить себе шубу, которую иначе я не смогла бы еще много лет приобрести... Теперь...

— Что теперь?

— Ничего...

Доминике хотелось заплакать, а Жюстену — сжать ее в своих объятиях и тихонько сказать:

«Ты права... Видишь ли, дорогая, все обстоит не так... Лучше сказать тебе правду... Мне слишком тяжело носить ее в себе... Бывают минуты, когда мне хочется закричать, раскрыться первому встречному на работе, на улице, в одном из тех бистро, куда я хожу ежедневно, чтобы, запершись в уборной, читать швейцарскую газету... Я богат, Доминика, но не знаю, что делать с этими деньгами. Я даже не знаю, имею ли я право осторожно тратить их и не рискую ли я каждую минуту получить пулю в голову или очутиться в тюрьме... Хотя я ничего не сделал плохого!»

Подтверждение того, что он подвергается риску, Кальмар обнаружил на следующий день в газете «Трибюн».

Неожиданный эпилог преступления на улице Бюньон

В предыдущем номере мы сообщали об аресте голландского подданного по делу, связанному с убийством маникюрши, проживавшей в нашем городе по улице Бюньон. Следствие поручено вести судье Ла Паллю.

И вот по истечении нескольких дней этот человек, ни в чем не признавшись, повесился в своей одиночной камере на жгуте, скрученном из рубашки.

Речь идет о Никола де В., тридцати пяти лет, маклере по продаже драгоценностей, проживавшем последнее время в Амстердаме.

Подсудимый был женат, имел троих детей. Допрошенная нидерландской полицией, жена заявила, что муж ее по роду своей деятельности часто ездил за границу. Где он был 19 августа, она не помнит, но, насколько ей известно, в Швейцарии он не бывал больше года.

И этот женат. И не двое, а трое детей. Повесился в одиночке, скрутив жгут из рубахи!

А что, если он повесился не сам? А вдруг его повесили? Может быть, не было другого выхода, чтобы избежать нежелательных показаний?

Нежелательных для кого? Может быть, где-то припрятаны другие деньги, в других камерах хранения, на других европейских вокзалах?

Кальмару было невмоготу. Все ему опротивело. Хотелось пойти в полицию, чтобы раз и навсегда избавиться от этих бешеных денег. И если он этого не делал, то только ради жены и детей.

Он даже не знал, какая бы его постигла кара. Впрочем, ему все равно не поверили бы. Ведь даже Доминика ему не верила. Не верила уже давно. Неделями, месяцами она следила за ним, пытаясь каверзными вопросами поймать его на противоречиях. Кто же тогда ему поверит? Боб? Тот по-прежнему подтрунивал над Кальмаром, когда заходил к нему в кабинет, но заходить стал все реже и реже, и если отпускал шуточки, то чувствовалось, что уже без всякого энтузиазма.

— Ты стал почти так же великолепен, как наш неотразимый главный директор... Что с тобой, старина?.. Ты получил наследство?.. Знаешь, нужно будет в один из ближайших вечеров вместе пообедать... Возьмем с собой мою новую подружку... И, конечно, Доминику... Не беспокойся, на этот раз дама у меня воспитанная и ничего бестактного себе не позволит. На мой взгляд, она даже слишком воспитанная и перед тем, как раздеться, требует, чтобы я погасил свет... Ну и потеха! А как только окажется нагишом, ей уже все равно, хоть все лампы зажигай... Знаешь, чем занимается ее отец? Налоговый инспектор... Хорошенькое знакомство! Жаль, нельзя ему сказать, что я из породы тех...

Жюстен не смеялся, даже не улыбался.

— Как поживает Доминика?

— Прекрасно!

— Как дети?

— Тоже очень хорошо.

— А ты сам?

Боб расхохотался и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Тебя, старина, если бы я верил врачам, я направил бы к психиатру... Он, без сомнения, найдет у тебя какой-нибудь комплекс. Надеюсь, только не Эдипов... Между нами говоря, я так толком и не знаю, что это за Эдипов комплекс... А все по недостатку образования... Шутки в сторону,— продолжал Боб,— ты должен обратить внимание на свое здоровье... Все удивляются, не могут понять, что с тобой происходит... В один прекрасный день ведь все откроется... А пока знай, что я с тобой и готов выслушивать признания не только на подушке...

А мосье Боделен ничего ему не говорил, только наблюдал за ним украдкой и со вздохом выходил из кабинета. Патрон не переносил, если кого-то из служащих не было на месте, и совсем уже терпеть не мог больных и меланхоликов.

— Не преувеличивайте, друг мой, не преувеличивайте...— любил говорить он.

Боделен не любил присутствовать при расправах. Он поручил Шаллану уволить стенографистку, которая во время диктовки без всякой причины вдруг ударилась в слезы.

И только через год, когда эта женщина умерла, стало известно, что она была обречена на смерть от лейкемии и страдала, сознавая, что оставляет мать без всяких средств к существованию. Чего только не случается в жизни!

В пятницу Кальмар, не дожидаясь окончания работы, сказал, что идет к зубному врачу, и ушел. Нужно было переправить чемоданчик на другое место.

На этот раз настал черед Восточного вокзала. Как назло, ни близ конторы, ни близ дома не было ни одного вокзала, и Кальмару приходилось иной раз дважды в неделю проезжать по самым многолюдным кварталам Парижа.

В тот вечер он был в особенно подавленном настроении и чуть не сбил с ног продавца газет, пробиравшегося между машинами в неположенном месте.

Кругом было так многолюдно, что у Кальмара не хватило мужества везти чемоданчик на другой вокзал. Толпы мужчин и женщин в башма-

ках на толстой подошве и разноцветных свитерах, с лыжами на плечах приступом брали поезд. Кто-то оцарапал ему лыжей шеку.

Наклонившись к автомату номер 27, он вынул чемоданчик, прошел в другой ряд, опустил монетку в скважину номера 62 и положил туда свое богатство.

Он даже не стал оглядываться. Вот уже несколько дней, как он решил плыть по течению, полагаясь на волю случая, и даже дошел до того, что стал подумывать, не держать ли чемоданчик на запоре в стенном шкафу своего рабочего кабинета.

Надо будет поразмыслить над этим на свободе. Надо сказать, что теперь у него вошло в привычку тщательно обдумывать каждый свой шаг.

Это стало манией. Он делал это машинально, будто в голове у него был установлен моторчик, который всегда работал, даже ночью. Теперь он частенько в ужасе просыпался, увидев во сне новую опасность, мысль о которой раньше не приходила ему в голову.

Он пригнулся, закрыл автомат и положил ключ в карман, а когда выпрямился, заметил рядом с собой мадемуазель Денав.

— Собираетесь куда-нибудь ехать, мосье Кальмар?

На секунду потеряв над собой власть, он сглупил.

— Вы следили за мной? — спросил он.

— Нет, что вы. Разве вы не знаете, что мы с мамой живем в Ланьи и я каждый день уезжаю с этого вокзала?

Нет. Он никогда не интересовался, что делала Валери после работы. Она смотрела на него пристально и в то же время с покровительственной нежностью.

— Вы так разрумянились! Должно быть, очень спешили. Я тоже сегодня ушла пораньше и доехала на метро...

Кальмару вдруг захотелось все ей рассказать. Он знал, что это безумие, но ничего не мог с собой поделать. Ему невмоготу было это молчание, этот нелепый влюбленный взгляд, которым она его обволакивала. Можно было подумать, что, захватив его врасплох, она испытывала такое же чувство умиления, как при виде мальчика, тайком подобравшегося к банке с вареньем.

— Я провожал друга, в ту минуту, когда поезд тронулся, заметил, что в руках у меня остался его чемоданчик. А он и так нес два чемодана.

Не видела ли она, как он вынимал чемоданчик из первого автомата?

— Я очень рада, что встретила вас, мосье Кальмар. Ведь это совсем иначе, не то, что видеть вас на работе.

— До свидания, мадемуазель Денав...

— До свидания, мосье Кальмар... Впрочем, стойте... Я давно собиралась вам сказать, да все не решалась... Здесь, в толпе, это проще... Мне хочется, чтоб вы знали, что в моем лице вы имеете друга, что лучшего друга, чем я, у вас нет, что я пошла бы на все, чтобы вам помочь...

И не дожидаясь его ответа, его реакции, она бросилась на платформу и затерялась в толпе лыжников в спортивных костюмах.

Глава четвертая

— Мосье Кальмар!..

— Что, мадемуазель?

Она так робко вошла к нему в кабинет, что он даже не сразу заметил ее и вздрогнул от неожиданности. В руках у мадемуазель Денав был блокнот для стенографирования и карандаш.

— Вы не забыли, что я сказала вам вчера на вокзале?

Он смущенно пробормотал, глядя куда-то в сторону:

— Кажется, помню...

— Я хочу еще добавить, что это не слова, брошенные на ветер.

Визит ее был, конечно, заранее обдуман. На ней было платье, которое Кальмар никогда еще не видел, а на лице гораздо больше косметики, чем обычно. Если лицо ее не стало более привлекательным, то облегающее платье подчеркивало формы, которых он раньше просто не замечал.

— Я должна с вами поговорить, мосье Кальмар... Это крайне необходимо.

— Я вас слушаю...

— Не сейчас... Ведь каждую минуту сюда может кто-нибудь войти...

Она улыбалась ему с видом сообщницы, умеющей держать язык за зубами, уверенной, что он оценит ее сдержанность...

— Вот о чем я подумала... Сегодня суббота... После полудня здесь никого не будет...

— Разве только патрон...

— Мосье Боделен уехал в Брезоль и вернется лишь утром в понедельник. Я сама печатала письма и телеграммы, в которых он назначал деловые свидания...

Он смотрел на нее, пораженный, не понимая, к чему она клонит.

— Вы можете сказать жене, что у вас срочная работа и вам пришлось задержаться... Я же договорилась с мосье Шалланом...

— О чем договорились?

— Я сказала ему, что не успела закончить работу и что мне удобнее остаться часа на два в субботу, чем после рабочего дня на следующей неделе.

— Но...

— Давайте в два часа?

Можно было подумать, что он давно этого домогался и она назначила ему наконец вожделенное свидание.

— ...Вы хотите сказать...

— Я понимаю... вы смущены... Но вы увидите... Итак, до скорой встречи...

Он даже забыл купить «Трибюн де Лозанн» и, выпив на этот раз не две, а целых три рюмки аперитива, пренебрег хлорофилловым драже, хотя оно и лежало у него в кармане пиджака.

— Что с тобой, Жюстен? — спросила Доминика.

— Ничего. Только мне придется снова пойти в контору. Мы получили новый каталог «Сирс-Робак». В этом году он весит не менее килограмма, а патрону нужно, чтобы в понедельник утром я ему уже представил список новинок...

— Вот как! Впрочем, все равно льет дождь...

Он не сразу понял смысл ее ответа.

— Что бы ты делал дома? По телевизору нет ничего хорошего, а я обещала детям свести их позавтракать к Клеманс...

Жюстен рассеянно поел, через двадцать минут был снова на авеню де Нейи и спросил швейцара:

— Мадемуазель Денав уже пришла?

— Нет, мосье, а разве она должна прийти?

— Мы должны закончить срочную работу... Вы не видели патрона?

— Он уехал с мосье Марселем около десяти часов...

Кальмар шагал взад и вперед по кабинету, сконфуженный, обеспокоенный, понимая всю смехотворность ситуации. А разве не был он смешным всю жизнь, разве не потешались над Червяком еще в детском саду?

На лестнице раздались ее шаги и, остановившись посреди кабинета, он услышал, как она копошится в своей комнате. Затем дверь открылась...

— Послушайте, Жюстен... Я знаю, что не должна вас так называть, но сегодня не могу иначе...

Она была возбуждена, взволнована, пальцы ее теребили платок с каймой из тонкого кружева.

— Видите ли, я не могу спокойно жить, зная, что вы несчастны... Вы понимаете?.. Я уверена, что вы не могли не заметить, что я люблю вас, и ничего не сделали, чтобы меня отвадить...

Кальмару показалось, будто он вдруг попал в густой туман. До него доносились слова, он понимал их смысл, не постигая реальности происходящего. Ему хотелось крикнуть: «Да вы сошли с ума! Вы просто рехнулись...»

Взять пальто, шляпу, выбежать на свежий воздух, к нормальным людям, которые не будут говорить ему такое...

— Все на работе жалеют меня оттого, что я одна, но они не понимают, что никто так не одинок, как вы... Верно, Жюстен?

— Не знаю... Ничего не могу понять...

— Бросьте, вы все прекрасно понимаете... Вот уже несколько месяцев, после возвращения из отпуска, вы все время ищете, кому бы довериться... Ведь ужасно держать на душе такую тайну. Вы должны были прежде всего подумать о жене, о вашем друге Бобе, мало ли о ком, но вы не смогли...

Она была так взволнована, глаза ее блестели, и чувствовалось, что она вот-вот заплачет.

— Из всех машинисток вы стали отдавать предпочтение мне... Вы меня изучали... Такое не может пройти для женщины незамеченным... Много раз вы хотели мне что-то сказать...

— Уверяю вас, мадемуазель...

— Молчите!.. Если бы я рассказала вам, что мне известно...

— А что вам известно?

— Возможно, я знаю и не всю правду, но об остальном догадываюсь...

— Вы думаете, что у меня роман?

— Не теперь!.. Вероятно, это было в конце августа, в начале сентября... Вы познакомились с ней в Венеции или в поезде на обратном пути... Вы вернулись совсем другим... Из-за этой женщины вам понадобились деньги... Простите меня... Я вмешиваюсь не в свои дела, но ведь я не виновата, что люблю вас, что вы единственный мужчина, к которому меня влечет...

Она была на расстоянии не более метра от него и вдруг зарыдала навзрыд.

— Вот что я хотела вам сказать с глазу на глаз... Я точно не знаю, где вы взяли деньги, но я подозреваю... Вы настолько порядочны, что вас больше мучит не то, что это может открыться, а то, где взять деньги, чтобы возместить... Так вот, послушай, Жюстен...

Она перешла на «ты». Она шагнула к нему. Она бросилась ему на грудь и, обливаясь горючими слезами, сказала:

— У меня есть сбережения, но они мне не нужны. Мы с мамой всегда жили очень скромно. Поскольку я никогда не выйду замуж...

Он не решался высвободиться. Он был взволнован, но не ее словами, а внезапно нахлынувшей жалостью к самому себе.

— Ты сможешь мне вернуть потом... Но ты вновь обретешь покой и хорошее настроение... Ты полон сил, ты это прекрасно знаешь, и было бы ужасной нелепостью поддаваться унынию из-за какого-то мелкого грешка...

— Но...

— Чемоданчик. Вчера. На Восточном вокзале...

Она глядела на него сквозь слезы и вдруг прильнула к его губам своими жадными неопытными губами.

— Тише!.. Молчи!.. Сейчас ты мне все расскажешь, не так ли?.. И мы вместе обсудим, как быть...

Она стала осыпать его поцелуями. Несмотря на небольшой рост и миниатюрное сложение, она оказалась удивительно сильной, и они оба упали на ковер.

— Возьми меня, Жюстен!.. Умоляю!.. Я так давно ждала этой минуты...

Голова пошла кругом. Он больше ничего не сознавал. Его рука скользнула по ее горячему бедру, и, когда он овладел ею, она закричала от боли.

В тридцать два или тридцать три года она была девственницей. Ему стало стыдно, но она с такой силой прижалась к нему, что он не мог высвободиться, не мог вздохнуть.

Когда же она обмякла и он поднял голову, то увидел на ковре мужские ботинки, ноги, затем пиджак и наконец невозмутимое лицо мосье Боделена. Он неловко поднялся, а мадемуазель Денав продолжала лежать на полу, потом поднялась и медленно опустила платье.

— Простите, мосье Боделен...

Только тут Кальмар увидел всю нелепость ситуации, нелепость всего, что произошло после поездки в венецианском поезде, нелепость всей своей жизни, а может быть, и жизни других смертных.

И как тогда, когда он дал пощечину Мимуну, не было времени, чтобы он мог осмыслить свои действия, взять себя в руки. Он бросился к окну, неловко открыл его и шагнул. Шел дождь. Мостовая была словно глянцевая. Он услышал крик, почти такой же, какой испустила, отдавшись ему, мадемуазель Денав, и среди хаоса пятен вдруг увидел тоненькую фигурку девочки в красном, которая взмахнула рукой, продолжая посасывать трубочку с мороженым.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Перевод с греческого и вступление С. ИЛЬИНСКОЙ

В последние годы о Константиносе Кавафисе писали и спорили больше, чем о ком бы то ни было из новогреческих поэтов. 1963 год, год двойного юбилея— 100 лет со дня рождения поэта и 30 лет со дня его смерти,— был отмечен в Греции как «год Кавафиса». «Кавафис не из тех поэтов, которых читаешь один только раз,— писал тогда лауреат Ленинской премии мира греческий поэт Костас Варналис.— Он из тех, к кому все время возвращаешься и обнаруживаешь, что стихи их актуальны в самых разных жизненных ситуациях».

Почти всю свою жизнь Кавафис прожил в Александрии. Издавна этот древний город был центром богатых греческих коммерсантов. Рубеж XX века — время их упадка. Это время укрепления в Египте английских колонизаторов. И сам Кавафис, происходивший из богатой и знатной, но разорившейся со смертью отца семьи, до преклонных лет работал служащим в учреждении, шефами которого были англичане. Александрия вошла в поэзию Кавафиса в образе Города, парализованного неизлечимой внутренней болезнью и тщетно пытающегося скрыть ее за пышностью отживших ритуалов. Этот ведущий в творчестве Кавафиса образ стал для него символом безнравственного мира, растоптавшего жалкие обломки идеалов, мира, такого несправедливого и жестокого по отношению к человеческой личности, запутавшейся в его лабиринтах.

Маска истории, которую Кавафис надевает на себя и на своих героев, не скрыла ни от современников, ни от потомков поэта злободневного содержания его стихотворений. Не случайно из огромных арсеналов истории Кавафис извлекает именно периоды распада общественных формаций — канун крушения эллинизма, Римской империи, Византии. Это как раз такие страницы прошлого, в которых Кавафис видит портрет настоящего.

Поэт видит торжество зла и насилия, и все-таки он верит, что человек при любых условиях обязан оберегать свои Фермопилы подобно 300 спартанцам даже тогда, когда победа зла неминуема. Есть свои Фермопилы и у поэта. Пусть его путь труден, пусть стеною встают перед ним «привычек мелочность и равнодушье», он не имеет права быть сломленным.

Выбирая в герои своих стихотворений выдающиеся фигуры древности, Кавафис низводит их с пьедестала и обнажает их чисто человеческие качества, проявляемые в наиболее критические моменты жизни. Читатель призван домыслить то, что ему не показали. Одна или две — чаще всего заключительные — строки сообщают направление его мысли, приоткрывают замысел поэта.

Стихи Кавафиса живыми символами вошли в сознание нескольких поколений греческой интеллигенции, некоторые строки стали афоризмами. Интерес к поэзии Кавафиса вышел за пределы Греции, его переводили и продолжают переводить на многие европейские языки.

Ожидая варваров

Зачем на площади сошлись сегодня горожане?

Сегодня варвары сюда прибудут.

Так что ж бездействует сенат, закрыто заседанье,
сенаторы безмолвствуют, не издают законов?

Ведь варвары сегодня прибывают.
Зачем законы издавать сенаторам?
Прибудут варвары, чтобы издать законы.

Зачем наш император встал чуть свет,
и почему у городских ворот
на троне и в короне восседает?

Ведь варвары сегодня прибывают,
наш император ждет их предводителя
ему пожалует он титулы высокие,
уже пергамент дарственный готов.

Зачем же наши консулы и преторы
в расшитых красных тогах появились,
зачем браслеты с аметистами надели,
зачем на пальцах кольца с изумрудами?
Их жезлы серебром, эмалью разукрашены.
Зачем у них сегодня эти жезлы?

Ведь варвары сегодня прибывают,
обычно роскошь ослепляет варваров.

Что риторов достойных не видать?
Не слышно почему-то их речей.

Ведь варвары сегодня прибывают,
а речи им как будто не по нраву.

Однако что за беспокойство в городе?
И отчего пустеют улицы и площади?
И почему, охваченный волнением,
спешит народ укрыться по домам?

Спустилась ночь, а варвары не прибыли.
А с государственных границ нам донесли,
что их и вовсе нет уже в природе.

И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой-то выход.

Стены

Бездумно и без капли сожаленья
гигантские вокруг меня воздвигли стены.

И вот теперь терзаюсь в заточенье,
встревоженный ужасной переменой

судьбы, которая меня к свершениям звала.
Как мог я наслаждаться тишиною мнимой,

как не заметил стройки, что росла!
От мира отгорожен я неслышно и незримо.

Теодот

Если избранником судьбы ты стал достойно,
смотри, каким путем к тебе приходит власть.
Сейчас ты славен, подвиги твои
молва проворная несет из уст в уста,
из края в край земли; поклонников толпа
тебя почетом в Риме окружает,
но радости не будет на душе,
не будет чувства, что судьбы своей достоин,
когда в Александрии, после пышной встречи,
на окровавленном подносе Теодот
тебе главу Помпея принесет.

Ты думаешь, что жизнь твоя скромна,
течет без бурь, вдали от треволнений
и нет в ней места ужасам подобным?
Не обманись, быть может, в этот час
в соседний дом, такой спокойный, мирный —
хозяин деловит, трудолюбив —
неслышной поступью заходит Теодот
и столь же страшную главу с собой несет.

Александрийские монархи

Сошлись александрийцы посмотреть
на отпрысков прекрасной Клеопатры,
на старшего Цезариона и на младших,
на Александра и на Птолемея,
что выступят в Гимнастии впервые,
где их царями ныне назовут
перед блестящим воинским парадом.

Мидии, Парфии, Армении владыкой
всесильным Александра нарекли.
Сирийским, киликийским, финикийским
владыкою был назван Птолемей.
Однако первым был Цезарион —
в одеждах нежно-розового шелка,
украшенных букетом гиацинтов,
с двойным узором аметистов и сапфиров
на поясе слепящей красоты
и с крупным жемчугом на белых лентах,
увивших ноги стройные его.
Был вознесен он выше младших братьев,
провозглашен Царем среди Царей.

Разумные александрийцы знали,
что это было только представленье.

Но день был теплым и дышал поэзией,
лазурью ясной небеса сияли,
Гимнасий Александрии по праву
венцом искусства вдохновенного считался,
Цезарион был так красив и так изящен
(сын Клеопатры, Лага славного потомок).
И торопились, и к Гимнасию сбегались,
и криками восторга одобряли
(на греческом, арабском и еврейском)
блестящий тот парад александрийцы,
а знали ведь, что ничего не стоят,
что звук пустой — цари и царства эти.

Срок Нерона

Дельфийское пророчество услышав,
далек от беспокойства был Нерон:
«Страшись семидесяти трех годов...»
Немало времени, чтоб жизнью насладиться.
Ему лишь тридцать. Срок немалый бог
отвел Нерону, чтоб предупредить,
предотвратить далекие угрозы.
Сейчас он в Рим вернется, утомленный
прекрасным путешествием своим,
но как приятно это утомленье
от удовольствий, что вкусил Нерон
в Гимнасии, театрах и садах.
О, вечера ахейских городов!
О, сладострастье обнаженных тел...

Так думает Нерон. В Испании же Гальба
в глубокой тайне войско собирает,
старик семидесяти трех годов.

Сатрапия

Как горек твой удел, когда тебе,
взращенному для дел великих и прекрасных,
судьба злосчастная отказывает вечно
в поддержке и заслуженном успехе,
когда стеною на пути встают
привычек мелочность и равнодушье!
И как ужасен день, когда ты сломлен,
тот день, когда, поддавшись искушенью,
уходишь ты в далекий город Сузы
к всесильному монарху Артаксерксу,
в его дворце ты принят благосклонно,
тебе дарят сатрапии и прочее.
И ты, отчаявшись, покорно принимаешь
дары, что сердцу вовсе не желанны.
Другого жаждет сердце, о другом тоскует:
о похвале общины и софистов,
о дорогом, бесценном слове «Эвге!» *,
о шумном рынке, о театре и венках.
Нет, Артаксеркс такого не подарит,
в сатрапии такого не найдешь,
а что за жизнь без этого на свете.

Приходи

Почаще приходи, я жду тебя,
бесценное, прекрасное волненье,
когда все тело обретает память,
когда былая страсть в крови бушует,
когда трепещут помнящие губы
и руки вновь живут прикосновеньем.

Почаще приходи, я жду в ночи,
когда трепещут помнящие губы...

Послеполуденное солнце

Как хорошо я знаю эту комнату.
Сейчас она сдается под контору.
И эта и соседняя. Весь дом
во власти адвокатов и торговых фирм.

Ах, эта комната, как мне она знакома!

* Отлично, превосходно *(др греч.)*

Вот здесь, у двери, был тогда диван,
а на полу лежал ковер турецкий.
Две вазы желтые стояли тут, на полке.
Направо, нет, напротив — шкаф зеркальный.
Посередине — стол и три большие
удобные соломенные кресла.
А здесь, возле окна, была кровать,
где столько раз любили мы друг друга.

Бог знает, где теперь вся эта мебель!

Вот здесь, возле окна, была кровать.
Как раз до середины доставали
лучи послеполуденного солнца.
После обеда, кажется, в четыре,
расстались мы лишь на одну неделю.
Увы, она на вечность затянулась.

Свечи

Дни будущего предо мной стоят
цепочкой радужной свечей зажженных —
живых, горячих, золотистых свечек.

Дни миновавшие остались позади
печальной чередой свечей погасших,
те, что поближе, все еще дымятся,
холодные, расплывшиеся свечи.

Мне горько сознавать, что их немало,
мне больно первый свет их вспоминать.
Смотрю вперед, на ряд свечей зажженных.

И обернуться страшно, страшно ужаснуться:
как быстро темная толпа густеет,
как быстро множится число свечей погасших.

Город

Ты мне сказал: «Уеду я за море.
Получше город для меня чайдется.
А здесь судьба мне никогда не улыбнется.
Мой ум и сердце словно омертвели.
Так до каких же пор я буду жить без цели
в руинах прожитых напрасно лет,
куда ни оглянись — везде их след.
Ни радости, ни счастья — только горе!»

Ты можешь колесить по всей планете,
но всюду верной тенью за тобой
помчится город; те же улицы гурьбой
по следу будут твоему идти.
И чтоб бежать от них — нет судна, нет пути!
Надежды тщетны. В маленьком краю
безжалостно растратив жизнь свою,
ты потерял ее на целом свете.

Фермопилы

Честь вечная и память тем, кто в жизни
воздвиг и охраняет Фермопилы,
кто, долга никогда не забывая,
во всех своих поступках справедлив,
однако милосердию не чужд.
кто щедр в богатстве,
но и в бедности не скуп
и руку помощи всегда протянет,
кто, ненавидя ложь, лишь правду говорит,
но на солгавших зла в душе не держит.

Тем большая им честь, когда предвидят
(а многие предвидят), что в конце
появится коварный Эфиальт
и что мидийцы все-таки прорвутся.

Н. БАЛАШОВ,
И. БЕРНШТЕЙН

ЛИТЕРАТУРА ДРУЗЕЙ — СЕГОДНЯ

Можно ли ставить вопрос о новых качествах реализма в литературе зарубежных социалистических стран последних лет? Мы полагаем, что можно. Реализм расширяет свою сферу, он проникает в области, ранее считавшиеся ему чуждыми. Мастера социалистического искусства все смелее обращаются к самым острым и сложным вопросам исторического развития человечества, гораздо глубже, чем полтора десятка лет назад, решают такие этические проблемы, как взаимоотношения человека и общества, ответственность личности перед обществом Несомненно усиление философски-интеллектуальных интересов, углубление психологического анализа, в частности, анализа сложных и противоречивых душевных состояний, большее внимание к «изначальным» проблемам человеческого бытия — счастья и несчастья, жизни и смерти. Все это связано с обогащением понятия социалистического гуманизма. Многие произведения художников социалистических стран одушевлены мыслью, афористически высказанной советским поэтом А. Вознесенским: «Быть нам винтиком не пристало».

В литературах, два десятилетия тому назад ставших на социалистический путь и подвергшихся глубокой идейно-художественной перестройке, в настоящее время наступает пора больших достижений. Преодоление догматизма и необоснованной регламентации художественного творчества создало благоприятные условия для быстрого развития литературы и искусства. Наступило обогащение художественной образности, пора стилевого и жанрового обновления поэзии, драмы, романа. В социалистических странах Европы все рельефнее дает себя знать неповторимое своеобразие реализма в каждой национальной литературе. Эти достижения опровергают банальное мнение наших идейных противников (которым, кстати, незаметно для себя подпевает догматизм) о якобы исконной серости и униформности социалистического реализма, о его неспособности откликаться на важные для каждого человека проблемы, о его «заданности» и «неорганичности» для тех или иных национальных литератур.

Конечно, развитие литератур европейских социалистических стран в последние годы идет не только стремительно, но в то же время и сложно. Эта сложность дает себя знать в литературной теории и в художественной практике. Поэтому неверно закрывать глаза на трудности, переживаемые литературой. В бурном процессе движения возникают и негативные явления. Наряду с серьезными поисками новых форм встречаются и формалистические опыты; стремление развивать необходимое критическое начало в социалистическом реализме иной раз обо рачивается нигилистическими тенденциями; выходят и ремесленные книги, в которых действительность предстает в розовом свете, конфликты стандартны и облегченно разрешаются Но мы не останавливаемся на произведениях такого рода, так как не они определяют основное направление социалистической литературы.

Ход исторического развития выдвинул на передний план в литературе стран, ставших на новый путь, социалистический реализм как метод, способный отразить рост активности масс, становление социалистического человека, пафос труда, направленного на переустройство общества. В последние годы в

литературоведении этих стран немало сделано для развития теории современного социалистического искусства, для освобождения эстетики от догматических наслоений, для разработки важных вопросов марксистской литературной теории и истории. Следует отметить, например, большие успехи в области изучения социалистической литературной традиции.

В исследовании о социалистическом реализме, подготовленном теоретическим коллективом по вопросам культуры при ЦК Венгерской Рабочей Социалистической партии, справедливо говорится, что развитие социалистического реализма возможно лишь на почве борьбы как против догматических, так и ревизионистских извращений в эстетике: «Борьба против ревизионистских выпадов в теории была возможна лишь там и постольку, где и поскольку ликвидировалась догматическая практика».

В резолюции, принятой XIII съездом компартии Чехословакии, подчеркнуто, что главное направление социалистического искусства связано с судьбами «искусства, активно относящегося к жизни социалистического общества, непримиримого к буржуазной идеологии, рассчитанного на широкий круг читателей, зрителей и слушателей, с их мыслями и чувствами, с их повседневными проблемами и деятельностью». Отмечается, что именно «социалистическое реалистическое искусство в своем многообразии убедительнее всего отображает диалектику современной жизни». В резолюции чехословацких коммунистов указано, что «партия полностью восстановила связь с прогрессивной культурой межвоенного двадцатилетия», и содержится положение, что «прогресс в развитии культуры требует творческих поисков, которые зачастую бывают сложными и не обходятся без противоречий». Резолюция недвусмысленно предупреждает против тенденции решать в директивном порядке специфические вопросы искусства: «Положительная программа социалистического художественного творчества содержит принципы и цели, а не совокупность каких-то заранее установленных норм и творческих процессов».

Иногда критики избегают пользоваться термином «социалистический реализм», но определения, которые они дают современной литературе, и те эстетические критерии, которыми они пользуются (реализм, партийность, глубокое раскрытие процессов построения новой жизни и перспективы социалистической действительности), свидетельствуют о том, что по существу речь идет об искусстве социалистического реализма.

Известное недоверие к понятию «социалистический реализм», встречающееся у писателей, глубоко заинтересованных в процветании социалистической культуры своих стран, объясняется не только терминологическими недоразумениями. Дело тут в более глубоких причинах. Если оставить в стороне возражения чисто идеологического порядка, продиктованные враждебным отношением к социализму (а такая позиция в последние годы является в социалистических странах исключением), то можно выделить два направления, по которым ведутся споры. Первая причина недоверия к понятию «социалистический реализм» связана с суждением о нем на основании его различных догматических искажений. На известном этапе критика народно-демократических стран иногда поддерживала серые произведения исключительно ради актуальности темы или прямолинейной дидактичности. За образцы социалистического реализма выдавался ряд посредственных произведений. В результате порой возникало неверное представление о социалистическом реализме, как об ограниченном тематически (он якобы не способен рассматривать проблематику собственно этическую и психологическую), ограниченном в области стиля (он-де придерживается канонов реализма XIX века) и в жанровом отношении (постулатам социалистического реализма отвечает, мол, только жанр социального романа да еще политической лирики). Такие представления, восходящие к концу 40-х годов, привели к возникновению схемы, никак не соответствующей реальному многообразному развитию советской литературы последнего периода и литературы других социалистических стран. Такая схема, естественно, не могла охватить реальное содержание истории метода и его прошлых достижений: в пределах социалистического реализма не умещались такие художники, как Элюар и Арагон, Незвал и Новомеский, Брехт и Тувим, Пабло Неруда и Николас Гильен. Не удивительно, что в Чехословакии родилась даже мысль ввести понятие «метафорического крыла» в социалистическом искусстве, куда относилось все, что было связано с условностью, фантастикой и сложной образностью.

Итак, одна из причин недоверия к термину «социалистический реализм» связана с догматическим представлением об этом методе, распространившемся в конце 40-х годов.

Другая причина обусловлена разногласиями в понимании самого термина «реализм». Некоторым критикам реализм представляется чем-то устарелым, крайне «немодерным», не способным отразить усложнившуюся современную действительность. В подобных взглядах часто сказывается неисторический подход и к понятию «реализм». Это связано и с относительно слабым развитием в некоторых странах Восточной Европы реалистической традиции. На опасность подобной точки зрения указал словацкий писатель В. Минач: «Тут происходит что-то неразумное. Конечно, все мы против описательного реализма, но если в качестве примера описательного реализма приводится творчество Л. Н. Толстого, то ошибка может оказаться почти роковой...» *

Говоря о недооценке реализма, нужно не упускать из виду как общие процессы, так и особенности литературной традиции каждой страны. В свете художественного опыта литератур стран социалистического содружества не оправдывает себя прямолинейное

* «Литературни новини», 1 апреля 1963.

отождествление полюсов идеологической борьбы с теми или иными эстетическими категориями, вне их конкретного социального и национального наполнения. Нельзя не учитывать, например, что величайшими национальными гениями XIX века в Польше были не реалисты, как в России, а поэты-романтики — Мицкевич и Словацкий.

Для ряда литератур приобретает особую актуальность проблема авангардизма. Пожалуй, наиболее остро этот вопрос стал в Чехословакии, поскольку в чешском и словацком революционном искусстве 20-х и 30-х годов важную роль играли авангардистские направления, с которыми были связаны крупнейшие поэты чешского и словацкого народов Незвал и Новомеский. Связь с традициями авангардизма, с его антибуржуазным протестом принадлежит к специфическим особенностям развития социалистического реализма в ряде стран Европы и не может игнорироваться без ущерба для понимания литератур этих стран. О необходимости считаться с авангардной традицией писал — опираясь на опыт польской литературы — Стефан Жулкевский: «Известно, что современный социалистический реализм имеет много общего с традициями реализма предшествующей эпохи. Но из этого вовсе не вытекает, что у социалистического реализма нет генезиса, более близкого ему по времени... В его формировании участвовали влияния разных направлений XX века. Всякий реализм, в том числе и социалистический, должен развиваться, он может так же, как учит опыт многих литератур, в частности, польской после 1956 года, пользоваться разными авангардными открытиями и с большой для себя пользой» *.

Говоря о явлениях, объясняющих специфику развития социалистических литератур в тех или иных национальных условиях, не следует забывать и о тенденциях, которые могут повести к некоему «объединению» социалистического реализма с модернистскими направлениями, то есть касаются самого существа метода.

Например, в Югославии получила известное распространение теория, отрицающая общественную роль литературы на том основании, что творческий процесс возникает как реакция на отчуждение человека, как результат сопротивления человека «отчуждающим» тенденциям общества, в том числе и социалистического. Отсюда идет путь к созданию теории полной автономии искусства, чуть ли не некоего «социалистического эстетизма».

Подчас мы встречаемся даже с тенденцией заменить классовые позиции социалистического искусства критерием «всеобщего» гуманизма. У некоторых югославских критиков подчеркивается внеклассовый и вненациональный, так сказать, мировой характер нового гуманизма, призванного представлять интересы мира как целого. Гуманизм социалистического искусства интернационален по своей природе и действительно обогащается новыми качествами по мере построения бесклассового общества, но понимание мира как целого, объединенного едиными интересами, естественно носит на себе — пока существует империализм — печать утопичности.

Однако и в тех странах, где в критике встречаются теоретические возражения против понятия «метод социалистического реализма», объективно он продолжает развиваться. Этот процесс может быть понят, если подойти к нему с учетом особенностей национальной традиции в каждой литературе, условий формирования социалистической литературы и ее соотношения с общенациональным литературным развитием.

Какие же факты позволяют полагать, что развитие социалистического реализма продолжается? Прежде всего то, что основную линию литературы социалистических стран представляют произведения, одушевленные стремлением нарисовать правдивую картину переустройства общественной жизни, показать человека в его индивидуальной неповторимости и в его связях с обществом, идущим по социалистическому пути развития. Проявляется стремление изобразить человека как творца истории, стремление проникнуть во внутренний мир строителя нового общества и одновременно показать этот тип человека в общественной практике.

Важнейшие тенденции литератур социалистических стран позволяют говорить о развитии социалистического реализма, о новом этапе в истории этих литератур, о сближении путей литератур зарубежных социалистических стран и советской литературы. Таким образом складывается художественная общность литератур стран социалистической системы и становится все более актуальным понятие их коллективного художественного опыта

Для литературы сегодняшнего дня в социалистических странах существенно расширение аспектов художественного осмысления действительности. Писатели смело касаются острых конфликтов, которых еще недавно избегали, они остро и с партийных позиций рассматривают трагические явления недавнего прошлого, связанные с нарушением социалистической законности или с отдельными неудачами в антифашистской борьбе. Примета нового этапа — углубившаяся концепция значения человеческой личности, ее ценности, и сознание личной ответственности. Так конкретизируется активная роль человека как творца и решающего участника исторического процесса. Писатели освобождаются от имевшего порой место представления о коллективе как о той инстанции, которой может быть передоверена вся мера ответственности за личные решения. Повысился интерес к психологии индивидуума, к проблемам морали. Художественная практика показала незакономерность деления на проблемы «экзистенциальные», то есть «вечные» — касающиеся моральных основ человеческого бытия, и проблемы, общественно

* С. Жулкевский. Предсказания и воспоминания. Варшава, 1963, стр. 13.

обусловленные. В наше время, когда история врывается в самые интимные переживания людей, такое деление особенно искусственно.

Следствием изменившегося представления о человеческой индивидуальности стал новый характер конфликта. Если в первое послевоенное десятилетие в большинстве произведений преобладал «открытый» конфликт, основанный чаще всего на прямых столкновениях с классовым врагом, то теперь писатель переносит конфликт также в человеческое сознание, рассматривает его и в психологической моральной плоскости. Конечно, было бы наивно абсолютизировать это и считать всякий конфликт, основанный на столкновении внешних сил, «устаревшим»: речь идет о тенденциях сегодняшнего развития литературы.

Моральный аспект политического конфликта находит польская писательница Зофья Посмыш в повести «Пассажирка». Она ставит проблему ответственности. Прошлое неожиданно предстает перед фашистской надсмотрщицей Лизой Кречмер в образе встретившейся ей на пароходе бывшей узницы, польки Марты. Автор как бы предоставляет эсэсовке все возможности оправдаться. Прошлое дано сквозь призму ее воспоминаний и самооправданий. Кто лучше ее скажет, что и она содрогалась, видя ужасы концлагеря, что она испытывала какую-то симпатию к Марте, будто бы желала ей добра? И все же итог убийствен. Ничто не может оправдать эсэсовку. Действительность концлагеря изображена в повести с силой и достоверностью, и каждый чудовищный факт становится фактом психологическим; он представлен не сам по себе, а в отношении к скрытой борьбе двух человеческих индивидуальностей: бесправной, но полной гордого презрения к фашистскому шабашу узницы и надсмотрщицы, ищущей успокоения совести в расположении Марты и испытывающей почти садистское наслаждение в надежде добиться от нее добровольной, а не вынужденной покорности. Ставка делается не только на изображение лагерных ужасов, а на конфликт человеческих личностей, поэтому вывод так полновесен. Смещение временных плоскостей, переплетение настоящего и прошлого и внутренний монолог здесь не просто «модные» приемы: они служат актуализации проблематики.

Близкие приемы используются и в других произведениях, где речь идет об этическом и гражданском смысле поступков, скажем, в романе словака Ладислава Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» или в романе венгра Йожефа Дарваша «Пьяный дождь». Острый психологический конфликт так же, как «ожившие воспоминания» и интенсивное использование внутреннего монолога, помогают не только раскрытию психологического конфликта, но и осмыслению исторических судеб народа, интеллигенции, например, в романе немецкого писателя Германа Канта «Аула» («Актовый зал»). Писатели социалистических стран сегодня часто ставят вопрос о том, что по сути своей преступлением, хотя и трудно наказуемым, оборачиваются обычное равнодушие, мещанский эгоизм, бюрократическая черствость, гражданская трусость, прикрываемая разглагольствованиями о высокой цели.

Серьезное понимание проблем гражданской ответственности — один из узлов этической и общественной проблематики социалистических писателей. Недаром о проблеме ответственности за воспитание новой интеллигенции говорится в романе Германа Канта «Актовый зал», а венгерский драматург Мештерхази даже озаглавил драму на тему «не будь равнодушен» — «Одиннадцатая заповедь». Показателен роман чешского писателя Ладислава Бублика «Позвоночник» («Становление»). На Кратохвила, молодого человека, вся сознательная жизнь которого связана с партией, воплощавшей его самые светлые надежды, падает необоснованное обвинение. В обстановке тех лет (дело происходит в 1951 году) Кратохвилу не удается добиться справедливости, ему приходится пойти простым чернорабочим на стройку. Многие места романа отмечены страстным обличением карьеристов и демагогов, которые сыграли зловещую роль в судьбе героя. Но как бы ни было сильно обличение, главное в романе — раскрытие процесса духовного пробуждения героя, на время будто загипнотизированного несправедливостью того, что с ним происходит; укрепление в нем сознания не исчезающей ни при каких условиях ответственности коммуниста. Идеи, которыми он жил и которым чуть было не перестал верить, как бы снова завоеваны им. Возвращается чувство солидарности, доверие к людям, рождается гордость труженика, принимающего личную ответственность не только за дела стройки, но и за душу товарища, за его радости и обиды. Большую роль играет в книге изображение дружной и вдохновенной работы бригады Кратохвила. «Бетонное интермеццо» потому и читается с увлечением, что это не просто эпизод, а один из актов драмы, в которой решаются человеческие судьбы. Можно говорить о полемике Ладислава Бублика с плохими, серыми «производственными романами». Часто герои таких романов изображались исключительно в производственной сфере, и их духозный мир представлен обедненным. Кратохвил живет на страницах романа сложной духовной жизнью, и его внутренняя жизнь неотделима от практики строителя и борца, отстаивающего чистоту дорогих для него социалистических идеалов. Форма дневника, может быть, понадобилась автору затем, чтобы подчеркнуть элемент полемики. В «производственном романе» стройка обычно изображалась, так сказать, с командного пункта, теперь на нее смотрит рядовой строитель.

С большой силой тема гражданской ответственности «рядового человека» воплощена в романе болгарского писателя А. Наковского «Мария против Пиралкова». Удача романа связана прежде всего с образом простой труженицы Марии Васильевой, которая, будучи смертельно больной,

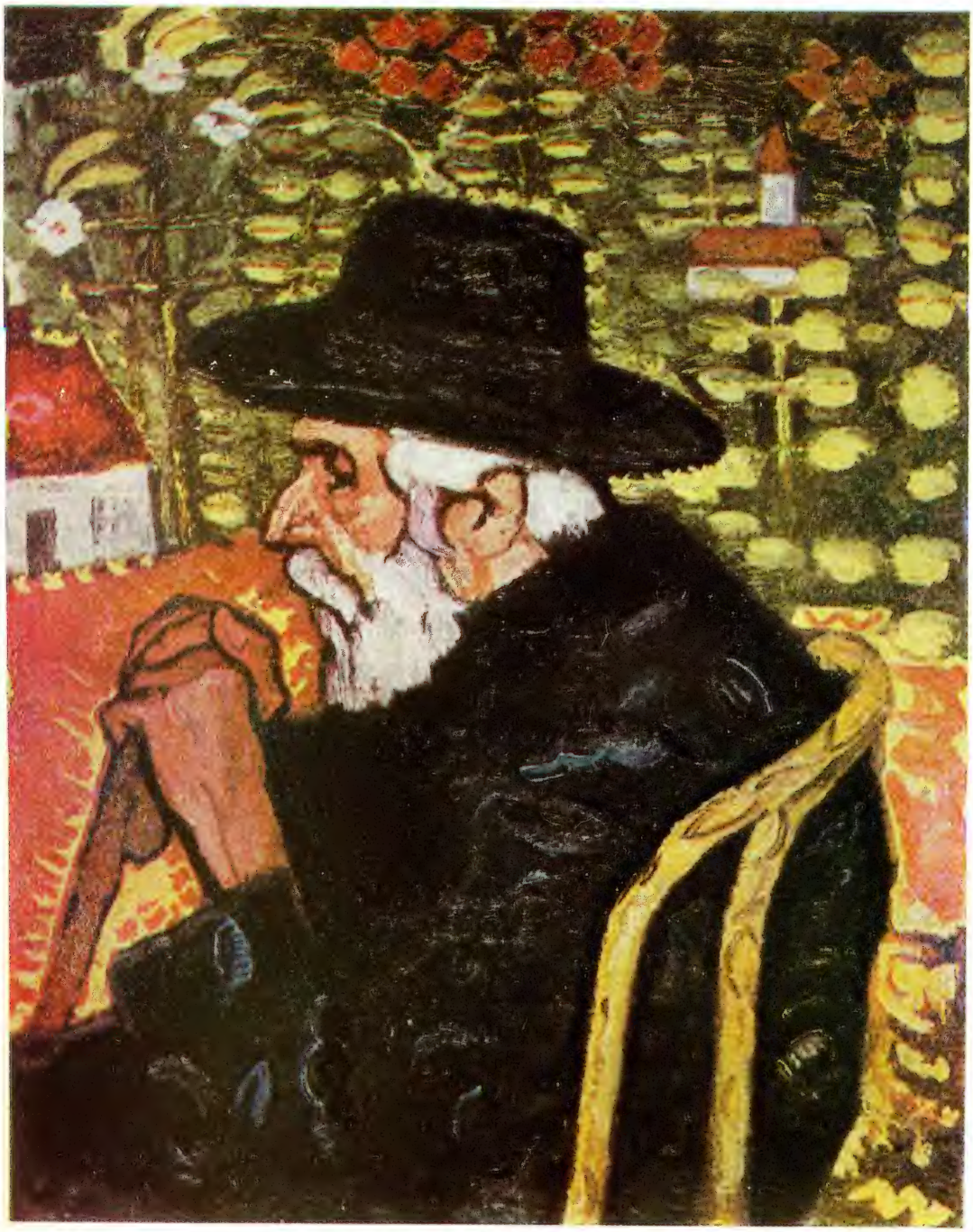
ИОН ЦУКУЛЕСКУ
(Румыния)

Зима на улице Лизяну

Лужайка

В открытом море

Портрет дедушки



Васильки

отдает последние силы разоблачению несправедливости.

Несколько лет назад критики многих социалистических стран отстаивали преимущество «ich-формы». Повествование от первого лица должно было прийти на смену «холодно-безличному, всеведущему рассказчику». Конечно, подобной замены не произошло; но повествование от первого лица не привело к субъективизации действительности, а обогатило литературу достоверностью непосредственного переживания и позволило по-новому раскрыть многие моральные вопросы. Ладислав Бублик, например, расширяет дневниковую форму, вводя протоколы собраний, рассказы строителей, записанные героем, письма, официальные документы. Это нарушение «чистоты» жанра, ведущее к расширению диапазона действительности, которую охватывает произведение, весьма характерно. В повести «Двадцать часов» венгерского писателя Ференца Шанты также применено быстрое чередование диалогов, внутренних монологов, протоколов собраний, которое помогает многогранно и динамично развернуть конфликт, потрясший в 1956 году одну из венгерских деревень.

Литература социалистических стран стремится внимательно присмотреться к новой жизни. Это вызвало две внешне противоположные тенденции: тяготение прозаиков к репортажу, с одной стороны, и к эссе, к лирике, философским и сатирическим жанрам — с другой. При этом многие репортажи близки к эссе, и в них проявляется лирическое и философское начало. Так, непринужденную, эпистолярную форму избрал в своих «Письмах к пани Зет» Казимеж Брандыс. Польский писатель обращается к актуальным проблемам сегодняшнего дня и порой смело критикует недостатки. Но о чем бы он ни писал, критерием для него является социалистический идеал: «Будущее мира я вижу в социализме».

Достижением художественно-документальной прозы явилась книга Тадеуша Брезы «Бронзовые врата», в которой своеобразно преломляются особенности «литературы факта». Сквозь множество достоверных данных, касающихся жизни, структуры и нравов Ватикана, проводится обличительная мысль, направленная против современного католицизма. Не приходится говорить, сколь актуальна такая тема для Польши.

Репортаж, очерк и другие документальные и публицистические жанры иногда как бы принимают на себя функции социологического исследования. Художественный очерк выступает разведчиком нового, тех проблем, которыми в дальнейшем начинает заниматься вся литература. Важно также отметить проникновение публицистических и документальных выразительных средств в другие жанры.

Вообще изменения в структуре и иерархии жанров показательны для современного этапа развития социалистического реализма. В то же время практика не подтвердила предсказаний об исчезновении жанра социального романа, тесно связанного с развитием реализма. Широкие социальные полотна оказываются наиболее пригодными и в тех случаях, когда авторы обращаются к проблемам недавнего прошлого, ставят перед собой задачу показать целые периоды в жизни страны и нарисовать широкую картину общественных изменений. Следует отметить романы-эпопеи, получившие в последнее время особое развитие в болгарской литературе. Широкая картина народной жизни периода первой мировой войны и послевоенного революционного подъема дана в серии романов Георгия Караславова «Простые люди», Е. Станев в романе «Иван Кондырев» также создает широкую, подлинно эпическую картину исторических событий начала 20-х годов — Сентябрьского вооруженного восстания болгарского народа. В центре этих романов — герои, активно включившиеся в бурный ход исторических событий и обретающие революционную сознательность.

Активно действующий герой, а вместе с ним и героическое начало ярко проявилось в ряде романов о второй мировой войне и антифашистском Сопротивлении. Примером может служить трилогия словацкого писателя Владимира Минача, посвященная Словацкому восстанию 1944 года (особенно две ее первые части: «Время долгого ожидания» и «Живые и мертвые») или роман-эпопея Бранко Чопича «Прорыв», посвященный партизанскому движению боснийских крестьян. И у Минача, и у Чопича критики отмечали родственность вольному течению толстовской эпопеи. Вообще в жанре широкого эпического повествования наиболее ощутимо воздействие классических традиций.

Первым здесь должен быть назван роман Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава», появление которого стало значительным событием в литературе социалистических стран последних лет. У Ярослава Ивашкевича мы найдем поистине широкий охват исторической действительности. Он воссоздает картину жизни польского общества от кануна первой мировой зойны до изгнания с польской земли фашистских оккупантов. Это произведение, написанное в форме «романа-реки»,— книга исторических итогов, больших обобщений и раздумий над полной превратностей эпохой в судьбе Польши.

Ярослав Ивашкевич сознательно придает роману элементы исторической хроники — главы начинаются с точного указания времени и места действия. Деление по томам определяется историческими вехами. В романе действует множество героев, представителей разных слоев польского общества, и многочисленные жизненные судьбы, переплетаясь, складываются в широчайшую картину эпохи. Истори-

ческие и политические события, и прежде всего события польской истории, преломляются в этих судьбах и создают живой колорит времени. Эта увлекательно написанная хроника объединена общей художественной мыслью, которая составляет другой, может быть, важнейший пласт произведения. Герои эпопеи становятся участниками спора между справедливостью и несправедливостью, и этот спор воспринимается не только в реально фабульном, но и в символическом плане. Позиции прогресса защищают герои, в которых запечатлено «фаустовское начало», герои ищущие, бескорыстные поборники правды, как композитор Эдгар Шиллер или чистейший правдоискатель, «красный граф» Януш Мышинский, а также — рабочий-коммунист Ясь Вевюрский.

Можно говорить о близости произведения Ярослава Ивашкевича к таким интеллектуальным эпопеям, как романы Ромена Роллана или Томаса Манна. Сближает их и тема искусства и прежде всего музыки. Музыка будто звучит со страниц романа, сцены, ей посвященные, играют значительную идейно-композиционную роль в повествовании, с музыкой связана тема мирового значения и судеб европейской культуры, она служит критерием проверки философской и жизненной позиции героев. В этом романе «экзистенциальная» проблематика постоянно переплетается с общественно-политической. Целостность эпопее придает изображение закономерности исторических изменений, приведших польский народ к власти в своей стране. Свойственное писателю «гетевское» сознание вечной изменяемости, текучести, трагизма и обновляемости жизни, благотворности этого обновления приобретает в романе историческое обоснование.

Углубленный анализ социального процесса в его воздействии на мораль, на психологию можно отметить в произведениях румынских писателей. Раскрытие общественного процесса через психологическое самоутверждение человека в жизни является основой ряда румынских романов последнего времени. Роман Ремуса Луки «Рассказ о любви», Михая Бенюка «Исчезновение рядового человека», Эуджена Барбу «Сотворение мира», Николае Бребана «Франциска» отображают общественные сдвиги через изменение психологии каждого индивидуума. Характерен в этом отношении роман Н. Бребана «Франциска», в котором показана общность революционного сознания, сближающая молодых людей. Франциска, выросшая в семье высокопоставленного духовного лица, и забитый поденщик Купша становятся сознательными и активными приверженцами нового строя не в силу того, что «так сложились обстоятельства», а в силу того, что они осмыслили эти обстоятельства (для обоих героев весьма различные), выработали свое отношение к миру, выстрадали это отношение и пришли к единой правде, к пониманию социализма.

Путь становления личности, растущей в сопротивлении окружающей среде, исследует литература ГДР, рассказывающая об историческом переломе в сознании миллионов немцев Эта мысль выражена в заглавии романа Макса Вальтера Шульца — «Мы не пыль на ветру». Этот роман, как и некоторые другие произведения писателей ГДР, продолжает традиции немецкого романа воспитания. Такая форма подошла для раскрытия проблематики, связанной с судьбой поколения, которое, хотя и было изуродовано фашизмом, выходит на новые дороги. В романе Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» подробно рассказывается о «годах учения» и «годах странствий» одного из представителей той немецкой молодежи, которая вступила в сознательную жизнь в годы фашизма и на плечи которой легло бремя преступных военных авантюр. Отрезвление Хольта наступает лишь под влиянием тяжелых жизненных уроков, раскрывающих ему глаза на обман. Здесь следует говорить не о философском, а об эпическом пути доказательств истины, что также свойственно роману воспитания: еще Гете заставлял Вильгельма Мейстера окунуться в разные потоки жизни, прежде чем привел его к сознанию жизненной мудрости. Дитер Нолль в новых условиях стремится продолжить эту традицию, показывая трудный путь превращения человека в субъекта исторического действия.

Отзвуки старой немецкой традиции мы встречаем также в романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп». Его герой в чем-то сродни Уленшпигелю и Симплициссимусу. Этот немецкий крестьянин, наделенный народным юмором и здравым смыслом, чудаковатый и неудачливый, полон чувства ответственности за ход новой жизни и не может спокойно смотреть на неполадки в хозяйстве. Эрвин Штриттматтер хочет создать образ активного, нового по своим моральным качествам человека демократической Германии и рассказать об актуальных вопросах жизни немецкой деревни.

Таким образом, роман как эпическая форма, которая, по выражению Белинского, «удобнее для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни» *, продолжает свое успешное развитие в литературе социалистических стран.

Книги, о которых шла речь, свидетельствуют о развитии традиционных форм романа, об их обновлении, помогающем раскрыть большое современное содержание. Но широкая эпичность не является непременным условием глубокого общественного содержания. Черты нового нередко находят свое выражение в иных формах. Со стернианской лирико-иронической традицией, расцветшей в Германии в прозе Жан-Поля и Гейне, связан роман Г. Канта «Актовый зал», по построению более «модерный», нежели книги Штриттматтера, Нолля, Шульца (смещение временных планов, подчеркнутая аполити-

* В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, стр. 271.

ность, внутренние монологи). Пафос романа — в живом воссоздании процесса формирования новой народной интеллигенции ГДР, но Кант и его герой, бывший рабфаковец Исваль, справедливо считают, что успехи на этом пути дают право на острую критику всяких догматических и бюрократических пережитков. По-другому черты нового воплощены, например, в книге польского писателя Вильгельма Маха «Агнешка, дочь Колумба», сюжет которой намеренно абстрагирован от места и времени и облачен в форму сказки-притчи. Вместо прекрасной принцессы и злого волшебника выступают хрупкая, юная учительница Агнешка Жванец и мрачный, деспотичный староста, управляющий деревней на военный манер. Как бывает в сказках (а иногда и в действительности), девушка, воплощающая свет и добро, полюбила злого гения: тот отвечает ей сосредоточенным и тяжелым чувством, которое не может изменить внутренней сущности этого человека. Четкие линии, стройность притчи понадобились автору для раскрытия современного конфликта: Агнешка сознательно вступает в борьбу против уклада жизни, основанного на произволе и слепом подчинении, и ее торжество — это торжество новой жизни. «Гетевское «Больше света!» или пушкинское «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — замечает польский критик А. Дравич,— могли бы служить эпиграфом к истории Агнешки и солтыса» *.

В последнее время много пишется об усилении интеллектуального начала в литературе социалистического реализма. Эта тенденция ведет к созданию новых поэтических форм. Среди произведений, о которых можно сказать, что их художественным объектом как бы становится сама мысль, характерна пьеса чешского драматурга Милана Кундеры «Владельцы ключей». Структура пьесы определяется не столкновением характеров, а столкновением идей. Каждая новая ситуация — звено в цепи неумолимых доказательств. Действие происходит в годы оккупации в доме отставного майора Круты, где живет он с женой и его дочь Алена с мужем, архитектором Иржи Нечасом. Оно начинается с боем часов, отсчитывающих восемь ударов; но прежде чем часы пробьют десять, от нормальной жизни ничего не останется. Иржи, в прошлом участник коммунистического сопротивления, отошел от борьбы. В это утро перед ним возникает прошлое: у него просит убежища Вера, товарищ по борьбе и некогда любимая женщина. Иржи не может отказать Вере, идущей с важным заданием в Словакию, а когда дворник грозит ее выдать, Иржи убивает прислужника оккупантов, подвергая опасности всю семью. Сюжет позволяет поставить острые вопросы об ответственности, об участии человека в историческом действии, о цене, которой за это расплачиваются. Параллельно развивается другая сюжетная линия-притча, образующая другой ярус пьесы. Кундера сознательно претворяет прием абсурдизации действительности для обличения мещанства «владельцев ключей». Обе линии, дополняя друг друга, помогают определить истинные пропорции и смысл исторического, большого конфликта и абсурдной мышиной возни Крутовых. Мир Крутовых затхл и ничтожен, но агрессивно претендует на владение истиной «в последней инстанции». Финал вызывал споры. Не обязан ли был Иржи раскрыть истину и дать Крутовым возможность выбрать свою судьбу? Но нет сомнения, что Крутовы немедленно выдали бы и погубили Иржи и Веру, провалив всю сеть подпольной организации.

У чешского писателя, в противоположность литературе абсурда, торжествуют разум истории и его носители. Кундера, как писатель социалистической страны, показывает перспективу, результат упорной борьбы, в которой участвовали Иржи и Вера. Но автор видит проблематику во всей ее подлинной сложности и трагизме — мир Крутовых не сдает позиций.

Идея драмы требовала особых художественных конструкций. Быстрота действия зависит от решений, которые принимает Иржи, и в переломный момент «объективное время», те несколько минут, которые он имеет для вынесения приговора заменяется «субъективным временем»: своеобразными видениями, призванными раскрыть процесс осознания ситуации. Стремление акцентировать философское начало и обращение к условным художественным конструкциям наблюдается в произведениях таких разных драматургов, как Кручковский и Мрожек, Карваш и Ловинеску.

Большое внимание к духовному миру современника проявляет поэзия социалистических стран, в ней, как и в драме, усиливается интерес к интеллектуальной проблематике и повышается удельный вес лирического субъекта. Вместе с тем и в лирике, как и в драме, играет значительную роль историческая тема, масштабные формы; поэзия выражает большие гражданские чувства. В творчестве многих поэтов стали оживать традиции направлений поэзии межвоенного периода, базировавшиеся на сложно-ассоциативной образности. Однако это не единственный путь развития поэзии. Появляется и ясная по форме, более близкая к классической стройности поэзия, например ряд произведений болгарских поэтов. При этом подобная поэзия выражает по-настоящему современные чувства, глубоко заглядывает в душу современника. Удивительно тонкое, образное раскрытие психологии человека, откликающегося на то, что волнует современный мир, и активно участвующего в творческой работе народа, встречается у болгарского поэта Веселина Ханчева, сумевшего распахнуть окна в большой мир, обратить читателя к размышлениям о важнейших исторических проблемах эпохи. В социалистических странах Европы наблюдается дальнейшее развитие лиро-эпической поэмы с

* «Вопросы литературы», № 12, 1965, стр. 58.

большим общественным содержанием, с серьезными философскими и эстетическими медитациями — поэмы «Вилла Тереза» Ладислава Новомеского, «В погожую осень» Валерия Петрова. По меткому выражению одного критика, последние годы стали «временем надежды» в поэзии ГДР. Большого подъема в 60-е годы достигло творчество Иоганнеса Бобровского, Георга Маурера, Эриха Арендта, молодые дарования Фолькера Брауна, Карла Микеля, Уве Грессмана, Курта Бартша, Рейнера Кирша и других талантливых поэтов.

Многообразие аспектов подхода к действительности, характерное для современного этапа развития реализма в литературах социалистических стран Европы, богатство жанров и стилей свидетельствуют о высоком уровне художественного сознания, достигнутом в условиях оздоровления общественной атмосферы, высвобождения творческой инициативы социалистического индивидуума, возросшего доверия к человеку-творцу. Литература глубже изображает процессы преобразования действительности, обращается к подлинно значительным темам, позволяющим раскрыть перспективу поступательного движения социалистического общества.

Возрастает авторитет литератур социалистических стран Европы; писатели создают произведения, переводимые на многие языки мира, имеющие отклик далеко за пределами национальных границ, ставят вопросы, важные для всего современного человечества. Для сегодняшнего этапа характерно также творческое отношение к традиции как классической, так и к более близкой традиции XX века — сочетание устоявшихся форм и все более смелых новаторских поисков.

Несмотря на известное недоверие к термину «социалистический реализм», проявляющееся в критике ряда социалистических стран, на практике, в живом литературном процессе продолжается поступательное развитие этого метода. Более того, возникает вопрос об общих чертах, о коллективном художественном опыте литератур этих стран. Обогащение форм, направлений и стилей говорит не об отклонениях от реализма, а свидетельствует о возможностях его развития. В центре внимания писателей, идущих путями социалистического реализма,— человек как активный, целеустремленный участник исторических преобразований, человек в его активном соотношении с историей, человеческое мужество и сознательное понимание своей вовлеченности в процесс преобразования мира. В то же время писатели теперь последовательнее и многообразнее раскрывают принцип изображения героев в динамике, поиски человеком достойного места в бурном движении эпохи. Путь литературы лежит, несмотря на все трудности, в русле развития богатого, многогранного искусства, достойного нового человека социалистической эпохи.

МАРИО АЛИКАТА

«ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ»*

Предлагая нашим читателям познакомиться с «Легендой об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» — этим шедевром современной фламандской литературы на французском языке — вскоре после выхода в нашей серии «Дон-Кихота», шедевра испанской литературы, мы не исходим из признания прямой и качественно важной связи между бессмертным творением Сервантеса и этим романом Де Костера. Наше предупреждение отнюдь не случайно. Еще Умберто Фраккья, первый блестящий переводчик «Уленшпигеля» на итальянский язык — перевод которого мы предлагаем теперь читателю,— также счел нужным прибегнуть к этому сопоставлению, между прочим, весьма распространенному в критической литературе, посвященной «Уленшпигелю», в которой оно встречается наряду с утверждениями о сходстве с такими романами, как «Ласарильо с Тормеса» ** и «Симплициссимус» ***. Единственное надежное оправдание такого сближения, на наш взгляд, в том, что Де Костер рядом со своим героем — тоже «рыцарем печального образа», хоть не имеющим, как мы увидим позднее, ничего общего с «хитроумным гидальго»,— счел нужным показать «простодушного дурачка» Ламме, чье родство с Санчо Пансой несомненно, хотя и здесь речь идет о родстве очень дальнем и по сути дела скорее внешнем.

На самом деле — и сутью своей и формой — «Дон-Кихот» и «Уленшпигель» книги совершенно разные. Разница, прежде всего, в том — и это следует тотчас же оговорить,— что по силе и сложности идейного значения, по силе художественного воздействия «Дон-Кихот» стоит неизмеримо выше «Уленшпигеля». Этим объясняется то, что «Уленшпигель», хоть и ближе к нам по времени написания (книга Де Костера вышла в свет примерно сто лет тому назад, в 1867 году), все же не обладает той силой «преодоления времени» и той «современностью», которая отличает шедевр Сервантеса; в конечном счете «Уленшпигель» не столь знаменит и популярен. Хотя «Дон-Кихот» — книга, несущая на себе печать сложных литературных и культурных исканий, эти усилия автора оказываются полностью «отфильтрованными» благодаря высокому искусству, в то время как «Уленшпигель» несет на себе гораздо более заметный отпечаток писательских борений — особенно явных в оригинале, в котором, как в мозаике, отражены усилия, затраченные автором на сознательную и тщательную дозировку старофранцузской лексики и синтаксиса и французского разговорного языка. Но несмотря на столь очевидные и сознательные усилия автора, которые дают себя знать, несмотря на высокий уровень книги, этот роман Де Костера, именно благодаря «изысканности» своего стиля, подготавливает почву для последующих бельгийских писателей, которые, будучи чужды демократическим и патриотическим устремлениям Де Костера, становятся в отличие от него типичными представителями европейского декаданса.

Отчего же мы все-таки предлагаем десяткам тысяч наших читателей новое издание книги Де Костера? На это не трудно ответить.

«Легенда об Уленшпигеле», несмотря на свои недостатки, все же остается единствен-

---

* Опубликовано в газете «Унита» 11 декабря 1966 г.

** «Ласарильо с Тормеса» — испанский плутовской роман, автор которого неизвестен. Появился в 1542 году.

*** «Симплициссимус», роман Гриммельсгаузена,— шедевр немецкой литературы XVII века.

ной в своем роде книгой, автор которой стремится воспроизвести спустя несколько столетий национальную эпопею народа, сохраняя форму легенды. При этом были, конечно, утрачены непосредственность и свежесть, присущие национальному и народному эпосу, но зато мы встречаем в ней историческое осмысление содержания и значения этой эпопеи, благодаря которому она в конечном счете стала одним из наиболее выдающихся примеров гражданской литературы современной Европы, торжественным гимном свободы не только религиозной, но и политической, гимном борьбы за национальную независимость, одним из лучших в этом смысле произведений европейской литературы эпохи великих сражений за национальное освобождение, политические свободы и гражданские права.

Мы предлагаем перечитать «Легенду об Уленшпигеле», потому что эта книга даст великолепную, непревзойденную картину фламандской жизни в период между XVI и XVII веками, дает превосходное представление об одном из наиболее типичных моментов истории современной Европы и всего мира. Эта книга также весьма полезное, а может, и необходимое пособие для «прочтения» фламандской живописи, ставшей типичной и неотъемлемой частью периода становления современной европейской цивилизации (вот почему, иллюстрируя эту книгу, мы обратились к одному из наиболее крупных представителей фламандской живописи).

■

Действие в «Уленшпигеле» развертывается на предельно точном историческом фоне начала великой борьбы фламандского народа, в то время духовно объединенного на территории, включающей ныне значительную часть Бельгии и Голландии,— борьбы с испанскими монархами австрийского дома Карлом V и Филиппом II, владевшими этой территорией по праву наследования и, собственно говоря, не совсем чуждыми фламандскому национальному самосознанию (первый из них родился в Генте и много лет жил во Фландрии). Когда, однако, религиозные войны, испепелявшие в то время Германию и Францию, перенеслись на фламандские земли, и Карл V, и в особенности сын его Филипп II объявили войну находившемуся на подъеме протестантству, фанатично защищая традиции и права римской церкви, образовалась глубокая пропасть между аристократией, городской буржуазией и простым народом Фландрии, с одной стороны, и чужеземными монархами — с другой: со временем эта пропасть стала непреодолимой. Началась борьба за «свободную совесть» и национальную независимость Фландрии.

Главными действующими лицами этого первого этапа борьбы являются: с фламандской стороны — принц Вильгельм Оранский, по прозвищу Молчаливый (под этим прозвищем он почти всегда выступает в романе), а со стороны испанцев — после отречения от престола и смерти Карла V — его сын Филипп II и герцог Альба, большой полководец, посланный во фламандские провинции, чтобы заменить оказавшуюся недостаточно сильной герцогиню Маргариту, незаконнорожденную дочь императора Карла V и жену пармского герцога Алессандро Фарнезе. Но подлинный герой книги — сам фламандский народ, зарождающаяся здоровая буржуазия и простой люд фламандских городов, которые стали, в особенности после открытия Америки и перемещения центра мировых торговых путей со Средиземного моря в Атлантику, самыми крупными торгово-финансовыми метрополиями Европы. Герой книги — это, на первый взгляд, безликая толпа граждан, презрительно прозванных «гёзами» (нищими) в императорских и королевских дворцах Мадрида, а быть может, и в кругах напыщенной римской курии. И не случайно, что аристократические вожди движения должны были присвоить себе это имя, столь часто с законной гордостью прославляемое на страницах «Легенды об Уленшпигеле», главный герой которой как раз и назван «великим гёзом».

Впрочем, принц Оранский, а вместе с ним и другие аристократы, его союзники, лишь иногда мелькают на страницах романа. И он, и другие аристократы часто вызывают недоверие со стороны буржуазии и простого люда; выразителем их чувств в романе стал Ламме Гудзак, само воплощение народного здравого смысла: «Я говорю, что все мы дураки — и я, и ты, и Уленшпигель,— обращается он к одному из заговорщиков, выходцу из народа, кузнецу Вастеле,— мы слепим глаза ради принцев и сильных мира сего, а они животики бы надорвали с хохоту, когда бы узнали, что мы с ног валимся, оттого что всю ночь ковали для их надобности оружие и отливали пули. Они себе попивают из золотых кубков французское вино, едят из английского олова тарелок немецких каплунов и знать не хотят, что мы ищем попусту истинного бога, по милости которого они забрали такую силу, а враги косят нас косами и живыми бросают в колодцы.

И ведь они не реформаты, не кальвинисты, не лютеране, не католики — они скептики, они во всем сомневаются, они покупают или же завоевывают себе княжества, отбирают добро у монахов, у аббатов, у монастырей, у них есть и девушки, и женщины, и шлюхи, и пьют они из золотых кубков за нескончаемое свое веселье, за нашу вековечную глупость, дурость и бестолковость и за все семь смертных грехов, которые они совершают прямо под твоим, Вастеле, носом, который у тебя заострился от излишнего рвения. Окинь взглядом поля и луга, окинь взглядом посевы, плодовые сады, скот, сокровища, выступающие из недр земли. Окинь взглядом лесных зверей, птиц небесных, дивных ортоланов, нежных дроздов, кабаньи морды и окорока диких коз, все это им — охота, рыбная ловля, земля, море,— все им. А ты сидишь на хлебе и воде, и мы все здесь из кожи вон лезем для них, ночей недосыпаем, не едим и не пьем.

А когда мы подохнем, они пнут ногой наши трупы и скажут нашим матерям: «Наделайте новых — эти уже не годятся».

Правда, Уленшпигель всегда против такого неверия, потому что защищает национальное единство, необходимое для торжества дела фламандского народа, дела «свободной совести», тем более что Уленшпигель (а не принц Оранский) — не будем забывать об этом,— и есть герой этой эпической легенды. Это он — «дух Фландрии», «великий гёз» не в меньшей степени, чем друг и кум его Ламме, и они, выходцы из народа, хотя и не из низших его слоев, вечно терпят нужду и ведут жизнь бродяг. Нет ничего аристократического в этом чисто бюргерском и народном, здоровом и колоритном мире, в котором живет и действует Уленшпигель,— как, впрочем, бюргерскими и народными являются типы и обычаи, «интерьеры» и «натюрморты», которые мы обнаруживаем в великой фламандской живописи XV—XVII веков.

В самом деле, пружиной, приведшей в действие историю Фландрии, а спустя некоторое время и всей Европы того периода, является развивающийся капитализм, переживавший тогда в этом районе мира один из первых и наиболее бурных периодов своего зарождения и становления. Фламандская торговая буржуазия была одной из движущих сил этого капитализма, она оказалась способной не только на установление гегемонии над всеми народными слоями, но и на то, чтобы подтолкнуть значительную часть дворянства. Как бы рельефным символом зарождающегося капитализма, восходящей буржуазии становится Антверпен, один из самых важных, если не важнейший, центров мировой торговли того времени. Не удивительно, что для прославления Антверпена Уленшпигель находит в одном из наиболее характерных мест романа следующие вдохновенные слова:

«Смотри, какой большой город! Сюда стекаются сокровища со всего света: золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, сукна, бархат, шерсть, шелк; бобы, горох, зерно, мясо, сало, мука; вино лувенское, намюрское, люксембургское, льежское, брюссельское и ардрохотское, вино из Бюле, виноградники которого подходят к Намюрским воротам, рейнское, испанское и португальское, арсхотская изюмная наливка, которую там называют landolium, бургундское, мальвазия и многие другие. Пристани завалены товарами. И все эти земные блага и плоды человеческих рук привлекают сюда самых смазливых потаскушек, каких только видал свет».

Всевозможные товары и злаки, вино, и теплые, уютные таверны с их процветающими и полными достоинства владельцами, где повстречаешь и легко доступных щедрых бабенок, которых Уленшпигель отлично знает и не обходит стороной, хоть и упоминает в тех же цитированных строках, что распутные девки чаще всего на свете служат «причиной разорения»,— словом, таков этот Антверпен. Такова Фландрия, которая стоит перед глазами Уленшпигеля, Фландрия, которую он носит в сердце. За эту Фландрию и борется Уленшпигель. И весьма знаменательно, что католическому фанатизму, столь хорошо воплощенному в романе в образах Филиппа II и герцога Альбы, Де Костер не противопоставляет столь же дикий и, может, не менее лицемерный, а порой и более слепой протестантский фанатизм. Ему противостоит то могучее и непосредственное чувство жизни, символом которого является Уленшпигель. И тогда борьба за свободу религии становится прежде всего борьбой за свободу совести, за терпимость, за утверждение светского и земного отношения к жизни. Де Костер, восстанавливая события трехвековой давности, справедливо изображает войну во Фландрии не как войну религиозную, а как войну за национальное освобождение и за гражданские свободы (в отличие, например, от знаменитого итальянского историка, современника этих событий, кардинала Гуидо Бентиволо, находившегося во Фландрии в качестве папского нунция с 1607 по 1616 год и оставившего нам описание этой войны, которое до сих пор читается с большим интересом и удовольствием). И пусть сами участники этой войны не вполне осознавали всего этого. Важно, что к такому осознанию пришел Де Костер, живший и писавший после французской революции, в середине столетия великих национальных сражений и борьбы за гражданские свободы, и осознал это задолго до Вебера*, размышлявшего над особенностями, свойственными борьбе за религиозную свободу и утверждение протестантской реформации во Фландрии, и столь устремленно привлекшего наше внимание к функциональной зависимости между этой борьбой и зарождением современного капитализма.

Вначале мы говорили, что, на наш взгляд, не совсем правильно и убедительно традиционное сближение «Тиля Уленшпигеля» с «Дон-Кихотом». Теперь полезно будет уточнить, что Де Костер, изображая, более того — символизируя фламандский народ в лице Уленшпигеля и Ламме Гудзака, не оставил без внимания и то раздвоение, и ту диалектическую связь между Дон-Кихотом и Санчо Пансой, которую мы находим у Сервантеса. Разница в том, что речь идет о раздвоении и диалектической связи между персонажами, глубоко отличными от героев созданного Сервантесом шедевра.

Конечно, в этом романе Ламме также символизирует народный «здравый смысл», в то время как Уленшпигель является выражением наиболее высоких добродетелей народа, смелости, самоотверженности, верности своему знамени, свободолюбия, якобинского патриотизма. Но достаточно выявить именно это содержание, превращаю-

* Макс Вебер (1864—1920) — немецкий социолог и экономист.

шее Уленшпигеля в «идеальное» диалектическое средоточие народной души, чтобы понять, как глубоко проблематика Де Костера отличается от проблематики Сервантеса. Нет даже нужды добавлять, что основной чертой Уленшпигеля не было то «безумие», которое, впрочем, благодаря тонкой иронии Сервантеса, адресованной самому себе, становится высоким разумом Дон-Кихота. Уленшпигель — это воплощение неподдельной мудрости, хитрости, безудержной ловкости человека, всем обязанного самому себе и способного выпутаться из любых затруднений, преодолеть любые преграды, отважиться на любую авантюру, всегда подсмеиваясь над другими и никогда над самим собой. Именно такими представлял себе Де Костер характерные добродетели зарождающегося фламандского бюргерства, символом и воплощением которого является Уленшпигель, этот, если хотите, «рыцарь идеи», но твердо стоящий на земле, обладающий теми качествами, которые необходимы ловкому заговорщику, политическому агитатору, большому народному вождю. Верно, что он способен пойти на любую жертву, но в то же время он любит хорошо поесть, не упустит любой возможности галантных приключений, гораздо более реальных, чем приключения Дон-Кихота. Не противоречит этим чертам характера, а является лишь признаком сложности «души Фландрии» нежная, неистощимая и неизменно цельная любовь Уленшпигеля к Неле, молодой девушке, воплощающей «материнское сердце Фландрии»; она и ее мать Кателина — жертва трагического безумия — наиболее романтические фигуры романа. «Здравый смысл» Ламме выявляет и недоверие народа к господам и дворянам, и все ужасы войны, которую признают и терпят, раз она необходима, но ей всегда противопоставляют мечту о спокойной семейной жизни. Однако диалектическая связь образов Уленшпигеля и Ламме не является единственной и самой важной в романе, и в этом отличие ее от связи между Дон-Кихотом и Санчо Пансой. В романе Де Костера есть другой доминирующий узел — постоянное противопоставление Уленшпигеля, борца за свободу, ставшего символом народа и Фландрии, и Филиппа II, мадридского тирана, притеснителя свободы совести и независимости Фландрии. Его портрет, воплощенный Де Костером в ряде подлинно живописных «картин», становится одним из наиболее сильных сторон романа; яростная, переполняющая душу ненависть к нему оправдывает искусственность литературного приема, с помощью которого Де Костер хотел провести нечто вроде аллегорической «параллели» между жизнью Уленшпигеля и Филиппа II. Уленшпигель родился, и крестили его (в то время семья Уленшпигеля еще исповедовала католическую веру), одновременно с Филиппом II — и само это обстоятельство приводит к забавным приключениям и злоключениям — инфанта крестили во время траура, который соблюдался двором по велению Карла V в дни ограбления Рима, захваченного солдатами и военачальниками империи, и крестили Филиппа «в белых пеленках, в знак королевского траура». Итак, с самого начала «зловещее предзнаменование» отмечает появление на свет «палача Фландрии», да иначе и быть не могло, потому что он — «наверху», он вместе с «душителями народов», которые намерены пройти по жизни, «всем досаждая войнами, поборами и прочими злодеяниями».

Уленшпигель — «внизу», он вместе с «жертвами». Но появился он на свет в переломный момент истории, когда «жертвы» начинают свое движение, когда они сплотились, чтобы идти вперед. Конечно, им предстоит долгий путь. Но разве это важно? Недаром Уленшпигель, сын народа, и по преданиям фламандских легенд, и в романе Де Костера — «вечно молод и бессмертен».

Перевод с итальянского Г. СМИРНОВА

Статья о романе Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» — одна из последних работ недавно скончавшегося Марио Аликаты, видного деятеля Коммунистической партии Италии, философа, публициста, литературного критика.

Три десятилетия участвовал он в борьбе своей партии против фашизма и реакции, за демократию, за идеи социализма. Марио Аликата много сделал для развития прогрессивной демократической культуры, внес большой вклад в дело исследования проблем литературы и искусства, их значения для современной общественной жизни.

Мне не раз приходилось беседовать с ним — то в его крохотном кабинетике в доме партии в Риме, то в кулуарах III съезда советских писателей, в работе которого он участвовал, то в редакции газеты «Унита», то в московском Дворце Съездов в дни XXIII съезда партии, на который он приезжал в составе делегации ИКП. Марио Аликата был другом Советского Союза и советской культуры. Человек ясного ума и большого сердца, Аликата всегда проявлял кровную заинтересованность в развитии товарищеских

связей между деятелями культуры обеих стран, считая при этом, что дружеская откровенность и прямота лишь укрепляют эти связи. Он великолепно понимал противоречивость культурной жизни нашего времени и выступал за четкость марксистских позиций и вместе с тем за гибкость, против упрощенных схематических решений.

На III съезде писателей СССР он говорил: «Передовые деятели культуры — марксисты-ленинцы должны, наряду с принципиальной борьбой против декадентских тенденций современной литературы и культуры, умело открывать интересные и полезные стороны в опыте тех писателей, которые не принадлежат к ведущей и передовой тенденции современного искусства — социалистическому реализму, должны вскрывать в их творчестве то, что может быть использовано художниками, писателями, которые работают и сражаются под знаменами социалистического реализма».

«Новое направление в искусстве» могло возникнуть, лишь отправляясь от предшествующего опыта культуры, подчеркивал Аликата. Памятна его ведущая роль в ряде теоретических дискуссий итальянских марксистов по вопросам литературы и искусства.

Статья о романе Шарля Де Костера — свидетельство глубокого уважения к лучшему в старой культуре. Итальянский коммунист рекомендует и оценивает фламандскую книгу на французском языке; в этом проявилось и стремление опираться на вершины предшествующего развития в создании новой социалистической культуры, и глубокий интернационализм, не признающий границ для передовых идей. В наше время, когда кое-где не по разуму усердствующие крикуны обливают грязью и клеймят как «буржуазное» и «реакционное» все художественное наследие человечества, особенно важно и дорого обращение к шедеврам прошлого.

Аликата рассматривает «Легенду об Уленшпигеле» как одно из лучших произведений эпохи европейских сражений за национальное освобождение, политические свободы и гражданские права. В книге Шарля Де Костера, вдохновленной народным духом, народной борьбой, он находит моменты, близкие для нашего современника, борющегося за лучшую жизнь.

Публикуя статью М. Аликаты, мы не только отдаем дань уважения ушедшему товарищу; мы видим в творческой деятельности этого замечательного человека широту и силу передовой научной и критической мысли, вдохновляемой идеей коммунизма.

Б. РЮРИКОВ

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

КОНЧИЛСЯ ЛИ РОМАН?

Спор о романе затянулся, ведется он не без раздражения.

Существуют представления, что старый бальзаковский или диккенсовский роман представляет собой форму, еще не изжитую и наиболее годную для отражения сложной действительности.

Выслушав такое мнение, удивляешься, почему внезапно история остановила движение свое в искусстве тогда, когда жизнь убыстрилась.

Классический роман бальзако-диккенсовского периода создан до русского романа, то есть до того пересоздания жанра, которое само уже отвергло мысль о его постоянстве.

Л. Н. Толстой, создавая «Войну и мир», в предисловии — оно оставалось надолго в рукописи — отрицал постоянство формы романа. Он говорил, что ему казалось невозможным выразить эпоху и что он «...сознавал невозможность этого, то простой, пошлый литературный язык и литературные приемы романа казались мне столь несообразным с величественным, глубоким и всесторонним содержанием, то необходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли, которые сами собою родились во мне, так мне становились противны, что я бросал начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что мне хотелось и нужно высказать».

«Войну и мир» начал печатать журнал «Русский вестник» в 1865—1866 годах без обозначения жанра произведения. Это явление — не единственное в русской литературе тех годов.

Печатая в 1866 году пятую часть «Былого и дум», Герцен написал в предисловии: «Начиная печатать еще часть «Былого и дум», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений».

Герцен дальше говорит о неопределенности жанра произведения: «Былое и думы» не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге».

Непрерывный поток статей в «Колоколе» представляет собой искусство, основанное на документе, но в то же время это искусство, дающее обобщение. Это как бы суд над временем с приведением документальных данных.

Герценовская линия продолжалась в «Дневнике писателя» Достоевского. Говоря языком наших оппонентов, русский роман не только в основном антироман, но и русский герой — антигерой, роли консерваторов и революционеров формы меняются.

Структуру старого европейского романа Толстой считал не универсальной.

«Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимается этот род сочинений в (Англии) Европе. Я не знаю ни одного художественного русского романа, ежели не называть такими подражания иностранным. Русская (литература) художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой. Предлагаемое сочинение, ежели имеет какие-нибудь достоинства, то так же как и другие подобные русские сочинения не подходит по своему содержанию ни под понятие повести, ни еще под понятие романа».

На полях: «Вспомнить Тургенева, Гоголя, Аксакова».

Тургенев попал на первое место как автор «Записок охотника», которые определили первый период работы самого Толстого. Список великих русских произведений, строение которых не укладывается в рамки традиционного романа XIX века, Толстой впоследствии дал в разговоре с А. Б. Гольденвейзером. Разговор происходил 28 июля 1902 года.

«Л. Н. перевел как-то разговор на значение и роль формы в искусстве:

— Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то так же — и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом — «Записки охотника» — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек,— «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»...»

Мы можем точно определить, что́ не удовлетворяло Толстого в старом жанре романа, что он навсегда отверг. Об искусственности построения он писал в набросках предисловия к «Войне и миру»: «...еще менее оно (произведение.— *В. Ш.*) может быть названо романом, с завязкой, постоянно усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой уничтожается интерес повествования».

Здесь отрицается: 1) условность выделения конфликта завязки, 2) замена развязки смертью одного из героев или его женитьбой.

Толстой писал: «Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса».

Это положение для Толстого основное, и он от него никогда не отказывался. «Анна Каренина» начата с описания развала семьи Облонских и продолжается описанием распада семьи Карениных и трудностей в семье Левиных.

«Смерть Ивана Ильича» начинается с описания героя в гробу. В «Хаджи Мурате» показ отрубленной головы героя предшествует описанию его сюжетно очень важного последнего сопротивления.

Не только сюжетосложение классической русской прозы антироманно, но и герой этой прозы не герой или герой с уточнением понятия.

Евгений из петербургской повести «Медный всадник» назван в двенадцатой строке первой части «героем» и не имеет фамилии. Про него сказано:

Прозванья нам его не нужно...

В «Езерском» Пушкин оговаривает, что главное действующее лицо его поэмы вызовет возражения критики. Ему скажут:

Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет,
Что нет к тому же перевода
Прямым героям...

Евгений не герой — он щепка на волнах наводнения. Он жертва истории на волнах наводнения. Он почти сосед Акакия Акакиевича; тот лишен даже любви, но протест их не случаен.

Заголовок произведения Лермонтова «Герой нашего времени» — констатация нового положения «героя». Печорин — герой без возможности совершения героического поступка, и все построение произведения, начинающееся очерковыми записками какого-то проезжего, нарушает романную традицию и, изменяя наше восприятие Печорина, позволяет нам определить его значение.

Печорин утвержден как «герой нашего времени». Лермонтов писал:

«Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. Не знаю».

Печорин — герой своего времени, он не может его победить.

Порфирий Петрович во второй главе шестой части «Преступления и наказания» говорит Раскольникову:

«Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем».

Но в какой системе планет должен стать солнцем герой?

Раскольников — красавец, умница, может быть, гений (Солнце.— *В. Ш.*) — не герой не только потому, что он совершает преступление в обстановке, противоречащей романной эстетике.

Раскольников, вернувшись домой после допроса Порфирия и встречи с мещанином, думает про героев: «Нет, те люди не сделаны; настоящий *властелин,* кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры,— а стало быть, и *все* разрешается. Нет, на этаких людях видно, не тело, а бронза!»

Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:

«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью,— ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: «полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к «старушонке»! Эх, дрянь!..»

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто,— старуха, пожалуй что и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, а принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается».

Для Достоевского Раскольников в принципе не «герой», не Наполеон, хотя показан

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

КОНЧИЛСЯ ЛИ РОМАН?

могучим человеком. Моральная характеристика Наполеона, основной мотив его поведения в том, что у него моральные проблемы не возникают; сущность Раскольникова состоит в том, что моральные проблемы исследуются.

Сущность романов Достоевского отличается от сущности романов старого времени тем, что у Достоевского моральные проблемы исследуются в их противоречии, а не считаются неизменяемыми.

Исследуется само понятие — *герой.*

Способы познания — вскрытия противоречивости мира — лежат в основе построения структур искусства, поэтому противоречива и история искусства. С одной стороны, оно непрерывно: мы видим, как тысячелетиями живут сюжеты, темы. Мы видим, как воскрешаются старые произведения. Видим, что поэтика Аристотеля не умерла и греческая мифология была не только почвой для античного искусства, но осталась хлебом, которым питается и наше искусство. Но в то же время мы видим, что искусство прерывисто: сменяются школы, происходят ломка, споры, отрицания, как будто торосятся льды, ломается земля, сдвигаясь и образуя новые горы.

Что же такое жанр с нашей точки зрения?

Жанр — конвенция, соглашение о значении и согласовании сигналов. Система должна быть ясна и автору, и читателю. Поэтому автор часто сообщает в начале произведения, что оно роман, драма, комедия, элегия или послание. Он как бы указывает способ слушания вещи, способ восприятия структуры произведения.

Структура обычно осуществляется как не вполне предвиденная, удивляющая, находящаяся в исследованной области, но «другая».

«ДРУГОЕ» КАК *СВОЕ* ДРУГОЕ

Когда было написано «Слово о полку Игореве», в России уже существовала великая культура, свои каноны взаимоотношения частей произведения, выбор объектов описания.

Как начинается «Слово»?

«Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича? Начати же ся тъй пъсни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню».

Искусство никогда не проходит, но всегда самоотрицается, заменяя способ выражения не для того, чтобы переменить форму, а для того, чтобы найти ощутимое и точное выражение для новой действительности. Баян дал старую форму. Новый автор предлагает дать новую форму по былинам того времени, то есть по документам.

У Ленина сказано:

«Гегель пишет: это не возражение против Гераклита, ибо различное есть сущность гармонии:

«Эта гармония как раз есть абсолютное становление, изменение,— не становление другого, сейчас одно, а затем другое. Существенно то, что каждое отличное, особое отлично от какого-либо другого, но не абстрактно от какого-либо другого, а от *своего* другого, каждое существует лишь постольку, поскольку в его понятии содержится его другое»... *

Рядом с этой цитатой Ленин написал:

«Очень верно и важно: «другое» как *свое* другое, развитие в *свою* противоположность».

Роман, всегда переходя горизонты, отрицает свое прошлое.

Новая «гармония» — это новое изменение «своего».

НОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

История романа непрерывна в отрицании. Отрицается «свое другое».

В частности, изменяется понимание психологии действующих лиц.

Психология Робинзона Крузо в романе Дефо проста, как запись в бухгалтерской книге. Она проецирует в себе логику деловой жизни. Бодрость и отчаяние объясняются и обосновываются, доказанное считается тем самым и существующим.

Конвенции исследования психологии действующих лиц романов Тургенева, Толстого и Достоевского различны. Они могут быть сопоставлены, но не сводятся одна к другой.

Психология героев Тургенева должна объяснять поступки героев, она их обосновывает. Обоснование поступков героев Толстого не целиком лежит в их психологии. Психологически поступки потом оговариваются героями, а причины поступков лежат в массовой психологии или в том, что Толстой в юношеской своей вещи «История вчерашнего дня» называл «додушевными движениями».

В той вещи молодой писатель подчеркивал нелогичность обыденного поведения, противоречие психологии и поступков.

Приведу отрывок из этой мало известной прозы:

«— Останься ужинать,— сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».

Проблема сложности внутренней речи героя разрешалась Толстым неоднократно. Осознанная им психология героев привела к раскрытию противоречия между осознанием причин действий — как своих, так и чужих — и истинных основ действий, иногда лежащих вне сознания действующего лица. Это не введение смутности в ясное. Толстой открыл, что нельзя искать стимулов поступков в том, что люди о себе думают. Психологизация как объяснение поступков героев у Толстого — обман.

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. пятое, т. 29, стр. 235.

«Этот обман наш происходит от двух причин: во-первых, от психологического свойства подделывания apres coup умственных причин тому, что неизбежно совершается, как мы подделываем сновидения в прошедшем под факт, совершившийся в минуту пробуждения, и, во-вторых, по закону совпадения бесчисленного количества причин в каждом стихийном событии, по тому закону, по которому каждая муха может справедливо считать себя центром и свои потребности — целью всего мироздания, по тому закону, по которому человеку кажется, что лисица хвостом обманывает собак, а она только работает рычагом для поворота».

Психологизм зрелых романов Толстого противоположен во многом психологизму старого классического романа.

Раскрытая психика героя не объясняет его поведения, а только сопутствует его поведению, как бы оправдывает его.

Психологизация Достоевского по-своему условна и вызывала протесты Тургенева.

Сохранилась запись Софьи Андреевны Толстой: «...у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва, что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе у Жюля Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот. Человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место».

Тургенев пишет: «Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем».

Тут не надо, конечно, забывать, что оценочная сторона наблюдения, снижающая работу Достоевского, объясняется остротой отношений между Достоевским и Тургеневым.

Но противопоставленность поведения героев романов Тургенева и романов Достоевского указана с зоркостью ярости.

НОВАЯ КОНВЕНЦИЯ

Привожу по памяти один рассказ или, вернее, запись высказываний Марка Твена. Я обратил на него внимание потому, что когда-то рассказал Владимиру Маяковскому анекдот: проповедник в сельской церкви произносит проповедь, паства рыдает. Один из слушателей сидит совершенно спокойным. Его спрашивает сосед — почему ты не плачешь? Тот отвечает: я не здешнего прихода.

Владимир Владимирович считал, что ответ правильный. Слушатель не знал конвенции трогательного и смешного в этом приходе, не знал, как к чему здесь относятся.

Было время, когда люди ездили в сумасшедший дом, чтобы смеяться. Считалось, что сумасшедший смешон.

Часто вижу, как люди в кинозале смеются не там, где это было намечено режиссером; они не подготовлены к этой системе художественного показа. Не знают локального смысла сигналов.

Марк Твен любил сам читать свои рассказы, ездил с ними по провинции. Для чтения он писал вещь заново, тщательно выверяя долготу паузы и учитывая предполагаемый состав слушателей. Однажды он приехал в новый город. Сомневался в успехе. Нанял клакеров.

Дальше идет рассказ, полный условностей.

На улице города Марк Твен встречает Тома Сойера. Том Сойер уже вырос, носит соломенную шляпу, Марк Твен помнит, что его герой очень заразительно смеется. Он говорит ему: — Том, когда я посмотрю на тебя и улыбнусь, ты засмейся.

Клакерам, которые должны прийти в зал, чтобы хохотать и стучать палками об пол, Марк Твен сказал: — Когда человек в соломенной шляпе засмеется, хохочите и стучите палками.

Опасения Марка Твена были напрасными. Чтение имело огромный успех. Все смеялись без всяких сигналов.

В середине вечера Марк Твен, как это часто авторы делают в американской и английской литературе, вставил в юмористический рассказ трогательное место.

Зал замер. Марк Твен рассказывал об одиноком человеке, о бедном человеке, о бесприютном человеке.

Зал повиновался каждому движению рассказчика. Наслаждаясь тем, как он владеет аудиторией, Марк Твен встретился с глазами Тома Сойера и от наслаждения вдохновением улыбнулся.

Том Сойер захохотал, клакеры начали стучать палками, зал грохнул от хохота. И Марк Твен говорит, что прошло уже 25 лет и он никогда не может разуверить людей в том, что это было самой удачной его шуткой.

Изменилась в этом случае конвенция между зрителями и рассказчиком. То, что было трогательно, по сигналу стало смешным.

ОБ АНТИРОМАНЕ

В искусстве сталкиваются эпохи. Они и предвидят себя в искусстве, и переживают себя в искусстве. То, что мы называем жанром, действительно является единством столкновения.

Сейчас на Западе развивается то, что называют антироманом и антифильмом. Я думаю, что каждое произведение искусства в силу того, что оно является звеном самоотрицающего процесса, является противопоставлением чему-то другому.

«Дон-Кихот» противопоставлен рыцарскому роману. Роман Стерна противопоставлен роману приключений. Роман Дидро «Жак-фаталист и его хозяин» шаг за шагом противопоставлен роману, который предше-

---

ствует предреволюционной эпохе. Здесь структура старого романа нарушалась с самого начала, не было даже намека на введение. Герои не имели фамилий. Вещь начиналась так: «Как они встретились?»— «Случайно, как все люди».— «Как их звали?» — «Вам что за дело!» — «Откуда они пришли?» — «Из ближайшего места».

Произведение это основано на отрицании элементов старых структур.

Все случайности и условные уточнения, на которых основан старый роман, отвергнуты, и говорится, что встречные люди не те люди, которых вы ожидаете, не люди из предыдущих приключений.

Роман Дидро — антироман. Роман Чернышевского с постоянным спором с «проницательным читателем» несет в себе опыт Дидро и противопоставляет себя обычному роману. Он реален будущим.

Фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко с медленным действием, с изменением закона монтажа воспринимались как антифильмы.

У каждого человека, когда он стареет, бывает момент, когда он отказывается от новой моды, считает ее ошибкой и остается при узких или старых брюках и старомодной шляпе.

Достаточно я занимался историей искусства, чтоб и это понимать.

Но с покроем новых фильмов и романов все же спорю.

Новые юбки для меня коротки.

Искусство является способом познания мира. Для этого оно строит свои противоречия. Этого я не понимал, и это было ошибкой того, что называли «формальным методом». Это противоречие лежало в самом построении, и его я не мог заметить.

С одной стороны, я утверждал, что искусство внеэмоционально, что оно только столкновение элементов, что оно геометрично.

В то же время я говорил об остранении, то есть об обновлении ощущения. В таком случае надо было бы спросить себя: а что же ты собирался остранять, если искусство не выражает действительности? Ощущение чего хотели вернуть Стерн, Толстой?

Теория остранения, принятая многими, в том числе Брехтом, говорит об искусстве как о познании, как о способе исследования.

Искусство изменяется, жанры сталкиваются для того, чтобы сохранилось ощущение мира, для того, чтобы из мира продолжала поступать информация, а не ощущалась уже традиционная форма.

Путь Достоевского — современнее сегодняшнего западного романа. В заметках к роману Достоевский записывал, что он первый понял «неизбежность невозможного». Неизбежным он считал социальную революцию, которая должна вернуть «Золотой век».

О «Золотом веке» все время идет разговор в записях и набросках, столкновение которых вырастило роман «Преступление и наказание».

Социальная революция мнимо невозможна, но истинно неизбежна.

Революционер, разочаровавшийся в революции, но не оторвавшийся от нее,— Достоевский ощущает и невозможность, и неизбежность. Задержка неизбежного это и есть достоевщина, это и есть основной конфликт у Достоевского и в современном западном романе. Человек, как испуганная лошадь, пятится перед невозможным, вылезает из хомута, но неизбежное неизбежно, а невозможность преодолевает усилие.

Новые художественные возможности существуют в антироман. Это путь неизбежный, но герой сейчас оказался оторванным от мира. Он заключен в бочку, как царевич Гвидон, брошенный в море. Он ощущает движение волн, но не видит их. Царевича Гвидона волны вынесли на берег.

Но в современном мире мы видим иллюзорность сознания, оторванного от мира. Это радиоприемник, который принимает только внутренние помехи.

Но новые формы романа, отвергающие старые, конечно, существуют и будут существовать.

Недавно в журнале «Иностранная литература» обсуждался вопрос о документальном жанре.* Вспоминали о «Дневнике писателя» Достоевского. Воспоминания дальше не пошли.

Между тем систематический интерес к документальной литературе в России очень давний. В пушкинском «Современнике» напечатаны «Путешествие в Арзрум» Пушкина, записки Александры Дуровой, записки Дениса Давыдова, Джона Теннера, Тургенева и других.

Пушкин побуждал своих друзей (в частности, Нащокина) писать записки.

В. Белинский говорил о сближении искусства и науки и приветствовал очерки Герцена, который создал новую документальную литературу. Опыт Герцена использован Толстым, и не только в статьях. Толстой начинал и кончал свой грандиозный литературный путь документальной прозой. Вспомним «Набег» (1852), «Севастопольские рассказы» (1855) и «Три дня в деревне» (1910).

Советская проза, и в первую очередь поздние вещи Горького, документальна. Когда Илья Груздев начал писать биографию Горького, Алексей Максимович присылал ему свои дополнения и фотокарточки некоторых героев своих произведений. Споря, Горький, шутливо сердясь, доказывал строгую документальность своих воспоминаний. В приложении к своей книге более двадцати раз Илья Груздев цитирует отрывки из писем Горького, документирующего свою биографию. Сделано это не очень отчетливо: без точных дат.

Пересылая И. Груздеву, автору книги «Горький и его время», письмо А. В. Сластушенского, который знал Алексея Пешкова по работе на станции Добринка, Горький писал: «Вчера послал Вам письмо телеграфиста ст. Добринка... письмо это свидетельствует, что я—лицо, действительно су-

* См. «Иностранную литературу» № 8 за 1966 год.

ществовавшее, а не выдуманное М. Горьким, как утверждает И. А. Бунин».

Во многом документален Исаак Бабель. У него явления, поэтически описанные, остаются документальными: сопоставленные автором, они освещают друг друга, создавая новый сюжет.

Обыденное дано как патетическое: патетика реальна в эпоху революции.

Документальны Пришвин и Паустовский.

Советская проза изменялась, изменение ее еще не оценено в литературоведении.

Появилась книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки». Книга имеет много планов, она была задумана как реалистическая книга без событийных связей между ее элементами. Ее новое не событийное единство принципиально обнажено.

Принципы построения прозы и стиха различны. В «Евгении Онегине» событийные связи не превалируют над связями ассоциативными, они только организуют их.

Чисто формальные решения, например перемена в строке хода стиха путем снятия цезуры, могут в стихотворной системе дать читателю ощущение развязки стихотворения.

Проза Мандельштама перенесла жанровые особенности стиха в прозу: метафора в ней введена в систему торможения действия.

КОМНАТЫ, ВИСЯЩИЕ БЕЗ ФУНДАМЕНТА

Бывают предварения удивительные — модели, еще не подтвержденные, но необходимые для предварительного понимания мира. В них иногда содержатся элементы отрыва от настоящего; этот отрыв неволен, потому что в настоящем есть будущее, противоречащее сегодняшнему дню, но оно недопонято: познание в искусстве движется толчками, сменой моделей, в нем есть поспешность воли.

В статье «О методе теоретической физики» А. Эйнштейн говорил: «Тому, кто творит, плоды собственной фантазии кажутся настолько необходимыми и естественными, что он сам их считает не образами мышления, а заданными реальностями и хочет, чтобы все так считали».

Существовало удивительное и для всех доступное немое кино, оно оперировало заснятыми кусками. Театр пользовался диалогом и монологом, который произносился на специальной, хотя бы отгороженной театральной площадке; киноаппарат можно было вынести на улицу.

Сыграла роль случайность: немой киноаппарат был и немым, и к тому же глухим — он не боялся шума улицы.

Он видел только то, что вырубал из действительности объективом, он родился для монтажа.

Объектив не глаз, он не может изменить фокусное расстояние. В киноаппарате можно только сменить объектив, вырубая им куски для рассматривания, углубляя бросок глаза, изменяя условия обвода контуров предмета.

Непрерывное действие в искусстве изображается при помощи нескольких неподвижных кусков, роспись храмов отдельными изображениями строилась как прерывистая, но единая история.

Расстояние — промежутки между главами и абзацами — сигнализирует о том, что время пропущено сознательно.

Художественное произведение похоже на мост, опирающийся на быки и перебрасывающийся арками-перелетами с одной точки на другую.

Кинопроизведение, созданное из движущихся кусков, требовало иной структуры построения. Необходимы были новые конвенции для передачи времени и пространства.

Соединение кусков первоначально маскировалось привычной музыкой, которая своим движением включала куски в музыкальную фразу аккомпанемента.

Новое искусство скоро начало осознавать себя.

В № 3 журнала «ЛЕФ» в 1923 году появились два различных манифеста кинематографистов: первый назывался «Киноки. Переворот». Он подписан Дзигой Вертовым и начинался эпиграфом, взятым из необнародованного произведения Дзиги Вертова:

«...я хотел бы только установить, что то, что мы делаем в кинематографии до сих пор,— на 100% заблуждение и прямо противоположно тому, что мы должны делать!»

Все это давалось от имени совета трех. Трое — это Вертов, его брат, очень талантливый оператор Кауфман и монтажер Свилова. Набор статей максимально бросок, остер, много выделенных слов, много слов, заключенных в рамки.

Осознание сделанного оформлялось как ряд противоречий.

Графическое слово — надпись в кино — обычно читалось зрителями вслух, и это шепотное чтение отдельными людьми превращалось в громкий голос зала.

Одновременно слово было формулой перехода между зрительными впечатлениями, которые давались в их бытовой обыденности.

Что проповедовал Вертов?

«Не списывайте у глаз».

Кинопроизведение, по мнению Вертова, не должно было быть целиком организованным по принципу и законам бытового разглядывания предметов.

Зрение должно было учиться у машины, создавая новое пространство, новые способы организации ощущения глубины и новый способ создания киновремени.

Оно должно было создавать «монтаж во времени и пространстве».

Оно должно было осознать новую конвенцию.

«Радиоухо — монтажное «слышу».

Киноглаз — монтажное «вижу».

Вот вам, граждане, на первое время вместо музыки, живописи, театра, кинематографии и прочих кастрированных излияний».

Осознание кино шло через слом, через отрицание тех явлений кинематографии, которые еще по методу восприятия были связаны с прежними явлениями искусства.

В черных рамках говорилось об «электрическом юноше». Слово «мозг» тоже обведено рамкой. Это механический мозг (тогда еще не существовавший).

Так говорил Дзига Вертов и двое его друзей.

Сергей Эйзенштейн в том же номере давал свой манифест, еще более молодой и более опрометчивый. Название манифеста было «Монтаж аттракционов».

Художники плыли к еще не открытому и не существовавшему, к Новому Свету.

Новый мир хотели смонтировать в дороге из еще не осознанного материала.

Аттракцион Эйзенштейна — это не цирковой трюк, это метод прямого воздействия на восприятие зрителя.

В тексте Эйзенштейна слово «монтаж» не обозначает слово «соединение»; оно обозначало и пыталось заменить слово «композиция», и в частности смысловая композиция.

В «Монтаже аттракционов» — в манифесте Эйзенштейна — печаталось жирным шрифтом: «Аттракцион (в разрезе театра) — всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь, в совокупности — единственно обусловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого — конечного идеологического вывода. (Путь познавания — «через живую игру страстей» — специфический для театра.)»

С тех пор прошло сравнительно немного времени, еще не исполнилось 50-летие Октября, еще не прошло время, равное отрезку времени между трагедиями Эсхила и Еврипида.

О чем сорок четыре года назад говорили манифесты?

Они говорили о новом качестве художественного восприятия, так сказать, о художественном куске, художественной единице.

Еще не о гармонии как противопоставлении кусков.

Новая структура появилась как отрицание. Между тем очень скоро появились и такие вещи Дзиги Вертова, как «Симфония Донбасса» и «Три песни о Ленине».

Появился «Броненосец «Потемкин».

Оказалось, что эпоха или, как говорил тогда Николай Асеев, «так называемая душа» требует сложных, направленных, смысловых сопоставлений. Только это дает «конечный тематический эффект».

Но понадобились новые связи, которые появились в еще наивных пьесах Сергея Третьякова.

Не антироман и не антифильм, а новый роман, новый фильм с новыми законами создают, и очень давно, на основе документального искусства, на основе нового восприятия мира, эффект удивления перед новым качеством человеческих отношений.

Пока невнятна и однообразно занимательна пестрота газет и телевизионных изображений. Сообщения начинаются, прерываются, появляются снова в новом окружении.

Мы видим бег невероятных событий однолинейно, как какие-то спортивные состязания, правила которых не знаем.

В романе занимательными остались признания и катастрофы.

В «Войне и мире» Толстого война по-новому соединяла изменяющихся героев.

Сейчас сложность объясняется самой бессмысленностью существования.

Доминантой формы произведения оказалась странность соединения его частей и непонятность развязки.

Бессмысленность мира показывалась и в старой литературе. У Диккенса в «Холодном доме» показана бессмысленность суда: огромный процесс кончается тем, что все наследство оказывается истраченным на судопроизводство. В «Домби и сыне» разоряется фирма, но что ее разорило — неизвестно. Для чего Домби богател — тоже непонятно. В «Крошке Доррит» происходит невероятный крах: гибнет банкир, растратив сбережения вкладчиков, но что он делал, почему ему верили, для чего нужны ему были деньги, добываемые аферой, умышленно оставлено бессмысленным. Сам аферист боится своей жены и своего дворецкого.

Силы, движущие миром, даны не столько враждебными, как обессмысленными. Только жизненные отношения второстепенных героев разумны, но они мнимо разумны отражением любовных схем старых романов.

У Толстого бессмыслен суд над уголовным преступлением в «Воскресении», над гражданским преступлением в «Живом трупе».

Герои — сами живые трупы и проститутки. В «Воскресении» их дела — проекция ремесла Катюши, но без любви к Нехлюдову — ее воскресения.

Но у Толстого есть негодование, отчаяние.

Антироман Кафки охватывает жизнь целиком; в мире нет ничего живого или хотя бы понятного. Бессмыслен процесс, непонятна власть. Учреждения не имеют границ — как будто бы разрушен кишечник и кал попал в брюшину. Бессмысленность стала тотальной. Мир замкнут, он — часы со стрелками, идущими по круто изогнутому циферблату. Такая гибель часов нарисована одним современным художником.

В фильме Феллини «$8^1/_2$» в самом начале показан городской туннель для автомобилей. Люди задыхаются за стеклами машин в перегаре бензина и свинцовых солей, работающих вхолостую двигателей.

Мир пришел в противоречие с самим собой: и автомобиль, и туннель созданы для быстроты, для того чтобы уехать из города.

но во взаимодействии их задыхается человек.

Герой хочет взлететь в небо, но друзья и продюсер ловят его арканом и тащат обратно в город.

Герой ищет выхода в крестьянской Италии, в католической Италии, в Италии Гарибальди.

Все разрушено.

Одна из любовных сцен фильма разыгрывается героем произведения — режиссером для самого себя. Он создает устный сценарий неожиданного любовного сближения.

Все прямое, обычное исчерпано газетой и искусством прошлого.

Герои ленты разнообразны, но они все испуганы, они как будто предчувствуют гибель земли.

Главный герой — режиссер ждет конца мира, он строит огромную декорацию макета космической ракеты, которая должна спасти группу избранных.

Ракета не взовьется, космического Арарата нет. Все это недостигаемое ничто, и фильм возвращает к самоповторению, народному цирку, к балагану, к старым условным героям, с которыми вместе проходит через кадры картины человек, не досоздавший свое произведение.

«КЕНТАВР» ДЖОНА АПДАЙКА

В романе «Кентавр»* действие идет как будто одновременно: и в Соединенных Штатах Америки сейчас, и в Греции во времена условного существования античных героев и богов.

Разновременные действия сопоставлены и переплетены сложным способом. Злые мальчики бросают в своего учителя копьем: оно вонзается в его голень. Он идет, цокая тремя здоровыми копытами.

Преподаватель средней американской школы Колдуэлл одновременно бедный человек в вязаной шапочке и мудрый кентавр Хирон, современник Прометея. Действующие лица романа одновременно и американцы, и мифологические герои, причем первые буквы американских фамилий совпадают с именами (инициалами) мифологических героев, они облагорожены вторым планом.

Рассказ ведет сын учителя Питер, больной псориазом.

Древний Хирон был добр; происхождение его было темно и потеряно в противоречивости мифов, известно, однако, точно — он был воспитателем Ахилла, Асклепия, который сам был богом врачевания, Аполлона, Язона и многих других. Он был бессмертен, но отдал, терзаемый болью от отравленной стрелы, свое бессмертие герою Прометею, а сам был превращен в созвездье. Это один из самых человечных героев. В противоположность Джону Апдайку, вазы изображали этого кентавра с двумя передними человеческими ногами.

У нашего кентавра-американца очень плохой старый автомобиль. Этот автомобиль чинится хромым другом Гаммелом: он в то же время Гефест — в мире мифов его зовут Гефест, там он не был знаком с Кентавром.

У Гаммела в мастерской три помощника — они, очевидно, циклопы; сотрудники хромого Вулкана-Гефеста в мастерской, когда-то квартировавшей в Этне.

Кузнецы-циклопы не первый раз появились в литературе.

В 34-й строфе седьмой песни «Евгения Онегина» говорится о том, как

> .. сельские циклопы
> Перед медлительным огнем
> Российским лечат молотком
> Изделье легкое Европы.

Так лечили и в мастерской Гаммела старый автомобиль Колдуэлла.

Когда человечество очень несчастно, оно возвращается к старым обновленным и заново сплетенным мифам. Болезненный сын кентавра — одновременно автор книги или по крайней мере рассказчик всей истории.

Женщины, которые любят или жалеют кентавра, награждены небесной красотой и сложносвободной божественной нравственностью. Она сопоставлена в главе VI с технической американской мимикой любви, простой, как модель двигателя, созданного для младенца. Нравственность кентавров выше, хотя и печальна.

В дореволюционной литературе нашей страны тоже водились кентавры. В старой книге Андрея Белого «Северная симфония» во второй «драматической части» водились кентавры. Кентавр «Симфонии» носил на себе следы иронического происхождения. Андрей Белый писал про жену его «Сказку»: «У нее были коралловые губы и синие, синие глаза, глаза сказки»; в нее влюблен демократ, который вряд ли не является образом самого автора.

Она жена доброго морского кентавра, «получившего права гражданства со времен Беклина».

«Прежде он фыркал и нырял среди волн, но затем вознамерился обменить морской образ жизни на сухопутный».

«Четыре копыта на две ноги; потом он облекся во фрак и стал человеком».

Кентавр много раз упоминается в «Симфонии»: он добр, несчастлив, прост, довольно богат и даже покупает картины.

Стихотворные кентавры символистов были довольно бытовые. О них Андрей Белый писал в стихотворении «Игры кентавров». Он призывал кентавра:

О, где ты, кентавр, мой исчезнувший брат...

и писал в другом стихотворении:

> Тревожно зафыркал старик,
> Дубиной корнистой взмахнув.
> В лес пасмурно-мглистый умчался,
> Хвостом поседевшим вильнув.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ
КОНЧИЛСЯ ЛИ РОМАН?

* Опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 1, 2 за 1965 год.

Древняя родина человечества, родина его мировоззрения — мифология — превращалась в сказку, а иногда становилась заменой реальности.

Герой Джона Апдайка — реально благородный и несчастливый человек. Он возвышается над тем, что называют действительностью,— тем, что автор хочет им выразить истинную действительность, выделенную мыслью из ежедневности. А выделение чего-нибудь мы называем вымыслом, как вымыслом в старой России называли изобретение.

Но путь Колдуэлла и его сына, не понимающего горе отца,— очень реален. Это бедность, жалованье, которого не хватает, угрозы увольнения, чековые книжки, на которых нет покрытия, бедные гостиницы, реальные прохвосты на дорогах.

Человечество мыслит часто в искусстве сравнениями, оно ищет истины так, как на войне артиллеристы искали цели: перелет, потом недолет, затем пытались засечь цель.

Мне жалко расставаться с благородными кентаврами.

Они были обитателями России задолго до Андрея Белого.

Были русские сборники, которые назывались «Палеи»,— в них вписывались мифы: библейские, греческие, еврейские из Талмуда.

В тех книгах полемизировали монахи-книжники с евреями и мусульманами и всегда договаривались до ереси.

У нас в старину были и секты жидовствующих, и еретики дуалистических толков: сказались они в легендах о «Соломоне и Китоврасе». Часть этих историй разобрана была Александром Николаевичем Веселовским, их можно найти в томе 8 Собрания сочинений под названием «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе».

Оказывалось, что эти сказания связаны со старыми рыцарскими романами — самыми древними, с легендами о Мерлине и святом Граале.

Китоврас — это кентавр. Кентавр по мудрости равен Соломону. Он принимал участие в постройке Иерусалимского храма и был добр, но такова его натура, что ему приходилось всегда идти прямо, даже по кривым улицам, разрушая при этом здания. Однажды вдовица попросила его не разрушать ее дом. Китоврас попробовал обойти домик и сломал ребра, и сказал мягкое слово — «кости ломит». На вратах Софийского собора в Новгороде изображена следующая картина: «На первом поле исполинская крылатая фигура «Кентавра-Китовраса держит в одной руке небольшую фигуру в зубчатой короне, очевидно, Соломона, которого он собирается забросить».

Искусство часто мыслит сопоставлениями.

Возвращаюсь к сложному роману Джона Апдайка «Кентавр».

Это одна из попыток, так сказать, двойственного, симфонического изображения действительности, очеловечивание обычного, сказочно-героического.

В середине романа на четырех страницах дан развернутый «реальный некролог» замученного преподавателя, совершающего мелкие дела, добрые и ничтожные. Приведу кусок из конца некролога:

«Наряду с серьезной нагрузкой сверх учебной программы — обязанностями тренера нашей славной команды пловцов, распределением билетов на все футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и бейсбольные состязания, а также руководством кружков связистов — мистер Колдуэлл нес на себе гигантское бремя общественной деятельности. Он был секретарем олинджерского клуба «Толкачей», консультантом двенадцатой группы бойскаутов, членом комитета по реализации предложения о создании городского парка, вице-президентом клуба «Львов» и председателем клубной комиссии по ежегодной распродаже электрических лампочек в пользу слепых детей».

Человек и в этом американском романе остается непознанным, как бы не уместившимся в страницы: человек обыденный нарочито не совмещается с героической иронией романа.

Замученный Кентавр гибнет на шоссе рядом со сломанным автомобилем «бьюик», среди бездушного пейзажа:

«Хирон подошел к краю плато; его копыто скребнуло известняк. Круглый белый камешек со стуком скатился в пропасть. Кентавр возвел глаза к голубому своду и понял, что ему и в самом деле предстоит сделать великий шаг. Да, поистине великий шаг, к которому он не подготовился за всю свою полную скитаний жизнь. Нелегкий шаг, нелегкий путь, потребуется целая вечность, чтобы пройти его до конца, как вечно падает наковальня. Его истерзанные внутренности расслабли; раненая нога нестерпимо болела; голова стала невесомой. Белизна известняка пронзала глаза. На краю обрыва легкий ветерок овеял его лицо. Его воля, безупречный алмаз, под давлением абсолютного страха исторгла из себя последнее слово. *Сейчас*».

К этому месту дана сноска на греческом языке:

«Страдая от неисцелимой раны в лодыжке, он удаляется в пещеру и там хочет умереть, но не может, потому что он бессмертен. Тогда он предлагает Зевсу вместо Прометея себя и, хотя его ожидало бессмертие, оканчивает так свою жизнь. (Из Аполлодора Афинского, греческого писателя 2 в. до н. э.).

Хирон принял смерть».

Читал я роман Джона Апдайка, вспоминая о вечном законе искусства — сопоставлении двух соотносимых линий, но не совпадающих.

Виктор Гюго в четвертой главе трактата «Вильям Шекспир» писал:

«Во всех пьесах Шекспира, за исключением двух — «Макбета» и «Ромео и Джульетты»,— в тридцати четырех пьесах из тридцати шести есть одна особенность, до сих пор, очевидно, ускользавшая от внимания самых значительных толкователей и критиков; ни Шлегели, ни даже сам г-н Вильмен никак не отмечают ее в своих работах; между тем ее невозможно оставить без внимания. Это второе, параллельное действие,

проходящее через всю драму и как бы отражающее ее в уменьшенном виде. Рядом с бурей в Атлантическом океане — буря в стакане воды. Так, Гамлет создает возле себя второго Гамлета; он убивает Полония, отца Лаэрта, и Лаэрт оказывается по отношению к нему совершенно в том же положении, как он по отношению к Клавдию. В пьесе два отца, требующих отмщения. В ней могло бы быть и два призрака. Так, в «Короле Лире» трагедия Лира, которого приводят в отчаяние две его дочери — Гонерилья и Регана — и утешает третья дочь, Корделия, повторяется у Глостера, преданного своим сыном Эдмундом и любимого другим своим сыном, Эдгаром. Мысль, разветвляющаяся на две, мысль, словно эхо, повторяющая самое себя, вторая, меньшая драма, протекающая бок о бок с главной драмой и копирующая ее, действие, влекущее за собой своего спутника — второе, подобное ему, но суженное действие,— единство, расколотое надвое,— это, несомненно, странное явление».

«Двойное действие,— говорит Виктор Гюго,— отличительный признак XVI века».

Он говорил об отраженных сюжетах в скульптуре и живописи того времени.

Замечание Виктора Гюго точно, но не полно. Параллельное действие пережило XVI век. Параллели философа-пессимиста и философа-оптимиста встречаются у Вольтера, отзвуки такого построения есть у Фильдинга.

Братья добрые и злые постоянны в романах и драмах.

Параллели семейных историй часты в романах Толстого.

То, что сделал Джон Апдайк, ново не само по себе, новизна состоит в отсутствии мотивировки параллелизма.

Один и тот же персонаж является не тем же самым, переход от одной линии повествования к другой всегда внезапен.

В истории искусства нет исчезающих форм и нет чистых повторений. Старое возвращается новым для того, чтобы новое выразить.

«ВЕЛИКОЕ НИКОГДА»

Роман Эльзы Триоле под этим названием был напечатан в № 7 «Иностранной литературы» в 1966 году.

В том же номере были даны две небольшие статьи: Ю. Карякина — «О невинности и порочности дилетантства», как бы разъясняющая причины появления романа и оговаривающая его недостатки, и Е. Головина — «Программирование прекрасного».

Начнем со второй статьи.

Она посвящена полемике с профессором Макдональдом, с кибернетической поэтикой и с работами немецкого философа Макса Бензе, который с группой сотрудников пытается заново выяснить «законы прекрасного».

Бензе считает, что в художественных произведениях много лишнего; он заменяет художественное произведение, пытаясь создать его экстракт — интеллектуальный эквивалент.

Я не разделяю надежды Макса Бензе и не думаю, что та конкретность мироощущения, которая, вероятно, лежит в основе каждого художественного произведения, может быть заменена работой «думающей машины», исправлена ею или улучшена.

В статье разобраны образцы работ Бензе, который стремится «обобщить» строфы «Ворона» Эдгара По и изменить гетевского «Фауста».

Но, полемизируя с Максом Бензе, автор статьи несколько упрощает анализ художественного произведения.

Художественное произведение всегда обладает некоторым избытком информации. Даже в лирическом произведении поэт многократно изображает и преображает объект повествования.

В «Стансах» Пушкина мысль о смерти передана описанием почти всех эмблем скоротечности земной жизни, но в результате эта скоротечность приведена в новое противоречие с молодостью и «равнодушной природой».

В беллетристическом произведении — будет ли это проза или драматургия — предмет обследуется в его противоречиях с разных точек зрения, и, конечно, «за и против» Достоевского не могут быть заменены ни голосованием читателя за определенное решение, ни машинным конспектом.

Е. Головин полемизирует с Бензе:

«К этому прибавляется проблема «внутреннего времени». «Внутреннее время» художника и обычное «механическое» время — «две вещи несовместные». «Внутреннее время» — быстрее или медленнее обычного. Это обстоятельство сыграло решающую роль в замысле Бензе. Как известно, в «Фаусте» имеется несколько хронологических несообразностей... Значит, рассудил Бензе, «внутреннее время» Гете гораздо быстрее, нежели «механическое», и скорость его языка несравненно выше обычной. Таким образом, вышеприведенный диалог Фауста и Вагнера надо воспринимать почти моментально. Отсюда, считает Бензе, утомительные длинноты, особенно многочисленные во второй части. Имея в недалеком будущем перед глазами нового, компактного «Фауста», читатель сможет проникнуться духом этой трагедии и постигнуть ее, скажем, не за месяц, а за два часа».

Господин Бензе утверждает вещи недоказуемые и предлагает решения, противоречащие самому существу искусства; цитируя его, Е. Головин не учитывает до конца условности художественного времени. Будем говорить об этом подробно, потому что это один из тех основных вопросов, понимание которых нужно и для восприятия, и для оценки явлений литературы.

В сказках говорится: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ
КОНЧИЛСЯ ЛИ РОМАН?

Утверждается существование особой условности времени в сказке.

Условно и время в театре.

Шекспир нарушал смело единство времени. В середине его пьесы достаточно было прохода двух людей, не участвовавших в предыдущем действии, чтобы зритель считал, что прошло любое драматургическое время. Так было и в испанской драматургии и удивляло опытного теоретика времен Людовика XIV — Буало.

Буало в Третьей песне своего произведения «Поэтическое искусство» писал, имея, очевидно, в виду Лопе де Вегу:

За Пиренеями рифмач, не зная лени,
Вгоняет тридцать лет в короткий день
на сцене,
Вначале юношей выходит к нам герой,
А под конец, глядишь,— он старец
с бородой.

Чрезвычайно условна плотность времени в «Дон-Кихоте».

Условность романного времени осознана уже в XVIII веке Фильдингом, который говорил о том, что роман не почтовая карета, которая — полная она или пустая — постоянно совершает один и тот же путь. Он предупреждал: «Пусть не удивляется читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы — главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы,— если, словом, моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперед. Я не считаю себя обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим судилищем...»

Фильдинг считал себя человеком, осознавшим определенную конвенцию в искусстве.

«История Тома Джонса Найденыша» разбита на 18 «книг»; в «книге» иногда рассказывают один день, иногда пять лет.

Композиционное время отличается от бытового времени тем, что оно строится как некоторая изменяющаяся условность и имеет другие течения.

У Стерна в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди» действие четырех глав занимает то время, за которое двое действующих лиц не успевают сойти по лестнице с одного этажа на другой.

Время в литературном произведении не всегда передается последовательно.

Время в прозе Пушкина («Выстрел», «Метель») переставлено. Так же сделано у Лермонтова в «Герое нашего времени».

Условно время в «Детстве» Льва Толстого: оно то пропускает целые периоды, то действия одного дня рассматриваются в микроскоп.

Романное время — конвенция, использующая понятие «время» для сообщения зрителю или читателю ряда представлений. Законы этой конвенции в разные эпохи и в разных жанрах различны. Не поняв это, нельзя понять реальную сущность романа.

Нельзя также прямо приписывать действие и мнение героев романа автору романа или даже автору эпопеи.

«Илиада» тоже разновременна и имеет разные точки, с которых композиционно рассматривается и оформляется мир при помощи созданных для его понимания структур.

Переходим к интересной статье Ю. Карякина «О невинности и порочности дилетантства».

Автор считает, что, говоря о кибернетике и генетике, люди мало понимающие делают «...многозначительное и обязательно «прогрессивное» лицо». «Сочиняют физиономию».

Тут используется ироническое словоупотребление Достоевского.

Автор считает, что выражения вроде «обратная связь», «дискретность времени» часто основаны на полузнании. В результате происходит следующее — приведу цитату:

«Всегда существовавшие в сознании таких людей искорки агностицизма превратились вдруг в пожар, в котором суждено было сгореть и тому знанию, которым эти люди обладали, и, конечно, в этом пожаре должна была сгореть прежде всего история человечества, вернее, убеждение в том, что она познаваема, что в ней есть закономерности. Эти настроения превосходно выражает герой нового романа Э. Триоле «Великое никогда» (кстати, герой этот, Режис Лаланд,— и писатель, и учитель истории): «Я не верю в возможность установить историческую правду... Показания непосредственных свидетелей, даже самых честных, никогда не совпадают; в сущности, все они лжесвидетели... раскрыть истину мировой истории — это все равно, что воссоздать картину гигантского преступления с великим множеством свидетелей, лжесвидетелей, фантазеров, доказательств, отпечатков...»

И было бы еще полбеды, если бы тьма оставалась только позади. Но нет: люди — это «несчастные, зажатые в тисках мифического прошлого и мифического будущего... И спереди, и сзади непознаваемое, бесконечность... Мы выскакиваем из туннеля бесконечности лишь на время нашей жизни... на мгновение становится светло, и тут же — фюить! Пожалуйте снова в бесконечный туннель».

Таким образом, роман представляет собой изображение многозначительного полузнания. Для этого, по мнению критика, героем романа является Режис Лаланд — историк-идеалист.

Я решаюсь предположить, что утверждение Ю. Карякина о том, что целью романа является разоблачение методов французского историка, который высказал несколько противоречивых и мало обоснованных мыслей об императрице Екатерине, не основательно.

Прежде всего, противоречия в исторических работах иногда встречаются. Я напомню, насколько противоречиво в разные эпохи мы характеризовали фигуру Ивана Грозного.

Это любопытно просмотреть по первой и второй сериям картины Сергея Эйзенштейна. Художник добросовестно хотел понять своего противоречивого героя, но в результате своей работы пришел к отрицанию того, с чего начал.

Неточное понимание истории — это одно из проявлений непонимания жизни, притом не самое трагическое.

Профессор писал о боге противоречивые и шутливые замечания. Он принимал участие в движении французского Сопротивления, не сказав об этом жене; он же тайно писал детективные романы, переводил их на английский язык и издавал в Америке под псевдонимом.

Герой теряет самого себя; он не понимает самого себя и именно поэтому не понимает жены и заблудился в любви...

Его методология как историка в романе — частность, характеризующая время.

Это очень серьезная частность, но роман говорит о большем.

В конце статьи Карякина написано: «Само собой разумеется, что этой заметкой (историка, а не литературоведа) далеко не исчерпывается содержание романа и те мысли, которые он возбуждает. Особенного внимания, наверно, заслуживают вопросы о литературно-композиционных особенностях романа, о его месте в творчестве Э. Триоле и в идейно-художественной жизни Франции. Однако анализировать эти вопросы — задача, выходящая не только за рамки этой заметки, но и за пределы компетенции автора».

Намерения романистов обычно состоят в том, что они хотят сказать нечто новое, прежде неизвестное Это относится ко всем явлениям стиля, которые считают обычно лежащими в пределах компетенции читателя.

Что такое «Великое никогда»?

Это не рассказ об ошибках историка. Это не рассказ о жизни молодой вдовы после смерти больного и старого мужа.

Это рассказ о том, как люди не знают друг друга, хотя, может быть, друг друга любят.

Они не знают размера своей любви.

Они не знают — и это главное,— кого любили, кому изменяли.

Режис Лаланд умер, не приведя в порядок свои бумаги. Он умер, как говорят, в споре, не выяснив своих отношений с женой, ученицей Мадлен.

Лаланд принял сильную дозу морфия не только потому, что нестерпимо страдал, но, может быть, и потому, что считал себя нелюбимым.

Отношения его с женой — милой, талантливой, самостоятельной, занятной — никогда не были для профессора ясны.

К истории профессор относился не очень серьезно, в ней он не добивался истины.

Любовь он не разгадал. Жены он не знал. Никогда.

Он считал себя в своем собственном доме заброшенным псом. Роман начинается с описания смерти героя.

Это не так ново.

Толстой начал «Смерть Ивана Ильича» со сцены у гроба покойника. Пришли посетители: «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба...»

Иван Ильич был обыкновенным мертвецом. А прошедшая жизнь его «...была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

Да. Начинать анализ жизни со смерти и могилы — не новость в литературе. Еще страшнее сделал это Достоевский в рассказе «Бобок».

В романе «Великое никогда» отношение Мадлены к мужу, пожалуй, легче понять в связи с параллельной историей ее пуделя. «Она любила его, своего Тэда, но никогда я не видел такого неухоженного пса. Любой баран из любой отары показался бы образцом опрятности по сравнению с нашим прелестным умником Тэдом, который мог бы блистать на арене цирка... Наши друзья не особенно любили, когда вокруг них вертелся бродяга Тэд, с густой всклокоченной шерстью, с невидимыми под спутанной челкой глазами, похожий на черный и грязный клубок».

Как-то Мадлена собрала гостей. Дверь комнаты была открыта на балкон. Внизу, с высоты одиннадцатого этажа, улица казалась желобком среди крыш. Мадлена была очень нарядна.

«Уже зажгли электричество, когда Тэд шумно ворвался в комнату. В первую минуту я его не узнал, подумал было, что этого незнакомого мне пуделя привел с собой кто-нибудь из гостей... Его гладко выстриженное туловище было стройным, грудь широкая, покрытая густой блестящей шерстью, лапы тонкие, настоящие спичечки в меховых муфточках, морда четырехугольная, а шея — крутая, как у шахматного коня... Таков был наш Тэд, подстриженный подо льва! Должно быть, он только что вернулся от ветеринара, где ему сделали «туалет»...

Пудель имел успех, его затормошили, и он пустил лужу. Профессор и пес вышли на балкон.

«...К нам на балкон вышла Мадлена. «Он обиделся.— сказала она,— потому что над ним смеялись и потому что он пустил лужу... Он слишком умен для собаки, это невыносимо...» Она увела меня в комнату и прикрыла двери на балкон. Все забыли о Тэде. Я устроился с таким расчетом, чтобы видеть беднягу Тэда — он сидел на заду, и его почти не было слышно, так надрывалось в комнате радио; только временами он повизгивал и потихоньку подвывал, вытянув шею и закинув морду... Внезапно он замолк, поднялся и подошел к перилам. Затем просунул голову между прутьями. Я ничего не понял, да и как было понять? Тэд рванулся вперед... и бросился в пустоту! Я заорал, кинулся на балкон.. Я не увидел даже, как он падал, только там внизу, на мостовой, чернела маленькая кучка».

В романе пуделя потом вспоминают много раз. Его история развернута главным

образом на первых страницах романа, цель ее — показать непонимание своей роли в собственном своем доме профессором Ланландом.

На самом деле он был необходим. Любим?

Пудель — это тень профессора, и, как это иногда бывает в литературе, не только тень, но и иное воплощение другой, только предполагаемой фигуры.

Параллелизмы в искусстве существуют для того, чтобы они пересекались; они отрицают друг друга самой плоскостью романа.

Старые романные построения тоже воспроизводят и повторяются для того, чтобы отрицаться.

Я говорил уже, что отрицателями старых форм в русской литературе были Лермонтов, Гоголь, Толстой и многие другие.

Более традиционен для нас сейчас Тургенев, но Тургенев начал систему очерков и строил свои романы на противопоставлении характеров. И этим противопоставлением изменял задание сюжетной схемы.

Старое поколение ученых умерло, не закончив анализа повторения. Дерево повторений ветвилось.

Сходным оказывалось все Я уже говорил о том, что Китоврас у Александра Веселовского оказывался сходным с мудрым кельтским волшебником Мерлином, с хитрецом, изображение которого ожило в романе Марка Твена «Янки при дворе короля Артура».

Ссоры и споры Соломона с мудрым демоном оказывались похожими на ссоры мудреца с шутом, и это дожило без ведома авторов до романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Но все не сходно, а связано, связано отрицанием.

Искусство и жизнь движутся самоотрицанием.

Чем больше утверждали брак, тем более убеждались в том, что против измены в браке, как и против смерти, лекарства нет.

Говорили обычно с негодованием о том, что вдова может утешиться. Часто говорили в новеллах и сказках о злых женах.

Во многих романах рассказывалось, как после смерти мужа вдова становится любовницей ученика. Это закреплено традицией.

Это не нарушено, но изменено в романе «Великое никогда».

Жена и муж были равноправными хозяевами в доме. Муж делал исследования, иногда пародийные, писал романы, не подписанные, изменял жене и, имея большую квартиру, сохранял письма любовниц, наполняя ими старые чемоданы.

Жена занималась обоями, была убеждена, что обои нужны даже в кухне, что, переменив обои, можно изменить счастье семьи.

Она по существу своему была декоратор, украшатель.

Она была декоратором и поэтому трезво относилась к жизни, не веря в нее: считала ее кулисами.

Профессор ждал, что вдова станет любовницей молодого ученика. Так и случается. Ученик начинает разбирать архив учителя и принимает шутки за правду: он неверно истолковывает все. Он доверчив, как рецензент, невнимательно прочитавший книгу, и судит обо всем по памяти, как по грамоте.

Когда Режис Лаланд умер, о его смерти появилось только маленькое объявление. Он умер, так сказать, по третьему разряду славы.

Неверно понятый профессор прославлен. Он прославляется все более и более, становясь на себя непохожим.

Продолжают разбирать архив: пафос разбора состоит в том, что люди примеряют вещи, которые не по росту; они всем восхищаются, хотя все надевают неправильно.

Женщина, которая думала, что она уже разлюбила мужа, оказывается, любит его, но она ревнует к пониманию мужа. Идет борьба с первой женой, с учениками, разбирается архив, строится для него помещение. Начинается трагедия.

Женщина думала, что она знала мужа, но архив и рассказы друзей открывают нечто другое и большее.

Вдова ищет разгадки — истины, но истина ее сперва эгоистична.

Женщина еще молодая, занимающаяся гимнастикой, имеет любовников: она продолжает свою жизнь, но архив мало-помалу заполняет все ее сознание.

Роман написан по всем правилам романа с адюльтером.

Любовники появляются, как давно предугаданные. Измены мужа как бы механически повторяются изменами жены.

Но роман «Великое никогда» не адюльтерный роман, потому что в эту схему введена иная конвенция — конвенция поиска людьми истинного значения жизни. Они чувствуют себя находящимися как бы в стакане; прозрачная стена отделяет от познания. Мадлена пытается преодолеть незнание многократным познанием, и любовные приключения, и юридические столкновения, и диспуты — все становится средством познания.

Торможение в романе вызвано не бытовыми трудностями, а трудностями познания. Любовные столкновения Мадлены оказываются связанными с ее поисками истины.

Первоначально она думает, что ключ к познанию мужа — она сама, но и это неверно.

Режис, может быть, думал, что достаточно шутить с жизнью, но на самом деле он неумело искал смысла жизни. Его похождения связаны не с бегством от времени, не с поиском наследства и даже не с любовным поиском, а с поисками самого себя. У него была совсем иная жизнь. Он был современным, совсем современным, совсем несчастливым и не имеющим места в жизни человеком.

Он сделал из своей жизни кроссворд.

Детективная литература вообще кроссворд, которым занимаются для того, чтобы ничего не видеть и не слышать. Это сопоставление слов, обращенных в буквы.

Слова перекрещиваются, сливаются, становясь улитками, и лишаются смысла.

Выплывает из прошлого первая жена с дочерью от первого брака, и в опровержение схемы ученик профессора женится на ней. Он женится на ложной славе.

Мадлена продолжает борьбу умело, сильно; она защищает истину о своем муже. Она не хочет, чтобы он был историком, академиком, верующим католиком. Она как бы вырывает его из обыденности.

Она теперь влюблена в него по-иному, но так, как он был в нее влюблен. Она стала верным пуделем воспоминаний, но у пуделей плохое чутье.

Когда-то муж занимался историей одного короля-чудака, баварского короля, который, между прочим, покровительствовал Вагнеру. Людовик II Баварский в описании кажется человеком очень дурного тона, но дело не в нем, так же как не в Екатерине.

Дело не в утверждении себя в чужой жизни, а в том, чтобы понять жизнь. Истина понимается во многих пересечениях, в отступлениях, которые соединяют тело романа, но они только рубцовая ткань.

Женщина сходится со скульптором — красивым, крупным человеком: он должен создать памятник ее мужу. Женщина ждет истинного изображения мужа, она стремится к нему.

Влюбленный скульптор как символ своей жизни изобразил на памятнике жену умершего, свою любовницу.

Казалось бы, женщина нашла место в истории своего мужа, она овладела им.

Но это последнее великое никогда.

Зеркало отражает зеркало, отражение образует коридор, в котором человек все время уменьшается.

Жадность познания не может быть восполнена отражением.

Роман написан не о любви и не о ревности и даже не о женщине. Он написан о поисках в искусстве человеческой сущности.

Памятник очень экстравагантен; судя по описанию, в нем есть движущиеся части. В центре памятника женская светящаяся голова: это несколько напоминает затейливые статуэтки Лурда: фосфоресцирующие Мадонны.

Скульптор талантлив, но у него, так же как и у безумного баварского короля Людовика II, дурной вкус.

Уже вечер. Движущийся памятник остановил свои круглые витки, и ночью памятник похож на фонтан.

«Позади памятника Режису деревья в школьном дворе шелестели своими голыми ветвями. Мадлена отступила еще, потом еще, пока не наткнулась на стену дома. Тогда, повернувшись спиной к памятнику, она пошла по улице между новыми домами. «Бедный Режис... Все всегда понимают не так».

Она удалялась от памятника и отсюда, с площади, казалась все меньше и меньше: она была во власти перспективы».

Искусство и история искусства — это поиск удивления, из которого мы ищем познание. Многие сейчас говорят, что литература — это слова. Говорящий так ошибается. Языковое мышление — это не единственная структура, не единственная система, внутри которой, познавая ее законы, мы пытаемся познать законы жизни.

Мы ищем себя, мы ищем сущность человека и сущность жизни человечества и как будто бы сейчас по-новому, по-несходному возвращаемся к иначе понятым законам романа для того, чтобы увидать хотя бы своих соседей.

В романе все достигнуто, но не понято или понято поздно.

И в этот раз искусство ищет преодоления «великого никогда», но путь познания начат; человек ищет не только себя.

Роман в результате неожиданно оказывается традиционным. Это понимал и автор, судя по отдельным замечаниям в тексте. Перспективы истории изменяются, старые формы романа, ищущие истины путем многократного восприятия предмета в разных опосредствованиях, восстанавливаются.

Перспектива оказалась обратной, как будто написанной из глубины картины.

После долгих поисков и кажущихся повторений поисков, после уничтожения действия, после попыток уничтожить героя и исследовать жизнь только как поток сознания, который как бы взвешен в мире, как бы находится вне слоев, их разделяя, роман стал опять сходным с прошлыми формами. Он вернулся к вопросам о времени, к вопросам о семье, он повторил старые перипетии прошлых построений.

Но в искусстве сходное не сходно, потому что оно создает разные ступени. К великому «когда-нибудь».

АНКЕТА «Литературы»

Октябрьская революция и судьбы человечества

ЛУИС КАРДОСА И АРАГОН (ГВАТЕМАЛА)

Я присоединяюсь к мнению Ленина, что русская революция является всемирно-исторической победой, величайшим историческим завоеванием — рождено новое сознание, новое, более точное представление о жизни и обществе. В нынешнем веке новый гуманизм, воплощенный в революции, мирным путем покончит с силами, которые обагряют кровью мир и из-за которых три четверти человечества томятся в голоде и отчаянии.

Идеи Октября — это то основное, что оказало влияние на каждую жизнь, их нельзя оспаривать, от них нельзя отмахнуться. В моей жизни они сыграли решающую роль. Этого урока мы не забудем никогда. Это активное действие, живое и плодотворное, исходящее, наконец, от самого человека.

МИХАЙ БЕНЮК (РУМЫНИЯ)

Совершенно очевидно, что современная история делится на два периода: до и после Октябрьской революции 1917 года.

Прошло полвека с этого решающего для судеб человечества события — создания первого в мире социалистического государства, творцом которого был русский народ, русские коммунисты во главе с Лениным. Сегодня даже самые злобные противники коммунизма понимают, что в 1917 году родился новый мир. Идея социальной справедливости, распределения материальных благ среди тех, кто их производит, не могла не покорить сердца народных масс и не вызвать ненависти и злобы эксплуататорских классов в мире капитализма и империализма, развязавших первую мировую войну.

Ребенок возвещает миру о своем рождении криком. Октябрьская революция, родившись, крикнула бившимся в кровавой схватке народам земного шара: мир!

На этот обращенный ко всему человечеству призыв империалисты ответили войной против Страны Советов, помогая реакционным силам в России. Первое в мире социалистическое государство было похоже на Геркулеса, задушившего змей.

С первых дней революции народы Советского Союза не прекращали бороться за мир, хотя им не удалось предотвратить вторую мировую войну, развязанную Гитлером и немецкими капиталистами. Война была направлена главным образом против Советского Союза, с целью уничтожения первой в мире и в то время единственной страны трудящихся.

Победа над фашизмом, во имя которой принесли самые большие жертвы советские народы, которым в этой борьбе принадлежит самый большой вклад, расширила радиус светлого круга социализма. Зажглись новые очаги социалистической революции. Родились новые социалистические страны, их народы сбросили ярмо эксплуатации и стали хозяевами своей судьбы.

Однако холодная война, настойчиво разжигаемая агрессивными империалистическими кругами, бесчеловечная и преступная агрессия американцев во Вьетнаме, интриги и раздоры, которые сеют реакционеры в разных странах, угроза новой мировой войны свидетельствуют о том, что придется еще долго и упорно бороться за путь, открытый Лениным в 1917 году, путь социальной справедливости, путь уничтожения эксплуатации человека человеком, путь достижения мира между народами.

Окончание. Начало в № 5, 1967.

Полвека спустя после Октябрьской революции в эпоху колоссальных научных, экономических, культурных и общественно-политических достижений чаша весов перевешивает в пользу Советского Союза и социалистических стран, защищающих свою независимость и суверенитет, в пользу дела мира. В сердцах людей горит живой огонь надежды и веры в победу прогресса, в победу правого дела тех, кто ненавидит эксплуатацию и порабощение и мечтает об их окончательном уничтожении. Эти люди сознают правоту своего дела. Индивидуум — человек и гражданин — никогда прежде не был так глубоко убежден, что должен бороться за общее дело, за мир во всем мире. Заслуга Октябрьской революции в том, что она утвердила эти идеи полвека назад не только в Советском Союзе, а потом в социалистических странах, активно участвующих в созидании современной истории, но и в сознании всех людей доброй воли во всех странах, борющихся за прогресс человечества, материальное и духовное процветание.

В Румынии после первой мировой войны в среде рабочего класса с сильными революционными традициями влияние ленинских идей Октябрьской революции 1917 года распространялось все шире. Основание румынской Коммунистической партии ознаменовало начало длинной цепи боев, забастовок, массовых выступлений, пропагандистской и идеологической работы, постоянно сопровождавшихся жертвами, тяжкими годами тюремного заключения, а подчас и смертью лучших сынов народа. Вспомним забастовку железнодорожников и нефтяников в 1933 году в мастерских «Гривицы» в Бухаресте, жестоко подавленную буржуазным режимом. Рабочие устроили забастовку в то время, когда в Румынии активизировался фашизм, а в Германии захватил власть Гитлер. Таким образом, румынское рабочее движение носило ярко выраженный антифашистский характер. Вооруженное восстание 23 августа 1944 года, организованное румынской Коммунистической партией, которая объединила все патриотические и военные силы, явилось кульминационным моментом этой революционной борьбы. А потом, благодаря братскому единению румынской и советской армий,— изгнание гитлеровских захватчиков, освобождение страны, полная победа над фашизмом. Уроки борьбы с фашизмом учат нынешнее и будущее поколения быть бдительными и помнить, откуда может грозить опасность, указывают нам путь. Революция и построение социализма в Румынии — красноречивые итоги этого пути. Великая Октябрьская революция 1917 года явилась для нас назидательным примером, и сегодня весь наш народ под руководством румынской Коммунистической партии участвует в завершении построения социализма в нашей стране.

Впервые слово «революция» я услышал в 1918 году (мне тогда было 11 лет) от возвращавшихся с фронта солдат, когда пала габсбургская империя и рассыпались ее армии. А о том, что в России сбросили царя, я слыхал еще раньше от русских пленных, живших у нас в селе. Помню, как посветлели у них лица от радости. Когда пригнали пленных к нам в село, мы их кормили фруктами, хлебом, овощами. А потом самим есть было нечего, в домах — один хлеб да заплесневелая кукурузная мука. Мужчины были на фронте, женщины и дети гнули спины на полевых работах, а когда поспевал урожай, наезжали разные комиссии и забирали зерно. Комиссиям не было числа. Одни отбирали пшеницу, другие — лошадей, третьи — забривали восемнадцатилетних парней в солдаты. Военнопленным тяжело жилось в холодных, не отапливаемых зимой бараках. Выдавали им за каторжный труд котелок мамалыги на брата. Но и эту скудную порцию они делили с детьми бедняков, которые вертелись по вечерам, в часы ужина, вокруг бараков. Как были счастливы военнопленные, когда смогли уехать. «Конец войне!», «Скинули к черту царя!» — говорили они.

Через год начали возвращаться и наши. Целые дни напролет мы толклись на станции, смотрели, как прибывают переполненные поезда,— люди сидели даже на крышах вагонов, стреляли от радости в воздух, пели.

Слово «революция» я понял, когда у нас временно установилась республика Белы Куна, как мы ее тогда называли. По правде говоря, я не очень хорошо понимал смысл происходящего. Но однажды произошел такой случай. Собралось нас несколько ребятишек — дети местных румын и венгров. И мы вовсю похвалялись друг перед другом своим национальным превосходством. Подошел к нам солдат «большевик» — нам нравилось говорить это слово, хоть мы и не понимали его смысл. Постоял, послушал нашу шумную перебранку. Красивый это был парень. Не похож ни на венгра, ни на румына, скорее — на цыгана. Лицо его показалось мне почему-то знакомым.

— Эй, ребята, послушайте. Ну чего вы все спорите, кто вы — румыны, венгры или евреи? Хорошие люди во всех нациях есть. И уживаются они все вместе неплохо. И понимают друг друга, даже когда языка не знают. Вот возьмите нашу армию. Разве посчитаешь, на скольких там языках говорят? Плохие люди — богачи, толстосумы. Все люди на бедных и богатых делятся. Богачи сосут кровь бедняков. Но бедняков много, и они добьются правды на земле. Каждый человек будет получать за работу сполна. Поэтому мы, бедняки, революцию делаем. А вы зря ссоритесь, не надо.

Солдат говорил с нами ласково, и мы, пристыженные, разошлись по домам. Потом мы еще много раз встречались и беседовали с нашим солдатом.

С тех пор я чаще задумывался над идеями революции и интернационализма.

Я тогда не знал этого термина, но интуитивно понимал его смысл. Ведь и я был одним из многих, одним из бедняков!

Позднее я узнал и о Ленине, и о большевизме, но к этому времени о большевизме у нас в школе говорили одни гадости. И все же революция осталась родной для меня на всю жизнь, и, когда совершалась какая-нибудь несправедливость, я говорил себе: как жалко, что не приходит революция.

Я не знал, как и когда я стал большевиком в душе. Но в 1932—1933 годы, когда я учился в Германии, я уже был им. Я изучал русский язык и мечтал научиться читать на том языке, на каком говорил Ленин.

Я никогда не забуду одного урока коммунизма, по-моему, самого прекрасного: защита Георгия Димитрова и одновременно обвинение фашизма на Лейпцигском процессе после диверсионного поджога рейхстага гитлеровцами, открывшего Гитлеру путь к ряду антикоммунистических и расистских преступлений. У меня было много друзей-коммунистов, многие из которых поплатились тогда жизнью за свои убеждения еще до открытия «фабрик смерти» и концлагерей.

Я вернулся в Румынию с чувством безграничной ненависти к фашизму. В 1934 году вместе с несколькими верными людьми я организовал в Клуже Общество друзей СССР, однако правительство Татарэску вскоре запретило его. Но мы не сдавались. Когда я служил в армии, мне временно пришлось прервать свою деятельность, но затем я снова включился в революционное движение и вступил в ряды румынской Коммунистической партии. В литературу я пришел в 1926—1928 годах, но как писатель испытал настоящий творческий подъем, лишь став последователем идей Великой Октябрьской революции, поняв опасность империализма и фашизма и необходимость борьбы за мир.

За международным революционным движением я следил в основном по французским материалам, на этом же языке я знакомился впервые и с работами классиков марксизма-ленинизма. В своих стихах, прозе, критических и публицистических статьях, в выступлениях и беседах с людьми я не колеблясь выражал все, что чувствовал и думал, даже во времена фашизма в Румынии и гитлеровского вторжения в период войны, конечно в той мере, в какой удавалось прорвать колючую проволоку цензуры.

Позднее, после вооруженного восстания 23 августа 1944 года и освобождения нашей страны, я смог полнее, глубже и шире развить свою деятельность писателя и коммуниста. С этого пути я не отступал никогда. А мне скоро 60 лет.

Идеи Октябрьской революции помогали мне и в долголетней научной работе — я имею в виду психологию, специалистом по которой я являюсь.

Октябрьская революция 1917 года помогла мне смотреть открыто, пытливо на действительность и события, не оставаться пассивным наблюдателем в жизни, любить Родину и мечтать о построении коммунизма, верить в человеческий прогресс и не оставаться равнодушным к судьбам человечества, когда мир находится под угрозой новой войны.

Мне многое не дано, у меня одно-единственное оружие — слово поэта, но я частица народа, а силы народа беспредельны.

АЛЬВА БЕССИ (США)

Октябрьская революция — центральное событие нашего века, и нет такого человека на земле, на жизнь которого она не повлияла тем или иным образом.

Являясь в течение более чем тридцати лет убежденным социалистом, я, вероятно, представляю себе, какое влияние 1917 год оказал на народ моей страны, лучше, чем те люди, которые либо не сознают его роли, либо относятся к его влиянию и свершениям с явной враждебностью.

Причины, по которым в моей стране отношение к Октябрю и к великому государству — его детищу — менялось, вполне ясны. Наше государство, тот вид капиталистического строя, который Карл Маркс назвал комитетом, управляющим общими делами буржуазии, по самой своей природе должен быть враждебным социализму. Многочисленные средства общения, которые находятся в частном владении, в течение пятидесяти лет отражают эту враждебность и поддерживают ее.

Таким образом, большинство ныне живущих американцев почти с самого рождения впитывают враждебность к идеям социализма и их воплощению — СССР. Но люди узнают и запоминают, люди задают вопросы и размышляют.

Во время второй мировой войны стихийный прилив любви к советскому народу, который ощущался почти во всех сферах американской жизни, естественно объяснялся нашей ненавистью к нацизму и восхищением перед изумительной борьбой, которую вели народы СССР и героическая Красная Армия.

Запас «доброй воли» (это выражение принадлежит покойному Уенделлу Уилки) не иссяк, несмотря на мерзости все еще продолжающейся холодной войны. И так же, как советские граждане отличают американцев, протестующих против бесчестных, безнравственных и беззаконных издевательств «нашего» правительства над народом Вьетнама, от «комитета, управляющего общими делами буржуазии», все большее число американцев (пусть еще составляющее меньшинство) понимает разницу между тем,

что им говорят наши руководители о Советском Союзе, и тем, что они узнали сами, почувствовали и испытали, проверили и обдумали в течение многих лет.

Мои собственные умозрительные представления о характере Октябрьской революции и Советского Союза впервые подтвердились, когда я сражался в Испании в 1938 году. Я понял, кто действительно поддерживает Испанскую Республику. В верности ее идей я неоднократно убеждался во время многочисленных встреч с советскими гражданами в Америке и за границей, в интенсивном общении с советской литературой во время посещения, правда, слишком краткого, вашего содружества народов в 1961 году.

Все это не означает, конечно, что я представлял себе СССР Утопией или считал, что в нем нечего критиковать. Это не означает, что я, так же как и другие убежденные и преданные социалисты, не испытывал огорчения в связи с ошибками, допущенными в советской стране, или отступлениями от социалистической законности, которые имели место в сталинские годы.

Ожидать, что даже через 50 лет может возникнуть Утопия, наивно. Но не понимать разницы между странами, сознательно созидающими передовое и благородное общество, желающими придать природе человека форму, более близкую той, к которой человек стремится и которой желает, и странами, не идущими по этому пути,— значит признаться в своем политическом и историческом невежестве.

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ (ПЕРУ)

Что означает для нас Советский Союз

Советский Союз — осязаемое доказательство того, что рабочий класс и его передовой отряд — партия способны взять в свои руки всю политическую власть и возглавить новое общество.

■

Советский Союз — аванпост науки и техники, искусства и литературы, завоевания космоса и Земли для человека и ради блага человека.

■

Советский Союз — живой пример строительства нового мира, подвиг повседневного героического труда. Языком арифметики о нем можно было бы сказать: Советский Союз — это сложение любви и самопожертвования, вычитание всех низменных инстинктов, умножение усилия на добро, деление счастья на всех.

■

Советский Союз — стержень борьбы за сплочение международного коммунистического движения. Он — самое точное выражение пролетарского интернационализма, наглядное руководство по дружбе между народами и расами нашей планеты.

■

Советский Союз — это бурное цветение марксистско-ленинской мысли. СССР — это Ленин, и Ленин — это СССР, это творческая, неодолимая сила того будущего, которое неизбежно наступит.

■

Поэтому откуда бы ни исходила клевета на великую Родину Ленина, эта клевета никогда не завоюет сердец настоящих коммунистов.

■

И, наконец, в Советском Союзе человек — мера всех вещей.

Приветствие Советскому Союзу

Столица народов, Родина Человека,
Неугасимый надежды маяк,
Звезда свободных, Страна Советов,
Приветствую тебя!

Имя твое — грядущего символ.
Непобедимая, ты шагаешь вперед
И вступила уже сегодня
В завтрашний день мира.
Неудержимая, ты шагаешь вперед
И, заботясь о благе Земли,
Сыновей своих в космос послала.

Неутомимая, ты шагаешь вперед,
Ты нас научила думать
О счастье всего человечества,
Родины не забывая.
Ты величайший подвиг Истории.
Начало тысяч начал,
Дерево с кроной из братских народов,
Под сенью твоей человек может встать во весь рост.
Но ты и цветок, что приносит
Дыханье весенней земли в затхлый подвал бедняка,
Но ты и мильоны мильонов семян,
Разносящих любовь по планете.
Salve *, Страна Советов,
Земля труда и дружбы,
Животворящий источник мира!

Народы Перу
Над головами империалистов, наемников-убийц,
Правителей продажных
Как знамя поднимают свою руку,
Сплетенную из сотен тысяч рук,
И говорят: «Привет тебе, народ советский!
Привет, страна — твердыня большевизма,
Где Ленин жил, где в кузне пролетарской
Был спутник выкован!
Да здравствует твое седьмое ноября!
И наше тоже, что не за горами —
Оно тебя приветствует уже.
Ты заново открыла человека,
Ему в боях завоевала хлеб.
Ты новые зажгла на небе звезды.
Ты радость породила, и она
Твое проносит имя по планете.

Я говорю с тобой из сердца Перу,
Я говорю, и Перу в сердце у меня.
Советская страна, твой путь я славлю!

Наступит день, по этому пути
Вслед за тобой пойдут
Народы всего мира.

Перевод с испанского Н. БУТЫРИНОЙ

РАДОВАН ЗОГОВИЧ (ЮГОСЛАВИЯ)

Октябрь, человечество, личность.

Революция — это не я один, а — мы.
А. Блок

Даже передовые люди моего поколения не могли бы, пожалуй, сказать, что с начала тридцатых годов, когда, тем или иным путем, они пришли к коммунизму,— что с тех пор их жизнь была наполнена одними лишь свидетельствами животворной пролетарской солидарности и непогрешимости коллективной коммунистической мысли, достижениями, победами, радостями. Нет, и на их пути было, да еще сколько, неудач, поражений, ран, горьких неожиданностей, страшных ударов. Они, помимо всего прочего, пережили наступление Гитлера, окровавленные застенки гитлеровских концентрационных лагерей, чанкайшистский топор как высший закон в Китае, монархо-фашистские виселицы и подлые убийства в Болгарии и Югославии, нацистский поход на Испанию, ее подвиг и мученичество: нарушения (явление сравнительно с прочими конечно иного плана, но боль сжимала сердца!) гуманных положений советской конституции, которая была и твоим воздухом и гордостью, пережили предательское растерзание Чехословакии, Шанхай — как побежденную баррикаду, бомбежки Белграда, продвижение гитлеровцев по советской земле, воспринимавшееся так, словно от твоего тела отрезали кусок за куском. Люди моего поколения в новое время, так сказать, в конце пути, пережили истребление коммунистов в Индонезии, неслыханное по зверству и масштабам в истории столько раз преследовавшегося трудового человечества. Мои ровесники, вот уже сколько лет, переживают некоторым образом вторую Испанию, великую гордость, боль и любовь прогрессивного человечества — Вьетнам,

* Приветствую (*лат.*).

где цинизм американских оккупантов и оплаченных долларами убийств достиг вершин саморазоблачения: один из главарей американских убийц заявил, что за каждого из 105 погибших жителей, по определению интервентов, «дружески настроенного и по ошибке подвергнутого бомбардировке» села Янт Веи будет выплачено по 50 долларов!

И тем не менее передовым людям моего поколения довелось испытать и высокое удовлетворение, многочисленные успехи, победы, радости и вдохновение. Перед их глазами и душами росла и побеждала закованная в гитлеровские цепи гигантская фигура Димитрова — олицетворение международного пролетариата, судьи и возродителя мира. Они ликовали и плакали от счастья, когда советское правительство, верное интернациональной пролетарской солидарности, вырывало Димитрова из рук нацистских палачей. Они были счастливыми свидетелями осуществления первой и второй пятилеток и коллективизации советского села — второго, необходимого этапа социалистической революции! Они страшились и радовались за советских полярных исследователей на льдинах, за челюскинцев — их спасение взволновало весь мир. Они дождались Сталинграда, и они, на каких бы меридианах Земли ни находились, увидели советский флаг, их общий флаг, поднятый над гитлеровским рейхстагом в Берлине. Они пережили то, что труженики двадцатых годов лишь предвидели и во что верили: новые победоносные пролетарские революции в Европе и Азии. Взмыл первый искусственный спутник Земли, дело мысли и рук человека, и этот спутник был коммунистическим, полетел в космос первый человек — и этот человек был коммунистом! На горизонте западного полушария родилась социалистическая Куба. И когда люди моего поколения, подобно Маяковскому в реквиеме Ленину, суммируют все, помянутое и не помянутое, участниками или свидетелями чего явились в своей жизни, они с гордостью могут сказать: было для чего жить. Было для чего жить, хотя бы из-за одного Сталинграда и разгрома гитлеровской Германии, а если они из Югославии, то из-за того, чтобы увидеть братание пролетариев-красноармейцев и югославских партизан на площадях — полях сражений Белграда! А все остальное! И за всем этим, как основа и опора, как побуждение и вдохновение, как указатель пути, стоит Октябрь, социалистическая революция в России.

За всем этим, за всем современным революционным обновлением, за подвигами, усилиями и успехами, пробуждающими в пролетариате классовое и человеческое сознание, волю к жизни, революционной борьбе и творчеству, стоял как начало истории и сама история Октябрь, революция подлинно интернационального, всемирного характера, подлинно радикальный переворот и в образе жизни, традициях, культуре и идеологии эксплуатируемых масс земли. Октябрь прорвал фронт мирового империализма, открыл эру агонии капитализма, эру цепных революционных побед пролетариата — и разве мировой империализм закрыл этот прорыв и не последовали за ним новые, разве капитализм вылечил гангрену, разве за победой социалистической революции в одной стране не произошли победы еще в десяти и более странах? Октябрь подорвал господство империализма в колониях, открыл эпоху колониальных революций — и где теперь колониальные империи тех дней, когда русская революция потрясла планету? Октябрь пробудил силу, чувство уверенности, боевой готовности у миллионов рабочих мира. Октябрь, первым декретам которого (о мире и о земле) сопутствовали меры по открытию домов матери и ребенка и организации широкой сети библиотек, заставил правящие классы считаться с пролетариатом, как с новым, серьезным фактором, искать новые, все более изощренные формы борьбы с ним и идти ему на уступки — и где сегодня найдешь даже в полузависимых капиталистических странах тип сломленного, опустившегося пролетария без воли и веры?! Даже за повышением заработков, сокращением рабочего дня, улучшением культурных и бытовых условий рабочего класса в капиталистических странах стоит непосредственно или опосредованно Октябрь, а не «добрая воля» капитализма, не «народный капитализм» или «пронизывание капиталистического мира социализмом»!

Октябрь, революция во имя уничтожения страданий человечества и человека, стал открытием, вторым рождением для всех бедняков. Скажу о себе. Я сын бедных крестьян, мучился от того, что люди бедствуют и страдают. Студент, что кормится тяжелым хлебом уроков, литератор, тратящий на творчество весь остаток сил и существовавший в безвоздушном пространстве экономического кризиса 30-х годов и диктатуры короля Александра, я думал о страданиях и нищете эксплуатируемых, наблюдая их и ощущая только лишь как страдания и нищету: печаль, горечь, пессимизм, отчаяние толкали на анархический протест, в плане литературном это были сентиментальные, потом горькие социальные стихи — вызов богохульством и полупонятностью! И вот тогда-то явился коммунизм, пролетарский, революционный, марксистский: это в самом деле было так, словно открылись ставни в темной комнате, это походило на второе рождение. Стали ясны причины страданий эксплуатируемой личности и массы, пути уничтожения этих страданий — нищета открыла и свою вторую сторону: борьбу, революцию, обновление жизни и человека. Ушел пессимизм, отступила проблема смерти, коммунизм (Октябрь — это коммунизм в действии, сила и реальность коммунизма!) оказывает влияние и на эти области: он поднимает, делает человека бессмертным в бессмертии коллектива, отвергает пессимизм или — у тех, кто неотделимо связан с пораженным гангреной капиталистическим порядком и его культурой,— доводит его до черных экзистенциалистских выводов о бессмысленности и

бесперспективности человеческого существования, о страхе, озабоченности и одиночестве как вечной, предопределенной сути этого существования. Открылась дорога, возникло, усилилось и оформилось стремление к созданию революционной, пролетарской реалистической литературы.

«Революция — это не я один, а мы».

ВИНСТОН ОРРИЛЬО (ПЕРУ)

В буржуазном обществе поэты занимают такое же место, как и пролетарии: мы — жертвы, мы — отверженные. Давно уже прошли те времена, когда легенда «вы выше толпы» ослепляла людей творческого труда. Теперь все мы вместе отправились в путешествие, цель которого — выжить вопреки могучей враждебной силе, какой является капитализм. Нам остается единственный путь.

Изменяйте жизнь, говорил Рембо. И мы, поэты Перу, полагаем, что «жизнь» по Рембо означает «общество». Мы хотим переделать общество, и каждый из нас ведет борьбу за революцию из своего благородного и достойного уважения окопа.

Естественно, мы считаем маяком, освещающим наш путь, осуществление Октябрьской революцией народных чаяний. В этом смысле наша дорога легче, яснее. Теперь уже не надо делать предсказаний, теперь уже факт, что Русская революция за свои пятьдесят лет вывела страну в число передовых стран мира и первая оставила свой вымпел на Луне.

Как писателя, меня в первую очередь — быть может, это профессиональная ограниченность — интересует все, что касается моего дела. Поэтому меня особенно поражает в Русской революции то, что она положила начало тесному сближению народа, искреннему и чистому, с людьми творческого труда. Русский писатель снова живет в гуще общества, побеждена наконец неизбежная для буржуазного общества профессиональная замкнутость. Ясно, не осуществить бы ничего подобного без коренных социальных изменений, которые произошли в СССР.

Мне 25 лет, я пишу стихи. Кроме того, я преподаю литературу, но, прежде всего, я думаю, что буду вечным учеником. Сейчас я занимаюсь подробным изучением идей Октября. По-моему, у революционных идей и поэтического вдохновения единая природа, они стремятся к общей цели — изменить общество или изменить человека, жить лучше, более полной, свободной и возвышенной жизнью.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД (АВСТРАЛИЯ)

Подобно северному сиянию, Октябрьская революция озарила своим ослепительным светом весь мир. Во всех странах отозвалась победа, достигнутая первой в истории социалистической республикой.

Встревоженные, охваченные паникой буржуазные правительства мобилизовали все свои силы — политические, экономические и военные, чтобы сокрушить революцию, которая угрожала существующей социальной системе эксплуатации, империализма и войн.

Полное крушение попыток армии интервентов сломить несгибаемую волю, героический дух рабоче-крестьянской советской власти и Красной Армии произвело глубокое впечатление на народы мира, воодушевило их на борьбу против полицейских акций их собственных правительств, за улучшение условий жизни и труда.

В Австралии, как и во многих других странах, непосредственным результатом Октябрьской революции было обращение передовых рабочих, прогрессивно настроенных, серьезно мыслящих людей к изучению трудов Маркса и Энгельса. Ведь именно они содержали теоретические принципы, положенные в основу строительства нового общества в Союзе Советских Социалистических Республик. Создавались коммунистические партии, изучали работы Ленина, великого вождя советских народов, теорию и практику научного социализма, указывающие путь к достижению коммунизма.

Коммунистические партии мира, опирающиеся на идеи марксизма-ленинизма, сыграли важную роль в борьбе рабочих за свои права, в освободительном движении народов, в международных выступлениях за мир и прогресс.

Октябрьская революция способствовала созданию других социалистических государств, видевших перед собою живой пример Советского Союза. На протяжении пятидесяти лет своего существования СССР продемонстрировал, что такое социализм в действии, как поразительны его успехи и достижения в области науки и культуры.

Поддерживая движение международной солидарности, выступая за разоружение, Советский Союз помогает добиваться эффективных мер в защиту мира на земле, во имя торжества идеалов человечности и добра для людей всех рас, всех цветов кожи, оказывает материальную и моральную поддержку вьетнамскому народу, борющемуся против чужеземной агрессии.

Меня лично идеи Октябрьской революции всегда вдохновляли на новые творческие начинания, вселяли надежду и веру в будущее. Я считаю, что основание социалистического государства явилось колоссальным стимулом в развитии человечества, успехи советского государства неизменно подтверждают мою уверенность в этом.

Вместе со всеми моими советскими друзьями и товарищами радостно встречаю праздничную дату пятидесятилетия СССР.

ХУАН РИОС (ПЕРУ)

Русская революция, несомненно, является одним из основных событий мировой истории — это первая попытка уничтожить эксплуатацию человека человеком, чтобы в один прекрасный день осуществить, как говорил Маркс, прыжок из царства принуждения в царство свободы.

Я полагаю, таким образом, что после октябрьских дней внутренняя и внешняя политика каждой страны находилась в прямой зависимости от советского опыта. Ни одному писателю, какой бы идеологии он ни придерживался, не удалось сохранить равнодушие к столь великому событию.

Что же касается меня, то должен сказать, если мои поэтические и театральные произведения имеют какой-нибудь смысл, то только благодаря тому, что они воспевают борьбу человека за подлинную справедливость и настоящую свободу, борьбу за окончательное утверждение человеческого достоинства.

ХОРХЕ САЛАМЕА (КОЛУМБИЯ)

1. Октябрьская революция оказала многостороннее влияние на судьбы человечества и на поколения, которые появились за эти пятьдесят лет. На мой взгляд, особенно существенным было следующее:
   а) создание бесклассового общества, управляемого диктатурой пролетариата;
   б) организация просвещения и отношение к нему как к основе национального строительства, утверждение человеческого достоинства и движения к миру и благосостоянию.
   в) формирование таких материальных и духовных ценностей, которые способны создать необходимые предпосылки для полного разгрома фашизма;
   г) верность политике мира во всем мире;
   д) создание в международном плане атмосферы, способствующей независимости народов;
   е) инициатива в завоевании космоса;
   ж) вклад советской науки в прогресс и благосостояние человечества.
2. Как мыслю я освоение советского опыта строительства социализма демократическими силами Колумбии:
   а) сделать образование и культуру общедоступными;
   б) поднять достоинство человека независимо от его классовой и расовой принадлежности;
   в) проводить политику мира и сосуществования на основе взаимного уважения и взаимной выгоды;
   г) оказывать своевременную поддержку любому движению за национальную независимость.
3. Идеи и свершения Октябрьской революции за истекшие 50 лет существенно сказались на моем духовном формировании. Я хотел бы назвать:
   а) более четкое представление о солидарности между народами;
   б) новое понимание гуманизма, получившее отражение в моем литературном творчестве и политической деятельности;
   в) решимость бороться за взаимопонимание между всеми народами на земле;
   г) вступление, в области культуры, в ряды защитников национальной независимости.

ДЖОН ЧИВЕР (США)

Я не занимаюсь политикой и не являюсь специалистом в области социалистической культуры, однако я не могу не сказать в связи с 50-летием вашего государства о том, какими живыми остаются в моей памяти воспоминания о величии вашей страны и вашего народа.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ПИСАТЕЛИ КУБЫ — ГЕРОЯМ ВЬЕТНАМА

На обложке последнего, только что полученного в Москве, номера журнала кубинских писателей «Уньон» — известный фотоснимок национального героя вьетнамского народа Нгуен Ван Чоя, сделанный его палачами за несколько минут до расстрела. А на титульном листе надпись: «Литература сражающегося народа — народа, чья жизнь и чье слово отданы борьбе против империализма».

По установившейся традиции каждый год жизни молодой социалистической республики носит название, как бы определяющее основную задачу кубинского народа на это время,— так были годы: Аграрной реформы, Просвещения, Экономики... 1967 год — Год героического Вьетнама.

Одно из событий этого года — выпуск очередного номера журнала «Уньон», посвященного литературе Вьетнама. Это номер, подготовленный, как отмечается в редакционной передовице, с помощью Союза писателей и деятелей искусств Вьетнама, наряду со специальным номером «Иностранной литературы», вышедшим год назад,— документы международной солидарности прогрессивного человечества, отстаивающего мир во всем мире.

На страницах журнала «Уньон» слово предоставлено как литераторам Вьетнама, так и литераторам Кубы.

Двум видным кубинским писателям — Феликсу Пите Родригесу и Раулю Вальдéсу Вивó — довелось побывать на вьетнамской земле. Их путевыми зарисовками и открывается этот номер.

С подлинной поэтической страстью написаны «Заметки из дневника» Феликса Питы Родригеса. Кубинский поэт и прозаик многое увидел в Ханое и в других городах и селениях Демократической Республики Вьетнам. «Подыскиваю слова, которые могли бы передать все, что я видел, и не могу их найти»,— признается он. И все же находит слова, которые врезаются в память. Не может не потрясти его описание своеобразного музея, устроенного жителями маленькой вьетнамской деревушки, «где побывала смерть в форме североамериканских военно-воздушных сил»,— в этом крошечном «музее» собрано все то, что осталось от погибших односельчан:

> «Следы, оставшиеся после визита смертн в форме военно-воздушных сил США — в клоке волос и гребне со скрученными и обожженными зубьями,— это все, что осталось от женщины после взрыва бомбы. И в куске конической шляпы, почерневшей от огня,— девушка, носившая ее, разорвана на куски, как и шляпа. И в куске искореженного металла, что был велосипедом,— ехавший на нем юноша крестьянин уничтожен. И в немудрящих игрушках — в обгоревшей деревянной лошадке и безголовой кукле — тоже следы, оставленные смертью в форме североамериканских военно-воздушных сил: дети, игравшие с этими игрушками, уже никогда не смогут играть... Множество обычных вещей в этом необычном музее североамериканского варварства, точнее — множество осколков этих вещей...»

Многие страницы «Заметок из дневника» глубоко трагичны, но в них нет ощущения безысходности. Напротив, Феликс Пита Родригес стремится передать другим свою уверенность в том, что народ, не склоняющий головы перед врагом, непобедим. Эту уверенность он выражает и в записанной в дневнике беседе с крестьянской девушкой Ле Тхи Хыонг:

«Я видел воплощенным в жизнь мудрый совет Хо Ши Мина: ненависть претворить в созидательную энергию, в боевую силу. Ненависть велика, ибо неизмеримо велики варварство, жестокость и преступная глупость североамериканцев, вызывающих ее. А раз так, значит, велика боевая сила и созидательная энергия народа.

Нет, Ле Тхи Хыонг, североамериканцы никогда не смогут победить. В их ненависти нет чувства справедливости, правоты, и поэтому они не могут претворить ее в боевую мощь. У них — честолюбие зла, алчность, бешеное стремление к господству, к наживе. А это не может привести ни к чему, кроме смерти, разрушения, пепла. Знай, Ле Тхи Хыонг, враги Вьетнама погибнут, а Вьетнам победит».

В небольшой заметке «Культура на фронте» кубинский писатель Рауль Вальдес Вивó, кстати, опубликовавший в газете «Гранма» большой цикл интересных вьетнамских репортажей, рассказывает о своей фронтовой встрече с представителем министерства культуры ДРВ:

«Порой мы, кубинцы, очень много спорили о выражении «фронт культуры», особенно когда наша страна переживала бои на Плайя-Хирон и дни октябрьского кризиса (1962 г.),— вспоминает он,— у вьетнамцев нет такого рода дискуссий. Мы просто видели культуру на фронте. На фронте борьбы, где сегодня сражаются все: отстаивая права всех на свободу, отстаивая завоевания революции, отстаивая жизнь и песни...»

Широко представлена в номере «Уньон» поэзия и проза Вьетнама. С кубинских берегов обращается к родине вьетнамский поэт То Хыу:

«Глядя на кубинскую девушку в форме народной милиции с винтовкой за плечами, я чувствую себя на родных берегах, где наши девушки стоят на страже или в партизанских отрядах сражаются с врагом»,— пишет он.

В переводах кубинских поэтов Вирхилио Пиньеры (большинство переводов принадлежит ему) и Давида Фернаидеса журнал печатает стихи Те Лань Вьена, Хюи Кана, Хоанг Чунг Тхонга, Те Ханя, Лыу Чаунг Лы. Журнал знакомит своих читателей и с прозаическими произведениями писателей Демократической Республики Вьетнам и Южного Вьетнама — Нгуен Чунг Тханя, Ву Тхи Тхыонга, Тхюи Тху, Ань Дыка, Фан Ты.

Большой интерес вызывает статья Хоай Тханя, секретаря Ассоциации литературы и искусства Вьетнама, «Взгляд на вьетнамскую литературу». Автор статьи, сделав обстоятельный обзор истории литературы своей страны, приходит к следующему заключению:

«Империалисты-янки рассчитывают, что смогут покорить нас. Но нет! Весь вьетнамский народ — на Севере и Юге страны — поднялся как один человек и на насилие решительно отвечает силой. Прозаики и поэты, которые никогда не теряли связи с массами, пошли туда, где борьба особенно трудна, отправились в районы, подвергающиеся жесточайшим нападениям североамериканских воздушных пиратов. Там — более, чем где-либо в другом месте,— наши писатели пользуются возможностью познать сущность происходящего, истинную правду нашего времени...

Ценность вьетнамских художественных произведений, я считаю, состоит в том, что в них воссоздан правдивый образ нашего народа — народа, жаждущего независимости, готового на самопожертвование ради сохранения независимости, непоколебимого в борьбе».

Смысл и значение «вьетнамского» номера четко определены в передовой статье журнала «Уньон»:

«Писателям и деятелям искусств Вьетнама и всему народу их великой родины, вызывающей восхищение мира, мы приносим этот дар писателей и деятелей искусств Кубы — один из тысяч актов боевой солидарности, которыми отмечен для нас этот «Год героического Вьетнама».

Д. ВЛАДИМИРОВ

ПАМЯТИ ГРАМШИ

Есть немеркнущие имена, есть даты, которые мы отмечаем с особенным, сложным чувством гордости и грусти: гордости от сознания, что мы — современники замечательных, редкостных людей, грусти от того, что мы этих людей так рано потеряли. В этом году мысль часто возвращается к Антонио Грамши: исполнилось тридцать лет со дня его смерти, двадцать лет с тех пор, как началась публикация знаменитых «Тюремных

тетрадей». Нельзя забывать и о том, что Грамши имеет самое прямое, непосредственное отношение к нашему празднику: он по праву должен быть отнесен к числу тех крупнейших деятелей европейского рабочего движения и европейской культуры, для кого решающее значение имели идеи Ленина и опыт Октября.

Недавно состоялись научные конференции, посвященные Грамши,— в городе Кальяри (Грамши, как известно, был родом из Сардинии, и Сардиния пожелала почтить его память) и в Москве, где Институт международного рабочего движения провел сессию, которая произвела большое впечатление на итальянских товарищей и на марксистов из других стран высоким уровнем выступлений, диапазоном затронутых тем и глубокой современностью, актуальностью поставленных проблем. Антонио Грамши — не только боец, чье имя стало символом моральной стойкостн и сопротивления,— это отважный мыслитель, деятель культуры, человек острого ума и громадных знаний, идеи которого, оплодотворившие итальянскую научную и общественную мысль, остаются «старым, но грозным оружием» и сегодня в борьбе с реакцией, лицемерием и конформизмом.

В Италии «грамшианские празднества» вылились в самые разнообразные формы — от торжественных в палате депутатов до интимных, трогательных в своей искренности, когда люди, лично знавшие Грамши, рассказывали о каких-то эпизодах, связанных с ним. Эти люди встречались с младшим сыном Грамши, Джулиано, который никогда не видел своего отца: Джулиано родился в Москве летом 1926 года, когда Антонио был в Италии, а 8 ноября 1926 года Грамши был арестован, и ему уже не удалось увидеть жену и детей. Памяти Грамши посвятили специальные номера несколько журналов; на одном из этих номеров хочется остановиться: это «Контемпоранео» («Современник»), приложение к теоретическому органу компартии — «Ринашите».

Материалы этого номера представляют особый интерес для тех, кто хочет осмыслить роль Грамши в революционном движении нашего века и его присутствие в современной итальянской и мировой культуре. Член руководства ИКП, Паоло Буфалини (кстати, он выступал на научной сессии в Москве), написал статью, озаглавленную «Партия Грамши». Он подчеркивает момент преемственности в теоретической мысли и в практической деятельности Итальянской компартии от Грамши и затем Тольятти до наших дней:

> «Сегодня в Италии, и не только в Италии, отдается дань памяти Грамши, мы вправе говорить о всеобщем признании этого исключительного человека... Представление о Грамши как о великом революционере и великом мыслителе утвердилось в международном рабочем движении во всех странах».

Паоло Сприано, автор «Истории Итальянской коммунистической партии» (первый том этой работы вышел в Италии весной 1967 года), опубликовал в «Контемпоранео» важные сведения и документы о последних годах жизни Грамши — новое подтверждение мужества и силы духа Грамши. Он опубликовал также письмо, отправленное Тольятти 20 мая 1937 года из Москвы близкому другу Грамши, профессору Пьеро Сраффа, который имел возможиость иногда навещать Грамши в тюрьме и помогал ему,— в частности, открыл для него счет в одном книжном магазине, благодаря чему Грамши мог получать книги и журналы. Это письмо свидетельствует о том значении, которое Тольятти и партия придавали наследию своего погибшего вождя и товарища:

> «Убедительно прошу тебя точно сообщить мне, какие указания для Антонио насчет возможной публикации и, во всяком случае, насчет изучения и использования того, что он писал. В первую очередь я имею в виду то, что написано им в тюрьме, но также и предшествующее. Насколько я знаю, тюремные записи находятся в надежном месте и постепенно будут переправлены сюда. Я не имею никакого, хотя бы приблизительного, представления о них. О чем идет речь? Составлены ли они таким образом, что возможно их опубликование в сколько-нибудь близком будущем?»

Надо упомянуть еще об одной статье, помещенной «Контемпоранео». Ее автор — Аккилле Оккетто, и называется она «Теоретик революции на Западе».

> «Нам кажется,— пишет Оккетто,— что настало время, исходя также из критического анализа, данного Тольятти, освободиться от всяких интерпретаций, которые сводятся к тому, чтобы связывать Грамши исключительно с итальянской культурой. Идеи Грамши надо рассматривать в свете бурных теоретических дискуссий мировой марксистской мысли, в живом контексте той битвы идей, которая оплодотворила одни и разоблачила другие течения в рабочем движении в годы, когда осуществлялся первый великий и победоносный опыт пролетариата».

Аккилле Оккетто, анализируя некоторые работы Грамши, развивает свою мысль: Грамши, глубоко воспринявший идеи Ленина, понявший универсальность и в то же время своеобразие опыта Октябрьской революции, стремился продумать и определить пути, по которым должна будет пойти пролетарская революция в развитых капиталистических странах Запада. Его аналитический ум, самостоятельность и своеобразие его мышления, глубокая интеллектуальная честность и ненависть к шаблонам и упроще-

ниям привели его к теоретическому обоснованию того «единства в разнообразии», которое впоследствии легло в основу разработок «итальянского пути к социализму».

Эту мысль о присутствии Грамши в идейных, политических и культурных битвах, которые в наши дни ведут итальянские коммунисты, мы встречаем в различных вариациях и аспектах и в других материалах, опубликованных «Контемпоранео». Интересна, в частности, статья литературного критика Джансиро Ферраты, озаглавленная «Работа и чудо. Присутствие Грамши в сегодняшней итальянской культуре».

Феррата начинает с полемики: за последние годы в Италии иногда раздавались голоса, утверждавшие, будто Грамши «отдаляется от нас». Почему? Потому что изменилось время, мироощущение, потому что образ Грамши становится для людей шестидесятых годов таким же «идеально-романтическим», как, например, образ Герцена.

Феррата ссылается и на высказывания некоторых других деятелей итальянской культуры, которые сейчас, занятые переоценкой ценностей, не только пишут Грамши «отдаляется от нас», но хотят пересмотреть все представления о путях развития прогрессивной итальянской философской и литературной мысли, представления, прочно сложившиеся в сороковых и пятидесятых годах и опять-таки связанные с Грамши.

Джансиро Феррата не просто спорит с теми, кому кажется, будто Грамши «отдаляется от нас». Подчеркивая его современность, критик пишет о многогранности Грамши, о самом характере его интеллекта, о богатстве и сложности его духовной жизни. Грамши — подлинный сын нашей эпохи, один из лучших ее сыновей, ненавидевший и схематизм, и риторику, стремившийся во всех своих выступлениях добираться до самой сути явлений во всей их сложности, ничего не упрощая, избегая «приблизительных» толкований, не подгоняя факты под заранее составленный тезис. Грамши был диалектиком по самой природе своего мышления, ко всем фактам культурной жизни он подходил с этико-политических позиций, и именно это позволило ему в «Тюремных тетрадях» выдвинуть столько гениальных догадок, которые в иных условиях, развитые в стройную систему, сделали бы Грамши одним из крупнейших ученых XX века. Наряду с «Тюремными тетрадями» «Письма из тюрьмы», адресованные близким людям, раскрывают широту его интеллектуальных интересов и смелость его мысли. Феррата пишет:

> «В 1947 году опубликование «Писем из тюрьмы» вызвало восторженное изумление, захватив внимательных и взволнованных читателей своей правдивостью и поэтичностью. Их поразило также глубокое, носящее печать гениальности единство интересов, богатейших и разносторонних духовных ценностей в «Тюремных тетрадях». Постепенно возникал образ Грамши, становилась ясной его историческая роль и его жизнь, его политическая деятельность, его удивительная энергия и естественность, его человечность — во время борьбы и до самой смерти. Все это, открывавшееся благодаря преодолению целомудренной сдержанности, которая противится раскрытию глубоко личных воспоминаний, явилось событием, перевернувшим всю итальянскую культуру».

Наконец, «Контемпоранео» опубликовал отрывок из доклада, который сделал Тольятти на конференции, посвященной изучению трудов Грамши, состоявшейся в Риме в январе 1958 года. Журнал считает, что анализ, данный Тольятти, является одним из самых проникновенных и глубоких определений связи идей Грамши с ленинизмом. В этом смысле особую важность имеет разработанное Грамши теоретическое положение о роли итальянского рабочего класса, который становится «национальным классом, ибо существуют условия для нового исторического блока».

Вопрос о роли рабочего класса в качестве «национального класса», или, иными словами, о том, что он неизбежно должен встать во главе общественного прогресса, стал совершенно ясным в период Сопротивления, когда рабочие были основной силой партизанской борьбы. Это они сохранили оборудование предприятий, не дав немецким фашистам вывезти их в Германию. Вопрос этот приобретает особую актуальность теперь, в условиях индустриальной цивилизации и «неокапитализма», когда культурный уровень и сознательность пролетариата, сила организованного рабочего движения и его активность стали фактором, имеющим все большее значение при решении общенациональных проблем. И, несмотря на все различие конкретно-исторических условий в те годы, когда жил Грамши, и теперь идеи Грамши сохраняют всю свою важность и свежесть, потому что они не «конъюнктурны», а капитальны и уже органически вошли в общую сокровищницу идей творческого марксизма.

Ц. КИН

ИЗ БЕСЕДЫ С ПИСАТЕЛЕМ

Для понимания проблем, волнующих литературную общественность, и ощущения самого тонуса культурной жизни маленькая рецензия или короткое интервью иногда дает больше, чем пухлые академические исследования. Это в полной мере относится к опубликованному в еженедельнике «Революсьон африкен» интервью с известным

алжирским писателем Мулудом Маммери, автором романов «Забытый холм», «Сон праведника», «Опиум и палка», последний из которых недавно вышел у нас в русском переводе. В этом интервью, взятом по частному поводу — в связи с постановкой на сцене Алжирского Национального театра пьесы Маммери «Фён», первой алжирской пьесы на французском языке в репертуаре АНТ,— затрагиваются вопросы, значение которых выходит далеко за рамки, определяемые рубрикой «Театральная хроника».

«Замышляли ли вы, когда приступали к работе над этой пьесой,— спрашивает Маммери корреспондент «Революсьон африкен»,— создать прежде всего произведение искусства или произведение полезное, то есть такое, которое присовокупило бы, как говорил покойный Мулуд Фераун, дополнительный исторический документ к тяжелому и без того досье об алжирской войне?».

Оспаривая такую постановку вопроса, Мулуд Маммери тем самым выражает свой взгляд на соотношения конкретно-исторического и общечеловеческого, непреходящего в произведении искусства.

«Мне кажется,— отвечает он корреспонденту,— что эти два замысла неотделимы один от другого. Я считаю, что произведение искусства, достойное этого имени, должно отвечать двойному требованию, компоненты которого лишь по видимости находятся в противоречии. Оно должно иметь прочную основу в наличной действительности и передавать ее неповторимое своеобразие, проявляющееся в человеческих поступках, чувствах, мечтах, но вместе с тем оно должно, на мой взгляд, ставить самые общие вопросы бытия. В этом последнем качестве оно должно быть, в полную меру возможного, явлением искусства. Литература и вообще художественное произведение может служить документом, но оно осваивает действительность, если хотите, на другом уровне подлинности».

Мулуд Маммери не только предостерегает от примитивизма в интерпретации и оценке художественного произведения, но и выступает против узости, обедняющей само искусство: пренебрегая «реальностью hic et nunc»*, оно неизбежно оказывается в плену абстрактно-умозрительных настроений и изменяет собственной природе ради своего рода алгебраической символики, а оставаясь на том же «уровне подлинности», что и документ, отказывается от высокой прерогативы художественного обобщения.

Против примитивизма и узости выступает Маммери и в вопросе о воспитательной функции искусства, в частности, искусства театрального:

«Театр как «ударная» форма выражения, мне кажется, должен играть действительно важную роль в том, что вы называете воспитанием народных масс... Но лучший театр, по-моему, не тот, который довольствуется тем, что придает театральную форму лозунгам, а иногда, увы, и преходящим предрассудкам, а тот, в котором опыт алжирского народа на каждом этапе получает более глубокое и полное, а в некотором смысле и более гармоничное выражение, тогда как простая дидактика этим неизбежно пренебрегает».

По мысли Маммери, воспитательная роль искусства отнюдь не сводится к тому, чтобы облекать трюизм в занимательную и наглядную форму. Художественное произведение должно быть не иллюстрацией уже добытой моральной или политической истины, а «извлечением квинтэссенции» из исторического опыта народа при участии самого зрителя или читателя.

Французское «engagement», английское «commitment», итальянское «impegno» — термины, без которых ныне не обходится на Западе, пожалуй, ни одна статья, трактующая вопрос об общественной позиции художника. Понятие, которое выражается этими терминами, стало предметом самых различных толкований и самых ожесточенных споров. В устах прогрессивных художников и теоретиков искусства понятие это, по существу, означает партийность в широком смысле слова, идейность, сознательное участие творческой личности в общественной борьбе нашего времени на стороне определенных социальных сил. С другой стороны, в эстетских концепциях «ангажированность» отвергается как якобы несовместимая со свободой творчества, достоинством художника и самоценностью искусства. Наконец, дает себя знать узкое и вульгарное понимание «ангажированности», отводящее искусству чисто служебную роль, вспомогательную по отношению к политической пропаганде, и отождествляющее актуальность со злободневностью.

Мулуд Маммери в своем интервью, указывая на двусмысленность термина «engagement» в результате его разноречивого употребления, решительно выступает против вульгарной, догматической точки зрения, но в то же время подчеркивает, что нет и не может быть подлинного искусства, замкнутого в себе и чуждого идеалам и стремлениям народа.

«Что касается литературной ангажированности,— говорит он,— все зависит от того, что подразумевается под этим словом. Если ангажированность — синоним завербованности, то я полагаю, что требовать ее от алжирского писателя

* Здесь и сейчас (*лат.*).

значило бы оказывать дурную услугу и писателю и Алжиру. Есть существенная разница между политическим текстом, который стремится к непосредственной, отвечающей данным обстоятельствам эффективности, и художественным произведением. Вот почему я и говорю, что, на мой взгляд, алжирский писатель не может не быть ангажированным, но ангажированным не в смысле приверженности к однодневной истине, а в смысле вовлеченности в то, что составляет глубочайшую реальность алжирской нации».

Мулуд Маммери возражает против термина «завербованность», очевидно, и потому, что слово это ассоциируется у него с внешним воздействием (кто-то кого-то вербует в число своих сторонников), а также с принудительной, навязанной извне, чуть ли не воинской дисциплиной. Заметим только, что когда в нашей литературе пользуются этим термином, ему отнюдь не придают такого оттенка. Что же касается «глубочайшей реальности алжирской нации», то писатель, без сомнения, имеет в виду процесс государственного становления и социального обновления, который переживает Алжир.

В коротком интервью Мулуда Маммери проявилась та же зрелость и самостоятельность эстетической мысли, которая отличает выступления алжирских писателей на международных форумах и которой, отрадно отметить, отвечает художественная зрелость их произведений последних лет, будь то «Звездный многоугольник» Катеба Ясина, «Опиум и палка» Мулуда Маммери или «Да, Алжир» Каддура М'Хамсаджи.

Н. Н.

ПУБЛИЦИСТИКА

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

КТО ВИНОВАТ?

(Размышления по поводу одного уголовного процесса)

Публикуемое ниже выступление английской писательницы Памелы Хэнсфорд Джонсон представляет собой сокращенный перевод нескольких глав из ее только что вышедшей публицистической книги.

Стирание граней между дозволенным и недозволенным в литературе, на экране, на сцене—характернейшая черта современной массовой культуры буржуазного Запада. С болью говорит писательница о чудовищных, уродливых и вместе с тем закономерных следствиях «тотальной вседозволенности», в которой иные представители интеллигенции Запада склонны усмотреть чуть ли не торжество «джефферсоновских идеалов демократии» и которая на самом деле является свидетельством морального распада общества.

Не раз в своей книге Памела Х. Джонсон вспоминает о теории и практике фашизма. Связь здесь несомненна. Пропаганда порнографии, культ аморальности, жестокости, садизма занимали важное место в идеологической системе нацистских «воспитателей» человека, безразличного ко всему и готового на все.

Упоминает писательница и о тех, кто сегодня наживается на этой «вседозволенности», для кого порнография — прямая и немалая статья дохода. Здесь социальные оценки могли быть более определенными и резкими — речь идет о самой коммерческой «душе» буржуазной системы. И все же взволнованное, страстное выступление Памелы Х. Джонсон, поставившей острые, больные вопросы, позволяет читателю всерьез задуматься о том, что скрывается за лицемерными рассуждениями о демократических свободах в буржуазном обществе.

Газета «Санди телеграф» предложила мне побывать на судебном процессе в Честере и написать о своих наблюдениях. В мои собственные намерения не входило что-либо большее. Однако впечатление, которое произвел на меня «Болотный процесс», было настолько сильным, а раздумья после него столь горькими, что я почувствовала необходимость написать о его социальном значении, которое мне кажется бесспорным, и попытаться уяснить, не существует ли в нашем обществе, все более явно отказывающемся признавать рамки дозволенного, той питательной почвы, на которой могут столь пышно произрастать ядовитые сорняки порока.

История этого процесса в свое время напишут профессиональные криминалисты. Но поскольку, вероятно, имеется немало людей, намеренно не читавших отчетов о нем или забывших его подробности, я постараюсь коротко напомнить суть дела.

Когда во вторник, 19 апреля 1966 года, выездная сессия суда в Честере приступила к слушанию дела 27-летнего клерка Айана Бреди и 23-летней машинистки Эстер Миры Хиндли, подсудимые отрицали, что 7 октября 1965 года в графстве Чешир убили 17-летнего Эдварда Эванса из Манчестера.

Они также отрицали, что в какой-то из дней между 26 декабря 1964 года и 7 октября 1965 года убили 10-летнюю Лесли Энн Доуни из Манчестера *, а в период между 23 ноября 1963 года и 7 октября 1965 года — 12-летнего Джона Килбрайда из Эштона-под-Лайном.

Хиндли, кроме того, обвинялась в том, что, зная, что Бреди убил Джона Килбрайда, она тем не менее «укрывала его, заботилась о нем и содержала его». Хиндли не признала себя виновной.

Исчезновение в 1963 году Джона Килбрайда, а в 1964 году Лесли Энн Доуни привело к широким поискам, длившимся недели и месяцы, в них принимали участие полиция, пресса и общественность. Однако никаких следов исчезнувших детей обнаружить тогда не удалось.

Затем в четверг, 7 октября 1965 года, в 6 часов 10 минут утра звонок из уличного телефона-автомата пролил свет на загадочное исчезновение детей, привел к расследованию, окончательно раскрывшему тайну преступления. Так Бреди и Хиндли очутились на скамье подсудимых.

В полицию позвонил 17-летний Дэвид Смит. Он звонил из Хэттерсли, мрачного и перенаселенного поселка близ Хайда, в той части графства Чешир, что граничит с Ланкаширом. Рядом с Дэвидом была его жена, 19-летняя Моурин, сестра Миры Хиндли.

Полиция прибыла в Хэттерсли по адресу Уордл Брук-авеню, 16. Здесь вместе с миссис Мейбюрри, 77-летней бабкой Миры Хиндли, проживали Бреди и Хиндли. Соблюдая все предосторожности, полиция окружила дом.

Потребовались немалые выдержка и смекалка. Старший полицейский Тальбот, переодевшись в белый халат разносчика хлеба и взяв в руки корзину, постучался в заднюю дверь. Ему открыла Мира Хиндли. Полиции было известно, что у Бреди и Хиндли есть оружие и они умеют с ним обращаться. Старший полицейский был готов ко всему.

Когда он заявил, что он из полиции, Хиндли пыталась помешать ему войти в дом, но это ей не удалось. На втором этаже в спальне Миры Хиндли полиция обнаружила тело 17-летнего Эдварда Эванса, завернутое в темное одеяло. Эванс был убит четырнадцатью ударами топора. Для большей надежности Бреди туго затянул на шее убитого петлю из электрического провода.

С первых дней женитьбы Дэвида Смита год назад на Моурин, сестре Миры Хиндли, Бреди систематически развращал юношу, имевшего и без того дурное прошлое. Бреди Хиндли и супруги Смит часто бывали вместе, заходили друг к другу в гости или выезжали в малолитражном автомобильчике Бреди за город на болота, где предавались пьяным оргиям. Нередко за вином и разговорами засиживались допоздна, и, без сомнения, в их времяпрепровождении не последнюю роль играла «библиотека» Бреди — свыше 50 томов садистской и порнографической литературы, книг о насилиях, зверствах и нацизме. Последними особенно увлекались Бреди и Хиндли. Разумеется, среди этих книг была и «Майн кампф».

Однако их кумиром был маркиз де Сад. Некоторые из его идей Бреди и Хиндли претворили в жизнь, как это подтвердили затем раскопки, проведенные полицией на заболоченных пустырях.

Не подлежит сомнению, что именно ради приобщения Смита подсудимые Бреди и Хиндли задумали осуществить свой чудовищный и отвратительный план — убийство Эдварда Эванса 7 октября 1965 года.

Но произошло то, чего не мог предвидеть Бреди. Смит не выдержал. Он и его молодая жена проговорили всю ночь, а в шесть утра позвонили в полицию.

Так была раскрыта тайна болот, тайна исчезновения двух детей.

Истязая Лесли Энн Доуни, хорошенькую и очень миниатюрную для своих лет девочку, Хиндли и Бреди записывали крики и мольбы девочки на магнитофонную ленту, а затем искусно вмонтировали в эту запись рождественские песенки «Веселый Дед Мороз» и «Маленький барабанщик». Лента прослушивалась на суде. Прослушивание длилось 16 минут. В этот день меня не было в суде, но видавшие виды репортеры судебной хроники потом мне говорили, что пережили самые страшные минуты в своей жизни. Они слышали, как совершалось убийство.

Бреди почти в самом начале процесса признался в убийстве Эдварда Эванса. Но он и Хиндли отрицали причастность к убийству Лесли Энн Доуни, утверждая, что она беспрепятственно покинула их дом после того, как они заставили ее позировать для нескольких порнографических снимков. Подсудимые утверждали, что не знают Джона Килбрайда, хотя его фамилия была найдена в записной книжке Бреди.

Присяжные совещались 2 часа и 22 минуты. Обвиняемые во всех трех случаях были признаны виновными и осуждены: трижды осужден на пожизненный срок Бреди за совершение трех убийств; дважды на пожизненный срок плюс семь лет тюремного заключения за укрывательство убийцы была осуждена Хиндли.

Простое изложение фактов само по себе достаточно ужасно. Но за этими фактами скрывается еще очень многое — те злые силы, которые смогли превратить молодого человека и молодую женщину в отвратительных чудовищ.

* Впоследствии на суде было установлено, что убийство было совершено на святках, 26 декабря 1964 года.

Общество, где все дозволено и все доступно, «приплясывающее общество» («swinging society»): в этом вульгарном ярмарочном балагане новой свободы, свободы наслаждений, каждый волен упиваться насилием, порнографией, садо-мазохизмом благодаря общедоступным средствам информации. Полки полицейских архивов трещат от тяжести десятков и десятков тонн порнографической литературы, которую еще в силах запретить закон. А сколько еще остается ее за пределами закона? Пока нас это сравнительно мало тревожит.

В Англии довольно сложно получить спокойный и вразумительный ответ на такой относительно простой вопрос: не является ли то, что мы делаем, социально опасным, не вредит ли это кому-либо? Такие вопросы нередко вызывают взрывы необъяснимого гнева и раздражения, напоминающие капризные выходки ребенка, у которого отнимают игрушку.

Нам грозит опасность превратиться в Общество Равнодушных, где каждый думает лишь о себе, о немедленном удовлетворении своих желаний. Мы требуем секса без любви, насилия ради острых ощущений. Мы способствуем притуплению нормальных человеческих чувств, а это, да будет нам известно, дорога, которая привела в Освенцим, а отнюдь не в «рай земной».

Когда нацисты оккупировали Польшу, в книжные магазины широким потоком хлынула порнографическая литература. Это факт, который никто не станет опровергать. Для чего нацистам понадобилось это? Они исходили из простого расчета, что, заставив человека думать лишь об удовлетворении собственных низменных желаний, они этим затруднят объединение общественно сознательных людей в какую-то силу. Чем глубже каждый из нас замкнется в себе, уйдет в свою скорлупу, будет жить лишь собой, тем менее вероятно, что мы захотим решать проблемы, которые лично нас не касаются.

В планы нацистов входило сознательное использование порнографии в целях социальной кастрации людей. Их теория состояла в том — и над этим следует задуматься,— что, разрешив личности все, вы этим помогаете ей освободиться от всяких обязательств перед обществом.

Многим из нас, присутствовавшим тогда на процессе в Честере, показалось, что в лице подсудимых, молодого человека и молодой женщины, людей малообразованных, но отнюдь не глупых, судимых за зверские убийства, мы видим наглядные результаты этой тотальной вседозволенности. Рана на теле нашего общества открылась, мы увидели ее, почувствовали зловоние...

Честер — один из красивейших городков Англии, единственный, где еще сохранились почти не тронутые временем древние романские стены. Городок процветает благодаря ипподрому. В Неделю скачек его посетила королева, и горожане, разумеется, больше уделили внимания этому событию, чем тому, что происходило в старом замке на горе, где заседала выездная сессия суда присяжных.

В уютной и успокаивающей обстановке шумного бара в отеле я попыталась привести в порядок свои записи. Со мной заговорила дама в шляпке из розовых шелковых лепестков:

— Я обратила внимание на то, что вы все время что-то записываете. Я была на скачках, и мне совсем не понравился туалет королевы. Она была в светло-зеленом, скорее в желто-зеленом. Этот цвет ей не к лицу. Вы приехали на процесс?

— Да,— ответила я и ожидала, что немедленно последует полный ужаса и затаенного любопытства вопрос; «Вы их видели?» Но вопроса не последовало.

— Я не читаю отчетов о процессе,— сказала дама.— Просто не могу себя заставить, да и не хочу.— Она содрогнулась, поведение ее было вполне искренним.

Большинство, разумеется, с жадностью проглатывало газетные сообщения о «Болотном процессе», но было немало и таких — и это должно насторожить,— кто категорически отказывался нарушить свой покой раздумьями над фактами и причинами ужасного преступления. В наше время гораздо больше преступлений совершается людьми равнодушными, чем патологически жестокими.

Мы живем в обществе, в котором систематически поощряется бездушие, и мы видим повсюду его результаты.

Часы, проведенные в зале суда, убедили нас в том, что мы видели лишь одну восьмую айсберга.

■

Недавно я вызвала немалый переполох, направив в газету «Гардиан» письмо, где высказывала мысль о нежелательности свободной продажи в книжных киосках вокзалов Англии в массовой дешевой серии такого издания, как книга Крафт-Эбинга *.

Не собиралась ли я таким образом протестовать против общедоступности всего и вся и не ратовала ли за какие-то ограничения? На эти вопросы я могу ответить совершенно откровенно: да, именно такова была цель моего письма.

Есть книги, которые не следует давать в руки любому читателю, и есть читатели, которым не следует давать любую книгу.

Мы являемся свидетелями поистине фантастического роста числа полуграмотных

* Речь идет о труде известного психиатра, посвященном проблемам сексологии и предназначенном для специалистов. *(Прим. ред.)*

читателей — именно полуграмотных, не больше и не меньше. И в то же время мы готовы предложить этой недостаточно образованной и эмоционально неустойчивой читательской публике практически «всю продукцию» во всех сферах массовой информации.

Ни Дэвид Смит, ни Айан Бреди не получили подготовки, позволяющей им объективно оценивать то, что они читали, хотя умственные способности Бреди и Миры Хиндли в целом представляются несколько выше средних. Их интересовала садистско-мазохистская, порнографическая и откровенно фашистская литература. И в наших книжных киосках они практически могли получить все, что хотели.

Библиотека подсудимого Бреди состояла примерно из пятидесяти книг, которые резко делились на три группы: садистская литература, порнография и литература о фашизме и нацизме. К последней группе принадлежали такие книги, как «Нюрнбергский дневник», «Генрих Гиммлер», «Мосли — прав или виноват?», «Знак свастики» и, разумеется, книга Гитлера «Майн кампф». Рядом с нею почти не вызывали удивления два самоучителя немецкого языка.

Бреди на допросе не мог скрыть самодовольства, когда речь зашла о его библиотеке. Прокурор, показав ему список книг, который он не хотел оглашать в суде, спросил:

— Вы признаете, что все это грязные порнографические книги?

Бреди:

— Их нельзя считать порнографией. Они свободно продаются в любом киоске.

Я не хочу подчеркивать исключительность этого процесса. Одновременно с ним в промышленном районе города Индианаполис (США) судили домашнюю хозяйку 47 лет, ее двух дочерей 15 и 17 лет, сына 13 лет и еще двух 15-летних подростков. Их обвиняли в том, что в течение двух недель они избивали, морили голодом, пытали раскаленным железом, обливали кипятком и наконец убили хорошенькую, но умственно отсталую девочку, которую домохозяйка взяла к себе на воспитание.

Я не сомневаюсь, что в данном случае обвиняемые не имели в своем распоряжении столь обширной или столь специально подобранной библиотеки, какая была у Бреди. Я не удивилась бы, если бы оказалось, что в этом доме вообще не было книг.

Однако сколько жестокости, узаконенной извращенности впитали в себя подсудимые вместе с воздухом, которым они дышат? Программы американского телевидения в гораздо большей степени, чем наши, изобилуют показом насилия, а телевидение, бесспорно, одно из самых мощных и общедоступных средств информации. Среди интеллигенции Запада лишь очень немногие готовы сейчас принять участие в серьезной дискуссии по вопросу, не загрязняем ли мы здесь, на Западе, с помощью средств массовой информации воздух, которым дышим, и не это ли погубило стольких детей?

■

— Я видел, что он проделывал это так же спокойно, как мясник рубит баранину.

Это сказал Дэвид Смит о Бреди, который на его глазах топором зарубил Эдварда Эванса.

Прокурор:

— Что вы испытывали, когда ударили юношу топором? Каковы были ваши чувства в этот момент?

Бреди:

— У меня их не было. Я ничего не чувствовал. Я просто ударил его.

Где же причина этой полной потери нормальных человеческих чувств и эмоций? Откуда это страшное и такое знакомое равнодушие? Я задала этот вопрос видному издателю. Он ответил:

— Оно в самом воздухе, которым мы дышим.

Я с ним согласна. Если читатель не во всем готов разделить эту точку зрения, мне хотелось бы ему напомнить, что мы сами заражаем атмосферу Лондона, этого «приплясывающего города», как назвал его журнал «Тайм», и атмосферу других крупных городов страны. И это серьезно угрожает здоровью нашего общества. В известном смысле Бреди и почти бесспорно Хиндли стали жертвами смертоносных осадков.

Трудно сказать, когда все это началось: возможно, плотина прорвалась лет десять назад.*

* Разительные цифры роста преступлений против личности следующие:

Преступления, раскрытые полицией и подлежащие судебному преследованию:

1945	4 743
1955	7 884
1965	25 549

Насильственные действия против личности:

1954	2 459
1955	4 958
1965	15 501

Рост преступлений против личности после 1955 г.:

1959—1960	1 883
1962—1963	2 135
1963—1964	3 387

Между 1938 и 1965 годом число преступлений такого рода выросло более чем в 9 раз, то есть с 2 721 в 1938 году до 25 549 — в 1965 году.

Издания, открыто продающиеся в наших привокзальных киосках,— это в большинстве своем литература, развращающая и растлевающая читателя, или сравнительно безобидное чтиво, умело оформленное под порнографию.

Что готовы мы сделать, чтобы воспитать в наших детях чувство — да, да, именно чувство, как ни странно звучит теперь это слово! — общественной ответственности? Мне больно думать, что моя страна может стать предметом насмешки и презрения для остальной части мира.

В настоящее время в области культуры и искусства мы скорее похожи на Веймарскую республику в пору ее упадка, чем на просвещенное и развивающееся общество.

Что же было после Веймара?

После был Гитлер.

В двух номерах «Санди телеграф» появились статьи. Одна принадлежала перу Джила Плейфэра, другая была результатом обследования, проведенного группой лиц, посетивших книжные лавки, специализирующиеся на продаже порнографической литературы в Лондоне и еще в трех крупных городах страны. * В обеих статьях ставился вопрос: насколько легко можно купить в книжных магазинах Англии книги, составившие «библиотеку» Бреди?

Обычная книжная лавка в Сохо, специализирующаяся на продаже порнографической литературы, ведет свои дела следующим образом: на витрине — широкий выбор наиболее распространенных порнографических изданий и журналов с обнаженными девицами. В глубине лавки — специальная комната для более «смелых» изданий. Но они — ничто в сравнении с тем, что может предложить вам хозяин в комнатушке, что прячется совсем в глубине, если вы внушите ему доверие и он допустит вас туда. Здесь вам разрешат покопаться на полках за плату примерно 5 шиллингов в час или же за вступительный взнос в 4 фунта.

Немалую тревогу вызывает театр. В целом английский театр переживает сейчас пору своего расцвета, и, мне кажется, мы законно можем им гордиться. Однако некоторые театры Лондона вновь и вновь обращаются к показу насилия и жестокости, что непостижимо моему уму, хотя находятся люди, склонные считать это чем-то вроде социальной терапии. Это подлинный катарсис, утверждают они: если мы таким образом дадим выход нашей агрессивности, мы освободимся от желания делать зло, станем чище и лучше.

Таким образом, за последние несколько лет зритель смог увидеть на сцене, как истязают священника, закалывают вилами и обезглавливают батрака, забивают до смерти дряхлого старца, а совсем уже недавно — как банда хулиганов мучает и убивает грудного младенца в коляске.**

Не все разделяют мое мнение об этой последней пьесе. Например, г-н Уильям Гэскилл, директор Королевского театра и, следовательно, лицо, причастное к постановке этой пьесы, в интервью журналу «Спектейтор» высказался следующим образом:

— Доводилось ли вам когда-либо видеть на сцене театра, как насмерть забивают камнями младенца? Или как омерзительная старуха возбуждает страсть в юноше? Возможность воплотить все это средствами театра представляется мне подлинным триумфом.

Мне хочется спросить у г-на Гэскилла: почему он считает это триумфом? Неужели возможность показать сегодня на сцене то, что вчера считалось недопустимым и недозволенным, следует считать триумфом искусства? Если он не это хотел сказать, то что же тогда?

Свой вопрос я хотела бы подкрепить примером. Г-ну Гэскиллу, как и мне, очевидно, известны подробности казни Равальяка, убийцы Генриха IV. Если бы удалось воспроизвести ее во всех возможных подробностях на сцене театра, с помощью ли трюковых приемов, или символики, но так, чтобы это достигло желаемого эффекта, считал бы г-н Гэскилл это триумфом театрального искусства и почему? «Триумф» как самоцель — пустая вещь. Какую же цель в таком случае преследовал г-н Гэскилл?

Пойдем еще дальше. Предположим, он ознакомился бы с ужасными подробностями убийства маленькой Лесли Энн Доуни и решил воспроизвести их на сцене, считал бы он и это «триумфом»? Если нет, то почему?

Кстати сказать, «триумфы» г-на Гэскилла ничто по сравнению с тем, что уже давным-давно было. В римском театре зрителю показывали распятие на кресте.

Пьеса Эдварда Бонда «Спасенный», где убивают камнями младенца, вызвала бурю протеста в кругах театральных критиков, нашедших эту сцену недопустимо жестокой и отвратительной.

Я не собираюсь слишком легко и просто судить о пьесе Бонда. Я несколько раз самым внимательнейшим образом перечитывала ее, но я остаюсь при своем мнении, что эту сцену, несмотря на прекрасный язык, не следовало показывать зрителю. Она способна вызвать или отвращение, или нездоровый интерес. Она не может способствовать воспитанию общественного сознания.

---

* «Санди телеграф», 8 и 15 мая 1966 года.

** Лоуренс Китчен в работе «Театр 60-х годов» (издательство Фабер, 1966) смог более подробно, чем автор данной книги, осветить этот вопрос.

Я прекрасно понимаю символический подтекст этой сцены, которую тем не менее считаю недопустимой как с точки зрения общественной, так и с точки зрения простых человеческих чувств.

Было бы лишь справедливым дать г-ну Бонду возможность самому ответить своим недоброжелателям — хотя подлинные намерения писателя нередко не имеют ничего общего с конечным результатом его труда.

«Пьеса «Спасенный» полна почти безудержного оптимизма. Лэн, главный персонаж пьесы, по натуре добр, несмотря на воспитание и окружение, и таким он остается, даже когда по ходу пьесы эта доброта подвергается испытаниям. Но это не доброта безграничная, дающаяся без усилий, ибо такая доброта была бы лишена всякого смысла, по крайней мере для него самого. Борьба противоречивых чувств, добра и зла, в момент убийства ребенка и почти патологическое любопытство потом в немалой степени помогают ему осознать свои недостатки».

Лэн, заменивший младенцу отца, прячется за деревьями, пока совершается убийство; он слишком скован страхом, чтобы вмешаться. Мне нравятся здесь слова «борьба противоречивых чувств»!

А вот о самой сцене убийства:

«Убийство ребенка, в частности, показывает Эдипов комплекс, безудержную вспышку атавистической злобы. Сцена показывает, что происходит с людьми, когда они перестают сдерживать себя, и это характерно не только для данных конкретных героев в данных конкретных обстоятельствах. Им известно и худшее. Другие персонажи пьесы мучительно борются с собой, сдерживая эту злобу, это их губит».

Не пытается ли г-н Бонд утверждать, что, если бы остальные персонажи дали выход чувству жестокости и тоже занялись убийством младенцев, это могло бы спасти их?

Г-н Бонд продолжает:

«Собственно говоря, убийство младенца в Лондонском парке — это типичная для англичан манера преуменьшать зло. По сравнению со «стратегическими» бомбардировками немецких городов это пустячная жестокость, и последствия ее, если сравнить их с культурным и нравственным растлением наших детей, ничтожны».

Это узость мышления. Ничто не может превратить убийство ребенка в пустячный эпизод, даже Хиросима. Сто Хиросим не сделают пустяком убийство Лесли Энн Доуни и Джона Килбрайда.

Сэр Лоуренс Оливье поддержал драматурга:

«Спасенный» — это пьеса для взрослых, не для детей, и они должны найти в себе мужество посмотреть ее...»

Почему? Со всей серьезностью я спрашиваю, почему?

■

Я привела пьесу г-на Бонда как пример того, к чему может привести тотальная дозволенность, ибо эта пьеса заходит несколько дальше, чем другие, ей подобные.

Я не собираюсь утверждать, что в пьесах не может трактоваться вопрос о физическом насилии, что оно не должно и не может быть показано на сцене. Речь идет о полном нежелании морально осудить насилие, об отсутствии (вопреки благим намерениям автора) моральной его оценки, что может превратить произведение искусства в орудие растления.

Я не хочу сказать, что писатель, коснувшись какой-то проблемы, обязан тут же предложить нам ее решение. Напротив, я считаю, что это не его задача. Но из произведения должно явствовать, что он искренне ищет решения, что у него есть своя точка зрения, свое отношение. Толстой в «Войне и мире» не предлагал нам легких решений, но моральными критериями Толстого пронизан весь роман.

Если говорить о культе де Сада, столь модном в XIX веке, затем забытом, а ныне снова возрожденном, то у меня нет сомнения в том, что он всегда был и остается чрезвычайно опасным.

В середине тридцатых годов я знала одного молодого англичанина, занимавшегося исследовательской работой и в связи с этим часто выезжавшего в Германию. Ему случилось побывать в Нюрнберге в период, когда нацисты начали открыто на улицах глумиться над евреями. Вот что он мне рассказывал:

«Когда я увидел это в первый раз, я был потрясен и испытал такое отвращение, что, свернув в ближайший переулок, бросился бежать без оглядки.

Во второй раз я все же счел необходимым понять, что же происходит, и остановился. Сцена внушила мне прежний ужас и отвращение. Те же чувства я испытал и в третий раз.

В четвертый раз я довольно долго стоял в этой беснующейся, глумящейся толпе. Все по-прежнему казалось ужасным, но не столь ужасным, как в первый раз; мне казалось, будто я в зрительном зале, а все остальное происходит на сцене. Я убеждал себя, что это просто свидетельствует о том, что я стал более объективен, способен трезво оценивать происходящее, чтобы затем, вернувшись в Англию, предупредить об этой опасности других.

И потом я вдруг понял, что мне самому грозит опасность привыкнуть, считать, что это — в порядке вещей,— нечто, составляющее обычные житейские будни. И то-

гда я бежал без оглядки во второй раз. Я упаковал свои чемоданы и вернулся в Англию».

Это был честный юноша, способный анализировать свои чувства, сразу уловивший опасные признаки того равнодушия, которое, словно яд, отравляло целую нацию, и, поскольку он был способен к самоанализу, не побоялся заглянуть в те тайники своей души, в которые лишь немногие из нас решаются заглядывать,— он смог бежать во второй раз. У многих из нас может не оказаться этой второй возможности. Мне жаль, что я забыла его имя, ибо я никогда не забуду того, что он мне рассказал.

Моя интуиция меня не обманула, когда, глядя на Миру Хиндли, я представила ее себе в роли надзирательницы концлагеря. Как потом выяснилось, это было ее заветной мечтой. Ее идеалом была Ирма Грезе, повешенная за зверства в Бельзене. Хиндли хранила ее фотографию в своей спальне.

■

Не следует ли к вопросу о цензуре и ее значении подходить весьма осторожно и деликатно?

Возможно, однако я не собираюсь этого делать.

В Англии нет цензуры на книжную продукцию. Вопрос о нежелательности издания той или иной книги может решаться полицией, или общественностью, или же прокурором, могущим по своему усмотрению привлечь виновных к ответственности или оставить их безнаказанными.

Цензуру над пьесами осуществляет канцелярия лорда Чемберлена. Кинофильмы апробируются цензорским советом.

Поскольку кино в противовес театру является искусством массовым, я считаю, здесь должен осуществляться какой-то контроль.

Однако формы, в которых в настоящее время осуществляется цензура над кинофильмами, представляются совершенно уродливыми.

Например, следовало бы принимать более строгие меры, ограничивающие показ так называемых «фильмов ужасов», невероятно вульгарных и возбуждающих низменные инстинкты, способствующие одичанию молодежи. Мне приходилось слышать заявления, будто эти фильмы безобидны, ибо они всего лишь «вызывают смех» у зрителя. Именно потому они так опасны. Было бы лучше, если бы они вызывали отвращение. Этот культ ужасов отвратителен сам по себе уже потому, что подобные фильмы рассчитаны главным образом на молодежь и на людей неискушенных и простодушных, способных во все поверить.

На радио и телевидении осуществляется самоцензура. Здесь нам не мешало бы напомнить самим себе, что «цензура» перестает казаться таким уж одиозным словом, когда цензорами становимся мы сами. Есть вещи, которые мы запрещаем и будем запрещать во имя блага наших детей, если только общая атмосфера не заставит нас окончательно потерять рассудок. Каждый взрослый человек ежедневно и ежечасно осуществляет своего рода цензуру над своими действиями и поступками и над действиями и поступками тех, за кого он ответствен.

Многие лондонские издатели серьезно обеспокоены странным поведением г-на Мориса Жиродиа, который, если я не ошибаюсь, охотно позволяет называть себя издателем порнографической литературы. Этим он едва ли оказывает честь профессии книгоиздателя.

Кинопродюсер и книгоиздатель несут огромную ответственность за моральное здоровье общества, в котором они живут.

Неизбежно возникает вопрос: в какой степени пороки нашего общества повинны в том, что Бреди и Хиндли стали преступниками?

В данном случае все больше приходишь к убеждению, что здесь воздействие оказала литература, которую они читали.

Я считаю, что мутные волны садистской и порнографической литературы, захлестывающие западный мир и превращающие его в отвратительное (и, кстати сказать, нелепое) зрелище, способствовали «безумию» этих двоих, как способствуют безумию всего нашего общества. Пусть меня поправят, если я не права, но было бы преступным и антиобщественным отказываться обсуждать этот вопрос.

«Болотный процесс», гораздо более отвратительный и ужасный в своих подробностях, чем многие способны это себе представить, мне кажется не каким-то случайным эпизодом, а лопнувшим гнойником на теле нашего общества. Жестокость общества повинна в убийстве восьми медицинских сестер в Чикаго, в расстреле американским снайпером прохожих с башни небоскреба в Остине, Техас. Тот факт, что подобные действия часто совершаются людьми психически неуравновешенными, отнюдь не означает, что общество не виновато в этом.

После вынесения приговора в Честере воскресные газеты попытались начать дискуссию по вопросу о том, в какой степени следует считать эту возросшую вседозволенность в нашем обществе причиной гибели Эдварда Эванса и двоих детей. Однако лишь незначительное число читателей приняло в ней участие, и она, насколько мне известно, не смогла послужить началом кампании за ограничение свободного распространения садистской и порнографической литературы.

Недавно мне довелось выступить с докладом в литературном обществе одного из новых университетов. Тема моей лекции была довольно широкой — «Искусство романа», и о многом я говорила, основываясь на личном опыте писателя. Однако я подняла также ряд общих вопросов. Помогает или мешает творчеству профессионального писателя «тотальная дозволенность»? В США я была свидетелем того, как маститый писатель консервативных взглядов, книги которого в течение многих лет не пользовались читательским спросом, вдруг добился успеха, совершенно произвольно и в изрядной степени напичкав свою книгу сексом. Это противоречило всему его духу. Он был похож на респектабельного джентльмена, в угоду моде вдруг отрастившего длинные патлы, как у популярного джазового певца.

Дала ли нам эта вседозволенность лучшую литературу? Если дала, то где она, эта литература?

Затем я продолжила эту мысль дальше. Не может ли вседозволенность привести к моральному растлению значительных слоев общества? Однако я ограничилась лишь постановкой вопроса.

После лекции последовали вопросы. Их было много: почти все они касались того, как я пишу свои книги, где беру сюжеты, что главное — герои, идея, фабула и т. д. И ни одного вопроса о затронутой мною моральной проблеме творчества писателя, хотя, когда я коснулась ее, в зале было заметно оживление и слушатели перешептывались.

После лекции в баре все было по-другому. Несколько студентов, подсевших к моему столику, стали задавать вопросы, и все они, почти без исключения, относились к моральной стороне творчества писателя. Вопросы ставились откровенные, животрепещущие, важные. Но почему они задавали их только сейчас? Неужели эти умные и образованные студенты-выпускники испытывали какое-то давление? Почему не отважились поспорить со мной, согласиться или возразить или же просто обсудить эти вопросы публично? Неужели их смутила реакция одного-двух слушателей, высказывавших свое несогласие со мной во время доклада с помощью красноречивых жестов и мимики? Я не верю этому. Но тогда что же это, что должна я думать, столкнувшись с подобной разницей в поведении этих молодых людей на публичной лекции и здесь, в узком кругу? Если нашей молодежи не хватает смелости и мужества, тогда на что можем надеяться мы, старшее поколение?

Нашим ответственным лицам, сколь бы безответственными они ни являлись, должно быть известно, в чем причина того, что нас поистине захлестывает этот поток садистской и откровенно порнографической литературы. Она издается отнюдь не добренькими альтруистами, считающими, что этим они помогают обществу стать лучше и образованней. Такие, может быть, и существуют, но я ранее уже обращала внимание на другие, гораздо более могучие факторы, действующие в нашем мире, проникнутом духом коммерции и наживы. Издатели публикуют эту литературу ради денег. В основе всего лежит просто-напросто прибыль.

■

Когда я обратилась к моему другу, человеку умному и проницательному, с вопросом: «Неужели теперь, когда все мы воочию убедились, что чтение грязных книжонок побудило молодого человека и молодую женщину воплотить вычитанные ими бредовые фантазии извращенного ума в действительность и убить юношу и двоих детей, наше общество не опомнится и не задумается над тем, что пора наконец остановить этот психоз тотальной вседозволенности, культа жестокости и насилия?» — он довольно мрачно ответил мне:

— Увы, оно не сделает этого. Общество сделает вид, что ничего не произошло, а затем постарается забыть об этом, и как можно скорее.

Первая такая попытка была предпринята газетой «Дейли мейл» в номере от 13 мая.

Я уже высказывала свое возмущение тем, что бандиты, совершившие ограбление поезда и так зверски избившие охранника, что он навсегда остался инвалидом, причислены обывателем к лику мучеников. Однако утверждать, что это преступление нанесло обществу больший ущерб, чем убийства, совершенные Бреди и Хиндли,— с моей точки зрения, значит ставить права собственности неизмеримо выше прав человека.

Однако газета «Дейли мейл» писала:

«Самой отталкивающей чертой является столь присущее Англии лицемерное отношение к убийству, когда закон утверждает, что невменяемого нельзя судить за убийство, и в то же время требует наказать его, и чем больше степень невменяемости, тем выше должна быть мера наказания... Неужели кто-либо попытается оспаривать... если слово «невменяемые» имеет вообще какой-либо смысл, что Мира Хиндли и Бреди являются таковыми?»

Да, я оспариваю это, как и все те, кто был на процессе в Честере и с кем мне довелось беседовать. Никто из присутствующих не считал подсудимых сумасшедшими в полном смысле этого слова. Они не более «безумны», чем эсэсовские тюремщики в Освенциме, а их была там не одна сотня. Когда мы сталкиваемся со случаями садизма, приводящими к массовым убийствам, мы должны забыть привычное

значение слова «безумие» и еще раз подумать над тем, какой все же смысл мы в него вкладываем.

Естественным желанием каждого, кто читал о «Болотном процессе» или присутствовал на нем, было как можно скорее забыть о нем. Он унизил и осквернил нас. И вместе с тем мы так же не имеем права забывать о нем, как не имеем права забывать о Бельзене и Освенциме, если, конечно, мы не попытаемся убедить себя в том, что процесс в Честере — нетипичный, изолированный случай, причины которого не следует искать в нашем обществе.

В личном письме ко мне д-р Джордж Стайнер * писал:

«Я надеюсь, вы подтвердите, что этот процесс не явился неожиданностью для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы чувствовать».

Да, он не явился неожиданностью для тех, кто видел то, что происходит в нашем «Обществе изобилия».

Перл Байндер писала мне: «Этот процесс — как задача, решенная счетно-вычислительной машиной... Вы закладываете данные и получаете нужное вам преступление. Непременные атрибуты процветающего общества (машина, транзистор, магнитофон, вино, фотоаппарат) сделали все еще более ужасным. Порнографические книги сыграли здесь не последнюю роль».

Чем больше я размышляю над этим, тем больше убеждаюсь, что это так. Поистине чудовищным и вредным было бы заранее прийти к заключению, что это не так.

Свою роль также сыграло и общество, одержимое манией сенсаций.

Да, было бы чистейшим самообманом утверждать, будто наше больное общество не виновно в том, что было вскрыто в поселке Хэттерсли в графстве Чешир.

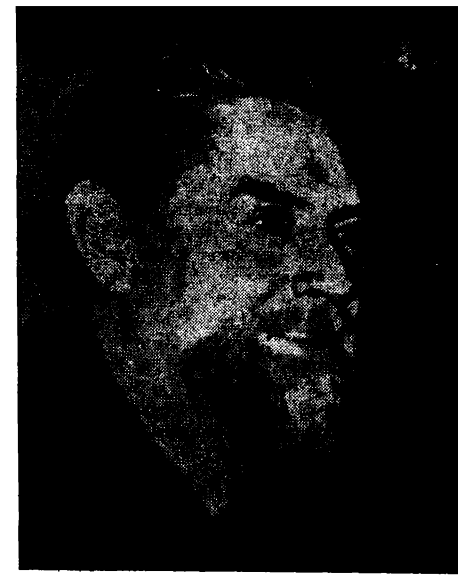
Я не предлагаю простых решений, собственно, я не предлагаю их совсем. Я лишь призываю так откровенно и честно, как могу, вновь серьезно задуматься над тем, что же произошло. Ибо стоит нам один раз смалодушничать и не сделать этого, и мы можем погибнуть.

Перевод с английского Т. ШИНКАРЬ

---

* Американский литературовед.

НАШИ ГОСТИ



ВСТРЕЧА С «ЧИЛИЙСКИМ ДЖЕКОМ ЛОНДОНОМ»

На крайнем юге Чили деревья растут, низко склонившись в одну сторону, прижимаясь к земле, и не в силах они разогнуться, не могут сопротивляться свирепым ветрам, постоянно и беспощадно дующим с океана, самого бурного из океанов,— но люди здесь выдерживают порой не только шквальные удары сурового климата. И об этом никто не рассказал лучше, чем Франсиско Колоане.

Почти все произведения этого выдающегося писателя, которого уже давно прозвали «чилийским Джеком Лондоном», посвящены людям труда, работающим на Огненной Земле, промышляющим в районе Магелланова пролива, вступающим в схватку со стихией у мыса Горн. Литературной премией был отмечен еще первый рассказ Колоане, появившийся почти три десятка лет назад, а ныне его автор — лауреат Национальной премии по литературе, председатель Союза писателей Чили.

И вдруг неожиданное признание:

— От литературы я бегу...— сказал пятидесятисемилетний прозаик, беседуя с нами в редакции «Иностранной литературы».— Это звучит, быть может, неожиданно, но я стараюсь избегать разговоров на «чисто» литературные темы. Видите ли, литературную деятельность я не представляю себе как нечто самодовлеющее, автономное, изолированное, оторванное от жизни... Вероятно, сказывается и то, что я не могу похвалиться огромными познаниями в области теории литературы. Мне довелось больше всего учиться не по книгам — у самой жизни...

Сама жизнь Франсиско Колоане могла бы служить темой несомненно интересного повествования.

Первым домашним очагом, первыми игрушками и первыми школьными учебниками у сына капитана каботажного плавания и китобоя были шхуны, шлюпы, баркасы. Будущий писатель был юнгой, батраком в помещичьей усадьбе, моряком, овцеводом-пастухом, китобоем, механиком, наборщиком, судовым писарем, счетоводом в нефтяной компании, шофером, охотником за тюленями...— И даже был капиталистом,— смеясь, добавляет Франсиско,— имел лавчонку со всяческой мелочью, нужной рыбаку и лесорубу.— И с той же озорной улыбкой он говорит:— Как видите, можно заключить, что жизнь я провел в антилитературных условиях.

«Антилитературные» условия жизни обогатили писателя: об очень многом он уже порассказал в своих произведениях — его книги «Мыс Горн», «Огненная Земля», «Дорогой китов» и другие завоевали признание читателей и критики далеко за пределами родины автора, о многом он еще собирается поведать.

— В своих рассказах, повестях и романах я пытаюсь поделиться с читателем тем, что видел сам,— говорит Колоане.— А мне пришлось — по работе, не как туристу — объезжать наше тихоокеанское побережье, южноатлантические берега, я и родился на берегу, на острове Чилоэ; если посмотрите на карту моей страны, то представите, что повидать довелось не мало. А со сколькими людьми я работал! И у каждого человека своя история! У того, с кем работал, я перенимал не только ремесло, но и язык — очевидно, поэтому не умею писать красиво. Просто записываю. Выдумывать сюжеты почти не приходится. В жизни столько ин-

тересного и столько готовых или почти готовых сюжетов. Приглядеться только надо. У меня нет каких-то определенных, заранее разработанных планов. Пишу.

Не склонный беседовать на «чисто» литературные темы, Франсиско Колоане, однако, сам повел разговор о проблемах литературы:

— Нам, прогрессивным писателям, зачастую бросают «обвинение», что мы создаем «завербованную» литературу. Мы не оправдываемся — и нет смысла оправдываться. Вся реалистическая литература была и остается «завербованной». Очень тесно она связана как с проблемами той или иной определенной эпохи, так и с проблемами человека. Оглянемся на прошлое: и «Божественная комедия», и «Дон-Кихот» были и поныне остаются гениальными образцами «завербованной» литературы. А вспомним Шекспира... И разве, скажем, религиозную литературу можно считать не «завербованной»? Мне представляется логичным и знаменательным, что плохую литературу делают те, кто тщится избежать «завербованности»,— избежать обязательств перед временем и своим народом. Опусы литераторов такого рода иной раз вызывают какой-то шум, а потом... потом их никто не вспоминает. Народ ценит произведения, отвечающие его интересам, произведения, в которых поднимаются — талантливо, страстно, ярко — социальные проблемы, проблемы, живо задевающие человека...

Отметив укрепление реалистических тенденций в современной чилийской литературе, Франсиско Колоане очень тепло рассказывает, в частности, о своих друзьях — поэтах Энрике Лине, Эфраиме Баркеро, Хувенсио Валье и, разумеется, о Пабло Неруде:

— Почему популярно у нас, в Чили, творчество Баркеро? Истоки его творчества — в народной поэзии, и пишет он о людях труда, и глубоко народны его поэтические образы. Это — не заимствование, это — вполне самостоятельное творчество, только неразрывно связанное с жизнью народа, отвечающее его чаяниям. Баркеро нельзя обвинить в упрощенчестве. Он — умный, остро мыслящий, наблюдательный поэт. Несколько лет назад мы вместе работали в Пекине, в латиноамериканской редакции китайского Издательства иностранной литературы. По своим личным впечатлениям он написал поэму «Прощание с Китаем», в которой дал ясно понять читателю: что-то неладное творится в Китае. Поэта тревожили судьбы китайского народа — надо иметь в виду, что это было до так называемой «культурной революции», в ходе которой пекинский режим разоблачил себя...

Очень своеобразна поэзия Энрике Лина, молодого и талантливого поэта, своими произведениями заставившего заговорить о себе как о серьезном и глубоком художнике, ищущем новые пути в искусстве. Следует сказать, что в жизни Энрике Лин уже нашел новый путь — путь борца: теперь он находится в рядах коммунистической партии!

Меня искренне порадовало,— продолжает Колоане,— присуждение Национальной премии по литературе шестидесятилетнему поэту Хувенсио Валье — это заслуженная награда, в высшей степени заслуженная. Удивительно чисты и ясны стихи Хувенсио. После Пабло Неруды он — несомненно наиболее видный поэт Чили. Правда, так, пожалуй, нельзя сказать: «после» того или «до» другого. Хувенсио и Пабло — поэты, не похожие друг на друга, каждый из них по-своему воспевает мир и человека. Поэзия Хувенсио — проста, понятна любому, даже не очень-то искушенному читателю или слушателю. Голос его негромкий, редко услышишь его, скажем, на писательских собраниях — Пабло в шутку прозвал его «Хувенсио Силенсио» (по-испански — тишина, молчание). Но поэтические строфы его идут прямо к сердцу. Он многое пережил. Боролся против фашизма в Испании — испанские фашисты бросили его в тюрьму. Личная дружба связывала его с Мигелем Эрнандесом. Я вступил в компартию уже после того, как Хувенсио стал коммунистом. Он — обаятельный, невероятно скромный человек, обаятельна его лирика, жизненна, человечна тематика его стихов.

По-прежнему полон бурлящей творческой энергии Пабло Неруда — талант его поистине неиссякаем. Кажется, нет такой проблемы нашей эпохи, нет такой проблемы человека нашего времени, которая в той или иной степени не была бы отражена в поэзии Пабло. Монументальнейшим произведением нашей латиноамериканской поэзии и поныне является его «Всеобщая песнь», пока не имеющая себе равных.

Наше время требует нового, предъявляет к нам, поэтам и прозаикам, все более высокие требования... Для передовых людей планеты слова «социализм» и «жизнь» становятся синонимами. И перед людьми, создающими литературу, возникают новые и сложные задачи. Между тем все заметнее известное отставание, если можно так определить, литературы от прогресса науки и техники. Много лет назад поразила меня — и глубоко запала в памяти — любопытная мысль Льва Толстого: описывая деревню, опишешь мир. Однако нынче не так легко описать и деревню и ее жителей, а куда труднее говорить о всей нашей земле, о всем человечестве. Во времена Толстого, вероятно, многое было проще, но ведь даже ближайшее будущее окажется несравненно более сложным. И вместе с тем мысль Толстого поныне правомочна, сколь бы ни была обширна «деревня», сколь бы ни усложнилась среда, в которой живет и работает писатель.

Писатель не может не избрать ту или иную идеологическую позицию. Победа, настоящий творческий успех, ждут его только тогда, когда он идет вместе с народом... Много поучительного нам дала в этом смысле советская литература. Я не ошибусь, если скажу, что в лучших образцах советская литература достигла чуть ли не космических высот!

Колоане говорит, что на него особое впе-

чатление произвела «Судьба человека» Михаила Шолохова. Кстати, в связи с присуждением Шолохову Нобелевской премии чилийский писатель прочел доклад об этом произведении в Национальном университете в Сантьяго. «Послание к человечеству, с которым Михаил Шолохов обратился в этом произведении,— говорил Колоане,— выходит за рамки литературного жанра. Это послание призывает бороться против уничтожения человека человеком. И, конечно, нет такого человеческого существа, которое не ощутило бы чувства солидарности с судьбой Андрея Соколова: узнав судьбу этого человека, мы задумываемся о нашей собственной судьбе, о том, что́ мы, как люди, сделали, что́ нам еще предстоит сделать... Автор сумел передать исторический масштаб человеческой катастрофы. Это не судьба какого-то исключительного героя — это, как и гласит само название, судьба человека». По суждению Колоане, «рассказ Михаила Шолохова обладает тремя характерными особенностями: обобщение, простота и своеобразие. Простыми словами простой человек поведал нам свою жизнь. И в этой жизни заключено обобщение: от дней социалистической революции до окончания последней войны — между двумя историческими событиями — развертывается судьба одного человека, в ней как бы синтезируется история первой половины нашего века. Своеобразие — в реалиях жизни народа, в течение этого исторического периода давшего человечеству пример строительства высшего общества — социалистического — и спасшего его от угрозы фашизма».

Колоане подчеркивает:

— Мы сегодня еще не можем представить себе, насколько велико влияние идей Октябрьской революции на народы Латинской Америки, а между тем оно ощутимо и в книгах латиноамериканских писателей. Так или иначе, уже нельзя не считаться с непреложными фактами — новое наступает...

Примечательно, как это отметил однажды Пабло Неруда, что в последнее время лауреатами самой крупной премии в Чили, Национальной премии, стали два коммуниста — прозаик Франсиско Колоане и поэт Хувенсио Валье.

«Вступление в коммунистическую партию,— заявлял Колоане на страницах чилийского журнала «Вистасо»,— явилось важнейшим шагом в моей жизни, придало ей новый смысл... Борьба за дело народное столь же неотделима от моей жизни, как и страсть писать...»

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ВЫСОКАЯ ЭСТРАДА РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ

Рафаэль Альберти. Сценические стихи. Перевод и предисловие О. Савича. Редактор Ф. Оганезова. Москва, «Прогресс», 1966. 72 стр.

Испанская республика отступила в боевом порядке, унося свои знамена и уводя своих поэтов.

С тех пор прошло четверть века. У кратковременного изгнания иной психологический климат, чем у долгой эмиграции.

Владислав Броневский, ушедший из занятой фашистами Польши на пять лет, все эти годы кипел гневом.

Рафаэль Альберти тоже прошел сквозь период буйного отчаяния. Сейчас, на двадцать седьмом году изгнания его боль закована в доспехи мудрости.

Альберти обрел надежду. Он поставил среди надежды и отчаяния письменный стол, на котором написаны едва ли не лучшие испанские стихи последних десятилетий.

В 1962 году в Аргентине вышла книжица со странным названием «Сценические стихи». Недавно она издана и у нас. Переводчик, Овадий Савич, указывает, что испанский заголовок можно было бы перевести и так: «Стихи для исполнения со сцены». Или даже так: «Стихи, которые можно исполнять со сцены».

Почти каждая большая поэтическая книга смыкается с другим искусством — то с музыкой, то с живописью, то с прозой, то с публицистикой. Книга Рафаэля Альберти (кстати говоря, замечательного публициста и профессионального живописца) смыкается с искусством театра. Она написана не для личной встречи с глазу на глаз с читателем, а для подмостков, для эстрады, для тысячной аудитории. Каждое из шестнадцати стихотворений имеет все признаки драмы или комедии, фарса, трагедии. Но в то же время оно ничего не теряет в поэзии. Так в переводе (прекрасной работе покойного О. Савича). Так и в подлиннике.

Рафаэль Альберти пишет об этих стихах: «Артист или артистка читают их просто, без тени декламации. Событие — или небольшой сюжет — возникает естественно, безотносительно к месту, без ремарок, без каких бы то ни было сценических указаний. В некоторых случаях эти стихи могут, конечно, исполняться двумя, тремя или большим числом артистов, а все стихи или часть их могут составить маленькую программу.

Театральная поэзия, опирающаяся на крепкие доски подмостков, набирает все бо́льшую силу. Ее нельзя отвергать с ходу. Эстрада бывает пошлая, а бывает и высокая. В Польше, к примеру, одно из главных литературных событий этого года — фестиваль театров поэзии. Удесятерение поэтической аудитории в нашей стране отчасти связано с выходом на эстраду нескольких поэтов, исполненных таланта и энергии. Впрочем, и прежде для театра пи-

сали Державин, Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Есенин, Цветаева.

О чем же книга Альберти?

Замечательное, до мозга костей испанское, стихотворение «Матадор». Это диалог матадора и быка. Матадора, блистательного, самоуверенного, первые реплики которого звучат так: «Я пришел убить тебя. Я обработаю тебя с блеском». И быка, обреченного на смерть и все-таки побеждающего.

Здесь есть впечатляющая картина корриды. Но мне кажется, здесь есть и другой образ: Испании, где рано или поздно быки побеждают матадоров. В книге несколько стихов о генерале, том самом, чьи люди убили Лорку и изгнали Альберти. Генерал тоже стал старше — на тридцать лет без малого. И вот он разговаривает с зеркалом — о многих вещах, но более всего о смысле генеральской жизни. За дело или не за дело генерал послал на смерть миллионы людей?

В другом стихотворении: «Вот явился генерал.— Что угодно генералу? — Шпагу хочет генерал.— Больше нет шпаг, генерал».

Оказывается, что для генерала больше нет ни полей, ни битвы, ни любовницы, ни большой бочки вина, ни хорошего куска мяса, ни даже глотка воды, что ему даже нельзя затеряться на земле.

И вот в разрушенном мире нет уже генерала,
и мир начинается снова, но уже без этого генерала.

Много лет мы прислушиваемся к диалогу поэта и генерала, поэта, пишущего стихи, и генерала, их запрещающего. Начали диалог два крепких человека. Сейчас его ведут два старика. Сейчас ясно, что последнее слово остается за поэтом.

Стихотворение «Нищий» такое короткое и такое хорошее, что я выписываю его целиком. Нищий поет:

Дамы и господа-а-а,
господа ради пода-айте
милостыню старику-у-у!

Господа бога ради милостыньку старику!
Ради господа бога милостыньку старику!
Подадут мне или нет ради господа бога?
Подадут мне или нет господа бога ради?
Подайте бедному старику
милостыньку бога ради!
Подайте бедному старику
милостыньку ради бога!
Неужто никто не подаст милостыню
ради господа бога бедному старику?
Неужто никто не подаст милостыньки
господа бога ради бедному старику?
Для бедного старика, который умирает от холода,
неужто не найдется подаяния?
Бедному старику, который умирает от холода,
неужто никто не кинет подаяния?
Господа бога ради подайте милостыньку!
Ради господа бога подайте!..
Господа бога ради!..
Ради господа!.. В бога, в душу, в мать!
Сколько же сукиных детей есть на свете!

В стихотворении «Статуя», открывающем книгу, «забытая всеми... одинокая лесная статуя», умирающая от одиночества, отрывает стопы от пьедестала и идет к людям. Это же произошло и с поэзией Рафаэля Альберти. Она преодолела забвение, преодолела запрещение, преодолела границы. Она — дошла. До стран испанского языка. До Испании и до всего мира.

В такой книге, как эта, естественны и надежда и отчаяние. Однако надежды в ней больше.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ПОВЕСТИ «ХУАБЭНЬ»

Проделки праздного дракона. Шестнадцать повестей из сборников XVII века. Перевод с китайского Д. Воскресенского. Предисловие Виктора Шкловского. Комментарии Д. Воскресенского. Литературная редакция перевода Ф. Протасова. Стихи в переводах Л. Черкасского под редакцией Ал. Ревича. Москва, «Художественная литература», 1966. 490 стр.

Из двухсот китайских старых повестей «хуабэнь» переводчик выбрал шестнадцать. Книга «Проделки праздного дракона»—увлекательное чтение. В ней ничего не выдумано. Так, по крайней мере, утверждает рассказчик («Вы можете не верить всему, что здесь рассказано, и тем не менее это истинная правда»). Самое невероятное — встречи с высшими духами или с низменными оборотнями — не приведет нас в смущение и не покажется неожиданным. Повесть «хуабэнь» — народное детище. Она рассказывалась там, где собирались люди, обрастала бытовыми и фантастическими подробностями и, благодаря писателям XVI—XVII веков Фэн Мэн-луну и Лин Мэн-чу, записанной и, конечно, обработанной, пришла к нам.

Повести разнообразны. И наивный и сложный мир открыт перед нами. В нем освещено не все. В нем чаще, чем крестьянин, попадается нам на глаза торговец, или чиновник, или юноша, видящий свое будущее в сдаче экзаменов и успешном продвижении по службе. А то и странствующий монах или буддийская монахиня, пытающаяся скрасить запретными радостями предписанное ей одиночество. И воры и разбойники, которые могут помочь бедняку, и ворующие и разбойничающие чиновники, которые всегда готовы обобрать бедняка. Все они здесь в самых разных внезапных обстоятельствах, в сложности и сплетенности приключений.

Повести нравоучительны. В них восхваляется нравственность, иногда кажущаяся нам несколько условной. Но в конце концов мы убеждаемся, что она не противоречит и нашим представлениям о долге, честности, верности.

В шестнадцати этих повестях сюжетов

намного больше: основному рассказу почти всегда предшествует нравоучительное сообщение, как бы объясняющее тему и сущность всего последующего. В любой повести цепь интереснейших, смешных и трагических событий, а они рассыпают перед нами вороха сведений.

Действительность и фантастика. Все фантастическое включается в реальный мир и не мешает, а скорее покорно ему. Действительность — это богатство и бедность, притеснения чиновников, страх перед ними, нежность любви и отчаяние потери. Действительность — это конфуцианский идеал получения ученой степени, должности, доходов, надежда на то, что потомки станут знатными вельможами. Действительность — это крушение надежд, всегда несбыточных для крестьян и ремесленников, собиравшихся вокруг рассказчиков повестей. Бедные, забитые люди пребывают в великом страхе. Трудно найти защиту от разбойников и от судей. Доносят на самых близких, только бы отвести подозрение от себя. Произвол беззакония рождает недоверчивость, воспитывает рабскую психологию. В «Повести о верной жене» попавший в неволю герой дважды предает верную жену, и рассказчик даже не осуждает его за это, но предоставляет возможность через много лет искупить вину и соединиться с любимой. А жена — пример того, как может быть человек высок в самых невыносимых, самых мучительных для духа и тела условиях.

Фантастическое — чаще всего в форме превращений. Вид превращенного существа неотъемлем от реальности. Ян Бао в «Мести лиса» спас раненную в крыло желтую иволгу. Однажды к Ян Бао пришел одетый в желтый халат юноша с тонкими бровями и узкими глазами. Он подарил Ян Бао яшмовые кольца и сказал, что три поколения потомков Ян Бао будут занимать высокие должности при дворе. Произнеся же эти слова, он превратился в иволгу и улетел. Предсказание его сбылось. А дальше следует рассказ о том, как лис мстил за похищенную у него старинную книгу. Он являлся в разных обличьях.

Оборотню не присуще пустое наслаждение злом. Получив свою книгу, лис перестает преследовать похитителя. Потусторонняя сила бывает возвышенная и низменная. Она тянется к человеку. Сила низменная может сделать несчастным того, кого она полюбила. Белая Змея одаривает мужа украденными ценностями. Ей чужды понятия человеческого мира, и она не способна осознать пагубные последствия своей щедрости. Сила возвышенная облагораживает человека и приносит ему благополучие. Богиня морских вод показывает любимому горы чужого золота, но не дает его, а помогает добыть свое.

Фантастическое в повести приобретает бытовой характер. Жизненность же повестей поразительна. В них сосредоточен здравый смысл народа и тоска его по справедливости, утоляемая действиями преследуемых властями разбойников. Но и здесь рассказчик старается быть верным реальности, и не всякий разбойник творит благо.

Наш читатель встретит в старых китайских повестях многие знакомые ему мотивы, и среди них, например, в «Проделках Праздного Дракона» вечную мысль о человеке, который живет не в свое время, опоздав или поспешив родиться. В предисловии Виктора Шкловского интересны ассоциации, вызываемые повестью «хуабэнь», и сопоставления ее с европейской литературой.

Труды переводчика Д. Воскресенского, а также литературного редактора Ф. Протасова удались. Проявлено внимание к нелегкому оригиналу, выдержан тон повествования безыскусного и доверительного. Китайская книга стала русской, не утеряв при этом присущего ей колорита. Мне кажется, что ей суждена долгая жизнь. Но долгая жизнь потребует переиздания, для которого придирки рецензента никогда не бесполезны.

В своем естественном стремлении к разговорному языку переводчик иной раз смешивает стили, и в одной и той же речи после «Как же это я запамятовал!» герой произносит: «Найду первоклассного игрока...» Неуместны ни «грезы», ни тем более «беспробудные грезы». Когда написано, что герой проигрался, нужно ли переводить «он проигрался в лоск»? Или называть «ошалелым от любви» человека, потерявшего от страстной любви покой?

В повести «хуабэнь» еще не может быть ярко выраженных речевых характеристик, а переводчик вкладывает в уста одного из героев: «...будешь миловаться со своим Фанем. Не исполнишь — порешу тебя». Не хотелось бы и таких обогащений, как произвольное удвоение глагола: «назвала и посоветовала», «разузнаю и выведаю», «хвастается и бахвалится». Легко обойтись и без выглядящих претенциозно «исполнились времена и сроки» или «отошел в иной мир» там, где рассказчик прост и прям. Подобные переводческие поступки не всегда ведь безобидны — должен ли почтительный сын

без обиняков говорить родителям: «А когда вы отойдете в иной мир...»? Обращаемся к китайскому тексту: «Если случится с благодетелями моими по истечении века...»! Я не сторонник и замены китайских пословиц русскими («Рыбак рыбака видит издалека»), а также адаптированных китайских сравнений применительно к воображаемому нашему удобству.

Вообще с законным желанием заинтересовать читателя следует обращаться осторожно и постоянно проверять себя, порой терпима и даже приветствуема большая вольность и непростительна вольность самая малая. В повести «Игрок в облавные шашки» Гоннэ хочет покинуть родительский дом. Переводчик пишет, что «родители оробели и отступились». Робость родителей перед сыном — чрезвычайное происшествие. Ее и не было. В другой повести: «Не прошло после этого и месяца, как вдруг назначают весенние экзамены». Для китайского рассказчика не «вдруг», а только потому, что пришло время экзаменов на степень «цзиньши», герой расстается с молодой женой.

Переводчик привносит непривычную для повести тональность, когда пишет: «Высоким происхождением он не блистал». И уже не удивляешься, прочитав в другой повести: «Вскоре он с сожалением узнал, что девушка — дочь хозяина лодки». Но почему же с сожалением, о котором рассказчик и не думает говорить? Происхождение девушки не препятствовало женитьбе на ней в китайском обществе того времени. Очень важно, чтобы перевод донес до нашего читателя все, даже малые, обстоятельства жизни народа. В Китае с древности принято при расставании с другом провожать его за десять ли от города. Эти десять ли отмечались беседкой. Мы читаем, что «Лю Фан шагал рядом с другом более десяти ли», и нам как будто не в чем упрекнуть переводчика, но ведь написано-то, что Лю Фан проводил друга за десять ли и только тогда расстался с ним. Разве не жаль утерянной этой малости, в которой и частица быта и привязанность к другу?

В книге, что вполне естественно, много китайских названий. Иногда для удобства нашего читателя их можно опускать, иногда переводить и чаще транскрибировать. Но во всем этом — соблюдать меру, не ставить рядом название переведенное и транскрибированное, запутывая читателя в таких смешениях, как: «Путь к Одинокой горе украсился еще двумя каменными мостами: Оборванным мостом и мостом Синицяо» или «Напомним, что в династию Тан главным украшением служил Цюйцзянский пруд, а в династию Сун — пруд Золотого Сияния».

О комментариях, необходимых в такой книге. Они кратки, достоверны. Однако хотелось бы больше хронологии, а не просто династийных имен. Не помешали бы и некоторые уточнения. Скажем, Сыма Сянжу игрой на цине пленил не девушку, а вдову (деталь для Китая по последствиям своим немаловажная); Янь Чжэнь-цин не только каллиграф, а прежде всего поэт, как, кстати, и Ван Си-чжи; Гэ Хун не просто «алхимик», а автор философского трактата «Баопу-цзы»; знак «по» входит не в фамилию поэта Су Дун-по, а в имя; надо бы указать в примечании к «абрикосовым кущам», что знаменитое стихотворение это принадлежит танскому поэту Ду Му. В комментарии почему-то запрятана содержательная статья Д. Воскресенского об истории и свойствах повести «хуабэнь». Ей бы надо называться послесловием.

Книга оформлена художником Ю. Красным. Забавные, живые рисунки свидетельствуют о его одаренности, но и о том, что он не отяготил себя знанием предмета. Его иллюстрации — конгломерат некоего «Востока», собранного отовсюду. Художник настолько невнимателен к тексту и непочтителен к читателю, что, например, в повести «Две монахини и блудодей» вместо буддийских монахинь изобразил дам в прическах. Неужели среди всех переводчиков и редакторов, обозначенных на обороте титула и на последней странице, не нашлось ни одного усомнившегося?

Свои замечания рецензент рассматривает как возможные вехи на пути к будущему совершенствованию этой сейчас уже достойной похвалы книги.

Л. ЭЙДЛИН

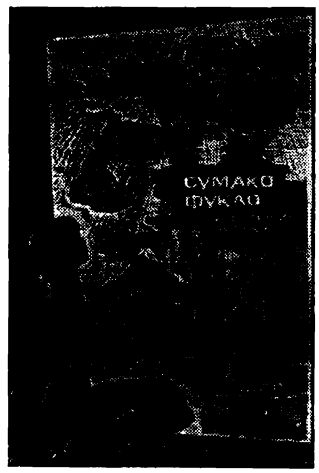
РУКОЙ, ЧТО ДРОЖИТ ОТ ЛЮБВИ

Сумако Фукао. Избранная лирика. Составитель Кисида Ясумаса. Переводы Евгения Винокурова. Редактор Ю. Левитанский. Предисловие П. Петрова. Москва, «Прогресс», 1966. 112 стр.

В этой книге есть строка, которая кажется мне принципиально важной. «Моя комнатка распространилась на целый мир»,— удивляется поэтесса.

Со словом «камерный», в буквальном переводе «комнатный», произошла любопытная метаморфоза. Камерная музыка — это законно, это жанр. Искомое определение тут не более чем музыковедческий термин. Камерная поэзия — это постыдно, узко, несовременно. Однако же «камерность» не помешала Сумако Фукао стать одной из крупнейших поэтесс мира и не воспрепятствовала тому, что стихами ее заинтересовался Евгений Винокуров, поэт и переводчик, которого трудно упрекнуть в узости и несовременности. Очевидно, камерность камерности рознь, и в комнатке японской поэтессы действительно собрался весь мир.

«Чай», «Дверь», «Круглый стол», «Очаг», «Иголка» — названия этих стихотворений говорят как будто о верности извечному женскому началу, но какая протестующая страстность скрывается за ними! Два образа настойчиво преследуют поэтессу: образ откры-



ваемых дверей и образ бьющего сквозь преграду света.

Я двери с петель сорву!
Надо открыть все двери,
все распахнуть до одной,
чтоб ни одна не осталась запертой,—
тогда и в эту комнату, мою комнату,
придет день,—

пишет она в стихотворении «Дверь».

Характерно нагнетание энергии: «открыть», «распахнуть», «чтоб ни одна не осталась запертой». Повторение идет не по кругу, а как бы поднимаясь еще на один виток сжатой спирали. Последний приказ — и спираль распрямляется, наступает интонационная пауза. Совпасть с «кардиограммой» подлинника — вот одна из труднейших задач переводчиков верлибра, или «гэндайси», как его называют в Японии.

В стихотворении «Светлый дом», перекликающемся с «Дверью», Сумако Фукао утверждает:

Это светлый дом,
это дом, где нет ни одной
темной комнаты.
. . . . . .
я здесь мир создаю,
никогда еще не создававшийся
никем из людей.

Творчество для нее всегда свет, «единственная лампа» в сумерках. О побудителе творчества, о вдохновении, она говорит с пушкинской точностью:

Нежность просачивается
из груди в мою руку,
из руки — в перо.
и... о, невыразимая гармония
на зашуршавшей бумаге!
Миг!
И рукой, что дрожит от любви,
это письмо на радужной бумаге
сейчас будет, наконец, запечатано.

(«Письмо»)

При чисто японском изяществе подробностей тут почти дословное совпадение с Пушкиным: «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут». Как сходно приходит вдохновение к разноязычным поэтам, разделенным столетием! Главное же, ради чего я процитировала стихотворение, заключено в одной фразе: «рукой, что дрожит от любви».

Мне кажется, в ней разгадка многого: и неиссякаемой свежести стихов семидесятитрехлетней поэтессы, и особой, вместительной ее камерности, и того нового, трибунного характера ее лирики, который вдруг проявился в последние годы.

«Любовь», «Скрытная любовь», «Слова любви», «Песня любви» — поэтесса не избегает этих банальных названий.

Любить жизнь можно по-разному. Можно брать ее нахрапом, умиляться мимоходом или с пристальным вниманием вверяться ей. Сумако Фукао любит ее последним, единственно художественным способом. То, что мы привыкли называть поэтической находкой, для нее просто дань любви.

Ей люб «бесценный пруд, где стирают пеленки и ополаскивают овощи». Ей дорог «круглый стол», за которым угощают «дешевыми лепешками» и «соленой репой». Не глазами даже, а чуткой рукой ощущает она силу снегопада: «как ни встряхивай зонт, ручка его тяжела».

Но самое великолепное в мире — это все-таки люди. Любовь поэтессы к людям не всегда уравновешена ответным чувством, но так велика, что возмещает недостаток взаимности.

— Тетенька! До свиданья!
— Доброго пути! Тетенька!
Так провожают меня соседские дети...

Я обернулась: они все стоят.
И это дает мне силы жить на свете.

Вокзал. Не знаешь, как быть с вещами.
Человек предложил помощь.
О поздний час!
О сердце человека
с моим чемоданом за плечами!
Я вовек не забуду вас!

(«Любовь»)

Только пройдя через чистилище одиночества, можно так дорожить человеческим словом, сердцем, участием. Впрочем, отношение поэтессы к людям далеко не идиллическое: она умеет быть строгой и насмешливой. Об особенности своей любви, не ослепляющей, а прозревающей, лучше всего сказала сама поэтесса: «Ведь все — и муки мои, и смех мой — все это материнское».

Я вижу естественную закономерность в том, что далекая от политики, но верная инстинкту матери Сумако Фукао уже в зрелые годы заговорила о человеческой жизни, «похожей на сражение», о бедных, голодных, протестующих. Не удивительно, что жажда гармонии заставила ее возненавидеть войну, разрушительницу всего прекрасного, и с политическим темпераментом написать об этом. Понятна и двойственность ее огромного чувства к родине:

Я люблю тебя,
и, положив руки на твои раны,
я горько кличу тебя,
милая, родная Япония.

(«Милая Япония»)

Надо иметь недюжинное мужество, чтобы на вершине славного поэтического пути пообещать: «Я больше не буду петь песни, которые уже устарели».

Но как ни меняется настрой ее лиры, как ни крепнет пронзительная струна гражданственности, какие прозаизмы и техницизмы ни вторгаются в ее чистый и элегантный язык, она остается верна своей поэтической природе:

Огурцы и баклажаны
я кладу на стол,
они в росе.

Баклажан говорит:
— Мы все фиолетовые.
Огурец говорит:
— А мы зеленые все!

И когда я в восторге
смотрю на них,
моя их в кастрюле с плеском, с хрустом,
они в один голос кричат:
—Мы — искусство!

Я смотрю
на яркие краски огурца и баклажана
и думаю:
«Человеку отчаиваться еще рано, рано...»

(«Овощи»)

Тут, как везде, свободный стих, насыщенный мыслью, красками, звуками. Я верю винокуровскому переводу, а это не о каждом переводе можно сказать.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

НА ЗАЩИТУ НОВОГО МИРА

«...Истинная революция началась... Впервые пролетариат захватил власть в государстве для того, чтобы использовать ее в своих классовых целях». Так писал Джон Рид в очерке «Триумф большевиков» из цикла «Красная Россия», который он отправил из Петрограда в «Либерейтор» вскоре после победы Октябрьского восстания.

...Первые известия о падении Керенского вызвали в Америке замешательство. Потом из Петрограда полетели телеграммы, содержавшие успокоительные прорицания: большевики продержатся неделю, две, от силы месяц. Но время опровергало эти прогнозы.

«Русская» тематика заняла прочное место на страницах американских газет.

Впрочем, сообщения об Октябрьском восстании, о большевиках, о Ленине вскоре стали восприниматься как нечто принципиально отличное от обычных политических сенсаций. Все явственней и отчетливей стала раскрываться грозная значимость событий в далекой России. Анализ американской публицистики и прессы тех лет — журналов, газет, книг, порой мало известных у нас, проливает дополнительный свет на картину острейшей идейной борьбы, которая развернулась в США вокруг Октябрьской революции в первые годы после ее победы.

1. О СЕЯТЕЛЯХ ЛЖИ

В те годы было ходовым выражение: блокада правды. Она осуществлялась наряду с блокадой военной и экономической. Аппарат монополистической прессы стремился перекрыть источники правдивой информации о России, оглушая американцев «большой ложью» о большевизме. Ее поставляли продажные газетчики. Белоэмигранты. Бывшие чиновники Временного правительства. Оказавшиеся не у дел дипломаты. Бежавшие за границу эсеры и меньшевики. Правые социалисты, именовавшие себя «марксистами».

Среднему «беббитообразному» американцу внушали чувство страха, который начинал срабатывать автоматически, почти рефлекторно при употреблении слов «большевики», «красные», «революция»: для него они были зловещими эмблемами таких энергично живописуемых понятий, как «хаос», «насилие», «кровопролитие». В обиход вошло понятие «красного страха».

В 1919 году Карл Сэндберг опубликовал в левом журнале «Либерейтор» стихотворение «Лжецы». С негодованием он писал о тех, кто «лгут нациям, лгут народам». Джон Дос Пассос, стоявший в ту пору на радикальных позициях, солидаризировался с Сэндбергом: «Прежде всего, надо бороться с ложью. Ложь задушила нас».

Между тем пресса монополий методично изобретала стандартные шаблоны «антибольшевистской мифологии».

Ложь № 1. «Большевики — агенты Германии». Наиболее «компетентным» специалистом по этому вопросу считался Эдгар Сиссон, херстовский журналист, подвизавшийся осенью 1917 года в Петрограде. Там он, помимо разведывательных функций (например, слежки за Джоном Ридом), занимался коллекционированием разного рода фальшивок, «документальных» и «свидетельских», доказывавших, что большевики действовали по прямой указке кайзеровского генштаба...

По возвращении на родину он опубликовал скандально известные «Документы Сиссона» (1918). «Документы» эти оказались столь одиозными и дурно пахнущими, что даже иные видавшие виды буржуазные газетчики поспешили от них отмежеваться. Зато госдепартамент охотно принял их на идеологическое вооружение, дабы с их помощью подкрепить американские акции в Мурманске и Владивостоке.

Сиссон поистине не знал устали в своей антисоветской активности. Хотя многие «пророки» были уже посрамлены историей, Сиссон даже в 1931 году в новом сочинении мемуарного жанра — «Сто красных дней» — продолжал кликушествовать о скором конце большевизма.

С Сиссоном солидаризировался Роберт Уилтон, специалист по «русским делам», не один год проведший в Петрограде, автор книги под весьма многозначительным заголовком «Агония России» (1919). Об уровне этой книги можно судить хотя бы по таким выражениям Уилтона: «германо-большевистский яд»; «мертвящая и разрушительная гегемония Петрограда»; «большевизм как враг цивилизации»... Перед лицом победившей революции Уилтон был даже готов с щемящей тоской поминать «доброе старое время царя».

Ложь № 2. «Революция в Петрограде — переворот кучки большевистских узурпаторов». Эта сплетня имела больше приверженцев, чем совсем уж подозрительная версия о революции, осуществленной на «немецкие деньги». Об этом писали и убежденные недруги советской системы и буржуазные журналисты, не сумевшие разобраться в происходившем.

К первым относились, например, бывший американский посол в Петрограде, ярый консерватор и убежденный противник большевизма Д. Р. Фрэнсис, написавший мемуары «Россия из окна американского посольства» (1921), и правый социалист Артур Буллард, автор книги «Русская революция» (1919). В Петрограде Буллард считался «своим человеком» в эсеро-меньшевистских редакциях и салонах, жизнь народа оставалась для него «землей неведомой». В книге он изображал большевиков в виде «ловких агитаторов», которые, будучи в меньшинстве, тем не менее удачно воспользовались слабостью Временного правительства и нерасторопностью союзников и «узурпировали» власть.

Это Булларда и ему подобных имел в виду Альберт Рис Вильямс: «Писать о революции и ничего не сказать о народе — это, как говорят англичане, все равно, что поставить на сцене шекспировского «Гамлета» без самого принца датского».

Правда, было и немало таких журналистов, которые, оказавшись в России, стремились непредвзято разобраться в увиденном, но они, как правило, подходили к оценке социалистической революции в России с меркой привычных буржуазно-демократических представлений. В их числе был, например, английский публицист Роберт Эдвард Крозьер Лонг, приехавший в Петроград в 1917 году в качестве корреспондента Ассошиэйтед Пресс оф Америка. Он впервые побывал в России еще в 90-е годы, писал о голоде в восточных губерниях, хорошо изучил русский язык, не раз встречался с Л. Н. Толстым и состоял с ним в переписке; его перу принадлежали первые переводы Чехова на английский язык (1903).

Очевидец бурных событий семнадцатого года, Лонг рассказал о них в книге «Аспекты русской революции» (1919), не лишенной многих метких наблюдений и политических характеристик. С иронией писал Лонг о Николае II, бездарном монархе, и придворной камарилье. О Керенском, самовлюбленном позере, близоруком политике и мастере истерических речей. О яростном контрреволюционере Борисе Савинкове...

Однако в анализе событий Лонг исходил из малооригинальной, но оказавшейся столь типичной для многих буржуазных работ об Октябре схемы: «истинной революцией» объявлялось свержение царизма; в качестве самой привлекательной фигуры эпохи выставлялся князь Львов, первый премьер Временного правительства, не успевший или не сумевший провести в жизнь задуманные им «благодетельные реформы». Оказавшись «неподготовленной» к «демократической системе», Россия вступила в полосу «анархии» и «распада». В этих условиях власть захватила «крайняя секта» большевиков. Октябрьское восстание стало, таким образом, лишь одним из звеньев в процессе «развала» государства...

Ложь № 3. «Диктатура пролетариата — враждебна демократии и социализму». Эта область дезинформации была прочно монополизирована правыми американскими социалистами. Особой активностью отличался на этой ниве Джон Спарго, которого В. И. Ленин называл «социал-шовинистом американским», написавшим «целую кучу книг против большевизма». С завидной скоростью Джон Спарго «сработал» два пухлых наукообразных тома: «Большевизм как враг политической и экономической демократии» (1918) и «Величайшая неудача в истории человечества» (1919). Спарго собирался посрамить большевиков с помощью их же собственного оружия: обильно цитировал декреты советской власти, речи В. И. Ленина, выдержки из газет, сопровождая все это тенденциозными антисоветскими комментариями. Смысл такой «работы» Спарго вскрыл Джон Рид, ответивший ему в «Либерейторе» в рецензии «Большевизм, каким он не является». Продемонстрировав знание конкретных фактов и документов, Рид показал, что «документы» Спарго представляют весьма изощренную фальсификацию — передержки, ложно истолкованные данные, вырванные из контекста цитаты.

Видимо, это не отрезвило Спарго, во всяком случае, в том же 1919 году он разразился третьим антисоветским сочинением «Психология большевизма». В нем содержалась все та же стандартная брань из арсенала антибольшевизма.

В качестве сподвижника Спарго выступил Уильям Уоллинг, автор книги под «неологическим» названием «Советизм»; основы русского большевизма» (1919). Фальсифицируя факты и документы, Уоллинг пытался доказать, что «секта большевиков, опираясь на насилие», подавила «социалистическую демократию Керенского» и «погубила революцию». Спустя два года У. Уол-

линт уже в соавторстве с правым профлидером Сэмюэлем Гомперсом опубликовал очередную антисоветскую книгу «Их словами» (1921), в которой расписывал ужасы «красного террора» и «тирании», предупреждая соотечественников об опасности любых контактов с новой Россией. Те же «идеи» развивал и экс-социалист С. Э. Рассел, автор книги «Большевизм в Соединенных Штатах» (1919), представлявшей собой безответственные упражнения в брани по адресу «совдепии», «самой черной и самой жестокой тирании, когда-либо позорившей человечество».

Впоследствии Линкольн Стеффенс в «Автобиографии» сравнил поведение трусливого социал-реформизма с реакцией пассажиров, которые ожидали дачного поезда, в то время как мимо них стремительно пронесся экспресс дальнего следования...

Для полноты картины можно было бы упомянуть о таких преподносимых обывателю перлах антисоветской лжи, как «национализация женщин», «деятельность бюро свободной любви», «разрушение собора Василия Блаженного» и даже план подготовленной большевиками новой «варфоломеевской ночи».

Президент Вудро Вильсон, славившийся изящной риторикой в бытность свою профессором истории в Принстонском университете, метал громы и молнии против американских последователей Ленина, называя их «апостолами ночи, хаоса и беспорядка». Сэмюэль Гомперс заклинал своих соотечественников остерегаться большевизма, означающего «поругание» всего того, что «является священным для американца». Претендующая на объективную информацию газета «Нью-Йорк таймс» между маем 1917 и январем 1920 года опубликовала около 60 абсолютно вымышленных сообщений о Ленине — его «бегстве из России», «отставке», «болезни» и т. д.

Как и водится, подобная массовая идеологическая кампания «большой лжи» сопровождалась наступлением на демократические права американцев.

В феврале 1919 года были инсценированы заседания комитета сенатора Овермэна, призванного «дискредитировать» идеи Октября. На нем допросу были подвергнуты Рид, Вильямс, Брайант, Робинс и др. Через месяц так называемый «Комитет Ласка», другого сенатора, начал серию провокационных расследований «подрывной деятельности большевиков в США». Осенью 1917 года за антивоенную агитацию был закрыт левый журнал «Мэссис», а его редакция, в том числе Джон Рид, дважды представала перед судом. Во время лекционных турне Рида не раз арестовывали, одних залогов он внес на сумму в 12 тысяч долларов, а в процессе подготовки к печати его книги «10 дней, которые потрясли мир» агенты реакции шесть раз пытались выкрасть книгу из типографии. Происходили массовые высылки «иностранцев», виновных в сочувствии Советам. В октябре 1919 года в социалистической нью-йоркской газете «Кол» жена Джона Рида, радикальная журналистка Луиза Брайант с возмущением писала о расправе полиции над демонстрацией, проходившей под лозунгами прекращения блокады России, как бесчеловечной и антиконституционной. Весной 1920 года Америку потрясли погромные налеты на прогрессивные организации, печально известные «палмеровские рейды». Происходила первая репетиция маккартизма.

2. СКВОЗЬ «БЛОКАДУ ПРАВДЫ»

Но история Америки этих лет еще раз подтверждает слова Линкольна о том, что нельзя долгое время обманывать целый народ.

20 апреля 1919 года в Детройте состоялся один из многочисленных в ту пору митингов в защиту Советской России. Председательствующий начал речь со слова «социализм», которое вызвало взрыв аплодисментов. Он произнес затем: «И большевики»,— после чего последовала новая овация. Митинг закончился пением революционных песен.

Эти настроения понятны. В России сбылось то, о чем мечтали многие американские радикалы. Еще в марте 1906 года «Индастриэл уоркер», орган Индустриальных Рабочих Мира, пророчески предсказывал: «Солнце первой социалистической республики озарит просторы славянской империи». Восемь лет спустя, когда уже гремели пушки мировой войны, другой ирмовский журнал, «Солидэрити», писал: «Рискуя шокировать наших читателей, мы делаем ставку на Россию как на надежду Европы».

«Блокада правды», искусно возводимая прессой монополий, давала трещины, рушилась. И в этом была немалая заслуга плеяды честных и мужественных американцев, публицистов и журналистов, очевидцев и свидетелей Октября. Им было нелегко. Их штрафовали, вызывали в разные комиссии. Им угрожали. А они выступали на митингах и собраниях, с церковных кафедр, они писали везде, где осмеливались печатать правду о России,— от самых левых изданий типа «Революшнери эйдж» до умеренно-радикальных типа «Нейшн» и «Нью рипаблик». Это были люди разных политических убеждений — социалисты и либералы, «беспартийные» и деятели религиозных организаций. Одни из них, подобно Риду, Вильямсу, Майнору, а в дальнейшем Стеффенсу, открыто встали на сторону Октября; другие, подобно Луизе Брайант, Бесси Битти, Реймонду Робинсу, Джерому Дэвису, Пакстону Гиббену, горячо сочувствовали России; третьи, подобно Эрнесту Пулу, Морису Хайндусу, Эдварду Россу занимали «нейтральную позицию».

И все-таки у этих разных людей было немало общего. Стремление объективно и точно излагать факты. Ненависть к злостной дезинформации. Активная оппозиция

антисоветской, интервенционистской политике.

19 марта 1919 года вышла из печати знаменитая книга Джона Рида. «10 дней, которые потрясли мир» — лучшее, но далеко не единственное правдивое свидетельство об Октябре, появившееся в США в те годы.

Уже в декабре 1917 года в Чикаго увидела свет первая брошюра, написанная в защиту Октября, «Красная заря. Большевики и ИРМ». Ее автором был Гаррисон Джордж, активный деятель Индустриальных Рабочих Мира, находившийся в ту пору в заключении. Информацию об Октябрьском восстании Гаррисон Джордж получил от своего друга по тюремной камере Лео Лаукки, тоже ирмовца, ранее участвовавшего в русском революционном движении. Рукопись Джорджа была передана на волю; он писал о насущной обязанности разъяснять трудящимся «русскую ситуацию» и о том, что вступление рабочих в ряды ИРМ могло бы явиться наиболее эффективной поддержкой большевизма. Автор горячо приветствовал «красную зарю», лучи которой проникли сквозь стальные решетки камер. В дальнейшем Гаррисон Джордж стал коммунистом и сотрудничал в левой прессе.

...Одним из первых весной 1918 года выпустил две книги о русской революции «Темный народ» и «Деревня» американский романист Эрнест Пул (1880—1950). Начав литературную деятельность в 900-е годы в рядах «разгребателей грязи», Пул в качестве корреспондента посетил Россию еще в период революции 1905 года, о чем написал книгу; затем вступил в социалистическую партию. Популярностью пользовался его роман «Гавань» (1915) о забастовке нью-йоркских докеров, бывший в числе бестселлеров и удостоенный Пулитцеровской премии. Приехав в Россию весной 1918 года, Пул не в пример большинству американских буржуазных корреспондентов, не знавших жизни русского народа, был не только в Петрограде и Москве, но плавал по Волге, шел в самую «глубинку», к «темному народу»: ночевал в бедных избах, сидел за одним столом с хлеборобами, слушал при лучине их рассказы о горькой доле.

В очерково-публицистической книге «Темный народ», построенной как серия живых зарисовок и сцен, Пул рисует выразительную панораму Петрограда весной—осенью 1917 года. Он ощущает, сколь широк размах революции, как непопулярна проводимая Керенским антинародная политика «войны до победного конца». И в этих условиях большевики осуществили реальные шаги в отношении тех «двух вещей, в которых больше всего были заинтересованы крестьяне — земли и мира». На фоне экономического хаоса и административной неразберихи лишь Советы, руководимые большевиками, оказались в России «реальной властью», своеобразными «русскими якобинскими клубами».

Оспаривая прогнозы о скором крахе большевиков, но не решаясь еще вынести окончательного приговора борющимся политическим партиям, Пул тем не менее выражал уверенность, что «Россия останется великим центром революционной бури... которая не только сможет искоренить германскую автократию, но и изменит в ближайшие несколько лет лицо Европы».

Во второй книге, «Деревня», построенной в виде колоритных зарисовок крестьянского быта и нравов, Пул показал, как русская деревня, веками забитая, начала пробуждаться к новой жизни.

И хотя в книгах Пула давали о себе знать и недостаток обобщений, и увлечение фактографией, обе они сыграли положительную роль; правда, их автор так и не понял до конца нашу революцию. Когда летом 1918 года после покушения на В. И. Ленина молодая республика была вынуждена принять решительные меры против внутренней контрреволюции (в частности, против левых эсеров, которым симпатизировал Пул), американский романист воспринял это как «ущемление политической свободы и демократии...»

Несравненно бо́льшей глубиной и верностью отличались вышедшие осенью 1918 года книги «Шесть месяцев в красной России» Луизы Брайант и «Красное сердце России» Бесси Битти.

Своему произведению Брайант, жена и соратник Рида, очевидец Октябрьского восстания в Петрограде, предпослала заголовок: «Заметки наблюдателя о России в канун и во время диктатуры пролетариата». Драматические сцены — взятие Зимнего, уличные бои в Питере, похороны жертв революции на Красной площади и т. д.— чередуются у нее с историко-публицистическими экскурсами из области политической жизни России и портретами деятелей революции; много внимания уделяет писательница участию женщин в революции.

Полемизируя с прессой монополий, писавшей о «подавлении демократии» большевиками, Луиза Брайант обосновала неизбежность краха таких «представительных» учреждений, как Совет Республики и Учредительное собрание. Логикой живых картин и сцен подтверждала она свой важнейший вывод: «массы стали покидать старые партии и переходить в ряды большевиков». Несомненной симпатией были отмечены созданные ею портреты руководителей Октябрьского восстания в Петрограде — Подвойского, Антонова-Овсеенко и Дыбенко; в книге выделялся очерк об Александре Коллонтай, первом народном комиссаре государственного призрения, с которой Брайант связывала дружба.

Другая писательница — Бесси Битти, также из «группы Рида», приехала в Петроград еще ранней весной 1917 года в качестве военного корреспондента «Сан-Франциско бюллетень»; она побывала на фронте под Молодечно и Двинской и совершила поездку по городам Поволжья. Ее книга «Красное сердце России» — своеобразный дневник, посвященный пережитому и увиденному в нашей стране, пронизана сочувствием к революции. Бесси Бит-

ти пишет о героизме красногвардейцев, идущих защищать Петроград, и о быстром упадке религиозных чувств в России. О гуманности революции и о том, как новая власть заботится о детях. О «глубоком чувстве братства, обращенном к людям всей земли», которое рождалось «среди смерти и разрушения».

«Мне довелось пережить великий час,— читаем мы в заключительном разделе книги.— Я знала, что он был великим...»

Осенью 1919 года появилась книга «Ленин. Человек и его дело» Альберта Риса Вильямса, соратника Рида, ставшего испытанным другом русской революции. Вернувшись из России, он вместе с Ридом отправился в лекционное турне по США. В феврале 1919 года газета «Нью-Йорк таймс» с нескрываемым раздражением писала: «По нашему мнению, величайшим достижением большевиков является отнюдь не Красная Армия... а Альберт Рис Вильямс, которому рукоплещут огромные аудитории». Выросшие из контактов со слушателями, две брошюры Вильямса — «Большевики и Советы. 76 вопросов и ответов», «Вопросы и ответы о России» имели большой успех; в них Вильямс в присущей ему скромной, обстоятельной манере беседовал со своим читателем, «средним американцем», терпеливо разъясняя ему сущность событий, происшедших в России.

В книге о Ленине Вильямс, не раз встречавшийся с Ильичом, высвечивает разные грани его облика. Самое главное в Ленине для Вильямса (и об этом будут писать и Брайант, и Майнор, и Стеффенс) — то, что он «величайший реалист», решительный, твердый, дальновидный, умеющий проникать в самую сложную ситуацию, найти верный путь в самом трудном положении.

В 1921 году появляется новая книга Вильямса «Через русскую революцию», которая по праву стоит рядом с ридовскими «10 днями...»; эти очень близкие по духу произведения по-своему дополняют друг друга. Если Рид дает «сгусток истории», драматическую кульминацию октябрьских событий в Петрограде, сердце восстания, то Вильямс, проделавший путь в 12 тысяч километров от Москвы до Владивостока, показывает всероссийский размах революции, охватившей самые глухие углы страны. При этом Вильямс смотрит на события гражданской войны с высоты пусть еще недолгого, но исторического опыта, видит их в перспективе. Победа русской революции становится для писателя неопровержимым свидетельством поступательного характера человеческого прогресса; история, напоминает он читателям, «всегда идет своим путем, и спорить с ней могут только одни глупцы»...

3. ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ

Когда летом 1918 года первые американские солдаты высадились в Мурманске и Владивостоке, по США прокатилась волна протестов.

Эти настроения прогрессивной общественности отразились в романе Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» (1919). Его герой, «маленький механик по ремонту мотоциклов», оказавшись в рядах интервенционистских войск на Севере, знакомится с большевиком Калинкиным, начинает распространять пропагандистские листовки. Этот эпизод имел реальную основу; среди войск интервентов большевики развернули энергичную агитацию. В выпуске «подрывной» литературы, в частности газеты «Кол» («Призыв»), принимала участие и группа прогрессивных западных журналистов, находившихся в ту пору в Москве. В их числе были англичанин Филипс Прайс, впоследствии автор известной книги «Воспоминания о русской революции», и американец Роберт Майнор, «карикатурист номер один», публицист и художник.

Когда Майнор, 34-летний техасец, предки которого сражались в войне за независимость, приехал в Москву в марте 1918 года, у него за плечами было уже почти полтора десятилетия энергичной журналистской работы, в частности в «Мэссис», участие в рабочем движении, активная борьба за жизнь Тома Муни, рабочего деятеля в Сан-Франциско, ставшего жертвой полицейской провокации и приговоренного по обвинению в «терроризме» к смертной казни (в дальнейшем замененной пожизненным заключением).

В Москве Майнор встречался с В. И. Лениным, который расспрашивал его об американском рабочем движении, о деле Тома Муни, об отношении тред-юнионов к большевистской революции. Впоследствии в воспоминаниях Майнор пишет об Ильиче, в котором реализм гения соединился с необыкновенной человечностью и демократизмом.

Майнор приехал в нашу страну в трудное время; он увидел Россию в кольце блокады, ощерившуюся штыками, узнал о голоде, о лишениях, обрушившихся на народ в результате интервенции Антанты. В письме в журнал «Либерейтор» он писал: «Да, в России — ужасный голод. Но источник его... не в большевистском режиме... Это банкиры Парижа, Лондона и Нью-Йорка хотят держать русский народ в угнетении».

По возвращении в США Майнор был обвинен в «большевистской пропаганде». С той поры за ним прочно закрепилась репутация «красного»; это означало самое непосредственное знакомство с американским «правосудием» и американскими тюрьмами. А он встал в первые ряды борцов против интервенции; его страстные статьи и разящие интервентов карикатуры публиковались на страницах «Либерейтора».

Правда, Майнор не сразу принял Октябрь; этот бунтарь, по его собственному выражению, слишком долго «ехал в поезде Бакунина», разделяя анархическую неприязнь ко всяким формам государственно-

сти. Изучение работы В. И. Ленина «Государство и революция» заставило его пересмотреть свои взгляды. В октябре 1920 года в «Либерейторе» появляется статья «Я немного меняю точку зрения», в которой он самокритично распрощался с заблуждениями анархического толка и признал историческую неизбежность диктатуры пролетариата. «Я снимаю всякие оговорки, которые делал,— писал Майнор.— Я приветствую русскую Советскую Республику».

Позднее он так характеризовал значение Октября: «Мир увидел взрыв политического атома, освободивший такие силы, которые мощнее термоядерной энергии».

Ленин, Октябрь превратили Майнора — бунтаря, радикала в сознательного революционера, в одного из лидеров американской коммунистической партии. И не только Майнора: 1917 год оказался решающей, переломной вехой в развитии целой плеяды американских революционеров — Уильяма З. Фостера и Билла Хейвуда, Элизабет Герли Флинн и Эллы Рив Блур, пришедших к ясному коммунистическому миросозерцанию. «Когда весть о русской большевистской революции облетела мир,— вспоминала впоследствии Э. Флинн в книге «Своими словами» (1955),— американские рабочие узнали тогда же о человеке, имя которого было Ленин». В автобиографической книге Эллы Рив Блур «Нас много» (1940) мы читаем: «Тогда, в ноябре 1917 года, большевистская революция зажгла маяк надежды для всего мира. На одной шестой части земного шара рабочие завоевали власть: силы жизни и прогресса возобладали над силами смерти и разрушения».

В первые послевоенные годы центром притяжения наиболее радикально настроенных писательских сил становится прогрессивная пресса, в частности ведущий левый журнал «Либерейтор»; он начал выходить с весны 1918 года, сменив своего боевого предшественника — журнал «Мэссис». В январе 1919 года передовица «Либерейтора» начиналась с призыва: «Руки прочь от России!» Эти слова стали своеобразным девизом журнала. В разгар антибольшевистской истерии «Либерейтор» публиковал репортажи, очерки, интервью с журналистами, прибывшими из России — в частности с Ридом, Вильямсом, Луизой Брайант, Джессикой Смит; в нем же систематически печатались рецензии на книги, посвященные русской революции.

В январе 1920 года в «Либерейторе» было помещено пространное интервью с радикальным журналистом Исааком Мак Брайдом — «Побеждающая Россия»; оно содержало важные подробности о его встречах с В. И. Лениным и Г. В. Чичериным, а также беседах с Максимом Горьким, который рассказал Мак Брайду о смелых мероприятиях большевиков в области культуры и передал призыв к американской интеллигенции выступить с требованием, чтобы «Россию оставили в покое».

Под антиинтервенционистскими лозунгами выходили номера еженедельника «Революшнери эйдж»; он стал печататься с осени 1918 года в качестве органа левого крыла социалистической партии, одним из его руководителей и активным сотрудником стал Джон Рид. В номере от 25 декабря 1918 года была помещена статья Ромена Роллана «Относительно русской революции»; ее автор, отвечая на измышления о «хаосе и разрушении» в России, писал: «Большевизм не дезорганизовывал, напротив, он пытался новым, невиданным ранее методом упорядочить беспорядок, посреди духовного и материального упадка в Европе он стремится продвинуть вперед новые социальные формы».

«Помочь американскому народу сформулировать верные представления о проблемах, стоящих перед русской революцией»,— такую цель поставил перед собой еженедельник «Совьет Раша», официальный орган Бюро Русского Советского правительства в Нью-Йорке. Он начал выходить с лета 1919 года, публикуя регулярную информацию о положении на фронтах гражданской войны. В нем — полностью или в извлечениях—публиковались работы В. И. Ленина, декреты Советской власти и официальные материалы, выдержки из советских и иностранных газет, статьи Максима Горького, Анри Барбюса «Я обвиняю», отрывки из книг английских журналистов Филипса Прайса «Правда о России» и Артура Рэнсома «Шесть недель в России». Несколько статей против интервенции опубликовала в журнале Луиза Брайант; в стихотворении «Белые и красные» она разоблачала контрреволюцию, стремящуюся вернуть Россию к эпохе цепей и кнутов, и приветствовала зарю нового мира.

Среди друзей «нового мира» и противников интервенции была и всемирно известная общественная деятельница и писательница Элен Келлер. «Мы не можем молчать, в то время как наше правительство, за которое и мы несем частичную ответственность,— заявила она в газете «Кол»,— помогает морить голодом женщин, детей и стариков, поскольку наши политические лидеры и, возможно, большая часть американской общественности не одобряют тех идей, которые лежат в основе русского эксперимента по созданию нового типа общества... Здесь не может быть средней позиции. Те, кто не поддерживают разумную политику в отношении России, вывод иностранных солдат с русской земли, снятие блокады, являются врагами России».

В поддержку Октября выступили многие органы левого крыла рабочего класса: газеты «Комьюнист уорлд», «Ребел уоркер» (издавалась ИРМ), «Войс оф лейбор» (одним из его редакторов был Джон Рид). В теоретическом ежемесячнике «Класс стругл» печатались работы В. И. Ленина, М. Горького, иностранных революционных деятелей. В нем же была опубликована присланная из Москвы корреспонденция Филипса М. Прайса «Правда об интервенционистской коалиции в России». С фактами в руках ее автор доказывал, что агрес-

ция стран Антанты, прикрываемая дымовой завесой рассуждений о «защите России от немцев», выражала волю банкиров Лондона, Нью-Йорка и Парижа.

В 1918 году со всех концов Америки в Нью-Йорке собрались добровольцы, чтобы отправиться на помощь Красной Армии и революционной России; в рядах этого отряда, насчитывавшего около 1 000 человек, был и Майкл Голд, впоследствии ветеран пролетарской литературы США. Но власти запретили им выезд из Америки...

4. «ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ»

Октябрь оказал решающее воздействие и на умонастроения многих либерально настроенных американцев.

1917 год знаменовал начало духовного перелома Линкольна Стеффенса, убежденного либерала, ветерана движения «разгребателей грязи», долгое время верившего в спасительность реформизма «сверху». Однако огромный жизненный опыт неумолимо приводил его к выводу, что пороки капитализма заключены в самой его природе; Октябрь открыл перед ним революционный путь замены старого общества новым, более совершенным. Постепенно, после нелегких размышлений Линкольн Стеффенс пришел к мысли об исторической неизбежности диктатуры пролетариата. После возвращения из Москвы, куда он ездил с миссией Буллита и где он встретился с В. И. Лениным зимой 1919 года, Линкольн Стеффенс в беседе с банкиром Бернардом Барухом произнес свою знаменитую фразу: «Я совершил путешествие в будущее, и оно прокладывает себе дорогу». «Автобиография» Стеффенса (1931) и особенно его двухтомная переписка (1938) рисуют «духовную одиссею» этого выдающегося американского публициста, который умер коммунистом и верным другом России, ставшей для него долгожданной реальностью «нового мира».

Октябрь также оказался знаменательной вехой в духовной жизни таких либерально настроенных американцев, как Реймонд Робинс, Эдвард Росс и Джером Дэвис.

О пути, пройденном первым из них, повествовала книга известного журналиста Уильяма Харди «Подлинная история Реймонда Робинса» (1920). Миллионер, филантроп, религиозный и общественный деятель, полковник Робинс в августе 1917 г. получил назначение в Петроград: сначала пост помощника руководителя, а затем руководителя американской миссии Красного Креста. В конце октября он развернул энергичную кампанию в поддержку Временного правительства, а затем, после падения Керенского, действовал как неофициальный представитель на переговорах с большевиками в период заключения Брестского мира. В это время и произошло его знакомство с В. И. Лениным; они часто и подолгу беседовали в его кремлевском кабинете, между ними устанавливались доверительные отношения; Робинс спорил с Лениным, но личность вождя, неотразимая логика его аргументов произвели на американца глубокое впечатление.

Робинс привез в США данный ему Лениным план развития экономических отношений между двумя странами. И одновременно — убеждение в том, что большевизм — цельная философия, решительный «вызов» капитализму и «американизму».

Конечно, Робинс не стал ни большевиком, ни марксистом. Но русский опыт помог ему иными глазами взглянуть на «американскую систему», чреватую «страшным ужасом безработицы» и «безжалостной нуждой». С этих пор начинает он выступать за «реформу системы», за перестройку ее в духе альтруизма и свободной кооперации. Если старый порядок не будет перестроен в духе Иисуса Христа, предупреждал Робинс, его одолеет система, основанная на учении Маркса.

К признанию необходимости реформировать американскую систему пришел после посещения России в 1917 году и писатель, либеральный профессор социологии Висконсинского университета Эдвард Росс. В его книге «Россия на подъеме» (1919) весьма последовательно выдержан принцип «научной объективности». Росс, проехавший тысячи километров по Сибири и Поволжью, Кавказу и Средней Азии, изучавший быт, жизненные условия и настроения народа, нарисовал картину подлинно массовой революции, взорвавшей прогнившую систему.

Правда, буржуазный либерал Росс не разделял революционных методов разрешения социальных проблем; реформистский путь представляется ему единственно приемлемым. И вместе с тем он признает законность, неизбежность протеста трудящихся против своей несчастной доли. «Русский опыт» приводит Росса к убеждению, что «дни индустриальной автократии сочтены», что необходимо покончить с «безжалостной практикой найма и увольнения» и перестроить американскую индустрию таким образом, чтобы учесть интересы тружеников.

Его следующий труд, «Русская большевистская революция», отразил наметившуюся с начала 20-х годов в США тенденцию среди людей такого типа, как Росс, к более серьезному, историческому анализу «русского эксперимента».

Анализ событий бурного 1917 года привел Росса к убеждению в том, что только большевики действительно выполнили требования народных масс — мира, земли и хлеба. К подобным выводам приходил и Морис Хайндус, выходец из России, бывший очевидцем событий 1917 года, автор исследования «Русский крестьянин и революция» (1921).

Не решаясь сделать окончательного вывода относительно перспектив большевизма, Хайндус тем не менее призывал соотечественников понять величие русской революции и налаживать контакты с Россией.

А в пространном труде Гарри У. Лейдлера «Социализм в теории и на практике» (1921), анализирующем историю мирового социалистического движения, прямо подчеркивалось, что в период русской революции советская форма правительства доказала свое превосходство над старыми буржуазно-демократическими формами.

Вообще об интересе к русской революции лучше всего свидетельствует настоящий поток книг, посвященных этому вопросу, вышедших в те годы в США. Помимо множества американских работ были изданы и пользовались широкой известностью книги англичанина Артура Рэнсома «Шесть недель в красной России» (1919), «Кризис России» (1921), его воспоминания о встречах с В. И. Лениным. Увидела свет работа французского журналиста Этьена Антонелли «Большевистская Россия. Философский обзор» (1921), в котором высказывалось предположение, что в Советской России родится совершенно новая форма демократии.

Уже в 1920 году прогрессивный журналист Э. Кларк сделал первую попытку систематизировать этот богатейший материал в брошюре «Факты и измышления о Советской России»: в ней он рисовал картину острой идейной борьбы, разгоревшейся в США, а также собрал наиболее разительные примеры и приемы антисоветской клеветы. Любопытно, что с тех пор в США вышло в свет несколько обстоятельных монографий и диссертаций, специально посвященных анализу реакции американской общественности и прессы на события Октября.

В 1924 году опубликовал свою работу «Международные аспекты русской революции» Джером Дэвис *, один из очевидцев октябрьских событий; в ней он призывал соотечественников отрешиться от «антибольшевистского комплекса», трезво взглянуть на вещи, а главное, «не судить о русских общественных институтах меркой американских концепций». Свой анализ Дэвис подытожил следующим образом: «В свете истории вполне может оказаться, что такое явление, как русская революция, займет место среди величайших событий двадцатого столетия».

5. ЗА ПРИЗНАНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

С начала 20-х годов перед прогрессивной общественностью встает новая задача — борьба за признание России. Застрельщиком этой кампании становится ежемесячный журнал «Совьет Раша пикториел» — орган «Общества друзей России»; его целью была широкая наглядная информация о нашей стране. В ту пору там сотрудничала большая группа прогрессивных американцев — руководители коммунистической партии У. З. Фостер, Роберт Майнор, Элла Рив Блур, писатель Эптон Синклер, известный ученый-электротехник Карл Штейнмец, общественная деятельница Элен Келлер.

Особенно много материалов в журнале было посвящено В. И. Ленину и его контактам с американскими представителями; в июле 1923 года видный деятель Общества и организатор технической помощи России Гарольд Вэр опубликовал корреспонденцию, в которой рассказал о привезенном из России от В. И. Ленина послании Карлу Штейнмецу; вождь революции подарил американскому ученому, выразившему желание помочь России и в деле электрификации, свою фотографию с теплой надписью.

С начала 20-х годов честная информация об успехах большевиков просачивается и на страницы либеральной прессы. Редактор еженедельника «Нейшн» известный журналист Освальд Гаррисон Виллард в одной из передовиц так сформулировал точку зрения этого журнала: «Безусловно, человечеству полезно, что русские взяли на себя трудную задачу установить коммунизм — раз и навсегда... Нам следует наблюдать за русским экспериментом внимательно и непредубежденно». Журнал стремился печатать сравнительно объективный материал, дающий панораму социально-экономического и культурного развития нового общества.

Так, осенью 1920 года в «Нейшн» публиковалась серия корреспонденций, присланных из Москвы журналистом Гарри Осбергом. В них автор высказывает «искреннее убеждение», соответствующее убеждению «любого интеллектуального наблюдателя» в том, что «русская революция развивается верным курсом», что она «неизбежна», что «дух пролетарской революции жив».

Внимание журнала особо привлекало положение искусства и литературы «при Советах». Статья Л. Малми «Новое искусство в России» (сент. 1921) была полемически направлена против версии буржуазной прессы относительно подавления большевиками «художественной свободы»: музы не умолкли, а, напротив, вдохновенно и по-новому зазвучали в годы гражданской войны; грозовая эпоха нашла органичное отражение в поэзии Маяковского. Очерк Элен Извольской «Большевизм и искусство» (1923) рассказывал об интенсивной художественной жизни Москвы и Петрограда; что касается литературы, то она обрела, по ее мнению, «более грубую и в то же время более здоровую концепцию жизни».

Осенью 1920 года читатели другого либерального еженедельника «Нью рипаблик» познакомились с циклом статей Х. Брейлсфорда «Русские впечатления»; их автор писал об успехах Советской власти в области здравоохранения, образования и борьбы с культурной отсталостью.

В послевоенное десятилетие одной из самых заметных фигур среди тех американцев, которые выступали за признание России, становится Пакстон Гиббен.

Он был сыном состоятельных родителей и питомцем Гарварда. Много лет провел Гиббен в посольствах США — сначала в России, где он оказался свидетелем

* См. также рецензию на его книгу «Мировые лидеры, которых я знал», опубликованную в «Иностранной литературе» № 5 за 1967 г.

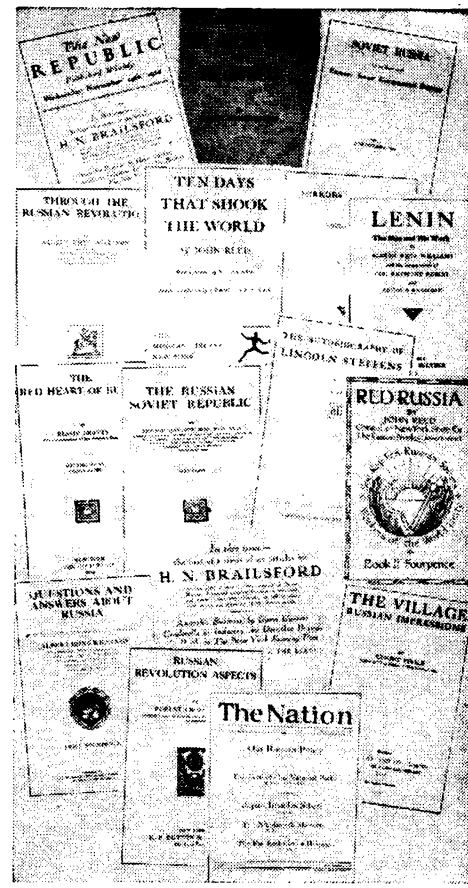
революционных событий 1905 года, потом в странах Латинской и Южной Америки. В годы первой мировой войны Гиббен был журналистом; находясь в Греции, он посылал корреспонденции, обличающие своекорыстную политику Антанты. В 1920 году в качестве члена американской миссии помощи Ближнему Востоку он приезжает в Армению. Через год Гиббен снова в России, на этот раз в качестве организатора помощи голодающему Поволжью. Затем он еще несколько раз был в нашей стране — как деятельный член Общества друзей России и ответственный секретарь Американского комитета помощи русским детям; и в печати и в устных выступлениях он ратовал за взаимопонимание и дружбу между русским и американским народами.

В 1925 году в одной из церквей Нью-Йорка Гиббен сделал доклад, затем изданный отдельной брошюрой: «Экономическое возрождение России»; в нем он воссоздавал развернутую картину начавшегося экономического подъема в нашей стране. Приводя цифровые показатели достигнутых успехов, Гиббен подчеркивал, что главный смысл происходящего не только и даже не столько в них: историческая заслуга России заключается в развитии новой системы социальных отношений, в основе которых лежит идея общественного блага.

Кончина Гиббена в 1928 году была тяжелой потерей для прогрессивной Америки; согласно завещанию, его прах был похоронен в Москве на Ново-Девичьем кладбище.

■

Есть выражение «заболеть горами». Те, кто был в нашей стране в грозные, незабываемые годы революции, поистине «заболели Россией». Они стремятся снова побывать на родине Октября, чтобы увидеть, как заманчивая идея социализма превращается в явь. Друзьями и частыми гостями Советского Союза становятся Альберт Рис Вильямс и Джером Дэвис. В 1921 году на агитпароходе «Сарапулец» едет в голодающее Поволжье Бесси Битти; спустя два года Луиза Брайант выпускает книгу «Зеркала Москвы» (1923) — серию портретов руководителей советского государства. Тогда же в Москву приезжает Линкольн Стеффенс, назвавший Россию «оазисом надежды в мире отчаяния». Весной 1933 года Реймонд



Робинс, «миллионер, который любил Ленина», как его называли в Америке, совершает поездку по Советскому Союзу; наши достижения вызывают у Робинса восхищение.

Именно благодаря усилиям этих и многих других честных писателей и журналистов, вставших на защиту «нового мира», «блокада правды» провалилась. Все отчетливей стал вырисовываться перед миллионами американцев образ строящегося, набирающего силы социалистического миропорядка. Не красивой мечты, а конкретной реальности.

Б. ГИЛЕНСОН

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

СНОВА В ЦЕНТРЕ ДИСКУССИЙ

Новый фильм «Привилегия» Питера Уоткинса, режиссера-постановщика антивоенной телевизионной картины «Игра в войну» (см. «Иностранную литературу» № 5 и № 7, 1966), вызвал шумные споры в английской печати, которые продолжались в течение многих недель.

Герой фильма — кумир молодежи, исполнитель популярных песен Стив Шортер (в его роли снимался молодой композитор и певец Пол Джонс). Бизнесмены от искусства и политические дельцы используют его для отвлечения внимания молодежи от актуальных общественных проблем. Закулисная сторона «музыкального бизнеса», финансовые сделки между представителями политических, шовинистических, клерикальных и коммерческих кругов предстают перед зрителями безо всяких прикрас. Стив Шортер постепенно начинает это понимать и в конце концов открыто восстает против своих хозяев.

Однако в атмосфере массового психоза, которая создается вокруг выступлений Стива Шортера, реакции удается протащить на выборах своих фашиствующих ставленников...

Пол Джонс в роли Стива Шортера и Джин Шримптон в роли Ванессы в кинофильме «Привилегия».

(Журнал «Коммент»)

Новый фильм Уоткинса получил высокую оценку прогрессивной печати. «Уоткинс создал для большого экрана произведение такой силы, настолько увлекательное, держащее зрителя в напряжении, что большинство остальных фильмов рядом с ним выглядят бледными и тривиальными», — писала обозреватель газеты «Морнинг стар» Нина Хиббин.

Майк Эмброуз в журнале «Коммент» пишет, что Уоткинс в своем новом фильме показывает негативные стороны жизни британского общества. Заслуга Уоткинса состоит в том, что режиссер создал фильм-предупреждение об опасности фашизма в странах так называемой «западной демократии».

Такие издания, как «Обзёрвер», «Санди таймс», «Панч», «Нью-стейтсмен», «Трибюн», резко критикуют создателей фильма «Привилегия». Так, Болеслав Сулик опубликовал в газете «Трибюн» рецензию на фильм под заголовком «Кошмарная утопия».

Как отмечает обозреватель журнала «Коммент», фильм «Привилегия» явно не хотят показать широкому зрителю: его демонстрируют лишь в нескольких второразрядных кинотеатрах. Следует напомнить, что аналогичная история произошла и с фильмом «Игра в войну»: власти всячески препятствовали его широкой демонстрации.

«СЧАСТЛИВЧИК» КИНГСЛИ ЭМИС

Несколько месяцев назад Кингсли Эмис в числе некоторых других деятелей выступил в газете «Таймс» в поддержку агрессии США во Вьетнаме.

Недавно печать сообщила о новом факте, который свидетельствует о том, что проамериканская позиция Эмиса нашла выражение и в творчестве этого писателя. «Автор «Счастливчика Джима» заявил представителям печати, что приступил к работе над книгой, героем которой будет пресловутый разведчик Джеймс Бонд, Агент 007, придуманный покойным Яном Флемингом. Издательство «Глидроуз продакшнз», которое безраздельно владеет литературным наследием Флеминга, с согласия вдовы Флеминга заключило с Кингсли Эмисом договор, по которому последний становится «новым биографом Бонда».

По словам Эмиса, книга о новых приключениях Агента 007 под названием «Полковник Сан» выйдет уже в начале будущего года.

Как сообщает печать, Кингсли Эмис позволил себе недавно еще один политический выпад: в журнале «Нью стейтсмен» он клеветнически утверждал, будто солдаты Национального фронта освобождения Южного Вьетнама убивают мирных жителей, взрослых и детей. В редакцию журнала поступило множество писем, в которых читатели выражали свое возмущение измышлениями Эмиса. Лаконичным, но выразительным было письмо из Франции Грэхема Грина: «Во Франции в последнее время распространились слухи, что Центральное разведывательное управление США тайно финансирует новую серию романов о Джеймсе Бонде для того, чтобы его доблесть продолжала вдохновлять новобранцев, посылаемых на войну во Вьетнам.

Я склонен был не доверять этому, пока не прочел письмо об «убийстве детей людьми Хо», написанное мистером Кингсли Эмисом, этим знаменитым путешественником и авторитетом по Вьетнаму, который является также избранным воскресителем Джеймса Бонда.

Грэхем Грин».

Кадр из кинофильма «Ночь боится солнца».

АЛЖИР

«НОЧЬ БОИТСЯ СОЛНЦА»

Гангстерам, ковбоям и полуголым красоткам на рекламных щитах и в фотовитринах алжирских кинотеатров давно уже пришлось потесниться: встает на ноги и набирает силы национальное алжирское кино. Вслед за полнометражными фильмами «Народ в пути», «Только что отгремела война», «Заря проклятьем заклейменных», «Битва за Алжир» и «Ветер Ореса» появился первый широкоэкранный фильм отечественного производства «Ночь боится солнца» — плод двухлетней работы сценариста и постановщика Мустафы Бади, оператора Нурредина Аделя и более тридцати исполнителей, в том числе выдающегося артиста и деятеля театрального искусства Мустафы Катеба.

«Ночь боится солнца» — грандиозная фреска, обнимающая целое десятилетие жизни нации, притом десятилетие, едва ли не самое драматическое во всей истории Алжира — 1952—1962 гг. И, начиная с пролога, рисующего побег из тюрьмы группы заключенных, в том числе главного героя фильма, молодого батрака Юсефа, и до последних кадров, где Юсеф, герой борьбы за национальное освобождение, встречается со своим врагом плантатором, — драматическое напряжение ни на минуту не оставляет зрителя. Особенно впечатляющи те эпизоды, в которых передана грозовая атмосфера последних дней «французского Алжира». Неудивительно, что этот фильм, продолжающийся более трех часов, смотрится с таким неослабевающим вниманием: в переполненных залах сидят рано поседевшие мужчины, из которых многие сами недавно не расставались с оружием, и еще не сбросившие покрывала женщины, которые изведали горечь невосполнимых утрат. И за верность жизненной правде, за дух непримиримости и бесстрашия, за пафос подвига, которым проникнут фильм Мустафы Бади, они прощают ему недостатки: длинноты и рыхлость композиции, объясняющиеся в значительной мере тем, что, по признанию самого автора, он хотел

«вложить в эту картину все те фильмы, которые ему не удалось поставить раньше».

АРГЕНТИНА

КОНЕЦ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭУДЕБА»

Издательство Национального университета Буэнос-Айреса «Эудеба» прекратило свое существование. Редакционный совет во главе с писателем Хосе Бианко в связи с этим сделал заявление, опубликованное в журнале «Каса де лас Американас»:

«В течение восьми лет наш небольшой коллектив подвижнически работал в стране, сотрясаемой политическими переворотами и экономическим кризисом, сплоченно работал для того, чтобы культура проникала во все слои аргентинского общества. В течение восьми лет миллионы и миллионы книг распространялись в стране, чтобы помочь учащимся и учителям, молодым людям и пожилым познакомиться с творчеством аргентинских писателей, с произведениями других деятелей культуры Латинской Америки и всего мира. Любая выпускавшаяся нами книга стоила дешевле килограмма хлеба, дешевле пачки папирос... Восемь лет аргентинский народ гордился своими писателями, мыслителями, художниками, славой своего издательства, которое с небольшим капиталом, без субсидий честно служило родине...»

В настоящее время (то есть в дни военной диктатуры Онганиии, отнявшего у аргентинских университетов автономию и сажающего в тюрьмы профессоров и студентов за «вольнодумство») сотрудники «Эудебы» не считают более возможным печатать то, что создается «в атмосфере, не позволяющей им ни думать, ни творить».

Издательство, выпустившее 11 миллионов книг, возобновит свою деятельность только тогда, когда «университет Буэнос-Айреса снова станет гордостью Аргентины, всей Латинской Америки, когда кафедры в нем займут их законные руководители»,— так заканчивается заявление редсовета.

БОЛГАРИЯ

ПРАЗДНИК БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Софии состоялся Первый конгресс болгарской культуры. «Этот широкий форум,— писал в редакционной статье еженедельник «Литературен фронт»,— подвел итоги большого, бурного периода в истории нашей социалистической культуры и раскрыл перспективы нового, более высокого этапа ее развития.

Утверждая себя в непрестанной, жестокой схватке с реакционной буржуазной идеологией, болгарская революционная культура утверждает принципы социалистического гуманизма, принципы социалистической демократии».

На конгресс собрались деятели культуры со всех концов страны; в нем приняло участие 1738 делегатов — академики, писатели, художники, музыканты, артисты, а также зарубежные гости.

Основной доклад о развитии болгарской культуры, история которой насчитывает уже тысячу лет, сделал Павел Матев.

На конгрессе был учрежден новый Комитет по культуре и искусству, который объединяет в себе функции союзов творческой интеллигенции и органа государственной власти, что, по словам обозревателя еженедельника «Литературен фронт», «открывает новые пути фактической демократизации культурного фронта. Это дальнейшее развитие начал социалистического демократизма и ленинского принципа самоуправления. В новом общественном и государственном органе деятели культуры, непосредственные создатели культурных ценностей будут принимать прямое участие в обсуждении, решении и выполнении единых общенациональных пропагандистских, просветительных и других идеологических задач». Комитет будет избираться конгрессом, собирающимся раз в четыре года.

Рисунок художника Вл. Димитрова-Майстора «Болгарская девушка».

(Журнал «Изкуство»)

На заключительном заседании конгресса выступил товарищ Тодор Живков, говоривший о больших задачах, которые ставят перед деятелями культуры партия и народ.

«На этом конгрессе,— сказал товарищ Живков,— мы еще раз выразили глубокое уважение и любовь к революционной культуре великого Советского Союза — культуре истинно новаторской, культуре дерзновенной и высоко человечной, культуре, которая оказывает могучее воздействие на современную цивилизацию».

ВЗАИМНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Недавно турецкие издательства «Излем яйневи» и «Май яйневи» совместно выпустили первую часть романа Димитра Димова «Табак». Перевод сделан турецким писателем Бурханом Арпадом. В кратком предисловии переводчик знакомит читателей с характерными особенностями творчества Димова.

Незадолго до этого в Турции были изданы «Усадьба на границе» Йордана Йовкова, а также «Случай в Момчилово», «Негромкая

ночная музыка» и «Против 007» Андрея Гуляшки.

В Болгарии помимо стихов и рассказов, появляющихся в периодической печати, только в прошлом году в переводе на болгарский язык изданы роман турецкого прозаика Мелиха Джевдета Андая «Бездельники», включенный в серию «Балканские писатели»; повесть Єуат Дервиш «Фосфорическая Джеврие», роман Орхана Кемаля «На благодатной земле», сборник турецкой новеллы.

Недавно вышел стихотворный сборник «Треножник», в котором представлено творчество трех турецких поэтов — Орхана Вели, Мелиха Джевдета Андая и Октая Рифата. Выходит из печати сборник юмористических рассказов Азиза Несина «Ах, мы ишаки», стихи Тевфика Фикрета, сборники рассказов Саита Фаика и Джевада Шакира, пишущего под псевдонимом Галикарнасский Рыбак, роман Сабахаттина Али «Мадонна в кожаном пальто», роман Азиза Несина «Зю бюк» и др. Одновременно в Болгарии издаются произведения турецких писателей на языке оригинала.

ВЕНГРИЯ

ЖУРНАЛ «МЮФОРДИТАШ»

Вышел первый номер журнала «Мюфордиташ» («Художественный перевод»), который издается по решению Союза венгерских писателей секцией художественного перевода.

Необходимость в таком издании давно назрела, пишет поэт и переводчик Шандор Ракоши в редакционной статье. До сих пор переводчикам негде было по-настоящему высказаться по волнующим их проблемам. Даже такой солидный журнал, как «Надьвилаг», не мог уделять много места проблемам перевода.

В номере опубликована статья Дьердя Ронаи «Как национальная литература становится достоянием мировой литературы», а также сообщение Ласло Латора «Лучшие художественные переводы 1966 года».

Новый журнал будет ежеквартальным.

ГДР

НЕНАПИСАННЫЕ ПИСЬМА

«Письма, которые никогда не были написаны»—так назвал свою книгу известный общественный и театральный деятель ГДР, участник антифашистского Сопротивления в Германии Макс Бургхардт.

20 июля 1938 года нацисты казнили первую женщину-антифашистку. Лизелотта Геррман, или Лило, как ее называли, не дожила нескольких дней до 29 лет. Все, что пережила и передумала эта молодая женщина-мать, маленький сын которой никогда не видел своего отца, убитого нацистами еще в 1933 году, стало темой книги Бургхардта. В предисловии к книге Бургхардт пишет: «Многие читатели, наверно, спросят, были ли в действительности какие-нибудь письма из тюрьмы, написанные Лило. Да, конечно, они были, но проходили самую строгую цензуру, и потому Лило могла говорить в них только о самых повседневных делах. В «Ненаписанных письмах» я постарался дать все то, что она написала бы, если могла».

Бургхардт лично знал Лизелотту Геррман последние три года ее жизни (его привлекали к ответственности по одному с ней делу). Целый год не приводили в исполнение смертный приговор Лизелотте — угрозой казни палачи хотели заставить ее говорить. Но она молчала вплоть до трагического конца. «Жизнь и смерть ее — символичны,— пишет в западногерманской газете «Дейче фолькцейтунг» Рената Римек.— Книга эта рассказывает о духовных силах Сопротивления».

Когда судили Лизелотту Геррман, из разных стран посыпались письма протеста. Но фашистский суд остался непреклонным...

Фридрих Вольф, знавший Лизелотту по совместной работе в Штутгарте, когда она была молодой девушкой, посвятил ее памяти поэму.

Теперь, через много лет, пишет обозреватель «Литератур-67», ей поставили еще один литературный памятник. «Мы должны быть благодарны Максу Бургхардту за эту его книгу — первую книгу антифашиста, борца, революционера».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

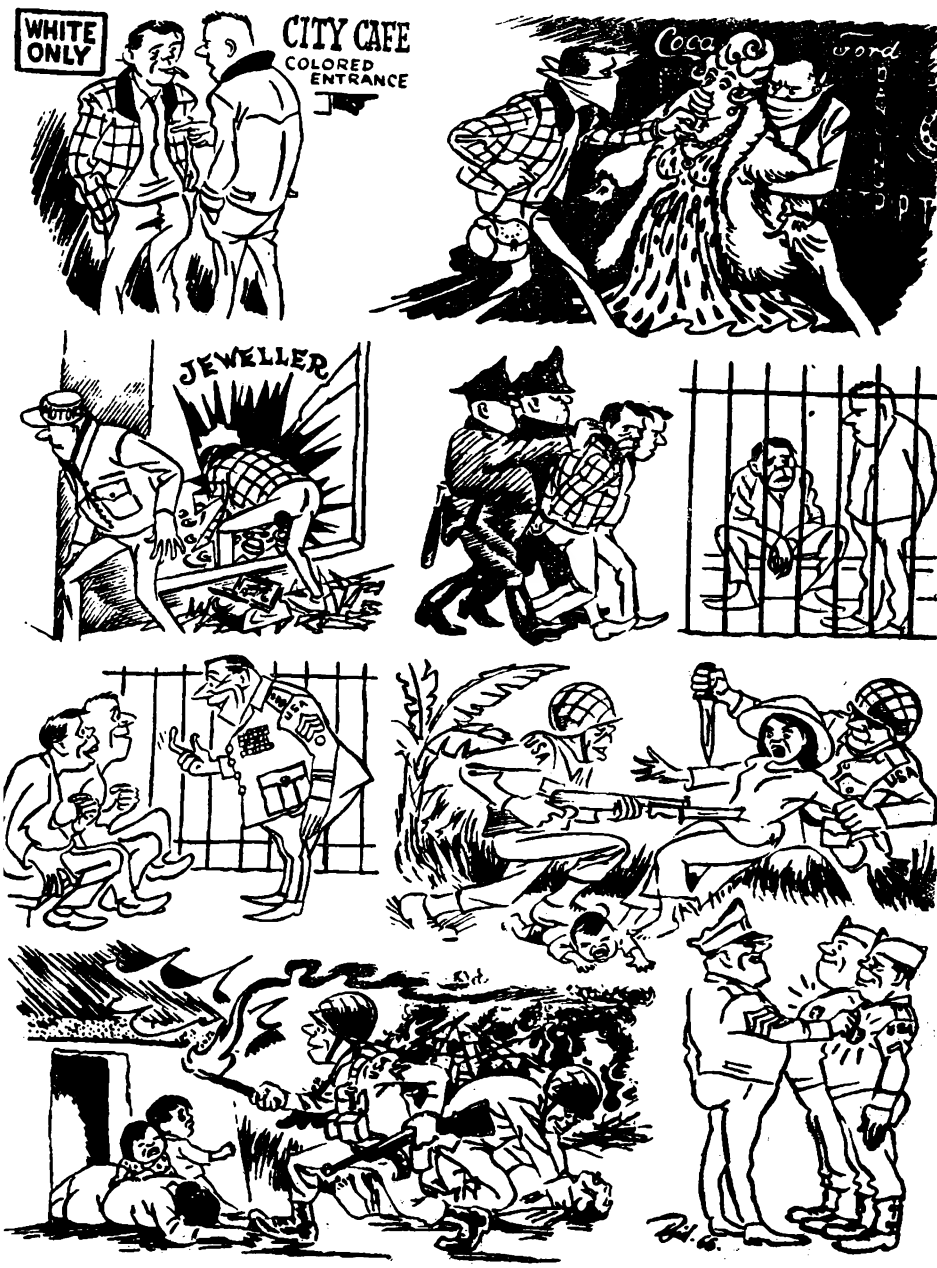
СОПРОТИВЛЕНИЕ В «ЧЕТВЕРТОМ РЕЙХЕ»

В густонаселенном городском районе Западного Берлина Крейцберг, на Кольфуртерштрассе, находится кафе «Всемирный фонарик» — место, где охотно собираются живописцы, скульпторы, графики различных творческих направлений.

В зале «Фонарика» этой весной была устроена выставка сатирических рисунков Уве Витта. «Посетители выставки,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг»,— не знали, чему удивляться: смелости молодого западноберлинского художника, посвятившего свои рисунки злободневнейшим политическим темам, или мужеству владельца «Фонарика», рискнувшего устроить эту экспозицию».

Уве Витт — один из самых «неудобных» художников Западного Берлина. В 1964 г. его выставку закрыли через три дня после открытия, а в 1965 г.— уже на второй день. И это не удивительно: карикатуры Витта разоблачают политику многих государственных деятелей ФРГ, угрожающую всеобщему миру, а также преступления американской военщины во Вьетнаме.

Называя боннскую республику «четвертым рейхом», Витт обвиняет западногерманских и западноберлинских политиков — Кизингера, Менде, Штрауса, Венера, Альберца и других — в пособничестве неофашистам и призывает сопротивляться их политике.



Рисунки Херлуфа Бидструпа «Герои США».

«Культурная революция».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ФРГ

СОН В БОННСКУЮ НОЧЬ

Западногерманский гражданин Оскар Букш, 44 лет, днем работает кассиром в банке, а ночью занимается грабежом и убийствами... во сне.

Однажды Букшу пригрезилось, что он — предводитель шайки гангстеров... Он приказал ограбить банк, а директора прикончить. Затем, став начальником секретной службы, он захватил власть в стране, а впоследствии, уже будучи владыкой мира и окрестных планет, Букш истребил человечество...

Так рецензент гамбургского журнала «Шпигель» коротко излагает содержание новой комедии западногерманского драматурга Гейнара Кипхардта «Ночь, когда был убит шеф», премьера которой состоялась в Штутгартском городском театре.

Кипхардт, по словам рецензента, хотел в своей пьесе показать жизнь среднего человека в ФРГ, «...то несчастное, малообразованное, уязвимое, изнуренное прозой будней и однообразием равнодушного мира существо, которое легко совратить и которым вертят, как хотят...» Букш и ему подобные, утверждает автор, способны жить «по-настоящему», как им хотелось бы, только в мечтах. И потому добропорядочный Букш на поверку оказывается мрачным тираном, кровожадным расистом, растлителем собственной дочери...

Над этой пьесой, подчеркивает рецензент, Кипхардт начал работать три года назад. Автору удалось виртуозно показать на сцене двойную жизнь западногерманского бюргера, который и пресмыкается перед начальством, и смертельно ненавидит его.

В интервью, которое корреспондент «Шпигеля» взял у Кипхардта после премьеры, драматург сообщил: «...сейчас я работаю над новой пьесой с условным названием «Брат Эйхмана». Пьеса основана на большом фактическом материале, мне хочется показать продолжение «линии Эйхмана» в нашей политической действительности... Я полагаю, что наиболее подходящей формой для исторической драмы является теперь драма документальная. Сейчас нельзя написать пьесу об Освенциме или о Черчилле без учета современных методов информации. В отличие от историка драматург стремится не только описать какое-нибудь историческое событие, он хочет также извлечь из этого события урок для современников...»

ГОЛЛАНДИЯ

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПОМОГАЮТ ВЬЕТНАМУ

Девяносто голландских художников публично заявили о своем желании оказать помощь Вьетнаму. В нескольких городах страны проводятся выставки-продажи их произведений. На одной из этих выставок в Амстердаме были представлены графические работы и фотоснимки. Среди участников выставки художник-коммунист Петер Алма, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, а также известный фотограф Кас Оортхойз.

Амстердамский комитет работников искусств провел недавно «демонстрацию молчания» против войны во Вьетнаме. Тысячи безмолвных демонстрантов несли с собой картины и фотоснимки, на которых были изображены американские зверства во Вьетнаме. В распространенном ими манифесте художники заявили, что они вышли на улицу, чтобы продемонстрировать свою солидарность с борьбой за национальную независимость вьетнамского народа.

К теме борьбы против американской агрессии во Вьетнаме обращаются театральные деятели Голландии. Амстердамский театр «Терзейде» поставил пьесу «Вьетнам» (режиссер Ания-Мария Принс, ей же в соавторстве с Вальтером Бартеном принадлежит текст пьесы). Авторы использовали выдержки из речей американских государственных деятелей, факты и цифры. Критик газеты «Ваархейд» называет пьесу «исключительным событием в театральной жизни Голландии».

ГРЕЦИЯ

ГОЛОС ИЗ ЗАСТЕНКА

Композитор и дирижер с мировой известностью Микис Теодоракис (сравнительно недавно он побывал с гастролями в Советском Союзе) сумел переслать из Афин письмо для опубликования в кипрской газете «Харавги» и в австралийской газете, выходящей на греческом языке, «Неос космос». Теодоракис — член парламента, председатель прогрессивной организации «Молодежь Ламбракиса», борец за мир и за демократию, неоднократно сидевший в тюрьмах при реакционных режимах, ныне снова, после захвата власти военной хунтой, подвергся преследованию.

Ниже приводится текст его открытого письма-манифеста, обращенного «Ко всему свободолюбивому и демократическому человечеству».

«Тираны будут сметены фронтом борьбы против диктатуры. Наша страна находится под игом милитаристской клики. Десятки тысяч людей арестованы. Сотни тысяч подвергаются преследованиям. Никто не знает точного количества жертв. Арестованные, среди которых находятся ведущие деятели левых партий, партий центра и даже правого крыла, подвергаются бесчеловечным пыткам.

Душители свободы нашего народа подготавливают очередные военно-полевые судилища.

Снова, спустя тридцать лет, фашизм нанес удар по Европе. Это удар по колыбели цивилизации, по стране, где родилась демократия. Удар нанесен светлому и гордому Акрополю человечества.

Мы призываем демократов

всего мира поддержать борьбу греческого народа.

В то же самое время мы, греческие патриоты, создаем патриотическое, демократическое движение сопротивления, полное оптимизма и веры в несгибаемую силу нашего народа.

Греческие рабочие, крестьяне,— говорится далее в манифесте, — мелкие предприниматели, деловые люди, интеллигенция, ученые, патриотически настроенные офицеры, матросы, летчики, гордая греческая молодежь, все мужчины и женщины страны, молодые и старые, сейчас объединяются, чтобы противостоять душителям нашей свободы. Они объединяются под общим знаменем, на котором написано: «Свобода — Демократия — Греция». Они объединяются в единый боевой национальный патриотический фронт борьбы против диктатуры. Для нас существует один идеал, одна общая цель — любой ценой вызволить Грецию из позорных тисков тирании.

Сердца наши горят пламенной ненавистью к тиранам».

Манифест заканчивается словами:

«В стране, где родилась демократия, тираны неизбежно погибают.

Долой королевскую фашистскую диктатуру!

Долой иноземную чуму!

Да здравствует демократия!

Да здравствует греческий народ!

Да здравствует Греция!»

ИНДИЯ

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ПОЭЗИИ»

Под таким названием в Дели состоялась творческая встреча, проведенная столичным литературным объединением молодых поэтов хинди. С эстрады звучали стихи, шло их бурное обсуждение. Более двух десятков авторов познакомили собравшихся, среди которых были поэты и прозаики разных поколений, разных направлений и школ, со своими новыми работами. Последний вечер был посвящен наиболее важным проблемам современной поэзии.

«Выражает ли новая поэзия хинди свое отношение к тому обществу, которое было создано после обретения Индией независимости? Каковы истинные, социально-исторические причины, обусловившие нынешний облик этого общества? Характерно ли для разочарованной молодежи, которая оказалась не способной принять вызов своего времени, сознательное бегство от действительности, а порой просто трусливое отступление в мир фантазии?» Эти и многие другие вопросы обсуждались на встрече, пишет критик индийского журнала «Линк» в статье, посвященной этому событию.

По свидетельству прессы, разговор получился оживленным и откровенным. Обсуждение показало, что выступавшие принимают близко к сердцу интересы национальной поэзии, создаваемой сегодня в Индии. Сама идея свести вместе поэтов и критиков старшего и молодого поколений, сделать возможным диалог между ними оказалась весьма удачной, заявляет критик журнала «Линк».

Не обошлось без резкой взаимной критики. Молодые литераторы упрекали старших в непонимании той сложной и напряженной обстановки, в которой вынуждена сегодня жить и работать молодежь. Но не менее суровой была ответная критика — за стремление молодых к упрощенчеству, за пренебрежение, а подчас и полное равнодушие к языку, за отсутствие должного знания и понимания истории и современности.

ИТАЛИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Вероятно, впервые в истории изобразительного искусства художник рассказывает свою автобиографию... в картинах, пишет критик газеты «Паэзе сера» Йолена Бальдини о новой серии картин, созданных знаменитым итальянским художником Ренато Гуттузо. Эти сорок картин, сообщает она, еще не скоро станут достоянием публики. Их видели лишь несколько близких художнику людей, а также автор статьи.

«Когда Гуттузо показывал нам эти картины,— пишет она,— он назвал их «простым рассказом о жизни». Картины, словно отдельные главы автобиографического романа, отражают не только жизнь художника, но и жизнь его народа, бурные события, пережитые Италией».

Любопытно, отмечает Бальдини, что среди сорока «автобиографических» картин имеются некоторые копии произведений великих мастеров прошлого и современных художников, оказавших влияние на творчество Гуттузо. «Я сделал копии тех картин, которые на тех или иных этапах производили на меня сильное впечатление и влияли на мое дальнейшее творчество, — рассказал художник.— Таковы, например, «Женщина в белых чулках» Курбе, «Христос» Караваджо и «Распятие Христа» Пикассо».

Бальдини обращает внимание на одну из любимых тем молодого Гуттузо — книги. «Много прекрасных этюдов, изображающих книги,— пишет она,— этюдов, написанных с огромным мастерством и любовью. На корешках можно прочесть названия любимых произведений художника, имена их авторов. Среди них — Ленин, Есенин, Жид, Пикассо, Гегель, Фолкнер, Манн, Унгаретти, Александр Блок, Леопарди, Поль Элюар».

Художник давно начал борьбу с мафией, терроризировавшей население его родной Сицилии. В числе его новых работ — этюды к большому полотну на эту тему. Среди антивоенных картин— «Начало 1940 года», «Дети Варшавы».

Новая серия картин Гуттузо размещена в мастерской художника, в римском Выставочном дворце. По словам Бальдини, пока неизвестно, когда художник решит показать свои полотна широкой публике.

СКУЛЬПТУРЫ ДЖАКОМО МАНЦУ

В Риме недавно открылась выставка работ известного итальянского скульптора Джакомо Манцу. На выставке, охватывающей десятилетний период творчества скульптора (1956—1966), представлены некоторые его новые работы, ранее нигде не экспонировавшиеся. Среди них критика особо выделяет скульптуры «Большая игра», «Бюст Инги», «Влюбленные». Эти работы, по мнению многих критиков, лишний раз доказывают, что основное место в творчестве Манцу занимает человек, в изображении которого скульптор находит все новые и новые выразительные средства. Его четкая во всех деталях скульптурная группа «Большая игра», изображающая детей на качелях, по мысли автора, представляет собой патетическую аллегорию жизни. Бронзовый «Бюст Инги», по мнению критика газеты «Унита» Дарио Микакки, «воспринимается как символ радости и жизни». Скульптурная группа «Влюбленные» — продолжение одноименной серии скульптур.

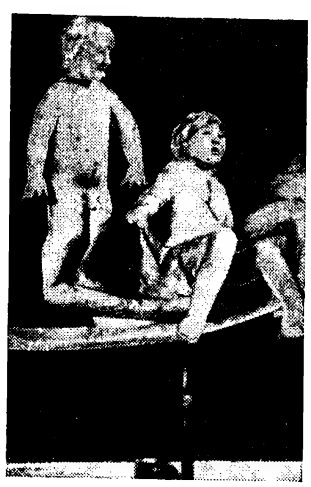
Выставка показала, что творчество Джакомо Манцу пользуется в Италии все большей популярностью, пишет критик газеты «Унита». Славу ему принесли знаменитые «Врата смерти», которые украсили собор святого Петра в Риме. Кто видел «Врата смерти», без труда узнает в римских легионерах нацистских генералов, а в распятом Христе — умирающего в пытках патриота, пишет критик. Работы Джакомо Манцу демонстрировались на выставках в Москве, Ленинграде, Праге, Нью-Йорке, Токио и других городах.

Манцу был одним из инициаторов неоднократных выступлений представителей итальянского искусства против американской агрессии во Вьетнаме.

В дни работы римской выставки Джакомо Манцу была вручена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». На специально созванной пресс-конференции скульптор заявил, что он отдает всю премию раненым и нуждающимся вьетнамцам.

Джакомо Манцу. «Большая игра».

(Газета «Унита»)



МЕКСИКА

ГОЛОСА МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

«Молодые мексиканские писатели XX века представляют сами себя»—под таким названием издательство «Эмпресас эдиториалес С. А.» выпустило серию автобиографий молодых литераторов Мексики: Карлоса Монсивайса, Хосе Агустина, Томаса Мохарро, Хуана Гарсиа Понсе, Хуана Висенте Мело, Густаво Саинса, Висенте Леньеро, Сальвадора Элисондо. Все они, пишет критик журнала «Тьемпо», объявили войну обществу, к которому принадлежат и которое обвиняют в пассивности, ограниченности, меркантильности.

Что же говорят о себе, о литературе и о своем поколении авторы этой серии? «Мое поколение представляется мне слишком инертным и преждевременно состарившимся. Оно полностью подчинило себя господствующему режиму. Не знаю, смогу ли я написать достойное произведение, но по крайней мере я пишу не ради денег»,— заявляет в своей автобиографии Карлос Монсивайс.

А вот голос Гарсиа Понсе: «Ценность художественного произведения в том, что оно может обогатить культуру, открыть новые пути в ее развитии и даже показать скрытое лицо действительности... Писатель приписан к миру будущего. Силой художественного слова он открывает перед нами жизнь во всей ее возвышенной трагичности».

Висенте Леньеро, автор пяти книг, единственный мексиканский писатель, получивший международную премию «Библиотека бреве», из скромности отказался писать о самом себе и ограничился несколькими фразами, которые издательство «Эмпресас эдиториалес» опубликовало вместо биографии писателя: «Боже, что за поколение! Говорить о своем вкладе в литературу! Написано две-три книги — и это уже считается творчеством. И все-таки справедливость требует признать, что многие произведения молодых представляют собой важный этап в развитии мексиканской литературы».

Публикация издательства «Эмпресас эдиториалес» вызвала огромный читательский интерес. Все вышедшие в свет книги серии быстро исчезли с прилавка. Создано новое издательство «Эдиториалес Диохенес С. А.», где будут печататься лишь молодые авторы.

МОНГОЛИЯ

КОНКУРС ГАЗЕТЫ «УНЭН»

В честь 50-летия Октябрьской революции газета «Унэн» («Правда») объявила конкурс на лучший рассказ и очерк.

Цель конкурса — отобразить в литературных произведениях влияние Великого Октября на судьбы стран мира, в том числе Монголии, искреннюю и братскую дружбу, связывающую народы Монголии и Советского Союза.

На конкурс принимаются произведения, рассказываю-

щие о победе народной революции, о строительстве социалистического общества в стране, о советских и монгольских воинах, которые плечом к плечу отстаивали завоевания монгольской революции, о советских людях, помогающих монгольскому народу строить новую жизнь, о патриотизме и интернационализме монгольских рабочих, аратов и трудовой интеллигенции.

ПОЛЬША

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВО ВРОЦЛАВЕ

«Кто сегодня хочет увидеть новые постановки, которые можно объединить под общим названием политического театра, тому я советую отправиться во Вроцлав,— пишет обозреватель газеты «Трибуна люду» Роман Шидловский.— Именно здесь в последнее время созданы наиболее интересные в Польше спектакли, поднимающие общественные, моральные и философские проблемы; здесь вот уже в течение двух лет работают известные режиссеры Кристина Скушанка и Ежи Красовски, под руководством которых возник театр с очень четким идейным профилем».

Год назад, пишет далее обозреватель, в руководимом ими Театре Польском состоялась премьера «Станислава и Богумила» Марии Домбровской. В нынешнем году на этой сцене уже была показана пьеса Бертольта Брехта «Карьера Артуро Уи». В планах театра — постановка «Серебряного сна Саломеи» Юлиуша Словацкого, «Пурпурной пыли» Шона О'Кейси и др.

«Последовательным развитием этой репертуарной линии были представления «Шестое июля» Михаила Шатрова и «Дело Дантона» Станиславы Пшибышевской, которые мы увидели во время очередной выездной сессии Клуба театральной критики во Вроцлаве,— продолжает Шидловский. — Спектакль «Шестое июля» был торжественной премьерой. Им открывался Общепольский фестиваль русских и советских пьес, организованный в честь 50-летия Октябрьской революции».

В спектакле были использованы записи на пленку выступлений В. И. Ленина. Игнаций Маховский, который играл Ильича, по словам Шидловского, «достиг подлинного мастерства в изображении своего героя».

«Маховский играет портретного Ленина, — пишет Клеменс Кшижановский во вроцлавской газете «Слово польске».— Ленина с характерным наклоном головы, с характерным жестом... Но прежде всего Маховский показывает Ленина в действии. Именно в этом особая ценность его актерской работы... Ленин постепенно овладевает сценой. И зрительным залом. Главное не в том, что актер похож на Ленина, главное в том, что своей яркой игрой Маховский увлек партнеров, повел за собой спектакль...»

«Дело Дантона» — политический спектакль об эпохе Великой французской революции. По мнению Шидловского, постановка пьесы Пшибышевской во Вроцлаве убедила многих, что это — одно из самых значительных драматургических произведений так называемого межвоенного польского двадцатилетия (она была написана около 40 лет назад).

Событием в театральной жизни Вроцлава Шидловский считает также постановку в театре «Розмаитости» пьесы Рольфа Хохгута «Наместник». Обозреватель находит определенную связь между успехом этого спектакля на сценах Польши и постепенным отказом католических кругов страны от защиты позиции папы Пия XII, который не предпринимал никаких действий в ответ на преступления гитлеровцев против человечества.

ДИСКУССИЯ О ПОЭЗИИ

В редакции еженедельника «Культура» состоялась встреча ведущих польских поэтов разных поколений; темой дискуссии была современная польская поэзия. Еженедельник «Культура» опубликовал материалы этой встречи под заголовком «Не согласны, что поэзия мертва».

Один из последних номеров польского ежемесячника «Диалог» принес читателям приятный сюрприз — текст новой пьесы Ярослава Ивашкевича «Космогония». Ее герои — люди наших дней с их сложными проблемами. Мы воспроизводим дружеский шарж на Ярослава Ивашкевича, помещенный еженедельником «Польское обозрение».

Поэт молодого поколения Станислав Гроховяк, открывая встречу, сказал: «Пусть предметом нашего сегодняшнего разговора будет нынешнее состояние польской поэзии, возможности поколения, которое вступает в поэзию». Гроховяк сослался на недавнюю статью Тадеуша Ружевича в ежемесячнике «Поэзия», основной тезис которой он сформулировал так: «Возможна ли поэзия на нынешнем этапе цивилизации, можно ли надеяться, что она будет существовать и в дальнейшем?»

Может быть, причина нынешних неудач кроется в самой поэзии, сказал Станислав Гроховяк. Может быть, она не отвечает на главные вопросы современности?

В дискуссии приняли участие поэты: Збигнев Беньковский, Мацей Бордович, Анджей Грончевский, Збигнев Иржик, Збигнев Ежина, Тадеуш Кубяк, Леон Пастернак, Стефан Полом, Юлиан Пшибось.

«Когда мы говорим о поэзии, мы не имеем права ставить вопрос так: возможна ли поэзия или она уже мертва? — сказал Юлиан Пшибось.— Подобные сомнения в

устах поэта кажутся мне удивительным кокетством. Поэт, утверждающий, что поэзия мертва, вынужден был бы признать, что как поэт он умер вместе со всей поэзией».

Леон Пастернак заявил: «Я не считаю, что поэзия мертва, у нее сейчас самые благоприятные условия для развития, хотя она уже не обладает даром «превращать людей в ангелов». Но уже давно для меня мертва «определенного рода» поэзия: та, которая чужда тем требованиям, которые я вообще предъявляю литературе. По моему мнению, поэзия должна развиваться вместе с историей, вместе с ней обращаться к новым способам воздействия, вместе с ней выражать новое содержание».

Молодой поэт Збигнев Ежина сказал в своем выступлении: «Мертва ли поэзия и имеет ли она в современном мире право на существование? Подобное сомнение кажется мне абсурдным, точно так же, как абсурдом является утверждение, будто исчезла сфера человеческих чувств, которой занимается поэзия».

«Меня беспокоит то, что за стихами некоторых молодых поэтов я не вижу живого, конкретного человека, — посетовал молодой поэт Мацей Бордович.— Можно прочесть десять стихотворений десяти различных авторов, но стоит закрыть книгу или перевернуть страницу журнала,— и вы уже не в состоянии сказать, что это была встреча с кем-то настоящим, единственным, неповторимым».

Те же проблемы волнуют Збигнева Иржика: «В течение нескольких лет я наблюдаю очень опасный процесс (я говорю прежде всего о молодой поэзии) стирания индивидуальностей. Здесь я соглашаюсь с предыдущим оратором. Поэтов невозможно различить по их стихам, их можно различить только по именам. Мода в известном смысле взяла верх над индивидуальностью».

Збигнев Беньковский: «Мы думаем и говорим о какой-то анонимности поэзии молодых. У нас нечеткая позиция. Мы все ответственны за нынешнее состояние польской поэзии...»

ПРЕМИИ 1967 ГОДА

По случаю национального праздника Польской народной республики — Дня возрождения — министерство культуры и искусства присудило премии деятелям польской культуры. Премии первой степени присуждены: писателю Юлиану Кавалецу за повести «К земле приписанный» (опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1964), «Танцующий ястреб» и сборник рассказов «Свадебный марш»; писателю Янушу Пшимановскому — автору повести для молодежи «Четыре танкиста и собака»,— который удостоен премии как один из создателей одноименного телевизионного фильма; поэтессе и переводчице Казимире Иллаковичувие (несколько лет назад она перевела «Анну Каренину» Льва Толстого) — за поэтическое творчество в целом и в частности за сборник «Шепотом»; кинорежиссеру Станиславу Ружевичу — за фильм «Вестерплатте» (демонстрировался на Московском кинофестивале этого года); артисту театра и кино Тадеушу Фиевскому; журналисту Хенрику Коротынскому — главному редактору газеты «Жице Варшавы»; художнику Чеславу Жепинскому; графикам — Тадеушу Гроновскому и Анджею Стопке; композитору и дирижеру Казимежу Вилькомирскому и многим другим.

Премии третьей степени удостоена писательница Моника Варненская за репортажи из Вьетнама.

Газета «Жице Варшавы» опубликовала несколько интервью с лауреатами премий.

Юлиан Кавалец сказал:

— Я — сын малоземельного крестьянина, детство мое и юность прошли среди людей, которых согнул до земли тяжелый труд, людей с заскорузлыми ладонями. В деревне осталось мое сердце, там я черпаю темы для моих произведений. Меня особенно интересует новая, современная деревня. Изменения, которые в ней произошли, буквально потрясли меня. Не следует искать тем в воздухе — их так много в окружающей повседневной жизни. Следует только избегать схематизма. Многое можно разглядеть в горсточке земли, если положить ее под микроскоп...

Кавалец и в дальнейшем намерен писать о польской деревне. В конце нынешнего года он надеется выпустить новую повесть, а также сборник рассказов.

Януш Пшимановский рассказал корреспонденту газеты, что работает над продолжением «Четырех танкистов и собаки».

ПОРТУГАЛИЯ

«В ПОИСКАХ РАБОТЫ»

Побывавший недавно во Франции португальский писатель Жозе Кардозу Пириш дал интервью представителям печати. Писатель приехал в Париж по случаю выхода в издательстве Галлимара его романа «В поисках работы», отмеченного в 1965 году самой значительной в Португалии премией Камилу Каштелу Бранку. Пириш — главный редактор журнала «Альманах», один из организаторов Общества португальских писателей.

Общество писателей распущено властями, а премия Камилу Каштелу Бранку упразднена, рассказал Пириш. Деятелям португальской литературы официально запрещено собираться вместе.

— Цензура в Португалии самоуправна и жестока,— продолжал Пириш.— И вместе с тем она гибка и коварна. Наши книги не проходят предварительной цензуры, их «проверяют» лишь после выпуска тиража. Если произведение находят «крамольным», его не просто конфискуют, но могут при этом еще арестовать писателя и закрыть издательство. А литературная премия, если ее успели присудить писателю, аннулируется. Действия цензуры никакому обжалованию не подлежат... Писатель ли-

шен возможности ясно выражать свои мысли и вынужден прибегать к символике, аллегориям. Я закончил роман «Дофин», действие которого развивается вне времени, чтобы не навлечь недовольство цензуры.

Никогда не известно, что будет запрещено, — сказал далее Пириш.— Я составил сборник зарубежных театральных пьес. «Клоп» Маяковского был из него изъят...

РУМЫНИЯ

К КОНЧИНЕ ТУДОРА АРГЕЗИ

Ушел из жизни крупнейший поэт Румынии, академик, почетный председатель Союза румынских писателей Тудор Аргези. «Наш великий поэт жил и умер с пером в руке»,— сказал о нем писатель Захария Станку.

Газета «Скынтейя» сообщила о траурном заседании Академии наук СРР, посвященном памяти Тудора Аргези. Говоря об Аргези как о непревзойденном художнике слова, «волшебнике, который из глины и воды строил хрустальные дворцы», академик Ал. Росетти подчеркнул огромный вклад поэта в сокровищницу румынской литературы. Директор Института истории и теории литературы имени Дж. Кэлинеску Ал. Дима рассказал о творчестве Аргези, назвав его крупнейшим представителем румынской литературы и культуры, участником всех значительных событий в истории румынского народа, выразителем его дум и чаяний. Критик Владимир Стреину говорил о том, что жизнь и творчество Аргези всегда будут живым примером для всех поколений поэтов. Критик Думитру Мику подчеркнул значение творчества Аргези, «одухотворяемого высокими идеалами гуманизма и социального прогресса, отражающего гнев и радость народа, пронизанного духом современной истории». Критик И. Д. Бэлан говорил об особенностях стихосложения Аргези—о пластичности образов, порой неожиданном

«Ева» — скульптура из дерева Иона Власиу.

(Журнал «Флакэра»)

сочетании слов и рифм, необычных метафорах, о своеобразном поэтическом мышлении.

Тудор Аргези обогатил румынскую литературу поэтическими сборниками «Нужные слова», «Цветы плесени», «1907 год», «Песнь человеку», «Листья», «Новые поэмы», «Слоги», «Такты», «Ритмы», «Ночь» и др., сборниками статей «Черные ворота», «Деревянные иконы» и др., поэмами в прозе «Что со мною, ветер?», «Книга с игрушками», романами «Глаза богородицы», «Лина» и др.

Вдохновенные строки Аргези близки и дороги советскому читателю. Публикации стихов Аргези в советской прессе, изданный в СССР сборник «Избранные стихи» дали возможность любителям поэзии познакомиться с творчеством этого большого поэта.

США

МЭРИ МАККАРТИ ПРОТИВ СТЕЙНБЕКА

Известная американская писательница Мэри Маккарти более трех недель провела во Вьетнаме, после чего опубликовала несколько статей в печати, и, в частности, в английском еженедельнике «Обзёрвер». В первой же статье она писала: «Признаюсь, что я отправилась во Вьетнам с целью найти материалы, компрометирующие позицию США, и я их нашла... Победа в этой войне была бы самым большим несчастьем для нашей страны».

Писательница рассказывает об обстановке коррупции, взяточничества, морального разложения в Сайгоне, «оккупированном» американцами, о выжженной земле, уничтоженных урожаях и непрерывных пожарищах в районах, прилегающих к Сайгону.

«Короткий полет на вертолете из Сайгона в любом направлении, — пишет она, — сразу дает вам представление о системе американских бомбежек. Вся местность полыхает пожарищами, так что создается впечатление, будто это естественный атрибут пейзажа страны. Таким же естественным атрибутом представляются могильные холмы на рисовых полях и на пастбищах. Обугленные «заплаты» на почве — это пепелища, оставшиеся после утренних бомбежек; они перемежаются со свежими клубами дыма, стелющимися над землей,— это уже результаты дневных налетов...»

Мэри Маккарти побывала и в тех местах, где был Стейнбек, умиленно описывавший, как американцы, разбомбив селение, сразу будто бы стали в нем заново строить школу и красить парты в голубой цвет... «Парты до сих пор стоят под палящими лучами солнца на улице,— сообщает писательница,— школа не отстроена... В этом селении все, видимо, застыло, как в «Спящей красавице», в тот «волшебный» день, когда тут побывал Стейнбек; ничто с тех пор не изменилось». Стейнбек писал, будто мертвое селение возрождается американцами. Однако те офицеры, которые его принимали, узнав об этом, расхохотались: «У него богатое воображение»,—сказали они.

У Мэри Маккарти была еще цель чисто литературная: в настоящее время она пишет роман о Вьетнаме. «В нем речь идет о девятнадца-

тилетнем юноше,— сообщает писательница.— Действие романа происходит в 1964 году, то есть задолго до нынешних событий. Но я чувствовала, что не могу продолжать писать о жизни этого паренька в 1964 году, если не возьму на себя своего рода ответственности за то, что произойдет с ним в 1967 году. Когда я закончу работу над этими статьями, вернусь к роману».

КАК СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ «СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ»

Американская критика называет картину «Сыновья и дочери» «лучшим документальным фильмом за последние 20 лет», а ее постановщика Столла — «Уолтом Уитменом наших дней». Рецензент еженедельника «Нэшнл гардиен» охарактеризовал фильм как «необычный документ наших дней».

Фильм «Сыновья и дочери» был снят при широком содействии и на средства участников движения за прекращение войны во Вьетнаме. Картина снималась по частям: когда кончались ранее собранные деньги, уже отснятые куски демонстрировались аудитории — и все новые и новые люди давали деньги на завершение работы над фильмом. Со всех сторон авторам фильма говорили, что им не удастся снять фильм всего за 30 тысяч долларов, а если и удастся, то они не смогут пробить дорогу к зрителю. Но фильм обошел уже 30 городов США, его показывали по телевидению на Аляске и Гаваях, он демонстрировался в Европе, о его покупке ведут переговоры японские сторонники мира, уже сделана специальная копия для любительских просмотров.

Первоначально авторы фильма собирались взять за основу сюжета Международный день протеста против войны во Вьетнаме 1965 года, но в процессе работы тема была расширена — в фильм были введены кадры боев во Вьетнаме, волнений в негритянских гетто, боевой подготовки американской морской пехоты, а также песни Боба Дилана. По мнению рецензента «Нэшнл гардиен», именно драматическое противопоставление будней воюющего Вьетнама жизни Америки наших дней с ее назревшими и бурно проявляющимися социальными противоречиями, которое составляет композиционную основу фильма, необычайно усиливает его воздействие на зрителя.

«Главный герой фильма — современная американская молодежь, — пишет рецензент,— но в нем широко отражено и участие в борьбе за мир поколения тридцатилетних: мы видим их шагающими на демонстрациях, поющими песни протеста, выступающими с речами на митингах». В фильме сняты выступления таких видных участников антивоенного движения, как Пол Гудмен, Стафтон Линд, Стэнли Шейнбаум, Хью Гестер, Кэй Бойл и Роберт Браун.

Столл и его друзья отказались воспользоваться прибылью от проката фильма «Сыновья и дочери» в личных целях. Они мечтают создать на эти средства целую серию документальных картин, посвященных современным социальным проблемам. По их мнению, эти фильмы будут содействовать популяризации и укреплению движения социального протеста в США.

СНОВА О «КЛИМАТЕ УБИЙСТВА»

Многие деятели культуры США встревожены усилением преступности в стране, то есть тем, что уже официально получило название «климата убийства». Американский карикатурист Джулиус Фейфер написал на эту тему сатирическую пьесу «Маленькие убийства», идущую в театре Бродхэрст, и выступил в связи с этим в газете «Нью-Йорк таймс».

«Случайные убийства, — пишет Фейфер,— в наше время привлекают больше внимания, чем все другие внутренние проблемы. Эта тема теперь даже несколько потеснила необычайно острую тему борьбы за гражданские права. Когда я говорю «потеснила», то имею в виду, что это очередная острая проблема, по поводу которой мы не намерены ничего предпринять.

В наших сограждан стреляют в техасских универмагах, в банках, ресторанах, в метро, просто на улицах наших городов и даже в лифтах,— продолжает Фейфер.— Жители городов в наше время с трепетом открывают входную дверь, а если они слышат с улицы крики о помощи, то поспешно отскакивают от окон. На ночь двери запираются вдоль и поперек, закрываются на цепочки».

В конце статьи Фейфер иронизирует над тем, по каким рецептам должны создаваться современные «модные» пьесы вообще.

Основное требование Бродвея, заявляет Фейфер, сводится к тому, что публику надо ублажать и отвлекать от серьезных мыслей. «Считайте аксиомой, — пишет он,— что если вы в вашей пьесе высказываете то, что хотели высказать, к концу вечера вы должны разъяснить публике, что вы, собственно говоря, этого не говорили». И еще один «творческий» рецепт: «Действующие лица пьесы должны быть или из средней буржуазии, или из высших кругов средней буржуазии. Публика Бродвея согласна смотреть пьесы о бедняках только в виде музыкальных комедий». Так что, заключает художник, прежде чем писать пьесу, необходимо ясно представить себе, что можно и что модно.

УРУГВАЙ

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

В уругвайском еженедельнике «Марча» опубликовано открытое письмо, подписанное деятелями культуры одиннадцати стран, которые обращаются к народу США с призывом потребовать от своего правительства немедленного прекращения агрессии во Вьетнаме.

В письме заявлен протест против пребывания американских войск на территории Вьетнама, против преступных бомбардировок ДРВ, за

переговоры с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама.

Документ подписали: Хулио Кортасар, Арнальдо Орфила, Мануэль Садоски (Аргентина), Жозуэ де Кастру (Бразилия), Хорхе Саламеа, Херардо Молина (Колумбия), Эухенио Гонсалес, Пабло Неруда (Чили), Деметрио Агилера Мальта, Бенхамин Каррион (Эквадор), Луис Кардоса-и-Арагон (Гватемала), Пьер Шарль (Гаити), Фернандо Бенитес, Карлос Фуэнтес, Пабло Г. Казанова, Карлос Пельисер, Хуан Рульфо, Хесус Сильва Эрсог, Леопольдо Сеа (Мексика), Рене Маркес (Пуэрто-Рико), Хулио Кастро, Роберто Ибаньес, Сара де Ибаньес, Карлос Кихано, Анхель Рама (Уругвай).

ФРАНЦИЯ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МАЯКОВСКОМУ

По инициативе двенадцати муниципалитетов пригородов Парижа организована выставка, посвященная жизни и творчеству Владимира Маяковского. Монтаж и комментарий Эльзы Триоле; автор оформления выставки Александр Шем.

Многочисленные фотографии и рисунки предоставлены Союзом советских писателей, Музеем им. Маяковского, В. Катаняном и Л. Брик.

Выставка открылась в торжественной обстановке. Среди первых посетителей были: генеральный секретарь Французской коммунистической партии Вальдек Роше, члены Политбюро Жак Дюкло и Ролан Лерой.

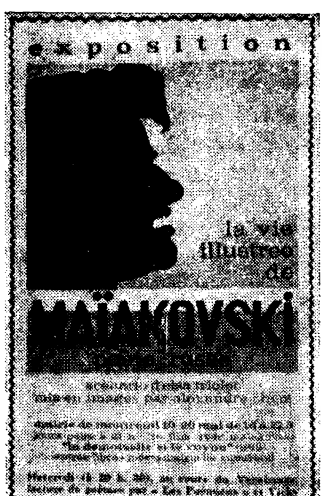
Лучшие французские чтецы прочли стихи Маяковского, был показан фильм «Барышня и хулиган» с участием поэта.

Газета «Юманите» так писала о выставке: «Экспозиция представляет собой как бы открытую книгу, где начертан путь художника слова, борца, поражающего своей силой, убежденностью, любознательностью, своей способностью постигать историю и опережать ее. Творчество поэта, драматурга, талант плакатиста, юмор памфлетиста сливаются в одно целое. Все цельно в этой иллюстрированной биографии поэта, который нам стал особенно близок и понятен».

Выставка о поэте-революционере пользуется большим успехом.

Плакат-объявление о выставке, посвященной Маяковскому.

(Газета «Юманите»)



«В» КАК ВЬЕТНАМ»

Французская пресса помещает множество откликов на пьесу Армана Гатти «В» как Вьетнам», поставленную в Тулузе режиссером Сарразеном, сравнивая ее с такими лучшими спектаклями о Вьетнаме, как: «US» Питера Брука — в Лондоне, «Потому что лес молод и полон жизни» Луиджи Ноно — в Милане и «Война в скобках» Ги Кайата — в Париже.

Действие пьесы происходит в самом центре агрессии против вьетнамского народа — в Пентагоне.

...На сцене огромная электронно-вычислительная машина, снабженная круглым экраном. Вокруг нее еще несколько экранов. В них отражаются события, происходящие за тысячи километров. Основные персонажи пьесы: генерал Бульдог — командующий морской пехотой, адмирал Остроконечный — командующий 7-м флотом и гражданский министр обороны Квадратура. Ими руководит техасец Мегашериф, который бредит военными «подвигами» своего деда в Аламо. Реплики персонажей подобны пулеметным очередям, тон одинаково невыразительный. Полное впечатление, что ими руководит вычислительная машина. Когда машина портится, возникает путаница, американские стратеги мечутся в панике, не зная, что предпринять...

«Автор отбирает, анализирует, сопоставляет тысячи фактов; он показывает не только характер американской интервенции, но и его идеологическое содержание. Театр Гатти заставляет сделать выбор»,— пишет рецензент еженедельника «Франс нувель».

Критик еженедельника «Леттр франсез» считает, что «в пьесе борьба за национальное освобождение противопоставляется агрессивной войне. Пьеса поворачивает лицом к истории, которая делается на наших глазах и при нашем участии. Гатти показал две взаимоисключающие концепции. Театр Гатти — это театр идей, театр агитации».

В связи с постановкой своей пьесы Арман Гатти заявил в еженедельнике «Нувель обсерватер»: «Надо покончить с концепцией театра-музея и сделать из театра своего рода энциклопедию в движении, трактующую темы современного мира,— от ядерной физики до велогонки вокруг Франции, от истории кино до политики... Необходим новый язык в драматургии».

В интервью еженедельнику «Франс нувель» драматург призывает выводить на сцену новых героев: «Что мешает театру изображать пролетарских героев? Они стоят принцев французского театра, они так же велики и трагичны».

«Авторы пьес обычно предпочитают подождать, пока события остынут,— заявил

Гатти в газете «Монд».— Это противоречит моей театральной концепции: театр должен немедленно отражать события. Я за театр политический, «ангажированный», протестующий, за театр агитации. Я против «популярного» театра, который всех объединяет и примиряет. Театр должен разделять. Если все зрители приходят к соглашению,— пьеса провалилась».

ПОМОЩЬ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВЬЕТНАМУ

Недавно в Париже прошла конференция «Генеральные Штаты за мир во Вьетнаме». Газета «Юманите» рассказала об инициативе французских художников, организовавших в зале «Плейель», где проходила конференция, выставку-продажу своих произведений.

Средства от продажи картин были переданы вьетнамскому Красному Кресту.

В этой выставке приняли участие более ста известных художников различных направлений. Произведения искусства продавались намного дешевле их подлинной стоимости, чтобы быстрее их реализовать. Художники отобрали лучшие свои произведения. Пикассо прислал на выставку гравюру, Вогенски — акварель, Колламарини, Матта и Прассинос — графику, Мазереель — деревянную скульптуру, Кнжно — монотнп, де Базэн, Манесье, Ментор, Пиньон — офорты. Сюрваж надписывал сборник поэм Жео Шарля, который он иллюстрировал. Многие писатели-искусствоведы снабжали своими автографами книги по вопросам искусства и альбомы.

На обороте каждого произведения. во избежание возможной спекуляции, была сделана наклейка: «Художники — Вьетнаму. Генеральные Штаты, май 1967».

«Эта наклейка,— пишет газета «Юманите», — будет служить напоминанием о временах, когда амернканцы бомбили Ханой, а элита французских художников осудила палачей и приняла своеобразное, но действенное участие в борьбе за мир во Вьстиаме».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«СВЕТ СОВЕТУ» К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

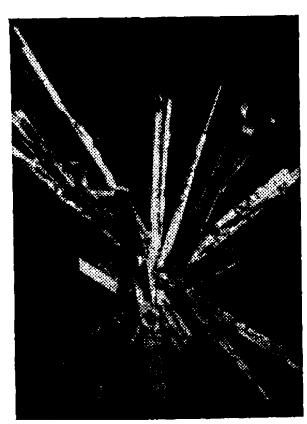
Двадцать один год назад в Чехословакии было создано издательство «Свет Совету» («Мир Советов»), которое специализировалось на выпуске книг советских авторов и литературы о Советском Союзе.

За годы своей деятельности, рассказал представителям печати главный редактор издательства Иржи Плахетка, «Свет Совету» выпустило более тысячи наименований книг, причем средний тираж составляет 21—22 тысячи экземпляров (о деятельности этого издательства «Иностранная литература» постоянно сообщает в разделе «На всех языках».— Прим. ред.).

Несколько последних изданий «Свет Совету» посвящает специально юбилею Великого Октября.

«Мы уже выпустили большую публикацию «Ленинград» с цветными иллюстрациями, — рассказал далее Иржи Плахетка.— Под названием «Колесо вдохновения» выйдет иллюстрированная антология русской и советской поэзии 1905—1925 гг. Кроме того, появится антология чешской поэзии, посвященной Октябрю, под названием «Лениниана», тоже иллюстрированная. Читатели недавно получили книгу молодых историков Иржи Мушки и Милоша Янды «Год 1917, неизвестный», содержащую до сих пор не опубликованные в Чехословакии документы об Октябре».

«Атом» — скульптура Тибора Бартфаи для Восточнословацкого металлургического завода (гидроналий).



ЯПОНИЯ

«ИНСТИТУТ МАЯКОВСКОГО»

Общество Новой японской литературы в целях широкого ознакомления с советской культурой решило создать Институт Маяковского. В органе этого общества — журнале «Синнихон бунгаку» («Новая японская литература») помещено такое объявление:

«Сейчас, когда обмен с Советским Союзом становится все более оживленным, люди, знающие русский язык, требуются повсюду... Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Горького, Маяковского, Шолохова, то есть русскую литературу XIX века и современную советскую литературу читают и любят в Японии очень и очень многие. Но если получить возможность читать эти выдающиеся произведения в подлиннике, прелесть их несказанно возрастет.

Институт Маяковского представляет собой школу живого русского языка, отвечающую двум требованиям — научить русскому языку и познакомить с русской литературой. В нем обращено главное внимание на то, чтобы в короткий срок овладеть основами русского языка. Среди лекторов — высококвалифицированные литературоведы, хорошо знающие русскую и советскую литературу.

Повседневная разговорная речь, грамматика, разбор художественных произведений — все это будет преподаваться в тесной взаимосвязи. Такова особенность Института. Кроме того, для чтения лекций в Японию будут приглашаться советские литераторы. Предполагается также, что один из обучающихся, наиболее успешно закончивший Институт, получит стипендию для поездки в Советский Союз».

Авторы этого номера

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — GUSTAVO VALCÁRCEL (род. в 1921 г.).

Циклом стихов из книги «Прошу слова!» («¡Pido la palabra!», 1965) представлен в этом номере перуанский поэт и прозаик Густаво Валькарсель. Произведения Валькарселя составили несколько поэтических сборников, в том числе «Песни земной любви» («Cantos del amor terrestre», 1957), «Его лучшие стихи» («Sus mejores poemas», 1960), «Куба — да, янки — нет!» («¡Cuba si, yanquis no!», 1961), «Революционная поэзия» («Poesía revolucionaria», 1962) и др. Перу Валькарселя принадлежат также книги репортажей «Агония Перу» («La agonía del Perú», 1952) и «Репортаж будущему» («Reportaje al futuro», 1963). Глава из последней книги «У Ленина» была опубликована в нашем журнале № 11 за 1964 г.

■

ХУАН ГОЙТИСОЛО — JUAN GOITISOLO (род. в 1931 г.).

Советские читатели хорошо знают Хуана Гойтисоло — одного из наиболее талантливых испанских писателей. В русском переводе изданы его книги «Прибой» («Иностранная литература» № 6, 1961), «Печаль в раю», «Ловкость рук», «Остров», «Земля Нихара» и др. Его перу принадлежат также очерки и статьи по проблемам испанской политической и культурной жизни.

Х. Гойтисоло живет в Париже. Не все произведения писателя издаются во франкистской Испании ввиду их демократической, антифашистской направленности.

В этой книжке журнала мы знакомим читателей с новым романом Х. Гойтисоло «Особые приметы» («Señas de identidad», 1967), только что вышедшим в Мексике и полученным редакцией в рукописи.

ДЖОН ОКАЙ — JOHN OKAI (род. в 1941 г.).

Молодой поэт Ганы. Его стихи неоднократно публиковались в нашем и других советских журналах и газетах.

Стихотворение «999 улыбок» получено редакцией в рукописи.

■

ЖОРЖ СИМЕНОН — GEORGES SIMÉNON (род. в 1903 г.).

Французский писатель, известный преимущественно как автор детективных романов, повестей, рассказов. Однако широкую популярность писателю завоевало не только мастерство остросюжетного повествования — во многих его произведениях находят прямое или косвенное отражение социальные проблемы современности, судьба маленького человека во Франции.

Свое первое произведение Жорж Сименон опубликовал еще в ранней молодости. С тех пор за годы литературного творчества им написано огромное количество романов, (более 250), которые изданы в разных странах мира. Многие его произведения экранизированы.

В советских периодических изданиях неоднократно публиковались рассказы Сименона. В 1960 г. был издан сборник его произведений, в который вошли «Желтый пес», «Цена головы», «Негритянский квартал», «Президент». Сборник повестей и рассказов «Неизвестный в доме» вышел в 1966 г. Журнал «Иностранная литература» напечатал его повесть «Бедняков не убивают» (№ 8, 1964 г.).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей повесть «Поезд из Венеции» («Le train de Venise»), вышедшую в 1965 году.

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН — PAMELA HANSFORD JOHNSON (род. в 1912 г.).

Известная английская писательница. В числе написанного ею за последние годы — романы «Немыслимый Скиптон» («The Unspeakable Skipton», 1959), «Ночь, молчание. Кто идет?» («Night and Silence. Who is Here?», 1963), «На Корк-стрит, рядом со шляпным магазином» («Cork Street, Next to the Hatter's», 1965), которые представляют собой трилогию, сатирически повествующую о нравах и настроениях современной английской интеллигенции.

В переводе на русский язык вышел роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Кристина» («An Impossible Marriage», 1954) и несколько рассказов.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 09168. Сдано в производство 21/VI-67 г. Подписано к печати 15/VIII-67 г. Зак. 2090. Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394